

А.З. МАНФРЕД

ТРИ ПОРТРЕТА

ЭПОХИ
ВЕЛИКОЙ
ФРАНЦУЗСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

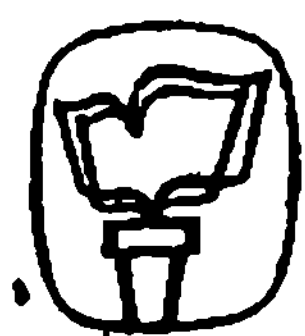


А.З. МАНФРЕД

ТРИ ПОРТРЕТА

ЭПОХИ
ВЕЛИКОЙ
ФРАНЦУЗСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

Второе издание



МОСКВА
"МЫСЛЬ"
1989

ББК 63.3(4Фр)
М 24

**Редакция литературы
по всеобщей истории
и международному рабочему движению**

Манфред А. З.
М 24 Три портрета эпохи Великой французской револю-
ции. — 2-е изд. — М.: Мысль, 1989. — 432 с.: ил.
ISBN 5-244-00344-5

Книга выдающегося советского историка А. З. Манфреда посвящена историческим судьбам трех крупнейших деятелей эпохи Великой французской революции: Руссо, Мирабо и Робеспьера. Деятельность этих ярких представителей французского общества XVIII века наиболее отчетливо выражает самые существенные особенности общественно-политического развития Франции той переломной эпохи.

Монография представляет собой ценный вклад в исследование истории и культуры Франции.

М 0503010000-121
004(01)-89 Без объявления

ББК 63.3(4Фр)

ISBN 5-244-00344-5

© Издательство «Мысль». 1978

ПРЕДИСЛОВИЕ

Рукопись этой книги была закончена летом 1976 года, но увидеть ее в напечатанном виде автору уже не придется. В том же году 16 декабря выдающийся советский историк Альберт Захарович Манфред скоростижно скончался.

А. З. Манфред родился 28 августа 1906 года. Специальное историческое образование он получил в аспирантуре Института истории РАНИОН (Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук).

Обязательная вступительная работа А. З. Манфреда при поступлении в РАНИОН была посвящена Огюсту Бланки. Основанная на первоисточниках и новейшей литературе, появившейся тогда во Франции, она получила весьма положительную оценку такого вдумчивого и требовательного знатока, как В. П. Волгин, в семинаре которого А. З. Манфред занимался. Следует отметить, что и в дальнейшем, на протяжении всей своей жизни, академик В. П. Волгин высоко ценил А. З. Манфреда прежде всего как пытливого и талантливого исследователя.

Большое значение для дальнейшей научной деятельности А. З. Манфреда имело его участие в семинаре слушателей РАНИОН и Института красной профессуры, которым руководил академик Н. М. Лукин. Семинар был посвящен истории французского социалистического движения в годы Третьей республики.

А. З. Манфред избрал тему «Социалистическое движение в 70-х годах после Парижской Коммуны». Этой проблеме он позднее посвятил свою кандидатскую диссертацию. Занятия в семинарах этих двух крупнейших ученых сыграли большую роль в формировании А. З. Манфреда как историка.

В 1928 году А. З. Манфред был привлечен к работе в Институте Ленина (впоследствии Институт Маркса — Энгельса — Ленина) в группу по истории Коммунисти-

ческого Интернационала, которую возглавлял выдающийся деятель международного рабочего движения Бела Кун.

Своей первоочередной задачей группа ставила изучение роли В. И. Ленина в международном рабочем движении и истории циммервальдского движения. А. З. Манфред активно включился в изучение этих проблем и избрал предметом своего исследования историю швейцарского социалистического движения в начале XX века — тему, которой тогда никто не занимался не только в Советском Союзе, но и в Швейцарии. Исследуя эту тему, он не только изучил архивы и прессу, собранную в Институте Ленина, но и получил ценнейшие личные сведения от ряда виднейших участников циммервальдского движения, в частности от Фрица Платтена, находившегося тогда в Москве. В 1929 году в журнале «Пролетарская революция» (орган Института Ленина) была опубликована содержательная статья А. З. Манфреда, не устаревшая и в наше время¹. В этой работе был поставлен и разработан ряд важных проблем из истории циммервальдского и швейцарского социалистического движения и тщательно разобраны все ленинские материалы по этим вопросам. Многие дала тогда молодому историку и личная встреча с Н. К. Крупской, ознакомившейся с этой рукописью. Интерес к творчеству В. И. Ленина, постоянное и тщательное изучение его трудов были свойственны А. З. Манфреду на протяжении всей его научной деятельности.

В 1930 году, после окончания аспирантуры, А. З. Манфред был направлен на педагогическую работу сначала в Ярославль, а затем в Иваново (1932—1937 гг.). В эти годы он опубликовал ряд брошюр и статей, посвященных главным образом проблемам мирового коммунистического движения. В 1940 году он вернулся в Москву. Замечательный педагог, талантливый лектор, прекрасный оратор, любимец студенческой аудитории, он продолжал свою педагогическую деятельность в различных учебных заведениях: в Московском областном педагогическом институте, на

¹ См.: Манфред А. З. Циммервальдское движение в швейцарской социал-демократии // Пролетарская революция. 1929. № 7. С. 15—47. Эта тема продолжала и в дальнейшем интересоваться ученого (см. его рецензию на кн. М. Пианзола «Ленин в Швейцарии» // Коммунист. 1959. № 8).

историческом факультете Московского университета, в Институте иностранных языков, в Институте международных отношений и других, а также руководил рядом кафедр.

С 1945 года А. З. Манфред работал в Институте истории Академии наук СССР. Именно в этот период в полной мере развернулось его научное дарование как историка.

А. З. Манфред был специалистом очень широкого профиля. Об этом свидетельствуют его лекционные курсы, многочисленные историографические обзоры, главы в учебниках, монографические исследования, статьи. Однако основные исследования А. З. Манфреда были посвящены истории Франции. Трудно найти какой-либо период новой истории Франции XVIII — XIX веков, изучением которого он бы не занимался. При этом некоторые проблемы французской истории вызывали у него особый интерес. К числу таких проблем относилась прежде всего история Великой французской революции. В этой области он был общепризнанным специалистом, его труды хорошо известны не только в нашей стране, но и за рубежом.

Первой опубликованной работой А. З. Манфреда по истории революции был изданный в 1950 году очерк «Французская буржуазная революция конца XVIII века (1789—1794 гг.)»; в 1956 году он вышел вторым, дополненным изданием¹. Эта книга была переведена на немецкий (1952), китайский (1954), а второе ее издание — на венгерский (1958), французский, португальский (1961) и испанский (1963) языки. Хотя книга носила научно-популярный характер, для специалиста было очевидно, что этот очерк истории революции явился результатом большой и длительной работы автора над широким кругом источников. Наиболее точную и исчерпывающую оценку этой книги дал академик В. П. Волгин. Редактируя статью О. Л. Вайнштейна «Изучение истории Франции средних веков и нового времени советскими историками» для первого тома «Французского Ежегодника», В. П. Волгин сам вписал в эту статью абзац, в котором говорилось: «Об огромном интересе в Советском Союзе к истории Великой французской революции свидетельствует обилие научно-по-

¹ См.: Манфред А. З. Великая французская революция XVIII века. М., 1956.

пулярных работ по этой теме, весьма, впрочем, неоднородных по своим научным и литературным достоинствам. Наиболее ценной и в научном отношении содержательной является работа А. З. Манфреда, основывающаяся не только на тщательном изучении литературы о французской революции, но и на продуманном использовании источников»¹.

А. З. Манфреда всегда привлекал жанр исторического портрета. Яркие характеристики исторических деятелей содержатся почти во всех его работах. Но особенно интересовали его исторические личности, стоявшие во главе французской революции. Другу народа Жан-Полю Марату он посвятил специальную работу, вышедшую в серии «Жизнь замечательных людей»². Вместе с В. П. Волгиным А. З. Манфред подготовил трехтомное собрание «Избранных произведений» Жан-Поля Марата. Это издание, задуманное еще В. Д. Бонч-Бруевичем по совету В. И. Ленина, явилось более полным, чем все предшествующие французские и русские издания (Ш. Веллэ, Г. С. Фридлянда и т. д.)³. «Избранным произведениям» Жан-Поля Марата была предпослана обширная вступительная статья А. З. Манфреда⁴.

Особое место в научной деятельности А. З. Манфреда занимал Максимилиан Робеспьер. По существу во всей русской и советской литературе, посвященной истории французской революции, и в частности деятельности Робеспьера, А. З. Манфред имел в разработке этой темы только одного предшественника — Н. М. Лукина, автора первой в нашей литературе биографии Неподкупного. А. З. Манфред подготовил трехтомное собрание «Избранных произведений» Робеспье-

¹ Французский Ежегодник. 1958. М., 1959. С. 499. А. З. Манфред является также автором общих очерков по истории Великой французской революции в 6-м томе «Всемирной истории» (1959), в БСЭ (2 изд. Т. 45. 1956), в учебнике «Новая история» для высшей школы (Т. 1. 1958), в «Краткой всемирной истории» (1966), во 2-м томе «Истории Франции» (1973).

² См.: Манфред А. З. Марат. М., 1962. С. 352. Книга переведена на сербский язык (1965).

³ Vellay Ch. Les pamphlets de Marat. P., 1911; Марат Ж.-П. Памфлеты. М., 1933.

⁴ См.: Марат Ж.-П. Избранные произведения. Т. 1—3. М., 1956. Сост. В. П. Волгин и А. З. Манфред. Вступительная статья А. З. Манфреда «Жан-Поль Марат и его произведения» (перепеч. в кн.: Манфред А. З. Очерки истории Франции XVIII — XX вв. М., 1961).

ра; сочинения Робеспьера ни разу до тех пор не издавались на русском языке ¹.

А. З. Манфред был активным и страстным участником не утихающих в советской и мировой историографии дискуссий о Робеспьере. В 1958 году, во время празднования двухсотлетия со дня рождения этого выдающегося революционера, он выступил с блестящим докладом «Споры о Робеспьере» ². К этому же юбилею был издан отдельной брошюрой краткий биографический очерк о Робеспьере, написанный А. З. Манфредом. В 1955 году на втором международном коллоквиуме по истории Великой французской революции, проходившем во время XII Международного конгресса исторических наук, он выступил с докладом «Робеспьер в русской и советской историографии» ³.

Эти споры об оценке Робеспьера неразрывно связаны с дискуссией об оценке якобинизма. Не подлежит сомнению, что А. З. Манфред неизменно отстаивал ту оценку якобинизма, которой придерживался В. И. Ленин. Он хорошо понимал, что якобинцы занимают совершенно особое место в истории мирового революционного движения. «Я их ставлю ужасно высоко, — говорил А. И. Герцен устами одного из своих персонажей, — таких людей больше нет. Должно быть, на людей бывает урожай, как на виноград. Кажется, условия те же, а один год... вино лучше — говорят, от кометы. В Англии комета на людей была во время Кромвеля, а у нас — в конце XVIII века. И заметьте, что люди этих двух сгус * похожи друг на друга. Пуритане, доканчивавшие свой век в Швейцарии и Голландии, сильно сбились на старых якобинцев... Они страдали, были в тягость другим, были просто не на месте. Дело в том, что они в сущности были моложе внучат... Как сохранили эти люди свежесть души, своего рода наивность и веру — это потерянный секрет... Седой, пожелтелый старик, едвадвигающий ноги, а туда же, как влюбленный

¹ См.: *Робеспьер М.* Избранные произведения. Т. 1—3. М., 1965. Сост. и автор вступительной статьи А. З. Манфред.

² Манфред А. З. Споры о Робеспьере // Вопросы истории. 1958. № 7 (перепеч. в кн.: Манфред А. З. Очерки истории Франции XVIII — XX вв.).

³ См.: Новая и новейшая история. 1966. № 2; см. фр. текст доклада в: Actes du colloque Robespierre (XII congrès international des sciences historiques. Vienne, 1965). Р., 1967.

* Почв, местностей (фр.).

мальчик, хранит свои святыни, имеет... свои заветные слова, от которых в семьдесят, в восемьдесят лет их глаза горят и голос дрожит... Их жиденские наследники скучали с ними, думали, что они позируют; а этот поднятый тон происходил просто оттого, что душа их была поднята и привыкла гордо хранить свое убеждение в тяжелое время»¹. Такое отношение к якобинцам от Герцена и русских революционеров XIX века перешло к Ленину и большевикам. Этой традиции следовал и А. З. Манфред, превосходно чувствовавший неувядаемый аромат исторической эпохи. Он никогда «не скучал» с Робеспьером и якобинцами и постоянно обращался к страницам истории революции².

Другой темой, всегда вызывавшей интерес у историка, была внешняя политика Франции. В 1947 году в «Вопросах истории» была опубликована его статья «Из предыстории франко-русского союза», показывавшая, как далеко продвинулся А. З. Манфред в изучении внешней политики Третьей республики в последней трети XIX века. В 1950 году он защитил докторскую диссертацию на тему «Внешняя политика Франции от Франкфуртского мира до союза с Россией (1871—1891)»³. Выступившие на защите в качестве оппонентов Е. В. Тарле, С. Д. Сказкин, Б. Е. Штейн — крупнейшие знатоки истории внешней политики дали весьма положительную оценку диссертации. Диссертация А. З. Манфреда была опубликована отдельной книгой в 1952 году⁴. В этой монографии автор использовал широкий круг уникальных архивных источников. В ней было дано наиболее полное для того времени изложение истории дипломатических отношений, приведших к заключению франко-русского союза.

К истории франко-русских отношений А. З. Манфред неоднократно возвращался и после опубликования

¹ Герцен А. И. Соч. Т. 8. М., 1958. С. 497—498.

² См.: Манфред А. З. Великая французская революция XVIII в. и современность (к 175-летию революции) // Новая и новейшая история. 1964. № 4; Он же. О природе якобинской власти // Вопросы истории. 1969. № 5.

³ В том же году была опубликована статья А. З. Манфреда «Русско-французские отношения после Франкфуртского мира (1870—1872 гг.)» — одна из наиболее интересных глав его диссертации (см.: Вопросы истории. 1950. № 6; перепеч. в кн.: Манфред А. З. Очерки истории Франции XVIII — XX вв.).

⁴ См.: Манфред А. З. Внешняя политика Франции 1871—1891 годов. М., 1952.

этой монографии. Его особенно интересовали культурные связи между Россией и Францией — тема, которая не получила подробного освещения в книге. Многочисленные материалы по этому вопросу, обнаруженные А. З. Манфредом в советских архивах, были использованы им в интересной и содержательной статье «К истории русско-французских культурных связей 70—80-х годов XIX в.»¹, которая была опубликована в 1961 году.

А. З. Манфред был одним из пионеров в области изучения истории франко-советских отношений. Этой теме он посвятил много статей и докладов². Под его руководством были подготовлены специальные исследования по истории франко-советских отношений в 20—30-х годах XX века. Исследования и статьи А. З. Манфреда по проблемам русско-французских и советско-французских отношений были опубликованы в 1967 году в книге «Традиции дружбы и сотрудничества»³.

Великой французской революцией и внешней политикой Франции отнюдь не исчерпывался круг проблем новой истории Франции, которыми занимался А. З. Манфред. Ему принадлежит большая заслуга в исследовании истории первой пролетарской революции — Парижской Коммуны. Еще в 1941 году была опубликована его первая статья, посвященная истории Коммуны. Глава о Парижской Коммуне была помещена в учебнике новой истории для высшей школы. В связи с 90-летием Парижской Коммуны А. З. Манфред написал интересный этюд, посвященный первым десяти дням революции 1871 года⁴, где он одним из первых дал содержательную и оригинальную оценку деятельности центрального комитета Национальной гвардии.

Он принял активное участие в качестве одного из основных авторов и редакторов в подготовке коллективного двухтомного труда, посвященного 90-летию Париж-

¹ См.: Французский Ежегодник. 1959. М., 1961 (перепеч. в кн.: *Манфред А. З. Очерки истории Франции XVIII — XX вв.*).

² См.: *Манфред А. З. Некоторые вопросы франко-советских отношений в период 1917—1957 гг.* // Французский Ежегодник. 1958; *Он же. К истории франко-советского договора о взаимной помощи 1935 г.* // Французский Ежегодник. 1961. М., 1962.

³ См.: *Манфред А. З. Традиции дружбы и сотрудничества: Из истории русско-французских и советско-французских связей.* М., 1967.

⁴ См.: *Манфред А. З. Историческое значение и традиции Парижской Коммуны* // Новая и новейшая история. 1961. № 2.

ской Коммуны. Он обобщал и подводил итоги всего того, что было сделано советскими историками в изучении исторического опыта Коммуны¹. А. З. Манфред был ответственным редактором, а также автором ряда глав коллективного труда, вышедшего в 1971 году к 100-летию Коммуны².

Еще в 20-х годах А. З. Манфред начал заниматься историей французского социалистического и рабочего движения после Коммуны. На эту тему он опубликовал ценную статью «Французское революционное движение после Парижской Коммуны и Н. Г. Чернышевский»³. К этим проблемам он возвращался неоднократно. В коллективном исследовании «Первая русская революция 1905—1907 гг. и международное революционное движение» ему принадлежал содержательный этюд о влиянии первой русской революции на подъем революционного движения во Франции.

Но была одна тема в истории французского социализма, которая привлекала А. З. Манфреда на протяжении всей его научной деятельности, — о роли и значении Жана Жореса. Если из исторических деятелей Франции XVIII века его интересовал Максимилиан Робеспьер, то в XX веке его привлекала фигура Жана Жореса. В 30—40-х годах в советской историографии была распространена чисто негативная оценка Жореса. Тезису о «сплошном оппортунизме» II Интернационала соответствовало положение о «сплошном реформизме» Жореса. В 1944 году, к тридцатой годовщине убийства Жореса, в «Историческом журнале» был опубликован первый этюд А. З. Манфреда, в котором он оспаривал эту точку зрения⁴. Статья эта в рукописи была прочитана и одобрена Морисом Торезом.

В последующие годы А. З. Манфред неоднократно, все с той же убежденностью возвращался к этой теме⁵.

¹ См.: Парижская Коммуна 1871 г. Т. I — II / Под ред. Э. А. Желубовской, А. З. Манфреда, А. И. Молока, Ф. В. Потемкина. М., 1961.

² См.: История Парижской Коммуны 1871 года. М., 1971.

³ См.: Из истории социально-политических идей: Сборник статей к 75-летию академика В. П. Волгина. М., 1955 (перепеч. в кн.: Манфред А. З. Очерки истории Франции XVIII — XX вв.).

⁴ Исторический журнал. 1944. № 9.

⁵ См.: Манфред А. З. Жан Жорес — борец против реакции и войны // Новая и новейшая история. 1959. № 5; см. также его вступительную статью в сб.: Жорес Ж. Против войны и колониальной политики. М., 1961.

В то время как многие французские политические деятели, в том числе и деятели социалистического движения того периода, на своем жизненном пути эволюционировали слева направо, Жорес, утверждал он, был редким исключением: он шел справа налево. Эта линия особенно ярко проявилась в последние годы его жизни, когда Жорес как бы воплощал в себе волю не только французского, но и европейского рабочего класса в его стремлении противодействовать милитаризму и войне. Голос Жореса, так убежденно звучавший под сводами Базельского собора на последнем, предвоенном конгрессе II Интернационала, продолжает звучать и в наши дни. Об этом написал А. З. Манфред в яркой статье, посвященной памяти Жореса и опубликованной в связи с пятидесятилетием со дня его убийства ¹.

А. З. Манфреда давно занимала тема Наполеона, но до поры до времени историк как-то обходил ее. Лишь однажды в Исторической энциклопедии ² он опубликовал небольшой очерк о Наполеоне. Возможно, его удерживало от публикации по данной теме наличие широко известной книги Е. В. Тарле. В 1969 году в последних номерах журнала «Новая и новейшая история», а также в томе «Французского Ежегодника» были напечатаны главы из подготовляемой А. З. Манфредом монографии о Наполеоне ³, а в 1971 г. вышла книга «Наполеон Бонапарт» ⁴. В советской исторической науке А. З. Манфред был признан, и вполне заслуженно, талантливым мастером исторического повествования. В этой работе в полной мере проявилось все исключительно яркое научное и литературное дарование историка. Написанная увлеченно, страстно, в лучших традициях советской исторической науки, эта монография не оставила равнодушным читателя. Она принесла автору огромную популярность. По оценкам советской и зарубежной научной печати, это была самая блестящая работа А. З. Манфреда.

¹ См.: Голос Жореса // Новый мир. 1964. № 8.

² В этой энциклопедии, а также в двух изданиях Дипломатического словаря (1948 и 1960 гг.) напечатан ряд статей А. З. Манфреда.

³ См.: Манфред А. З. Итальянский поход Бонапарта в 1796—1797 годах // Новая и новейшая история. 1969. № 5 и 6; Он же. Египетский поход Бонапарта // Французский Ежегодник. 1969. М., 1971.

⁴ См.: Манфред А. З. Наполеон Бонапарт. М., 1971 (1 изд.); М., 1973 (2 изд., доп.).

Свидетельство тому — обширная корреспонденция (свыше 500 писем), полученная ученым и сохранившаяся в его архиве. Среди полученных автором откликов были письма наших крупнейших писателей, видных дипломатов, ученых, историков, письма рядовых читателей — педагогов, врачей, рабочих, воинов, студентов, дававших о книге самые восторженные отзывы. Эта книга широко известна и зарубежному читателю: она переведена во многих европейских странах.

Монография «Наполеон Бонапарт» открыла как бы новую страницу в творческой биографии А. З. Манфреда. Эта книга и последующие работы А. З. Манфреда свидетельствовали о ярком расцвете его научного творчества. В 1975 году появилась капитальная монография А. З. Манфреда «Образование русско-французского союза». В ней с присущей А. З. Манфреду тщательностью и требовательностью к себе были подведены итоги его тридцатилетней работы по изучению внешней политики Франции в последней трети XIX века. В книге использованы богатейшие материалы из Архива внешней политики России. Он привлек также — и в этом ему оказал содействие крупнейший специалист по истории международных отношений Пьер Ренувен — архивы французского министерства иностранных дел и даже такой труднодоступный фонд, как архив второго отдела французского Генерального штаба. За три десятилетия упорных поисков через руки Манфреда прошли тысячи, а возможно, и десятки тысяч дипломатических документов. Нельзя не отметить того мастерства, того, можно сказать, изящества, с которым ученый сумел изложить сложнейшую, запутанную историю международной политики конца XIX века, нисколько не загромождая своего изложения и ясно, отчетливо выявляя основные линии развития. Наряду с исследованиями С. Д. Сказкина и В. М. Хвостова эта книга вошла в золотой фонд лучших советских исследований по истории международных отношений.

Сосредоточившись на истории Франции конца XIX века, А. З. Манфред не оставлял свой излюбленный, говоря словами Радищева, «осьмнадцатый век». Специалисты по истории Франции были приятно поражены, когда в 1974 году А. З. Манфред выступил с блестящим докладом, а затем и со статьями о молодом Рус-

со¹. Жан-Жак Руссо давно привлекал внимание историка, и это было совершенно естественно. Ведь Руссо был властелином дум передовых людей XVIII века, и особенно его любимого героя — Максимилиана Робеспьера. На письменном столе А. З. Манфреда можно было часто увидеть произведения Руссо. Во время одной из поездок во Францию он посетил Эрменонвиль, где был похоронен Руссо, и это посещение произвело на него глубочайшее впечатление. Только что закончив сложнейшее исследование о Наполеоне, А. З. Манфред сумел в кратчайший срок перейти к разработке новой важной темы — о Руссо, обнаружив при этом и глубокую эрудицию, и оригинальный подход. Работа о Руссо была написана с тем же блеском и мастерством, которые свойственны монографии «Наполеон Бонапарт». О Руссо А. З. Манфред намеревался написать большую книгу, но осуществить этот замысел он уже не смог.

Был еще один деятель Великой французской революции, биография которого была предметом постоянных раздумий историка. Он не скрывал своего желания написать о Мирабо. Это была трудная задача, тем более что до сих пор в русской и советской литературе никто не решался взяться за эту тему.

Так сложился замысел новой книги. Первоначально А. З. Манфред собирался включить в нее и портреты менее известных персонажей, например первого генерала-плебея, участника всех великих революционных дней, потрясавших Париж в 1789—1792 годах, рабочего-ювелира Жана Россиньоля. Вызывал его интерес и Пьер-Франсуа Реаль, вероятно парадоксальностью своей судьбы. Помощник прокурора-синдика Парижа в 1793 году Шометта, защитник Бабефа на Вандомском процессе, он стал любимцем Наполеона, графом империи и одним из руководителей бонапартистской полиции. Но постепенно замысел уточнялся. В книге должны были остаться только те деятели, которые воплощали революцию в ее ранних, неясных зорях, в ее подъеме и, наконец, в ее расцвете и кризисе. Так родилась книга «Три портрета эпохи Великой французской революции», с которой читатель знакомится уже после кончины ее автора.

Первая часть книги посвящена молодому Руссо, че-

¹ См.: Манфред А. З. Молодой Руссо // Новая и новейшая история. 1974. № 4 и 5.

ловеку, оказавшему глубокое влияние на возникновение революции, на идеологию ее наиболее видных демократических деятелей. Вторая часть книги — подъем революции — рассказывает о Мирабо. Читатель убедится, с каким блеском воссоздал ученый исторический портрет этого человека, к громовому голосу которого в 1789 году прислушивалась вся Франция, два года спустя потрясенная и возмущенная «великой изменой графа Мирабо» (*la grande trahison du comte Mirabeau*). Историк ничего не скрыл, ничего не утаил в повествовании о молодости «дикого барина», как чрезвычайно метко он определил Мирабо, применив тургеневский эпитет (Тургенев, кстати, принадлежал к числу любимейших писателей А. З. Манфреда, которого он часто и охотно перечитывал). Он сумел объяснить и ту роль, которую Мирабо довелось сыграть и при открытии Генеральных штатов, и в первые месяцы существования Национального собрания. С тем же мастерством он изложил и «падение» Мирабо. Вторая глава книги «Три портрета эпохи Великой французской революции», по нашему глубокому убеждению, относится к лучшим страницам литературного наследия А. З. Манфреда.

Третью часть этой книги — расцвет и трагический закат революции — историк, естественно, связал с именем Максимилиана Робеспьера, деятельность которого он так долго и с таким глубоким пониманием изучал. Споры о Робеспьере велись и ведутся с непрекращающимся ожесточением вот уже почти два века. Мы уже отмечали, что в этих спорах А. З. Манфред был на передовой линии, в первых рядах убежденных защитников Робеспьера.

В третьей части книги ученый подводит итоги своих многолетних исследований биографии и исторической роли Робеспьера, внося при этом много нового. Особый интерес представляет заключительный раздел главы о Робеспьере. Вникнуть в духовный мир Робеспьера, вжиться в его образ, понять причины, заставлявшие его действовать, — задача необычайно сложная. Может быть, только Ромен Роллан, долгие годы не решавшийся написать последнюю часть цикла своих пьес, посвященного революции, лучше других понимал драму Робеспьера¹. А. З. Манфред предложил новое толкование по-

¹ См.: Мотылева Т. Л. Трагедия Ромена Роллана «Робеспьер» // Французский Ежегодник. 1972. М., 1974.

ведения Робеспьера в последние недели его жизни. Это толкование еще не является общепризнанным, о нем, возможно, будут спорить. Но, на наш взгляд, оно весьма правдоподобно, основано на глубоких многолетних размышлениях о тех мотивах, которые определяли поведение Робеспьера.

Мы не имеем здесь возможности охарактеризовать всю большую научную и популяризаторскую деятельность А. З. Манфреда, завершением которой явились «Краткая всемирная история» в двух томах и трехтомная «История Франции», ответственным редактором которых он был, а также его работы в области историографии¹. Наш очерк был бы неполным, если бы мы не упомянули об активной организаторской работе ученого и его деятельности по воспитанию научных кадров. На протяжении ряда лет он был председателем Ученого совета по всеобщей истории в Институте истории Академии наук СССР и заведующим сектором новой истории западноевропейских стран, работу которого он поднял на большую высоту.

Крупнейшие заслуги принадлежали А. З. Манфреду в деле установления и укрепления научных связей между советскими и французскими историками. Он был активнейшим участником почти всех коллоквиумов историков обеих стран (1958 год — Париж, 1961 год — Москва, 1965 год — Париж, 1969 год — Ереван, 1973 год — Москва, 1976 год — Париж и Дижон). А. З. Манфред явился инициатором создания группы по истории Франции при Институте истории Академии наук СССР (с 1963 года, после кончины В. П. Волгина, он был ее председателем) и «Французского Ежегодника». А. З. Манфред был одним из организаторов созванной в 1969 году в Москве конференции «Ленин и история Франции», в которой наряду с советскими историками приняли участие Ж. Дюкло, Ж. Брюа, А. Собуль, К. Виллар и др. При его активном участии к XIII Международному конгрессу историков были изданы (в Париже и в Москве) два сборника «Век Просвещения»

¹ Отметим кроме работ, названных раньше, талантливую характеристику Е. В. Тарле (см.: Из истории общественных движений и международных отношений. М., 1957). См. также: Манфред А. З. Академик Евгений Викторович Тарле (1875—1975) // Вестник Академии наук СССР. 1976. № 3; Он же. Талант историка (К столетию со дня рождения академика Е. В. Тарле) // Комсомольская правда. 1975. 12 нояб.

и «Франко-русские экономические связи»¹, в которых сотрудничали советские и французские историки. В редколлегию этих сборников входили с французской стороны Фернан Бродель, Роже Порталь и Марк Ферро, с советской — А. А. Губер и А. З. Манфред². А. З. Манфред был активнейшим деятелем и членом президентского совета общества «СССР — Франция». На XIV Международном историческом конгрессе он был избран одним из трех почетных председателей международной комиссии по истории Великой французской революции (при международном историческом комитете).

Почетный доктор Клермон-Ферранского университета, А. З. Манфред пользовался большим авторитетом среди широкого круга французских историков.

А. З. Манфред никогда не был чисто кабинетным ученым. Его страстные публицистические статьи нередко появлялись в центральной партийной печати.

Разносторонние знания и высочайшая духовная культура, любовь к исторической науке, тонкий и пытливый ум ученого в сочетании с ярким литературным талантом завоевали А. З. Манфреду исключительно почетное место в нашей науке.

Десятки и сотни тысяч читателей «Трех портретов» еще раз испытают радость встречи с любимым автором. Но они ощутят и горькое сожаление при мысли о том, что эта книга является последним произведением блестящего и необыкновенно талантливого историка.

В. Далин

16 февраля 1977 года

¹ Век Просвещения. Сборник статей. М., 1970; Франко-русские экономические связи. М., 1970 (An siècle les lumières. P., 1970; La Russie et l'Europe du XVI au XX siècles. P., 1970).

² Под редакцией и с предисловием А. З. Манфреда вышел перевод ряда значительных монографий французских историков, в том числе А. Собуля «Парижские санкюлоты во время якобинской диктатуры» (М., 1966) и «Первая республика» (М., 1974), К. Виллара «Социалистическое движение во Франции 1893—1905 (Гедисты)» (М., 1969), М. Шури «Коммуна в сердце Парижа» (М., 1970), а также воспоминания Э. Эррио «Из прошлого» (М., 1958). Незадолго до кончины А. З. Манфреда вышел первый том «Социалистической истории Французской революции» Жана Жореса (М., 1976) под его редакцией и с его предисловием.

Должно быть, первое, о чем вспомнит читатель, пробежав глазами название этой книги, будет рассказ И. С. Тургенева «Три портрета». Мне придется разочаровать и огорчить читателя: книга, с которой он познакомится, далека и по содержанию, и по письму от этого пленительного рассказа непревзойденного мастера русской художественной прозы.

В книге речь пойдет о другом. С давних пор, с юношеских лет, и на протяжении всей своей жизни я всегда проявлял большой и, можно сказать, возраставший с годами интерес к проблемам Великой французской революции 1789—1794 гг. Мне довелось в разное время написать по этим проблемам разного рода сочинения: и специальные работы, и работы более общего, концептуального характера, и книги, посвященные отдельным страницам истории той эпохи.

Если у читателя возникнет вопрос, каково же содержание моей новой монографии, то ответ он найдет в заголовке, — это книга о Великой французской революции XVIII века.

Но ведь и тему революции можно объяснить по-разному.

В последнее время у меня появилась склонность — мне нелегко сказать, хорошо это или плохо, не мне судить — раскрывать внутреннее содержание больших общественных процессов, к которым относятся и революции, через изображение отдельных их деятелей. Вероятно, с равным правом освещать эту тему на примере отдельных человеческих судеб можно, говоря и о роли людей, которые стояли во главе революционного процесса, и о роли тех, которые были его рядовыми участниками. И те и другие имеют одинаковое право на внимание. Следует, однако, признать, что о вторых — о рядовых революции писать труднее, чем о тех, кого относят к числу руководителей. И хотя со времени известных романов Эркмана-Шатриана, Вик-

тора Гюго, Оноре де Бальзака, Анатоля Франса, Романа Роллана уже существует значительная литература о рядовых революции, справедливость требует констатации, что она, эта литература, решена главным образом в плане художественного изображения. Романист-художник обладает бóльшим, чем историк, правом на неограниченный домысел. И тот же профессиональный подход историка, который в своей работе ограничен документальным материалом, не позволяет ему становиться на почву художественного вымысла. Историк всегда связан тем неопровержимым, точным документальным материалом, на который он может опереться. Именно необходимость считаться с историческими материалами, находящимися в распоряжении исследователя, и предопределяет выбор героев. О рядовых революции слишком мало сведений, слишком мало документальных, достоверных данных. О людях, стоявших во главе большого исторического процесса, материалов неизмеримо больше. Здесь историк жалуется скорее на изобилие документов, чем на их ограниченность.

Собственно, одного этого было бы достаточно, чтобы оправдать и объяснить, почему историки, наши предшественники, наши современники, пишут обычно о вождях, о руководителях, а не о рядовых. К сказанному надо добавить, что и позиция лидера — или вождя, или руководителя, называйте его как угодно, это не меняет сущности дела — дает известные преимущества. Иногда в одном лице как бы персонифицированы более общие процессы. Порою, рассматривая бурные события эпохи «снизу» и одновременно «сверху», с той вышки, на которую ход событий поставил того или иного человека, вы начинаете лучше постигать содержание эпохи.

Наверно, можно привести и другие аргументы в пользу этого метода. Но, пожалуй, нужно дать возможность читателю самому судить о его преимуществах или недостатках, не навязывая предварительно авторского мнения. Я ограничусь поэтому краткими общими соображениями и объясню лишь, почему в книге оказались три портрета, освещающие одну и ту же историческую эпоху.

Этот триптих не случаен. Первый портрет посвящен молодому Жан-Жаку Руссо. Это заря революции, ее предшествование; она еще не настала, лишь брезжит рассвет. В образе молодого Руссо, Руссо, еще не став-

шего ни знаменитым, ни мудрым писателем, мне хотелось показать, как пробивался рассвет наступающего, завтрашнего дня. Следует также объяснить, почему не показан полностью Руссо таким, каким он вошел в историю. Эта тема настолько велика, многогранна и сложна, что она требует специального, только одному Руссо посвященного сочинения. В рамках данной работы это невозможно сделать по многим причинам, начиная с соображений о месте и времени. В дальнейшем повествовании Руссо действует уже как бы за сценой, но в каждой из глав читатель будет чувствовать косвенное, в том числе и посмертное, влияние Руссо.

Второй портрет посвящен одной из самых спорных фигур революции — Габриэлю Оноре Мирабо. Сложилось так, что в нашей стране о Мирабо по-настоящему никогда не писали. Этот яркий, внутренне противоречивый образ в наиболее полной мере представляет ранние часы революции. Мирабо вошел в историю как деятель начального этапа революции. Его имя неотделимо от ее первых дней. Мирабо — герой 1789 года; за пределами этого года слава знаменитого трибуна начнет тускнеть, блекнуть. Его преждевременная смерть в апреле 1791 года не могла предотвратить осуждения его последующими поколениями. И все-таки, несмотря на все превратности его необыкновенной судьбы, Мирабо остался в истории, и это имя требует своего объяснения.

И наконец, третий портрет — портрет Максимилиана Робеспьера. Максимилиан Робеспьер — это полдень, это революция, достигшая своей зрелости, зенита и после его гибели пошедшая по ущербному пути упадка. О Робеспьере написаны сотни книг, тысячи статей. Споры вокруг его имени не стихают почти двести лет. И все-таки в самом облике этого человека, дожившего всего до тридцати шести лет, остается так много значительного, важного, сложного, что он до сих пор продолжает привлекать внимание.

Автор пытался дать в этих трех портретах свое понимание эпохи Великой французской революции XVIII века. Эта эпоха была трагедийной. Трагедийной прежде всего для ее руководителей и героев, которые надеялись на то, что они творят великую революцию, преобразующую человеческий род, призванную привести общество к идеальному, золотому веку справедливости, свободы и равенства. На деле же, независимо от

их сознания и воли, она стала буржуазной революцией, реальным содержанием которой был переход от изжившего себя феодального способа производства к новому, более прогрессивному в ту эпоху капиталистическому способу производства и соответственно к новому, буржуазному строю.

Могли ли тогда понять реальное содержание этого исторического процесса его участники? Оно оставалось для них недоступным. Они жили в мире идеальных и идеализированных представлений, и грубое несоответствие действительности тем ожиданиям, которые возлагались на этот будущий строй, с неотвратимостью вело этих людей общественного идеала к крушению и гибели.

О содержании, о достижениях, о трагедии Великой буржуазной революции XVIII века, раскрываемой через образы трех исторических деятелей той эпохи, и рассказывается в этой книге.

МОЛОДОЙ РУССО

I

Когда произносят имя Жан-Жака Руссо, нам обычно представляется убеленный сединой мятежный скиталец, отягощенный мировой славой, не имеющей для него никакой цены, аскет и отшельник, одинокий мечтатель, озабоченный завтрашним днем человечества, лишенный в дне сегодняшнем крова над головой и друзей, которым мог бы довериться.

Зрительно чаще всего нам приходит на память образ Жан-Жака таким, как его запечатлел Бернарден де Сен-Пьер в литературном портрете, много раз переиздававшемся¹. Он встретился с тем, кого называл своим учителем, незадолго до его смерти. То был еще подвижный, худой, невысокого роста старик; одно его плечо было выше другого, вероятно из-за долголетней работы по переписке рукописей; у него было бледное, изможденное, в глубоких морщинах лицо, высокий лоб — тоже весь в морщинах, и на этом болезненном старческом лице большие горящие глаза. Наверно, Бернарден де Сен-Пьер с большим приближением к правде воспроизвел образ своего учителя.

Но ведь осталось в прошлом и такое время, когда не было ни морщин, ни славы; не было ничего; занималось утро; был только завтрашний день; все начиналось. И молодой Руссо, полный жизненных сил, доверчивый, улыбающийся, был совсем не похож на беспокойно оглядывающегося, ушедшего от людей отшельника — затравленного оленя, настороженно всматривающегося в подстерегавшую его со всех сторон темноту. Так что же произошло? Как совершилось это удивительное, словно в сказке о заколдованном принце, превращение? Почему этот молодой, беззаботно распеваящий

веселые песенки странник стал заколдованным оленем, хоронящимся в дремучем лесу от людей?

Эти недоуменные вопросы можно продолжить. В реальной биографии Жан-Жака Руссо все было еще сложнее. Ведь уход из мира, бегство от людей произошли не потому, что он был не понят или, хуже того, отвергнут современниками. Напротив, пожалуй, ни один французский писатель не пользовался при жизни такой широкой известностью; быть может, только Вольтер мог бы оспорить у Руссо лавровый венец славы. Но и то, надо признать, для поколений молодых, для двадцатилетних, вступавших в жизнь, властителем дум, Учителем с большой буквы был не фернейский патриарх, а «наш Жан-Жак», как с любовью называли они автора «Общественного договора».

Ни одно другое имя не было окружено уже в XVIII веке таким ореолом славы, как имя Руссо. Он был самым знаменитым писателем Франции, Европы, мира. Все, что сходило с его пера, немедленно издавалось и переиздавалось, переводилось на все основные языки; его читали в Париже и Петербурге, Лондоне и Флоренции, Мадриде и Гааге, Вене и Бостоне. Все искали знакомства с прославленным писателем: государственные деятели, ученые мужи, дамы высшего света. То была слава всемирного признания, и уже ничто не могло ее поколебать или убавить.

А он пренебрег этой славой: она ему ни к чему. «Мне опротивел дым литературной славы», — говорил он в конце жизни. Другие превращали славу в деньги, в поместья, в дворянские титулы; вспомните Бомарше, того же Вольтера. Для Руссо ни деньги, ни поместья, ни титулы не имели цены: они ему были не нужны. И слава была ему не нужна; быть может, он даже ее не замечал, не чувствовал; он был погружен в свои невеселые мысли.

Так почему же, несмотря на всеобщее признание, Руссо вступил в конфликт с этим признавшим его обществом? Почему он бежал от него, стал затворником?

Не следует ни преуменьшать, ни смягчать остроту конфликта. Можно ли забыть строки, записанные Руссо на оборотной стороне игральных карт в последний год жизни: «Они вырыли между мною и ими огромную пропасть, которую уже ничем нельзя ни заполнить, ни

преодолеть, и я теперь, на весь остаток моей жизни, отделен от них так же, как мертвые от живых»².

А это строки из последней книги Руссо «Прогулки одинокого мечтателя», оставшейся недописанной, — работу над ней оборвала смерть: «И вот я один на земле, без брата, без ближнего, без друга — без иного собеседника, кроме самого себя». Это трагедия Робинзона на необитаемом острове? — спросит иной читатель. Новый вариант коллизии, созданной Даниелем Дефо? Нисколько, напротив. Трагедия одиночества Жан-Жака возникла на земле, густо заселенной людьми; это люди обрекли его на одиночество. С первых же строк Руссо вносит в это полную ясность: «Самый общительный и любящий среди людей оказался по единодушному согласию изгнанным из их среды...

Все кончено для меня на земле. Тут мне не могут причинить ни добра, ни зла. Мне не на что больше надеяться и нечего бояться в этом мире, и вот я спокоен в глубине пропасти, бедный смертный — обездоленный, но бесстрастный, как сам бог»³.

К этим горестным словам нечего прибавить. Они лишь требуют объяснений, почему человек мог дойти до такой степени отчаяния. Впрочем, этим не исчерпываются труднообъяснимые парадоксы биографии Руссо. Естественно возникают новые недоуменные вопросы.

Как объяснить, что этот индивидуалист, анахорет, сторонившийся людей, укрывавшийся от них в потайных убежищах, стал в своей второй, посмертной жизни вождем и учителем восставших против феодального мира народных масс? Как совместить образ одинокого, чужающегося людей скитальца, каким знали Руссо при жизни, и почти титаническую фигуру идеолога величайшей из революций той эпохи, непререкаемого авторитета самых смелых, самых решительных ее борцов — якобинцев?

Эти лежащие на поверхности противоречия очевидны для всех. Есть и иные противоречия, связанные с его творчеством, с его идейным наследством; может быть, они менее заметны, но заслуживают такого же внимания.

Руссо считают, и с должным основанием, родоначальником или, скажем осторожнее, одним из основоположников того направления в художественной литературе, которое принято называть сентиментализмом. Под

этим термином обычно понимают то увлечение чувствительностью, которое было характерно для ряда писателей XVIII столетия: Гольдсмита, Т. Грея, Лоренца Стерна в Англии, аббата Прево, Жан-Жака Руссо, Бернардена де Сен-Пьера во Франции, Н. М. Карамзина, И. И. Дмитриева в России и т. д.

Но ведь Руссо, которому и в самом деле была присуща повышенная чувствительность и в творчестве и в повседневной жизни, о чем он сам поведал на страницах «Исповеди», — Руссо в то же время в странном противоречии с этой смягченной и смягчающей, нередко омытой слезами чувствительностью был писателем и мыслителем, вдохновлявшим суровых людей 93-го года на беспримерные подвиги, неукротимую энергию действия. Общепризнанный глава и самый авторитетный представитель сентиментализма в литературе стал идейным и духовным вождем революционной диктатуры якобинцев, железной рукой ввергавшей в небытие всех, кто пытался встать на ее пути. Некоторые авторы были склонны даже драматизировать ситуацию. Так, Альбер Менье пытался, по контрасту, сопоставить образ Жан-Жака, невинно срывающего в саду цветы, с палачом Сансоном, отрубаящим головы жертвам гильотины⁴. Само это сопоставление насильственно и тенденциозно. Но противоречие действительно очевидно.

Как его объяснить? Как совместить эти два столь разных начала? Логика рассуждений закономерно подсказывает и другие недоуменные вопросы.

Ведь идейное наследие Руссо, его мысли, его заветы стали политическими скрижалями не только для якобинцев, но и для дореволюционного Мирабо, а позже для жирондистов — не всех, но по крайней мере некоторых из них, наиболее заметных: Манон Ролан, этой «Жюли жирондизма», ее друга и влиятельного политика Бюзо, лидера Жиронды Пьера Бриссо. А ведь эти две группировки, выступавшие вначале как союзники против общего противника, вскоре стали врагами столь непримиримыми, что их вражду могла утолить только смерть. И жирондисты, предавшие революционному трибуналу, несмотря на депутатскую неприкосновенность, Жан-Поля Марата, а затем убившие его кинжалом Шарлотты Корде, и якобинцы, отправившие на эшафот жирондистских депутатов, — те и другие взывали к памяти и брали защитником своих действий великого учителя — Жан-Жака Руссо.

Как объяснить эти рожденные и самой жизнью, и идейным наследием Руссо противоречия? И разве они на этом кончаются? Разве не напрашиваются новые недоуменные вопросы? Наконец, — и это, быть может, важнее всего — следует задуматься над тем, почему не только при жизни, но и десятилетия, даже столетия спустя после смерти Руссо его имя продолжало вызывать ожесточенные споры.

В 1781 году, вскоре после кончины писателя, когда на его могиле на Тополином острове, в Эрменонвиле, было установлено каменное надгробие, двадцатилетний, еще никому не известный Фридрих Шиллер писал в потаенной тетради:

Монумент, возникший злым укором
Нашим дням и Франции позором,
Гроб Руссо, склоняюсь пред тобой!

Поэт осуждал мир «палачей» и «рабов христовых», погубивших мудреца «за порыв создать из них людей»⁵. И это понятно: Шиллер втягивался в водоворот страстей, еще кипевших у могилы Жан-Жака.

Но когда и много лет спустя, в 1912 году, во времена Третьей республики, во Франции официально праздновалось двухсотлетие со дня рождения автора «Общественного договора», событие это неожиданно вызвало такой взрыв бешеной ярости в стане реакции, который невозможно было предвидеть. Даже в палате депутатов один из самых знаменитых парламентариев, Морис Баррес, глава националистической партии, защищавший ее воинствующую программу не столько речами, сколько романами, принесшими ему славу первого стилиста Франции, публично отмежевывался от чествования Руссо. Он видел в этом писателе прошлой эпохи опасного смутьяна, проповедника свободы, бунтаря, заражающего всех своей неудовлетворенностью, родоначальника революционных брожений. Стерг, министр просвещения, возражая Барресу, с должным основанием заметил, что автор трилогии «Le culte de Moi» («Култ моего Я») как певец индивидуализма обязан многим, вплоть до почти дословно повторенных фраз, творцу «Исповеди» и «Новой Элоизы».

Но за стенами палаты депутатов развязанная правыми силами открыто ненавистническая кампания против Руссо в связи с его юбилеем приняла самые разнузданные формы. Подогреваемая злобными инвективами поч-

ти классических мэтров литературной критики, вроде Ипполита Тэна или Жюль Леметра, поддерживаемых «Matin», «Le Temps» и всей прессой Больших бульваров, эта вражда к, казалось, уже забытому писателю XVIII века прорвалась с угрожающей откровенностью и грубостью. Официальное посещение Пантеона президентом республики Фальером для воздания почестей Руссо вызвало контрдемонстрацию реакционно-националистического сброда, готового переступить границы конституционной легальности.

Современники были поражены тем, что двухсот лет оказалось мало, чтобы погасить тлевшие под пеплом долгих десятилетий угли страстей, вражды, оставшихся от листков бумаги, написанных когда-то гусиным пером слабеющей рукой бедного «гражданина Женевы».

Я останавливаюсь на этом, чтобы не касаться совсем близкого к нам 250-летнего юбилея, отмечавшегося в 1962 году и снова пробудившего споры и страсти. Это завело бы нас слишком далеко...

II

Поздним летом 1742 года* в Париже в гостинице «Сен-Кентен», что на улице Кордье, вблизи Сорбонны (ныне ни гостиницы, ни даже улицы не сохранилось), поселился молодой человек, приехавший почтовым дилижансом из провинции. Его багаж был невелик; приезжий был беден и молод — эти два непеременимых свойства присущи всем молодым людям, прибывавшим каждую осень в столицу, чтобы завоевать великий город. Впрочем, молодость его была, по представлениям восемнадцатого столетия, уже на ущербе: ему минуло двадцать девять лет, лучшая пора осталась позади. Но этот недостаток восполнялся иным: у него были приятная внешность, хороший цвет лица, ровный, прочный загар, внимательный взгляд зорких, все замечающих глаз, хорошие манеры. Он был одет скромно, но все на нем сидело ладно и аккуратно. Что еще надо?

Он был не хуже других молодых людей, стремившихся выбиться из трясины нужды и неизвестности, — было бы за что зацепиться. Зацепок у нашего пришельца было немного: в кармане всего пятнадцать

* Руссо в «Исповеди» писал: 1741 год, но его письма и другие биографические материалы доказывают, что он ошибался.

луидоров; в небольшом сундучке ноты с записями нескольких музыкальных произведений; среди бумаг смелый проект коренной перестройки системы музыкальных обозначений и, наконец, несколько рекомендательных писем от вполне почтенных лиц из Лиона к столь же почтенным лицам в Париже.

Последнее — рекомендательные письма — и было главной ценностью прибывшего из провинции молодого человека. С их помощью Жан-Жак Руссо — ибо речь, как понятно, идет о нем — приоткрыл двери в недоступные ему дома парижских знаменитостей. Господин де Боз, секретарь Академии надписей и хранитель королевской коллекции медалей, к которому он явился с письмом аббата де Мабли, принял его ласково, пригласил обедать и познакомил со своими друзьями. В их числе был господин де Реомюр, известный французский физик, член Академии наук, прославивший свое имя изобретением термометра, употребляемым и в наши дни.

Все складывалось удачно. Руссо дебютировал в гостинных парижской знати как музыкант, ему легко устроили два урока композиции у состоятельных скушающих господ. Это дало на время устойчивый заработок. Самоучка, он и сам был не силен в теории, но его ученики были еще менее подготовлены к изучаемому ими предмету, и авторитет педагога-музыканта остался непоколебленным.

Реомюр ввел Руссо в Академию и дал ему возможность изложить перед специально созданной ею комиссией проект своей музыкальной реформы. В состав комиссии вошли известные ученые: де Меран, Элло и де Фуши. Первый из них был физиком и геометром, второй — химиком, третий — астрономом. При всей своей учености в музыке они ничего не понимали. Руссо тоже не был на высоте; он сам признавал, что из робости перед авторитетной комиссией излагал свои взгляды сбивчиво и неясно⁶. Проект, казавшийся ему по молодости лет неотразимым, был на самом деле крайне сомнительным: Руссо предлагал заменить нотные знаки цифровыми обозначениями.

В XVIII веке проектом смелого изобретения трудно было кого-либо удивить: в тот век все что-нибудь изобретали и предлагали. Все же члены ученой комиссии, хотя они и мало что понимали в музыке, обнаружили достаточно здравого смысла, чтобы отнестись к проекту

критически. Обе стороны не слушали и не вникали в возражения. Прения сторон напоминали диалог глухого с немым. Дело кончилось тем, что Академия наук выдала соискателю изобретения удостоверение, полное, по словам Руссо, «самых лестных комплиментов, среди которых можно было все же понять, что по существу она не признает... систему ни новой, ни полезной»⁷.

Изобретатель не сдался. Не без хлопот и не без издержек он опубликовал свое сочинение под названием «Диссертация о современной музыке». Успеха оно не имело.

У Руссо в ту пору был еще так силен задор молодости, что, несмотря на поражение, он сразу же, без пауз, сосредоточил всю свою энергию на овладении совершенно иным предметом — искусством шахматной игры. Он много раз встречался с Филидором и другими прославленными мастерами того времени, терпеливо и настойчиво рассчитывал варианты, старался постичь тайну теории шахмат. Он хотел достигнуть первенства в этом мудром искусстве и не жалел для этого ни времени, ни усилий. Все оказалось напрасным. Он так и не научился побеждать на доске в шестьдесят четыре клетки.

На Руссо снова надвигалась столь привычная с отроческих лет нищета. Ученики отпали, заработанные деньги были истрачены. В карманах пусто. На какие средства жить? Что делать? На что надеяться? Руссо не находил ответа на эти неотвратимо надвигавшиеся вопросы. Он снова чувствовал себя песчинкой в водовороте бушующего океана. На него нашло оцепенение. Он бродил по узким улочкам столицы, там, где он мог себя чувствовать незамеченным и незаметным — случайным прохожим, проезжим скитальцем в огромном городе. Часами он мог сидеть в маленьком сквере подле собора Нотр-Дам де Пари и смотреть, как прыгают по пыльной песчаной дорожке неутомимые воробьи, как медленно передвигаются на коротких красных лапках ленивые голуби, разыскивая что-то одним им видимое в придорожной пыли...

Что же будет дальше?

Один из его новых парижских друзей, человек в годах, иезуит отец Луи Бертран Кастель, чудака и музыкант, создавший оригинальную теорию, согласно которой семь нот музыкальной гаммы соответствуют семи цветам спектра, с тревогой наблюдавший за неудачами молодого дебютанта, однажды сказал Руссо: «Раз музы-

канты, раз ученые не поют в один голос с вами, перейдите на другую сторону и начните посещать женщин... В Париже можно добиться чего-нибудь только через женщин».

Кастель рекомендовал своего молодого друга баронессе де Безанваль и ее дочери маркизе де Бройль. У Жан-Жака не было выбора; он откладывал этот тяготивший его визит, но наконец скрепя сердце пошел к знатым дамам.

Его приняли ласково, к нему проявили внимание. Было очевидно, что Кастель представил его в самом выгодном свете. Но когда приблизилось время обеда, на который Руссо любезно пригласили, он понял, что ему хотят отвести место в буфетной вместе с прислугой. Его гордость плебей была возмущена, но он не стал объясняться. Сославшись на неотложные дела, он поднялся, чтобы откланяться. Дочь баронессы де Безанваль поняла допущенную ошибку: обе дамы настойчиво стали просить месье Руссо пообедать с ними. В конце концов он согласился, но за столом, еще не успев оправиться от пережитого унижения, был молчалив, угрюм, ненаходчив.

Все же после обеда он сумел восстановить нарушенное не в его пользу равновесие и на какое-то время привлечь к себе внимание: у него в кармане было написанное в Лионе стихотворение, он прочел его вслух; читал он мастерски. Дамы были взволнованы; ему показалось даже, что они плакали.

Через несколько дней о нем знал уже весь Париж. В этом приятном молодом человеке сразу же открыли множество талантов: было признано, что он превосходный поэт, вдохновенный музыкант, одаренный композитор, что он умен, много знает, что у него красивые глаза, сильные руки. У него замечали только достоинства.

Жан-Жак Руссо стал модой Парижа 1742 года, он был теперь нарасхват. Его приглашали в лучшие дома столицы.

Вскоре Руссо стал частым гостем в салоне госпожи Дюпен. Эта молодая дама слыла одной из самых богатых женщин Парижа. Морганатическая дочь финансового наперсника Людовика XV, крупнейшего богача Самюэля Бернара — Луиз-Мари-Маделен Фонтен стала женой королевского советника и главного откупщика Клода Дюпена, приумножившего свое состояние после того, как он объединил его с приданым своей жены.

Имя Дюпенов было известно не только в Париже. Еще и ныне путешественник, совершающий прогулку вдоль берегов Луары и ее притоков, обозревая великолепные замки, встречающиеся на его пути, не может не залюбоваться как бы нависшим над водной гладью, изумительным по своей монументальности и в то же время легкости замком Шенонсо. Гид, сопровождающий путников по гулким галереям и залам этого старинного здания, сооруженного еще в XVI столетии, перечисляя его прежних владельцев и обитателей, почтительно назовет и имя госпожи Дюпен. Двести лет назад, в летние месяцы, она оживляла эти как бы застывшие в холоде и безмолвии огромные залы своим звонким голосом, мягкими звуками клавесина.

Но вернемся к прошлому, к XVIII веку. Влияние госпожи Дюпен шло не от ее богатства. Руссо в «Исповеди» назвал ее одной из самых красивых женщин Франции. По-видимому, это была правда. Сохранившийся от того времени портрет кисти Наттье запечатлел светловолосую молодую женщину с высоким лбом, большими, темными, внимательными глазами, нежным овалом почти детского подбородка, полную той ускользающей от определения прелести, о которой когда-то, понятно по другому поводу, писал М. Ю. Лермонтов. К тому же красота и богатство госпожи Дюпен счастливо сочетались с начитанностью и природным умом. Она была на пять лет старше Руссо, и ее возраст и общественное превосходство над скромным приезжим музыкантом позволили ей сохранять ласково-покровительственный тон к своему гостю.

С того часа, когда за обеденным столом госпожа Дюпен посадила молодого музыканта рядом с собой, перекидываясь с ним поддразнивающе-ласковыми словами, Жан-Жак признал себя побежденным. Он был пленен очарованием госпожи Дюпен, к ней были обращены все его мысли. Не решившись высказать ей самой волновавшие его чувства (что было к тому же непросто: госпожа Дюпен, как королева, появлялась в окружении свиты своих поклонников), Жан-Жак с учащенным биением сердца передал ей письмо — то было признание в любви. На письмо ответа не последовало, с Руссо стали разговаривать холодно и сухо; затем Франкей Дюпен, дашынок госпожи Дюпен, передал Руссо, что будет лучше, если он перестанет посещать этот дом. Оскорбленный Руссо был готов выполнить это жестокое распоряжение,

но его удержали: отпускать его тоже не хотели. Так начиналась эта сложная женская игра. Но изложение этого романа увело бы нас в сторону.

Посещение салона госпожи Дюпен имело и другие важные последствия. За обеденным столом безвестный музыкант из провинции свел короткое знакомство со многими знаменитостями века. Здесь вели непринужденные беседы министр иностранных дел молодой прелат Франсуа-Иоахим де Пьер де Берни, пользовавшийся большим влиянием при дворе; знаменитый уже в ту пору, окруженный ореолом мировой славы Франсуа-Мари Вольтер; престарелый аббат де Сен-Пьер, прославивший свое имя планом установления вечного мира; тогда еще молодой, но уже завоевавший признание натуралист Жорж-Луи-Леклерк де Бюффон, будущий автор «Естественной истории»; известный философ и моралист, бессменный ученый секретарь Академии наук Бернар де Бовье де Фонтенель; дамы, перед которыми распахивались двери парижских салонов: принцесса де Роган, графиня де Форкалкье, леди Хервей, госпожа де Мирнуа, госпожа де Бриньоль и многие другие.

Мог ли когда-либо раньше бездомный скиталец, вчерашний лакей господ де Версилис мечтать о том, что он вскоре будет в нарядной гостиной великолепного особняка Дюпенов в Париже беседовать, как равный с равными, с самыми знаменитыми людьми Франции и Европы? Впрочем, в этом крутом изменении судьбы Руссо с конца 1742 года следует разобраться внимательнее.

Нас подстерегает опасность превратного, упрощенно-ошибочного толкования стремительного успеха Руссо в высшем свете Парижа. Нельзя оспаривать: он действительно быстро и без каких-либо заметных усилий завоевал признание в парижских салонах 1742—1743 годов.

Не был ли успех Руссо в парижском свете лишь одним из вариантов почти классического «пути наверх», традиционной карьеры молодого человека из провинции, быстро поднимающегося по ступеням славы в греховном и всегда соблазнительном Париже? Невольно напрашиваются параллель или сопоставления со знаменитыми литературными героями XIX столетия: Жюльеном Сорелем Стендаля, Растиньяком или Максимом дю Трай Бальзака.

Соблазн подобного рода сопоставлений или по меньшей мере истолкование успехов Руссо в Париже в

1742—1743 годах как одного из частных случаев традиционного пути карьеры, восхождения вверх, по ступеням социальной иерархии столь велик, что его не избегали даже некоторые серьезные исследователи творчества Руссо. Например, такой тонкий ценитель наследия «гражданина Женевской республики», как И. Е. Верцман, в интересной книге о Руссо писал, что в Париже этому плебею приходилось подлаживаться к непривычной среде «прежде всего с целью продвинуться самому»⁸. Еще более прямолинейно и резко, как увлечение «перспективой столичной карьеры», определял приезд Руссо в Париж в 1742 году К. Н. Державин⁹.

С таким толкованием трудно согласиться. Вопрос, видимо, должен быть поставлен шире. Всякое сближение или сопоставление молодого Руссо с Растиньяком, или Люсьеном Рюбампре, или Максимом дю Трай, или иными героями «Человеческой комедии» Бальзака, олицетворяющими блистательную карьеру, неверно по существу. И не только потому, что в XVIII веке, в феодально-абсолютистской монархии Людовика XV, в силу ряда причин еще не созрели условия для рождения героев типа Растиньяка. То, что образ Растиньяка был создан в эпоху всевластия денег, было, конечно, не случайным. И все же, если время Растиньяков еще не пришло, то в реальной жизни Парижа XVIII столетия, в его хронике нравов было нетрудно найти немало откровенных охотников за славой, деньгами, чинами, орденами, т. е. «людей карьеры». За примерами не надо ходить далеко: достаточно напомнить всем известное имя — Фридрих-Мельхиор Гримм.

Главное, однако, не в этом. Главное заключается в том, что Руссо вообще не принадлежал к «людям карьеры». Он не искал легкого «пути наверх». Более того, он сознательно отвергал этот путь; его не прельщали ни чины, ни богатство, ни роскошь, ни слава. К чему они?

Забегая несколько вперед, скажем еще определеннее: молодой Руссо в парижских гостиных 40-х годов XVIII века — это не предшественник знаменитых героев «Человеческой комедии» Бальзака во главе с Растиньяком; это их антипод, это — Анти-Растиньяк. Но это, видимо, требует разъяснений.

Большинство исследователей творческого наследия Жан-Жака Руссо и здесь пришлось бы перечислять почти все известные имена: Луи Дюкро, Даниель Морне, Робер Дерате, В. П. Волгин, И. Е. Верцман, Жан Старобинский и многие другие, — как правило, начинают свой анализ с 1749 года, т. е. со времени создания им трактата на тему «Способствовало ли развитие наук и искусств очищению нравов?», предложенную Дижонской академией.

Во многом такое решение было подсказано ученым самим Жан-Жаком Руссо. В письме к Мальзербу от 12 января 1762 года, а затем в «Исповеди» он ярко и впечатляюще рассказал, как однажды в жаркий июльский день на долгом пути в Венсенский замок, где хотел навестить заключенного там Дидро, он, отдыхая, прочел в «Меркюр де Франс» сообщение о конкурсе на указанную тему, объявленном Дижонской академией. Внезапно он почувствовал как бы озарение; его «ослепили потоки света, рой ярких мыслей», хлынувших на него; он был потрясен; он испытывал необъяснимое волнение; «с поражающей ясностью перед ним предстали все противоречия общественной системы»; он был так взволнован, что на время как бы лишился сознания¹⁰.

Ромен Роллан позднее придал этому рассказу еще большую драматическую убедительность: «И вдруг, совершенно неожиданно, гений сверкнул точно молния, сбил его с ног, как апостола Павла, озарил и вложил ему в руку раскаленный меч — его перо»¹¹.

Руссо был увлекающимся автором, и спустя двенадцать — семнадцать лет изображенное им событие ему, по-видимому, таким и представлялось. Нет никаких оснований брать под сомнение его рассказ. Следует, однако, заметить, что такое мгновенное озарение без предварительных размышлений, без предшествующей долгой работы мысли было бы вообще невозможно.

Далее, должны быть приняты во внимание и более ранние произведения Руссо, конечно, не философско-политические трактаты — их действительно не было, они появились после 1749 года, — но его поэтические опыты: его стихотворения, его «Послания» в стихах, датируемые 1739—1742 и более поздними годами, очень важны для понимания идейного формирования Руссо. Они неопровержимо доказывают, что основные

идейно-политические взгляды Руссо сложились уже в 1740—1743 гг., прежде всего под влиянием жизненного опыта; все последующее было продолжением, развитием.

И наконец, последнее замечание в этой связи. Исследователи чаще всего как бы расчленяют обширное литературное наследие знаменитого писателя на составные элементы: Руссо как социальный мыслитель; Руссо как революционер; Руссо как ботаник; педагогические идеи Руссо; экономические взгляды, эгалитаризм Руссо; рационализм Руссо; романтизм Руссо и т. д.

Спору нет, и такой метод исследования нужен и полезен. Но он отнюдь не отменяет и не заменяет синтетического воссоздания образа Руссо в целом, равно как и необходимости проследить его жизненный путь, его идейную эволюцию во всей ее сложности и противоречивости. Эта странная судьба гениального одинокого мечтателя, отвергнувшего славу, деньги, почет, шедшие к нему без всяких усилий, и рассорившегося со своими современниками ради счастья будущих поколений, может быть понята, если будет прочитана как роман, страница за страницей.

Итак, мы возвращаемся к прерванному рассказу.

Примерно за полгода до приезда в Париж в «Послании г-ну Борду», написанном в Лионе в 1741 году, Руссо писал:

Но я, республики приверженец упорный,
Не гнувший головы перед кликою придворной,
Перенимать устав парижский не хочу,
Ни льстить, ни кланяться не стану богачу...¹²

В этих строках сформулирована целая программа. Она примечательна прежде всего тем, что Руссо объявляет себя не только открытым противником придворной клики (в ту пору уже начавшегося упадка престижа королевской власти это не было столь редким), но и врагом богачей. «Устав парижский» — это устав господства богачей, и именно потому его не приемлет поэт.

Быть может, скажет иной читатель, это всего лишь случайно сорвавшиеся с пера слова? Литературная поза? Мимолетное увлечение звонкой фразой?

Но этот мотив, вернее, эта тема настойчиво повторяется в стихотворных посланиях того времени. Молодой Руссо, один из немногих французских литераторов пер-

вой половины XVIII столетия, с поднятым забралом смело вступал в бой с могущественными обладателями богатства.

...Богач презрением платит мне,
Но с ним взаимностью сквитались мы вполне.

Руссо в том же «Послании г-ну Борду» показывает всю глубину, непреодолимость пропасти, разделявшей тех, «кто в добродетели воспитан нищетой», и «подлых Крезов», кадить которым он не хочет¹³.

Сходные мотивы развиваются и в пространном «Послании г-ну Паризо», написанном в том же 1741 году:

Презреть душой вельмож решился б я едва ли,
Когда б достоинством вельможи обладали...

Или же:

...Ужель ханжою стать, и только ради хлеба
И места теплого кадить во славу неба?..¹⁴

IV

Итак, мы снова возвращаемся к поставленному ранее вопросу: в чем же секрет успеха, в чем объяснение неожиданного признания Руссо в Париже в 1742—1743 годах?

В ту пору он не был еще ни литератором, ни философом — не только в глазах парижского светского или интеллектуального общества, но и в собственной оценке. Он мог, конечно, сочинить и канцону, и элегию, и философическое послание в стихах, наконец, злые эпиграммы, но что из того? Кто в XVIII веке этого не умел? Сам он в ту пору, как это явствует из его писем, из его поздней автобиографии, и не помышлял о писательском труде, тем более о писательской славе. В начале 40-х годов Жан-Жак Руссо как литературное имя не существовал.

Самое большее, что можно было сказать о молодом женеvце, — то был не лишенный способностей музыкант: он сочинил несколько весьма приятных музыкальных пьес, две оперы, которые никто не хотел принимать к постановке; он слыл искусным музыкальным педагогом и даже знатоком теории музыки.

Секрет успеха Руссо в высшем свете Парижа в 40-х годах ждет своего объяснения. Но чтобы попытаться найти обоснованный, убеждающий ответ на этот во-

прос, прервем наше изложение и вернемся к предшествующим этапам биографии Руссо. Без краткого, очерченного хотя бы общими штрихами жизненного пути Жан-Жака Руссо трудно понять его последующую судьбу.

Принято считать — так полагают исследователи жизни и творчества великого писателя, — что Руссо прожил трагическую жизнь. Это так и не так.

Напомним известные факты его биографии. Жан-Жак Руссо родился 28 июня 1712 года в Женеве «от гражданина Исаака Руссо и гражданки Сюзанны Бернар». Родители по отцовской и материнской линиям были французы, их родной язык был французский, и Жан-Жак также считал себя французом. Но он никогда не забывал, что родился как свободный гражданин Женевы, и формально принадлежавшее ему звание — «гражданин Женевской республики» — ставил неизмеримо выше унижительного, по его представлениям, положения подданного французского короля. Жан-Жак всю жизнь идеализировал Женеву. Эта патриархально-консервативная патрицианская республика отнюдь не была оазисом свободы и равноправия в пустыне феодальной тирании, какой она рисовалась в воображении Руссо. Отрезвляющие суровые уроки, которые он позже не раз получал от своих сограждан, так и не смогли его полностью излечить от иллюзий.

Жан-Жак с полным правом мог называть себя сыном народа. Он вышел из народных низов. Род Руссо имел давнюю генеалогию: здесь помнили крестьян, дубильщиков кожи, часовщиков, суконщиков. Его отец, Исаак Руссо, был часовых дел мастер; в мире ремесленников Женевы это была одна из наиболее квалифицированных и хорошо оплачиваемых профессий; семья могла жить на заработки отца — скромно, но безбедно.

Жан-Жак не знал своей матери: она умерла вскоре после рождения сына. Отец вначале был очень привязан к ребенку, лишенному материнской ласки. То был, по-видимому, человек незаурядный: способный, начитанный, с широким кругозором. Он был убежденным республиканцем и с ранних лет внушал сыну дух республиканского стоицизма и чувство гордости республикой, в которой им посчастливилось родиться и жить. Но республиканские добродетели странным образом сочетались у Руссо-старшего со склонностью к приключениям. Разные увлечения заставили его передоверить во-

спитание сына тетке Сюзон, а затем дяде Бернару. Когда Жан-Жаку исполнилось десять лет, у его отца возник острый конфликт с одним из офицеров — неким капитаном Готье. Новейшие исследователи с должным основанием склонны считать, что столкновение это произошло на политической почве. Как бы то ни было, Руссо-старшему, видимо, грозило тюремное заключение, и он счел благоразумным оставить Женеву. Позже Исаак Руссо вступил во второй брак; дороги отца и сына Руссо расходились все дальше.

Жан-Жак рос как круглый сирота. Он был всецело предоставлен самому себе; это отчасти пошло ему на пользу. У родителей была большая библиотека: романы, поэзия, исторические сочинения. В «Исповеди» Жан-Жак перечисляет некоторые из прочитанных им в ту пору книг. То были авторы, весьма различные по своим идейным устремлениям. В одном ряду у него стоят писатели столь консервативные, как Боссюэ, непримиримый защитник абсолютизма и воинствующего католицизма, или в какой-то мере близкий к нему Лессюер. Тут же литераторы, шедшие впереди века: Лабрюйер, Фонтенель, Мольер. Рядом с этими именами античные писатели: Плутарх, Овидий¹⁵. По-видимому, в том раннем возрасте Жан-Жак (и это было естественно) еще не мог полностью разобраться в прочитанном, но важнее всего было то, что он пристрастился к чтению, он поглощал книгу за книгой.

Жан-Жака жалели; его ближайшие родственники, соседи, все знали, что мальчик — сирота, и старались сказать ему ласковое слово. Позже в «Исповеди» Жан-Жак вспоминал свое сиротское детство с нежностью, с умилением; с расстояния в полстолетия оно представлялось ему самой счастливой порой его жизни.

Когда Жан-Жаку минуло тринадцать лет, опекавшие его родичи спохватились: мальчика пора обучать ремеслу. Его отдали сначала учеником к клерку, а затем, ввиду полной неспособности к конторскому труду, учеником в мастерскую гравера Дюкомена.

То был грубый, недобрый человек. Когда Жан-Жак вошел в эту темную низкую мастерскую, он понял, что за порогом осталось легкое детство. Здесь никому не было дела до того, что мальчик рос сиротой; никто не говорил ему ласковых слов, на него кричали, его подгоняли: «Живей! Живей!» Тяжелая рука хозяина не скупилась на подзатыльники.

Так началась первая трудовая школа жизни. Жан-Жак не смирился; его нельзя было ни запугать, ни сделать послушным. Но скоро он понял: плетью обуха не перешибешь. С этим ненавистным хозяином надо бороться по-иному: надо лгать, хитрить, вести против него тайную, непримиримую войну. Жан-Жак намеренно отлынивал от работы, делал вид, что выполняет приказ хозяина, а в действительности затягивал или заведомо плохо справлялся с порученным. Но этого было мало, Жан-Жак, как он сам об этом рассказал в «Исповеди», начал воровать у хозяина. Он крал не потому, что его прельщали воровство, возможность легкого и быстрого обогащения; то была одна из форм тайной войны против ненавистного патрона. Жан-Жак крал яблоки, какие-то мелочи в доме — все, кроме денег; деньги вызывали у него уже тогда отвращение. Так в тринадцатилетнем мальчишке, в подростке-ученике, пробудился дух мятежа, дух борьбы.

Уже в отроческом возрасте в характере Жан-Жака обнаружилась склонность к неожиданным, смелым решениям. Однажды, в поздний вечерний час возвращаясь с воскресной прогулки, Жан-Жак увидел городские ворота наглухо запертыми. Почти без раздумий он принял решение, показавшееся ему спасительным: покинуть навсегда так опостылевшую ему мастерскую Дюкомена, этот тусклый, враждебный мир угнетения и насилия. Это случилось в 1728 году, Руссо было в ту пору без малого шестнадцать лет. Только в отроческом или юношеском возрасте можно было решиться на такую смелость. Каким доверием к людям, какой верой в счастливую судьбу надо было обладать, чтобы рискнуть уйти одному в огромный, загадочный мир! Начинается новая, свободная, полная опасностей, риска, неизвестности жизнь. Начинаются годы скитаний.

На своих крепких, привыкших к ходьбе ногах этот юный паренек, беспечно насвистывая бог весть откуда привязавшуюся песенку, неторопливо шагает по петляющим среди лесов дорогам Савойи. Зачем спешить? Куда торопиться?

В марте 1728 года это было только начало. Путь от Женевы до Аннеси, столицы Верхней Савойи, входившей в те годы в Сардинское королевство, был не так уж велик. Затем юный Жан-Жак идет пешком из Аннеси в Турин; позже, также пешком, он возвращается из Турина в Аннеси, в 1730—1731 годах совершает долгое путе-

шествие по Швейцарии — из Женевы в Лозанну, затем Невшатель, затем Берн, затем Солер. Из Швейцарии он решается идти пешком в Париж: долгий, кажущийся бесконечным путь. Сколько это длится? Ему самому трудно подсчитать прошедшие дни и ночи. В Париже в 1731 году он остается сравнительно недолго. И снова — в путь! Он идет из Парижа, все также пешком, в Лион; из Лиона — снова неторопливым шагом странствующего пешехода — в Савойю, в Шамбери.

Кто столько исходил в своей юности по дорогам Франции, Швейцарии, Италии? Кто оставил за собой столько пройденных лье?

Не из окна кареты или почтового дилижанса познавал Руссо жизнь своего времени. Он видел ее с самого близкого расстояния — странник с посохом в руке, неторопливо совершающий за долгий день, от восхода до заката солнца, путь от одного села до другого. Кто мог лучше него знать, как начинается день в крестьянской хижине, какими причитаниями провожают его старые матери?

У юного странника нет ничего: ни денег, ни оружия; в этом мире — солнечном и хмуром, ярком и тусклом, богатом и бедном, ласковом и жестоком — он ничем не владеет. Он не спрашивает, что же будет завтра. Потому что завтра — это сегодня, это неизвестное, обступающее его со всех сторон. Куда идешь? — Не знаю. — Будешь ли обедать? — Не знаю. — Будешь ли ужинать? — Не знаю. — Где будешь ночевать? — Не знаю. — Где будешь завтра? — Не знаю.

Он не смог бы ответить ни на один из этих вопросов, если бы кто-либо вздумал их задать. Но ему и не задают их; кому какое дело до прохожего, путешествующего по проселочным дорогам? Он и себе не задает этих ничемных вопросов: к чему они?

Что же им движет? На что он надеется? Как живет, на что существует?

Не надо сгущать краски, все в общем довольно просто. Он полон доверия к людям, и эта доверчивость, эта открытая улыбка обезоруживает самых хмурых. Он молод и потому беспричинно радуется жизни; в этом красочном мире так много неизведанного, загадочного, и все его занимает, все ему интересно; он поет, он смеется; как такому славному малому отказать в стакане молока, в ломте хлеба?

В этих ранних скитаниях он постигает высокое

искусство убеждать. Биографы Руссо, исследователи его литературного наследия почти единодушно сходятся на признании его удивительного дара красноречия, искусства элоквенции, как говорили в XVIII и начале XIX века. Эту несомненную способность располагать к себе людей, умение их убеждать юный Жан-Жак постиг в совершенстве. Возможно, в литературном наследии знаменитого писателя эти никем не записанные диалоги, эти продиктованные жизненной необходимостью импровизации и были самым ценным или во всяком случае самым интересным памятником словесного творчества.

Как бы то ни было, юный Жан-Жак с успехом выдержал эти первые и, наверно, самые трудные испытания жизни. Он не вернулся со склоненной головой назад, в родную Женеву, чтобы принести повинную и просить прощения у ненавистного Дюкомена. Он уходил все дальше и дальше от города, с которым его не связывало ничего, кроме воспоминаний о давно ушедшем детстве.

Эта первая школа — школа странствий, длившихся почти десятилетие, многое определила в его последующей судьбе. Он изучал окружающий мир, он познавал жизнь не из книг, не из отвлеченных рассуждений писателей, которых до и после скитаний он так много читал. Он сам ее видел, чувствовал, слышал такой, как она есть.

Эта школа странствий учила юного путешественника самой важной и труднопостижимой науке — науке жизни. У Руссо был зоркий взгляд и тонкий, все запоминающий слух. Когда Жан-Жак, оставив позади Женевскую республику, дошел до владений Сардинского государства, а затем французского королевства, его внимание удвоилось: он шел по дорогам знаменитых государств. И что же? Подданные божьей милостью короля Людовика XV жили еще беднее, еще хуже, чем обитатели Женевской республики. Низкие, как бы вросшие в землю крестьянские хижинки, измученные крестьяне, отощавший скот, чахлые посевы. Какая бедная, убогая страна!

Он видел также великолепные, блестящие зеркальными окнами дворцы, замки знатных вельмож; страх, внушаемый надменными господами из нарядных дворцов обитателям бедных крестьянских хижин, передавался и их случайному постояльцу. Он тоже боялся богатых и знатных; он обходил стороной эти красивые,

таящие столько опасностей замки. Эта высшая каста привилегированных сословий в сознании народа была главным злом; от нее исходили все бедствия, все несчастья.

Так, постепенно, день за днем Жан-Жак постигал этот лежащий за линией горизонта мир, еще недавно казавшийся ему таким загадочным и прекрасным.

Иные исследователи, ставя вопрос о генезисе взглядов автора «Общественного договора», ищут их истоки в тех или иных литературных влияниях¹⁶. Робер Дерате, один из лучших знатоков наследия Руссо, считал, что наибольшее влияние на формирование его общественных взглядов имели Пуффендорф, Гуго Гроций и др. Фикерт полагал, что наибольшее влияние на Руссо оказал Монтескье. Имеются прямые признания самого автора «Общественного договора» о том, что он читал всех перечисленных авторов. Может быть, прочитанные книги какое-то впечатление на Руссо и произвели — такое предположение вполне допустимо; однако остается несомненным, что основным, главным источником, питавшим систему общественно-политических воззрений Руссо, была прежде всего сама жизнь, окружающий его мир сословного неравенства, крестьянской нужды, народных бедствий.

Если маленький замкнутый мир бедного прихода Этрепиньи оказался достаточным, чтобы внушить кюре Жану Мелье мятежные мысли, систематизированные им позже в ставшем посмертно знаменитым «Завещании»¹⁷, то можно ли сомневаться в том, что столь богатые, разнообразные впечатления, жадно впитываемые юным Руссо во время его бесконечных скитаний по дорогам Франции, должны были оставить неизгладимый след в восприятии мира, в миропонимании будущего автора трактата о происхождении неравенства?

Правда, не все в этих скитаниях было тяжелым, трагичным. В «Исповеди» в изображении этого периода Руссо почти не прибегает к черной краске. Но к этим поздним воспоминаниям, написанным почти сорок лет спустя, надо подходить критически. В предзакатные годы начало жизни нередко представляется в смягченных тонах; все дурное, трудное отодвигается на задний план или вовсе исчезает; время молодости чаще всего кажется прекрасным.

Надо признать: юному путешественнику в его странствиях везло. Однажды он воспользовался гостеприим-

ством почтенного, немолодого аббата де Понвера, который, заботясь о «спасении души» молодого человека, проявил немало усердия, чтобы обратить гостя в католическую веру.

В ту пору Жан-Жак, кальвинист и потомок гугенотов, относился к религии с полным равнодушием. За трапезой у гостеприимного аббата он не стал с горячностью оспаривать доводы хозяина и отстаивать верование своих предков. Ему было в сущности все равно, какая из двух соперничающих церквей лучше — кальвинистская или католическая. Без длительных споров он дал себя уговорить: переменить веру отца, принять католицизм.

Так судьба свела юного Жан-Жака с женщиной, сыгравшей значительную роль в его жизни. Речь идет о госпоже де Варанс.

Важную богоугодную миссию — обращение заблудшего протестанта в «истинную», католическую веру — аббат де Понвер возложил на эту просвещенную даму. Она жила в Аннеси пенсионеркой сардинского короля и пользовалась особым покровительством римского папы.

Руссо ожидал увидеть старую, набожную настоятельницу монастыря; перед ним предстала молодая красивая светская дама, превосходно образованная, склонная к вольнодумию. Госпожа де Варанс приняла юного странника с живым участием, почти материнской заботой. Они быстро подружились. Не знавший матери, лишенный постоянной женской заботы, юный Жан-Жак, тронутый вниманием, вскоре стал называть ее «маменькой»; она и вправду заменила ему в ту пору мать.

Потом госпожа де Варанс, выполняя волю аббата, направила Жан-Жака с письмом в Турин, в монастырь, где он должен был, пройдя все положенные испытания, быть принят в лоно католической церкви.

Жан-Жак послушно выполнил все предписанное. Он совершил путешествие в Турин, прошел долгую и сложную подготовку к акту вступления в католическую церковь. В положенный срок торжественная церемония совершилась. Жан-Жак Руссо стал католиком. Но обращение в «истинную» веру не принесло ему обещанного благостного состояния. Он остался вполне равнодушным к религии. Более того, внимательно приглядываясь к окружающим его католическим церковникам, он все более укреплялся в чувстве неприязни к священнослу-

жителям, дела которых так мало соответствовали их благочестивым словам¹⁸.

Жан-Жак не пожелал разыгрывать роль законопослушного святоши. При первом же удобном случае он удрал из этого опостылевшего ему замкнутого церковного мирка. В чужом, незнакомом ему итальянском городе найти источники существования было не легко. Он перепробовал ряд профессий: служил лакеем у графини де Версисис, затем был чем-то вроде секретаря у аббата Гувона. Все эти случайные занятия не давали удовлетворения ни уму, ни сердцу.

Все кончилось тем, что однажды он снова взял посох и, не торопясь, пошел по дороге, уводящей его все дальше от Турина; он шел к предгорью в поисках пути, ведущего в далекий дом на севере — единственный дом на этой огромной земле, где им не помыкали, где его встретят, он был в том уверен, ласковыми словами и где его ожидает доброе, материнское внимание.

Жан-Жак Руссо пошел из Турина в Аннеси.

V

Жан-Жак шел в дом госпожи де Варанс в Аннеси со смутным чувством тревоги и надежд. Он знал, что возвращается, не оправдав ее ожиданий: бедным, нищим, ни в чем не преуспевшим, ничего не добившимся. Он знал, как это ее огорчит. Но после всего пережитого он хотел видеть ту, которую и в мыслях и в обращении к ней называл «маменькой». В «Исповеди», тридцать лет спустя, он написал слова, в правдивости которых нельзя усомниться: «Во всем этом огромном мире я видел только ее одну; я не мог бы жить, если бы она отвернулась от меня»¹⁹.

Так на многие годы судьба Жан-Жака оказалась связанной с госпожой де Варанс.

В «Исповеди» Руссо рассказал о своей жизни в доме госпожи де Варанс и о странном, чтобы не сказать иначе, союзе с той, кого он называл матерью, с такой откровенностью и беспощадностью к самому себе, которая потрясла его читателей и почитателей. Некоторые из них были склонны даже подозревать, что опубликованная автобиография — подделка, сочиненная врагами Руссо; чтобы очернить в глазах современников светлый образ «гражданина Женевской республики».

Как известно, первые два года — 1730—1732 —

Жан-Жак большую часть времени провел вне дома госпожи де Варанс, но всегда под ее добрым и заботливым наблюдением. Первоначально стараниями «маменьки» он был помещен в семинарию лазаристов*, управляемую ректором Гро. Несмотря на усердие преподавателей, Жан-Жак обнаружил столь мало склонностей к богословским наукам, что курс так и остался незавершенным. Кюре из него не получился.

Госпожа де Варанс любительски музицировала и, познакомив своего юного ученика с несколькими музыкальными пьесами, была поражена, как быстро он преуспевал в этом сложном искусстве. С отроческих лет, наверное даже с детства, обнаружилась исключительная музыкальная одаренность Жан-Жака. У него был несомненный дар стихийного музыкального творчества; он сочинял музыку с удивительной легкостью, почти без усилий. Музыка была для него потребностью, необходимостью. Было бы неуместным, понятно, сопоставлять Руссо и Моцарта. Не только потому, что Моцарт, как и Бетховен, остается для того времени непревзойденной вершиной, но и прежде всего потому, что Руссо был на полвека старше гениального творца «Дон-Жуана» и «Реквиема»; он был композитором домоцартовской эпохи. И все-таки при всех этих необходимых оговорках справедливо будет признать, что в самом неудержимом стремлении Жан-Жака к музыкальному творчеству было что-то моцартианское.

Госпожа де Варанс верно разгадала призвание или, вернее, одно из призваний ее ученика. Во всех подготовленных ею с такой предусмотрительностью начинаниях он терпел до сих пор неудачи. Но она не теряла в него веры, она чувствовала его одаренность, талантливость. По ее настоянию Жан-Жак начал заниматься в музыкальной и певческой школе, возглавляемой соборным регентом — неким Леметром, веселым малым, считавшим себя, может быть даже с известным основанием, композитором.

На сей раз надежды госпожи де Варанс полностью оправдались. Успехи Жан-Жака были неоспоримы. В школе Леметра и под его руководством талантливый ученик быстро совершенствовался и в практических занятиях музыкой, и даже в теории, по крайней мере в тех

* Лазаристы — одна из католических школ, подготавливавших миссионеров.

пределах, которые был способен преподать руководителю школы. Жан-Жак обладал удивительным, почти абсолютным слухом, легко научился игре на клавесине, постиг нотные записи, основы музыкальной теории и вскоре стал сочинять сам и легкие и более сложные музыкальные произведения.

В 1730—1731 годах, путешествуя по городам Швейцарии, в Лозанне, Будри, Берне Жан-Жак, из озорства или из осторожности дебютируя под псевдонимом Воссор де Вильнев, стал выступать в роли композитора и преподавателя музыки. Первые выступления проходили на грани скандала, но постепенно трудности преодолевались. Позже Руссо признавался: «Давая уроки музыки, я сам незаметно учился ей»²⁰.

В 1732 году, после долгих розысков госпожи де Варанс, уехавшей неожиданно из Аннеси в Париж, а оттуда в Лион, Жан-Жак, совершавший по ее следам путешествие пешком через все французское королевство, нашел ее в темном неуютном доме в Шамбери.

Он оставался в этом доме без малого десять лет.

Здесь нет необходимости пересказывать иными словами все то, что сказано в «Исповеди». Еще менее уместным было бы резонерствовать или строить психологические конструкции, как это делали некоторые авторы, охотно истолковывавшие, каждый на свой лад, эту непростую историю.

Ситуация, с такой поражающей правдивостью рассказанная Руссо, при всей своей исключительности не была все-таки чем-то никогда не случавшимся. Если верить древнегреческой мифологии и соответственно древнегреческим трагикам, то нечто подобное было запечатлено Софоклом на страницах «Царя Эдипа». Правда, там речь шла о неведомом прямом родстве сына и матери; в описываемом Руссо случае речь шла не о прямом, но скорее о духовном родстве. В греческой трагедии ни мать, ни сын не ведали, кем они приходятся друг другу, и когда это стало известно, то Иокаста в самовозмездие за невольно допущенный грех лишила себя жизни, а царь Эдип пряжками от ее пояса ослепил себя и обрек на добровольное изгнание из Фив.

В XVIII веке мораль и нравы изменились, и то, что в античном мире представлялось непоправимой трагедией, во французском обществе времен Людовика XV воспринималось спокойнее; даже самого героя, автора мемуаров, необычность, скажем так, сложившихся отно-

шений почти не шокировала; его шокировало, и с должным, надо сказать, основанием, иное.

Но вряд ли было бы правильным углубляться в подробности этой сугубо личной истории, рассказанной автором воспоминаний с такой педантичной правдивостью, которая повергает читателей порою в недоумение: нужна ли в самом деле такая правдивость?

Естественно, что всякого рода суждения морально-этического порядка, которые охотно развивают иные из литераторов, были бы еще менее уместны. Нельзя к тому же не принимать во внимание тот полный благодарной почтительности и глубочайшего уважения тон, который Руссо всегда сохранял к госпоже де Варанс.

Как бы ни складывались отношения Руссо с госпожой де Варанс, длительное пребывание в ее доме, вернее, в ее обществе имело для Жан-Жака, для формирования его таланта писателя, философа, композитора огромное значение. Уже за одно это последующие поколения должны быть благодарны ей.

Как уже было сказано раньше, госпожа де Варанс была широко образованной и начитанной женщиной. Она сумела угадать в юноше, так случайно прибывшемся к ее дому, незаурядные способности. Она не жалела ни сил, ни времени, чтобы пробудить и развить эти способности и приобщить своего ученика к современному — для XVIII века — уровню знаний и культуры. В ее доме была превосходная библиотека; там можно было найти и античных авторов, и современных писателей, в особенности входивших уже тогда в моду литераторов оппозиционного лагеря, тех, кого позже стали называть представителями «века Просвещения».

В становлении Руссо как литератора, как мыслителя годы, проведенные в обществе госпожи де Варанс, были важным этапом. Ее дом — если угодно, школа госпожи де Варанс — стал для Руссо своего рода вторым университетом. Первым был несомненно тот путь скитаний по проселочным дорогам Швейцарии, Италии, Франции, с которого началась его сознательная жизнь.

Итак, мы снова возвращаемся к вопросу, о котором уже шла речь. Что было первичным и основным в идейном формировании Жан-Жака Руссо? Едва ли можно сомневаться в том, что первые впечатления от прямого соприкосновения с самой жизнью, повседневное общение с французским народом имели для складывания

общественно-политических взглядов Руссо определяющее, решающее значение.

В этот вопрос следует внести полную ясность.

Для герцога де Сен-Симона, автора знаменитых мемуаров о веке Людовика XIV, для герцога Франсуа де Ларошфуко, прославившего свое имя «Афоризмами и максимами», для Шарля де Секонда Монтескье, барона де ла Бреда, творца «Духа Законов» и «Персидских писем», для Франсуа-Мари-Аруэ Вольтера, для аббата Габриеля Бонно де Мабли, выступавшего с коммунистическими утопиями, для любого из этих знаменитых писателей, корифеев французского Просвещения, критиков старого феодального мира, «народ» (*peuple, nation*), о котором они так много и охотно писали, о котором радели, всегда был понятием книжным, отвлеченным. Это был некий условный термин, которым можно было обозначить какую-то часть третьего сословия; здесь мнения расходились, но для большей части передовых мыслителей XVIII века собственно народ, т. е. простые люди — крестьяне, ремесленники, городская беднота, те, кого они обозначали чаще всего пренебрежительным выражением «чернь» (*populace, canaille*), из этого понятия исключался. При всех обстоятельствах «народ», о котором при каждом удобном случае они с готовностью вспоминали, в действительности был им совершенно неизвестен; они его не знали; деревни, в которых жили крестьяне, они видели лишь мельком из окон кареты; самое большее, на что они могли опираться в собственном жизненном опыте, — это на поведение их лакеев или других слуг.

Для Жан-Жака Руссо с первых его сознательных шагов народ стал его собственной жизнью, он был сам его частью, он был от него неотделим. В отличие от его будущих собратьев по литературному цеху для Жан-Жака «народ» никогда не был книжным или отвлеченным понятием; народ — это был он сам, его отец, его родные, это была та галерея реальных конкретных лиц, с которыми он каждодневно сталкивался во время своих скитаний и которые великодушно делили с ним и кров, и хлеб.

Во избежание неясностей следует сразу же сказать, что речь, разумеется, идет не о происхождении будущего автора «Эмиля» и «Общественного договора». Лет двадцать назад Б. М. Бернардинер в своей во многом интересной книге о Руссо определял его место в литера-

туре как выразителя идеологии мелких ремесленников и кустарей, ссылаясь при этом на то, что он был сыном часовщика. Это было, несомненно, проявлением вульгарного социологизма. Да не будет сочтено нескромностью, если я позволю себе сослаться на то, что несколько лет назад высказал несогласие с подобного рода точкой зрения.

Когда Руссо в доме госпожи де Варанс начал свой второй цикл чтения (первый в детстве, в отцовском доме), он уже был человеком со сложившимися взглядами, хорошо понимавшим социальные и нравственные контрасты бедности и богатства. Он знал, что богатые и знатные бездельничают, разъезжают в каретах или проносятся нарядной кавалькадой на дорогих племенных конях, а бедные работают от зари до зари, согнув спину на барском поле, и, вернувшись в свою лачугу, не могут досыта накормить ни свою семью, ни самих себя.

Эти простые истины, прочно укоренившиеся в сознании юного Руссо, пришли к нему не со стороны, не из книг, а из собственного жизненного опыта. Его жизненный опыт, если измерять его годами, был сравнительно невелик, но он был неоспорим, непререкаем. Жан-Жаку не надо было узнавать народ, он сам был плоть от плоти народа.

Именно эта общность, социальное родство с народом, вернее даже сказать, неразрывность уз, связующих его с народом, понимание его нужд и чаяний, забот и надежд и составляли основу мировосприятия Жан-Жака Руссо, когда он в доме госпожи де Варанс впервые занялся систематическим образованием.

Могут сказать, что начальная биография Руссо не представляет собой ничего исключительного, что, скажем, путь Максима Горького в России, Джека Лондона в Соединенных Штатах Америки или Мартина Андерсена Нексе в Дании в главном мало чем отличается от пути Руссо. Можно было бы назвать и другие имена. Черты внешнего сходства, и прежде всего в том, что все названные литераторы были выходцами из народных низов, начинали свой жизненный путь с самых нижних ступеней социальной лестницы, — эти внешние черты сходства несомненны.

Однако должно быть принято во внимание и в полной мере оценено одно существенное различие. И Горький, и Джек Лондон, и Нексе, и многие другие выходцы из народных низов, ставшие известными литераторами,

совершали свой путь в условиях развитого и уже шедшего к упадку буржуазного общества, сто лет спустя после Великой французской революции, нанесшей решающие удары сословной обособленности, после буржуазных и буржуазно-демократических революций 1830, 1848, 1870 годов, после первой попытки установления власти рабочего класса в 1871 году, после революции 1905—1907 годов в России. Нужно ли перечислять все остальное?

Руссо был первым. В истории французской общественной мысли (а если угодно, в значительной мере и европейской) предреволюционного времени, т. е. времени еще не поколебленного господства феодально-абсолютистского строя с его сословно-иерархическим жестким членением, Жан-Жак Руссо был первым литератором, выражавшим мысли, чувства, чаяния поработленного и несправедливого народа.

Нужно ли доказывать, что первым быть всегда труднее?

Но для того чтобы стать выразителем социальных чаяний народа, было недостаточно знать его горести и стремления. Нужно было еще и осмыслить их, понять, найти для них подходящую литературную форму; надо было суметь заставить себя слушать.

Важнейшим предварительным условием всего этого должна была быть определенная степень образованности, начитанности. Без знаний, без знакомства с состоянием наук — естественных и общественных, с достигнутым наукой в середине XVIII века уровнем, наконец, без приобретения известных литературных навыков Жан-Жак Руссо не мог бы стать тем, кем он стал, — знаменитым писателем и мыслителем, вошедшим на века в историю мировой литературы.

Надеюсь, читатель правильно поймет меня: само собой разумеется, ни сам Жан-Жак, ни госпожа де Варанс ни в 1732 году, когда Руссо вторично переступил порог ее дома, ни позже не думали о его будущей литературной деятельности; тем более что и ему, и опекавшей его доброй женщине полностью были чужды какие-то мессианские идеи или хотя бы определенные честолюбивые планы.

Речь идет об ином.

Как бы ни относиться к госпоже де Варанс, к ее достоинствам и недостаткам (сегодня, двести с лишним лет спустя, всякое морализирование было бы неумест-

ным и даже смешным), нельзя не воздать должного ее проницательности, позволившей ей разглядеть в неотесанном пареньке из простонародья талантливое ученика.

В доме госпожи де Варанс под ее руководством и при ее непосредственной помощи Жан-Жак постиг все то, чего ему не хватало. Госпожа де Варанс познакомила своего ученика с поэзией. Он с жадностью стал читать и поэтов античности, и классиков — Мольера, Расина, Корнеля, и поэтов более близкого времени, вплоть до знаменитого уже в ту пору Вольтера.

Вскоре он и сам стал пробовать силы в поэтическом искусстве. Вероятно, вначале это было весьма наивное версификаторство. Но он упорно работал, совершенствовал мастерство, оттачивал стих и вскоре встал на уровень современной ему французской поэзии. Во всяком случае то, что дошло до нас, говорит о вполне зрелом, полноценном мастере французской поэзии XVIII столетия.

Именно в Аннеси и Шамбери Жан-Жак по существу познал и постиг все наиболее значительное, что было создано французской, да в значительной мере и мировой литературой и наукой. Поражавшая позднее собеседников удивительная начитанность Руссо была в основном результатом совместных или в одиночку постоянных чтений в доме госпожи де Варанс.

В «Исповеди» Руссо называет книги, которые они вместе читали, — Пьера Бейля, Лабрюйера, Ларошфуко, Вольтера, ныне почти забытых авторов, вроде комедиографа Сент-Евремона, и других²¹. Но «Исповедь», написанная тридцать с лишним лет спустя после изображаемых событий, как не раз справедливо подчеркивалось²², хотя бы по одному этому требует к себе сугубо критического отношения. За минувшие десятилетия автор «Исповеди» многое забыл, да и события давно прошедших лет представлялись ему во многом иначе, чем они были на деле. Это относится, в частности, и к вопросу о круге чтений в доме госпожи де Варанс.

Баронесса де Варанс, всегда увлеченная какими-то предприятиями и деловыми замыслами (по большей части кончавшимися весьма плачевно), часто уезжала из дома. С тем большей охотой Жан-Жак предавался своему любимому занятию — чтению в одиночестве. Из уютного Шамбери на теплое время года — весну и лето — госпожа де Варанс и Жан-Жак уезжали в Шар-

метт, оставшийся в памяти Руссо благословенным углом природы. В первое же лето он заболел болезнью, не поддающейся точному определению и сохранившейся в разных формах — то сильнее, то слабее — на всю жизнь. По-видимому, если следовать терминологии наших дней, у него было повышенное артериальное давление и ставшее хроническим нарушение проводимости сердечных сосудов. Первоначально его уложили надолго в постель и дали понять, что ему не миновать близкой смерти. Руссо, как мы знаем, не умер, но здоровье его стало действительно хуже.

Вынужденная временная бездеятельность оказалась полезной для его умственных занятий. В чтение, которому он отводил теперь еще больше времени, он внес систему. Он занялся основательно философией: штудировал сочинения янсенистов, «Опыт о человеческом разуме» Джона Локка, сочинения Никола Мальбранша, труды Декарта, Лейбница и других. Затем он занялся математикой — геометрией и алгеброй, старательно изучал физику и даже проводил эксперименты. Однажды, когда он пытался с помощью негашеной извести, сернистого мышьяка и водки изготовить симпатические чернила, взболтанная им в бутылки смесь взорвалась и брызнула ему в лицо; в течение полутора месяцев Руссо был почти слепым. В конце концов зрение восстановилось, но к опытам он стал относиться осмотрительнее.

В эти же годы Руссо изучал астрономию, химию, ботанику, латинский язык, но самыми любимыми его предметами, как признавал он сам, были история и география. Перечитайте его «Трактаты», философско-политические сочинения, написанные многим позже. Как часто, как легко их автор обращается к фактам истории, аргументирует доводами, почерпнутыми в исторических сочинениях. Все это плоды систематических штудий книг по истории, начатых в отрочестве и продолженных вполне сознательно в счастливые дни в Шарметте.

Все прочитанное не только обогатило его знания и дисциплинировало его ум; оно позволило ему привести в систему все смутно бродившие раньше в его сознании наблюдения, чувства, мысли. Теперь они обретали отчетливую, ясную форму. У Руссо сложились и окрепли те убеждения, которые он вскоре сформулирует как приверженность республике и нежелание склонять голову ни перед «кликой придворной», ни перед могущественными богачами.

Так незаметно в Аннеси, Шамбери и Шарметте совершилось постепенное превращение Жан-Жака Руссо в одного из самых начитанных и образованных людей своего времени.

Кем же он был, этот молодой Руссо, в глазах знавших его людей? Да собственно говоря, никем: секретарем или управляющим имением госпожи де Варанс, приятным молодым человеком, немного музыкантом, немного клерком; в двадцать пять лет у него не было ни состояния, ни положения; о каком же будущем может идти речь?

А между тем во Франции в это время, в 30-е годы XVIII века, уже формировался один из самых оригинальных и самых сильных ее мыслителей.

Руссо называл время, проведенное в доме госпожи де Варанс, самой светлой, самой счастливой порой своей жизни. Но слово «счастье» не случайно и в русском и во французском языке этимологически связано с ограниченным сроком времени — с часом. Счастье не может длиться бесконечно. Пришла пора конца и для союза, представлявшегося Жан-Жаку первоначально вечным. И для Руссо, и для госпожи де Варанс — для каждой из сторон по-своему — наступило время, когда они поняли, что лучшее — это расстаться.

И вот после сравнительно недолгого пребывания в Лионе Жан-Жак Руссо — музыкант, никем еще не признанный, но полный замыслов и надежд — появляется осенью 1742 года в Париже.

VI

Рассказ, по необходимости прерванный, чтобы восстановить хотя бы широкими мазками картину предшествующего жизненного пути Руссо, возвращается в свое русло.

Перед нами снова Жан-Жак Руссо, еще не совершивший ничего великого, еще ничего не создавший, но тем не менее окруженный уважением, почетом, желанный гость в лучших салонах интеллектуальной знати и высшего света Парижа.

Приезжий из провинции был сдержан и не шел на откровенные разговоры. Но его собеседники — люди неглупые, умевшие скрывать за непринужденной светской болтовней внутреннее беспокойство перед неясным завтрашним днем, — чувствовали, что этот не слишком

разговорчивый молодой человек знает что-то такое, чего они, многоопытные, бывалые люди, не знают.

Он и в самом деле знал то, о чем эти важные господа не догадывались. Они были так погружены в повседневное светское щебетание, мелкие дворцовые интриги, столкновения соперничающих честолюбий, мелочные пересуды, что давно разучились слышать голос времени, голос своей страны.

Зоркое зрение и тонкий, все запоминающий слух дали Руссо особую восприимчивость к звукам, к краскам увиденного им мира, к шуму времени. Он сумел расслышать в многоголосой полифонии эпохи ведущий и все нарастающий лейтмотив — близящееся грозное возмущение народа, подспудный гул приближающегося революционного взрыва огромной силы.

Бескомпромиссная непримиримость Руссо к сильным мира сего, его убежденный демократизм и республиканизм шли не столько от книг, сколько от собственного жизненного опыта, от всего, что он видел и слышал. Он исходил пешком почти все королевство, ночевал в крестьянских хижинах и лачугах бедняков. Его зоркий взгляд все замечал, его слух улавливал все жалобные ноты. Народ стонал под жестоким ярмом феодального гнета, произвола сеньоров, непосильных поборов и повинностей, беззаконий королевских чиновников, жадности откупщиков, беспощадности судейских крючкотворов. В этом освященном божьей благодатью государстве все низшие подданные его излечения, божьей милостью короля, уже знали, что в этом «королевстве кривых зеркал» ни справедливости, ни правды не добиться.

Секрет успеха Руссо в парижских гостиных 1741—1743 годов таился прежде всего в непохожести молодого музыканта на остальных завсегдатаев этих салонов. Хорошо это было или плохо? Нравилось это или не нравилось? Судите сами. Мнения, наверное, не совпадали. И все же при всем различии во мнениях в этом немногословном молодом человеке скорее почувствовали, чем осознали, что-то новое и, может быть, даже значительное.

Но было еще и иное.

Мы порою забываем о языке первой половины XVIII столетия. Каким искусственно приподнятым, преувеличенно галантным, вычурным языком принято было тогда говорить. Конечно, после «Смешных жеманниц» Мо-

льера так называемый прециозный стиль с его излишествами галантности, с его цветистыми мадригалами, сонетами и рондо уже уходил в прошлое. Но пришедшая ему на смену та же, еще более измельченная, бездумная изящная игривость, которую позже стали обозначать не очень ясным термином «рококо», в сущности не столь уж многим от него отличалась. И это не был только стиль будуарных сплетен придворного окружения короля Людовика XV. В ту пору деньги уже проложили путь в замкнутый мир привилегированных сословий незнатным выходцам из рядов третьего сословия. Но «мещанин во дворянстве», буржуа, открывающие с помощью толстого кошелька доступ в благородное сословие, спешили усвоить манеры, повадки, стиль и прежде всего речь — это было легче всего — аристократической знати. Все стремились подражать законодательницам мод Сен-Жерменского предместья. «Игра фортуны и любви», как принято было говорить в том столетии, занимала все умы или по крайней мере изображалась чем-то самым важным. Все старались говорить этим манерным языком преувеличенных чувств. Перечитайте письма даже самого остроумного, самого насмешливого автора XVIII века — Вольтера. «Посылаю вам, дорогой ангел-хранитель, свой мемуар...», «очаровательный мой ангел-хранитель...» — такие сочетания ласкательных слов в превосходной степени употребляет Вольтер в переписке с Д'Аржанталем, Пон дю Вейлем и другими. А его корреспонденты? Они еще больше усердствуют: «О вы, Плутус Иппокрена, любезный прелестный Делон, вы, чей зал всегда заполнен гостями избраннейшего общества...» — таков льстиво-высокопарный цветистый слог обращений к прославленному писателю.

Это язык столетия.

Руссо нарушал это салонное щебетание, этот «птичий язык», как позднее, по другому поводу, скажет Герцен, своей простой и точной речью. Он отнюдь не думал, оказавшись впервые в модных салонах Парижа, о литературной стороне своих реплик, своих ответов на вопросы. Он просто старался точно передать свою мысль; ничего более.

Он владел в совершенстве этой, казалось бы, простой и в то же время доступной отнюдь не многим способностью выражать свои мысли, чувства, желания точными, адекватными, как мы бы сказали сейчас, словами. То был, если угодно, особый дар. У Руссо он, видимо, раз-

вился, подстегиваемый условиями скитальческой жизни; он был порождением жизненной необходимости. В силу тех же причин его речь приобрела еще одну особенность: она была проста, свободна от всяких вычурностей; то была речь, обращенная к простым людям.

Жан-Жак, как уже говорилось, был одним из самых начитанных людей своего времени. Но, обогатив свою речь всем прочитанным, всем услышанным, он сумел сохранить то, что составляло ее неотразимую силу: простоту и выразительность слов, полное соответствие строения фразы мысли, которую он хотел высказать.

В сущности, на протяжении всей долгой жизни Руссо слово оставалось единственным его оружием. В бездомной юности слово открывало ему запертые на засов двери крестьянской хижины, позже то же слово должно было открыть ему сердца человечества.

Этот удивительный дар владения словом даже в литературном наследии Руссо проступает очень рано. Дюфур в свое время составил и издал в двадцати томах замечательное по точности и тщательности подготовки собрание писем Руссо и некоторых его корреспондентов.

Перечитайте ранние письма Руссо. Как просто, легко, естественно выражает он свои мысли.

Даже его юношеские письма примечательны ясностью и определенностью мнений, желаний. Возможно, сочтут необоснованным, искусственным утверждение, что еще в ранних произведениях Руссо, в его юношеской переписке в какой-то мере уже обозначились черты его литературного стиля. Конечно, литературный стиль Руссо развивался, даже менялся с годами. И все-таки даже в самых ранних его сочинениях, в его письмах, в его разговорной речи уже отчетливо проступает присущий только ему одному особый дар афористической речи.

Жан-Жак Руссо стал обитателем французского королевства в трудное время. Монархия шла к упадку, в том нельзя было сомневаться. После бесславного заката века Людовика XIV — «короля-солнца» — с каждым новым монархом моральный престиж королевской власти падал все ниже. Но все же сам принцип монархии, институт наследственной королевской власти для большинства французов еще представлялся неоспоримым. В народе — и среди темного, забитого крестьянства, и среди городской бедноты, и в зажиточных кругах буржуазии — и за пределами третьего сословия, в рядах приви-

легированных — провинциального дворянства, духовенства, — еще жила традиционная наивная вера в доброго, справедливого короля.

Когда Людовик XV в 1715 году официально был провозглашен королем, ему было лишь пять лет. Время регентства Филиппа Орлеанского с его финансовыми скандалами, спекуляциями, авантюрами Джона Лоу, разнузданным распутством двора (самого Филиппа, его дочери герцогини Беррийской и соучастников их оргий), всеобщим растлением нравов, афишируемым прожиганием жизни в кутежах и разврате, способствовало популярности будущего монарха. Все надежды недовольных — а сколько их было! — на лучшее, более справедливое время связывались с будущим царствованием...

В октябре 1723 года Людовик XV был объявлен совершеннолетним, и в Реймсе состоялась торжественная церемония коронации нового монарха. Но королю было всего тринадцать лет, мог ли он в полудетском возрасте удерживать бразды правления? Правительственная власть вновь оказалась в случайных руках. Сначала это был герцог Бурбонский, вернее, его фаворитка маркиза де При, имевшая неограниченное влияние на герцога, а через него и на все звенья государственного механизма. Дочь крупного финансиста, сохранившая тесные связи с миром денежных тузов, она широко распахнула для них двери правительственных апартаментов. Имя герцога Бурбонского прикрывало действительную власть финансовых воротил — Бернара, братьев Пари и других участников сложной и темной игры на меняющемся денежном курсе.

За три года правления герцога Бурбонского маркиза де При и окружавшая ее свора финансовых дельцов и проходимцев сумели довести королевство до состояния острейшего кризиса. Летом 1725 года всеобщее недовольство, усугубленное непрерывным ростом цен на хлеб и другие продукты питания, привело к широким народным выступлениям. В июле — августе толпы мастеровых, бедноты из Сент-Антуанского предместья не раз выходили с угрожающими возгласами на площади столицы. Негодующий народ овладел также улицами Руана, Кана, Ренна. Правительству пришлось срочно провести снижение цен на хлеб; одновременно оно двинуло против мятежников вооруженную конницу. В Сент-Антуанском предместье для устрашения были

воздвигнуты виселицы; двух вожakov мятежников повесили.

Репрессиями и частичными уступками народное возмущение было остановлено. Но герцогу Бурбонскому, ввязавшемуся к тому же в длительный и острый конфликт с парламентом, пришлось уступить свое место епископу Фрежюсскому де Флери. Бывший наставник Людовика XV, сохранявший по-прежнему громадное закулисное влияние на своего ученика, епископ, а затем кардинал, он, несмотря на свой преклонный возраст (в 1726 году, когда началось его правление, ему было уже семьдесят три года), сумел крепко взять власть и удерживать ее в своих цепких руках на протяжении семнадцати лет. Этот, казавшийся незначительным, прелат с дружеской, сочувственной улыбкой, блуждающей на тонких губах, с ясным взглядом светло-голубых глаз, подчеркнуто скромный, всегда в черном приобрел огромное влияние в королевстве. Предпочитая оставаться в тени, наносить удары в спину или сбоку и преимущественно руками других, расчетливый, терпеливый в осуществлении своих непомерно честолюбивых планов, он постепенно, шаг за шагом усиливал свои позиции при дворе.

Первоначально кардинал де Флери считал полезным вести дружбу с герцогом Бурбонским и действительной правительницей Франции маркизой де При. Он сумел завоевать их полное доверие. Общими их стараниями Людовика XV женили не на испанской инфанте, как предполагалось, а на Марии Лещинской, дочери бывшего польского короля Станислава. Флери рассчитывал, что женщина, так неожиданно ставшая королевой Франции, будет послушной исполнительницей его желаний. Через некоторое время он убедился, что новая королева отдает явное предпочтение не ему, а герцогу Бурбонскому.

Осмотрительно, неторопливо, не выдавая никому своих намерений, Флери подготовил и артистически провел мгновенное падение герцога Бурбонского. Его отправили под надзором полиции в Шантийи, а маркизу де При — в ее поместье в Нормандии. Если верить д'Аржансону, молодая женщина, и не подозревавшая, что первая роль в королевстве, которую она с таким увлечением играла, будет так внезапно оборвана, с горя вскоре покончила с собой²³. Этот дворцовый переворот был представлен Людовику XV как акт заботы об укреплении

нии неограниченной власти короля. Флери всячески подчеркивал, что отныне страной будет править только монарх. Кардинал разговаривал с королем, низко склоняясь; он всегда оставался смиренным, почтительным исполнителем монаршей воли. Но вскоре многие почувствовали, что, хотя царствует Людовик XV, королевством в действительности правит престарелый кардинал Андре-Геркюл де Флери.

Престарелый? Сколько людей поплатились карьерой, состоянием, даже головой за наивный расчет на законы природы. Это высохшее, немощное тело было, казалось, неподвластно времени. То был человек без возраста. Кардинал «разменял» уже восьмой десяток, а как будто оставался все таким же, сохраняя ясность мысли и зоркость взгляда. Он все замечал, все слышал. В беседах с де Флери рискованно было касаться темы возраста. Но если косвенно этот предмет затрагивался, он старался внушить собеседнику, что имеет в запасе еще много десятилетий. Однажды сравнительно молодой, высокопоставленный сановник церкви попросил Флери поддержать своего родственника, на что кардинал с уверенностью ответил: «Не беспокойтесь. После вашей смерти я о нем позабочусь». Впрочем, иногда он прикидывался уставшим, дряхлым, болезненным. Но горе тому, кто, доверившись этой кажущейся слабости, начинал строить расчеты, не выдвигая на первое место кардинала. Его ждал мгновенный, чаще всего смертельный удар. Казалось, что даже с закрытыми глазами этот дряхлый старик все видит.

В современной французской историографии стараниями французских историков правого направления была предпринята попытка «реабилитировать» Людовика XV, пересмотреть ставшую традиционной резко негативную оценку его деятельности и личности и представить его в совсем ином свете — в роли мудрого, доброго, всеми любимого монарха. Зачинателем этой исторической версии (она имела ясно выраженный тенденциозно-апологетический характер и логически вела к осуждению революции, которая, дескать, не имела под собой почвы) был Пьер Гаксотт. В книге, посвященной Людовику XV и выдержавшей за короткий срок много изданий, Гаксотт утверждал, что «Людовика XV судили на основании одних лишь показаний его противников»²⁴. Весьма расширительно толкуя это понятие, пренебрегая свидетельствами современников или опорочивая их, он

пытался обосновать «величие» короля тем, что тот якобы упрочил силу и сплоченность французского государства. Путь, указанный Гаксоттом, был охотно продолжен Пьером Лафю, Жаком Левроном и в значительной мере Роланом Мунье²⁵. «Реабилитация» Людовика XV неизбежно влекла за собой и «реабилитацию» кардинала Флери — сторонники этой версии с легким сердцем готовы были вознести и короля и кардинала на самый высокий пьедестал истории. «Они оба трудились сообща на благо государства»²⁶, — утверждал Леврон.

Однако эти новейшие исторические конструкции, покоящиеся на крайне шатких основаниях, вряд ли кого могут убедить. Все важнейшие источники, известные историкам, свидетельствуют против них. Само собой разумеется, это не значит, что можно игнорировать заслуживающие внимания факты социальной истории Франции XVIII века. Так, например, нельзя отрицать значения роста народонаселения страны. Но представляется очевидным, что эти долговременные процессы, которые Пьер Губер был склонен называть «демографической революцией»²⁷, объяснялись, конечно, не столько административными способностями Флери или Людовика XV (если бы таковые у них даже были), сколько действием более важных факторов: прекращением в XVIII веке эпидемии чумы, снижением детской смертности, постепенным улучшением обработки земли, совершенствованием сельскохозяйственной техники и пр. В равной мере такие, скажем, процессы, как снижение цен на пшеницу и другое зерно в период с 1726 по 1737 год, также не могут быть отнесены за счет талантов кардинала де Флери хотя бы потому, что сходные явления наблюдались и позже, когда прах кардинала уже покоился (ко всеобщему облегчению) в сырой земле²⁸.

Верно лишь то, что первые годы громогласно возведенного начала царствования короля Людовика XV, т. е. с 1726 года, породили известные иллюзии. Большинство подданных короля, не посвященных в тайны Версальского дворца, видели лишь возвышавшуюся над всей страной статную фигуру молодого короля и потому по воспринятому с молоком матери традиционному преклонению перед монархом ожидали от него только блага, только добра и мудрости. Полусогнутого же в почтительном поклоне черного силуэта кардинала де Флери современники, чуждые двору, не замечали вовсе либо не

придавали ему значения; в нем видели лишь одного из смиренных слуг короля.

На протяжении двадцати лет, со смерти Людовика XIV, точнее, с Раштатского мирного договора 1714 года и до войны с Австрией за польское наследство в 1733 году, подданные Людовика XV пользовались непривычными, казавшимися почти неправдоподобными благами мира. После почти непрерывных войн предшествующего царствования установленный на два десятилетия мир казался французам великим счастьем. Людей не разоряли и не убивали непрерывно — право, было за что возносить хвалу мудрому молодому королю!

Но время шло, и все постепенно становилось на свое место. Люди, ближе знакомые с действительным положением дел в королевстве, с жизнью двора, убеждались в том, что для иллюзий, даже для сколько-нибудь благоприятной оценки настоящего и будущего нет никаких оснований. Молодой король, после падения герцога Бурбонского сгоряча заявивший, что отныне сам будет своим первым министром, вскоре же охладел к государственным делам и постепенно стал передоверять их своему бывшему наставнику. Кардинал де Флери намеренно уклонялся от официального звания министра, как и вообще от официальных почестей. Как только появлялся король, он немедленно стушевывался, склонялся перед ним и превращался в его подвижную, зыбкую, колеблющуюся тень. Злые языки (конечно, шепотом и оглядываясь по сторонам) утверждали, что в присутствии короля кардинал даже становился ниже ростом.

Из «любви» к своему августейшему воспитаннику, ставшему его повелителем, кардинал де Флери скрепя сердце брал на себя добровольное бремя и тяготы государственных дел. Постепенно, незаметно он почти полностью освободил монарха от всех докучливых забот. Флери не забыл проявленных королевой чувств к его особе. Соблюдая внешне величайшую почтительность к королеве, кардинал в то же время весьма старательно (хотя, понятно, в самой пристойной и достаточно завуалированной форме) подсказывал королю, как можно в некоторых случаях обходиться без королевы. Монарх оказался весьма восприимчивым к намекам этого рода, он понял все с полуслова. Вскоре внимание молодого короля, развлекавшегося до сих пор преимущественно охотой, было привлечено к молодым дамам, готовым разделить с монархом риск любых походов. Так на

страницах летописей царствования короля Людовика XV появляются имена его метресс: мадам де Мельи, затем ее младшей сестры мадам де Вентимиль и, наконец, третьей сестры мадам де Турнелль, сообразившей, что ей удобнее одной пользоваться вниманием августейшего поклонника, не разделяя его со своими сестрами. Находчивость эта была должным образом вознаграждена: Мари-Анне де ла Турнелль было пожаловано герцогство Шатору (с рентой в 80 тысяч ливров) в возмещение, как было объявлено, за ее преданность королеве²⁹. После Людовика XIV и регента герцога Орлеанского французский высший свет, т. е. придворное окружение, трудно было уже чем-либо удивить, и знатные вельможи почтительно склонялись перед герцогиней де Шатору, мановение мизинца которой значило больше пространных докладов министров его величества.

В то время как «божьей милостью король французский» проводил свой досуг в ночных кутежах в Рамбуйе, Шуази или дальних охотничьих замках, кардинал де Флери в тихом, почти монашеском уединении методично ткал паутину, опутывавшую почти все королевство. Кардинал был стар и слаб, и, чтобы осуществлять задуманное, ему нужны были преданные помощники. Его опорой стали иезуиты. Он правил страной, опираясь не только или не столько на бюрократический аппарат монархии, сколько на незримую власть иезуитов. В годы правления кардинала иезуиты вновь обрели огромную силу. В королевском дворце, в покоях королевы, на веселых пирушках знати и офицеров бесшумно прятались, передвигаясь за портьерами, черные тени.

Но иезуиты не стали бы служить кардиналу только за его набожность: они ничего не делали даром. И Флери платил им, делясь с ними частично властью и проводя политику, полностью отвечающую их интересам, — политику религиозной нетерпимости. Тайная полиция и иезуиты — то были две руки черного правительства Флери, руки с цепкими щупальцами, протягивавшиеся во все уголки королевства. Кто бы мог от них укрыться? Мог ли кто устоять против этого сатанинского союза, прикрывавшегося божьим именем?

Так после Декарта и Пьера Бейля французское общество вновь оказалось отброшенным чуть ли не ко временам Варфоломеевской ночи. Непрерывные конфликты с парижским парламентом, преследования янсенистов, незаконные аресты, скандальные процессы, поли-

цейская слежка, ложные доносы, подметные письма, фальшивые свидетельства, клятвопреступления — все пускалось в ход в повседневной, будничной практике слуг отрешенного от мирских забот, посвятившего себя господу богу кардинала де Флери. Всецело поглощенный ни на мгновение не затихавшей борьбой против своих действительных или мнимых противников, кардинал менее всего думал о положении подданных короля. Крестьяне были полностью отданы во власть сеньоров, откупщиков и интендантов, высасывавших из них все соки и доведших их до полного разорения.

Новейшие сторонники возвеличивания Людовика XV и Флери ставят в заслугу кардиналу его бережливость, расчетливость, его заботы о богатстве страны. Он и в самом деле заботился о богатстве — только не страны, а своей котерии и узкой группы финансовых дельцов, главных откупщиков, крупных арматоров и негоциантов. С эпохи регентства и правления герцога Бурбонского денежная буржуазия продолжала быстро набирать силу. Маркиза де При, «божья мать» финансистов, изгнанная из столицы, наложила на себя руки, но денежные тузы при набожном кардинале и вездесущих ушах иезуитов продолжали накапливать богатство еще быстрее, чем раньше. Наверно, им приходилось делиться какой-то частью доходов, но они уже к этому привыкли: могло ли быть иначе? Все шло своим чередом: деньги прокладывали путь к дворянскому званию и титулам. Титулованная знать, принимая в свои ряды обладателей богатства, требовала за свою снисходительность какую-то его долю.

А простой народ, разоряемый и монархией, и церковью, и дворянством, и буржуа-откупщиками, был доведен до крайней нищеты. Маркиз д'Аржансон в феврале 1739 года констатировал: за время правления Флери «нищета повсюду достигла небывалых размеров. В момент, когда я пишу, в условиях мира, если не изобильного, то вполне приличного урожая, люди вокруг нас мрут как мухи от бедности и вынуждены питаться травой. Провинции Мен, Ангмуа, Турень, верхнее Пуату, Перигор, Орлеан, Берри находятся в самом тяжелом положении»³⁰. По чьей вине это происходило? Д'Аржансон не дает прямого ответа, но указывает, что финансисты-откупщики и интенданты разоряют страну, а правительство этому потворствует. «С королевством об-

ращаются как со вражеской страной, обложенной контрибуцией»³¹.

В окружении кардинала все сообщения о бедственном положении страны, о голодающих крестьянах воспринимались как злостные измышления противников правительства, хотя Людовик XV был осведомлен о трагическом положении голодающих крестьян. Епископ Шартрский в ответ на вопрос короля о положении в его епархии отвечал, что там «царит голод и смертность, что люди, как овцы, стали травоядными и что вскоре всех поразит чума». О страданиях и бедствиях простого народа королю почтительно докладывали герцог Орлеанский, герцог и герцогиня Рошешуар и многие другие. Впрочем, королю пришлось и лично в том убедиться. В один из воскресных дней сентября 1739 года королевский кортеж, следовавший через Исси, был остановлен и окружен большой толпой. Люди не кричали, как ранее, «Да здравствует король!», а выкрикивали: «Горе! Голод! Хлеба! Дайте хлеба!»

В 1739, 1740, 1741 годах цены на зерно и соответственно на хлеб выросли более чем на одну треть. Скупщики, крупные землевладельцы наживали на повышении цен огромные деньги. Крестьяне, особенно сельская и городская беднота, обреченные на голод, испытывали величайшие страдания. В ноябре 1740 года д'Аржансон снова записал: «Число нищих скоро превысит число лиц, могущих жить, не прося подаяния». Он отметил, что в Шательро, например, на четыре тысячи душ городского населения приходится 1800 неимущих, и заключил: «Несомненно, что за последние два года погибло больше французов от голода, чем их было убито за все войны Людовика XIV»³².

В ночные и даже вечерние часы на улицы Парижа было рискованно выходить. С наступлением темноты из всех щелей, из подвалов, из подворотен выходили неведомые люди, заросшие бородами, нередко в масках, вооруженные до зубов. То были властители ночного Парижа. По проезжим дорогам королевства ездить было так же опасно, как по ночным улицам столицы. Вельможи в экипажах проносились под защитой эскорта вооруженной охраны. Отовсюду поступали тревожные вести о дерзких налетах шаяк разбойников. Кто были эти таинственные разбойники? Позже, в начале 50-х годов, у всех на устах было имя «благородного разбойника» Луи Мандрена, внушавшего страх дворянским усадьбам³³.

Но и предшественники Мандрена, «разбойники» 40-х годов, были те же простые, бедные люди, крестьянская беднота, доведенная нуждой до необходимости братья за оружие.

Что же будет дальше? Короля тревожные вести, поступавшие со всех концов королевства, мало трогали. Король веселился. Кутежи, охоты, маскарады, балы, феерические представления. Королевские метрессы были изобретательны на развлечения, и монарх охотно следовал за ними во всех выдумках, подсказанных их необузданной фантазией. Страна была разорена, народ голодал, люди бедствовали, а королевский двор продолжал веселиться. Поистине, пир во время чумы. Людовик XV оставался верен ставшему знаменитым изречению: «На наш век хватит! После нас — хоть потоп».

Но опытные люди, осведомленные о действительном положении королевства, вполголоса спрашивали: «А если века не хватит? Если потоп хлынет раньше? Что тогда?» В июле 1743 года д'Аржансон писал: «В таком государстве революция вполне вероятна»; он задумывался над тем, куда бежать из страны³⁴. Так думал не он один. Мадам де Тенсен, жена кардинала де Тенсена, пытавшегося, хотя и без успеха, заместить де Флери, примерно в то же время писала: «Если нам не поможет сам бог, то невозможно, чтобы государство не рухнуло»³⁵. Наступило тревожное время: страна шла навстречу потрясениям.

VII

Прошло семь лет. Жан-Жак Руссо по-прежнему жил в Париже, был частым гостем литературных салонов и великосветских вечеров, оригиналом, чудаковатым увальнем, которому, впрочем, охотно прощали все его неловкости. Правда, его теперь трудно было уже называть молодым человеком: в тридцать пять — тридцать шесть лет молодость сменяется зрелостью. Но господин Руссо и в зрелом возрасте еще не приобрел ни положения, ни соответствующей годам солидности.

Его преследовали неудачи.

Стараниями покровительствовавших ему дам, и прежде всего баронессы де Безанваль, Руссо было хлопотано место секретаря французского посольства в Венеции. Полагали, что этот пост предоставляет Жан-Жаку возможность раскрыть таящиеся в нем таланты и

открывает ему путь к дипломатической карьере. Быть может, этот первый скромный официальный пост будет лишь началом блистательной государственной деятельности?

Разделял ли Руссо эти иллюзии? Ответить на этот вопрос не так просто. Он любил путешествовать, у него была склонность к перемене мест; к тому же перед ним открывался совершенно новый, неизведанный путь: дипломатия — это звучало многообещающе; может быть, он связывал с ней и какие-то надежды, ведь у него была привычка фантазировать.

Во всяком случае, по прибытии в Венецию он взялся за дело с рвением. Посол французского короля граф де Монтегю, капитан гвардии, человек взбалмошный и своенравный, отнюдь не хотел утруждать себя многочисленными вопросами и заботами, возникавшими каждодневно, и передоверил практическое руководство делами посольства Жан-Жаку Руссо.

Первоначально все шло хорошо. Секретарь посольства постепенно входил во вкус своей многообразной и казавшейся ему интересной работы. «Я прилагал все усилия к тому, чтобы поддерживать полный порядок и быть совершенно точным во всем, что относилось к моим главным обязанностям», — писал позднее Руссо в «Исповеди», чистосердечно признаваясь, что для него это было нелегко. Но, по-видимому, он достиг столь значительных успехов на своем посту, завоевав уважение и расположение венецианских властей, что с какого-то времени послу это перестало нравиться.

Между послом и секретарем посольства возникли трения. Граф де Монтегю, не привыкший стесняться в выражениях, стал высказывать явное неудовольствие чрезмерным усердием своего подчиненного; приобретенный Руссо в Венеции авторитет был ему не по вкусу. Руссо, с детства обладавший строптивым характером, не проявлял ни малейшей склонности идти навстречу пожеланиям своего шефа.

Конфликт разрастался и вскоре принял острые формы. После неожиданно возникшей бурной сцены Руссо, хлопнув дверью, оставил навсегда здание французского посольства в Венеции. Второпях он даже не успел получить причитавшегося ему жалованья.

Возвратившись в Париж, Руссо приложил немало усилий, чтобы восстановить правдивым рассказом действительную историю своего конфликта с послом и до-

биться справедливого решения. Его письма к дю Тейлю, фактически управлявшему министерством иностранных дел осенью 1744 года, показывали, какое большое значение придавал Руссо оправданию своих действий в Венеции³⁶.

Все оказалось напрасным. Его принимали по-прежнему доброжелательно и даже ласково, ему сочувствовали, его хвалили, но слова оставались только словами. Руссо не добился законного удовлетворения в споре с послом, он не получил также причитавшегося ему жалования. Ему было отказано под предлогом, что он не француз, а иностранец и, следовательно, не может рассчитывать на покровительство Франции.

Это был тяжелый удар. В ту пору он еще не освободился полностью от доверчивости, даже предрасположенности к иллюзиям, которые были так присущи ему в молодости. Справедливость, право, закон были на его стороне. В этом был убежден он сам, это подтверждали и все его друзья, возмущавшиеся не меньше, чем он. Правда, Руссо столкнулся и с иными. Баронесса де Безанваль, способствовавшая в свое время его назначению в Венецию, в конфликте между Руссо и послом безоговорочно встала на сторону Монтегю прежде всего потому, что тот был послом — старшим по чину и званию. Руссо написал госпоже де Безанваль язвительное письмо: «Я ошибался, мадам... я должен был помнить, должен был чувствовать, что мне — иностранцу и плебею — не подобает выступать против дворянина»³⁷. Он рвал с этой дамой навсегда.

Но при полной убежденности в своей правоте, при поддержке друзей и парижского света, готового в течение двух-трех вечеров сочувственно — при Руссо! — обсуждать это происшествие в Венеции, он не мог ничего добиться от официальных властей.

Тогда, как он позднее признался в «Исповеди», у него впервые возникли сомнения, более того, негодующее осуждение существующих гражданских установлений, общественного порядка, узаконивающих притеснение сильными слабыми.

Он отступил. Впрочем, перед ним не было выбора. После смерти отца ему досталась, не без хлопот, какая-то доля наследства. Она была невелика, но дала возможность некоторое время жить, не думая о том, как заработать деньги на хлеб насущный.

Обретя независимость, Руссо решил всецело посвя-

тить себя музыке. В ту пору ему казалось, что музыкальное творчество — это и есть его истинное призвание.

У него была уже некоторая известность в Париже. За ним упрочилась репутация способного музыканта, одаренного композитора. Его друзья — а друзей в ту пору у Руссо было много — считали, что Жан-Жак на пороге решающих успехов. Его музыкально-литературные произведения были благосклонно приняты не только в мире искусства (их похвалял знаменитый в ту пору Мариво), но и среди великосветских ценителей изящного. Он возобновил работу над оперой «Галантные музы», начатой им еще до поездки в Венецию, и за несколько месяцев сумел ее завершить. Его опера в некотором отношении была новшеством: автору принадлежала не только музыка, но и ее текст — полноразмерные, впечатляющие звонкой и точной рифмой стихи. В отличие от широко принятого в ту пору разделения труда по меньшей мере между двумя авторами — композитором и поэтом-либреттистом — Руссо создал всю оперу, целиком, от начала до конца, — один! Единый авторский замысел обеспечил такую слитность стихов и музыки, которые до тех пор не часто встречались.

Но как добиться постановки нового произведения на сцене театра? Это оказалось труднее, чем написать оперу.

Друзья вводят Руссо в новые парижские салоны: в дом господина де ла Поплиньера, главного откупщика, одного из крупнейших богачей, владельца великолепного особняка, мецената, поддерживавшего Рамо — в ту пору самого авторитетного и избалованного корифея французской музыки.

Жан-Жаку претит это общество; уже с давних пор, со времен диссертации о музыке, у него нелады с Рамо, и его раздражает царящий в этом доме культ поклонения композитору, которого он не склонен ценить. Его отталкивает и это выставленное напоказ богатство. Но жизнь приучила его скрывать до поры до времени свои чувства. В гостиной Поплиньеров он смиренно выслушивает барственно небрежные наставления Рамо: еще не пришло время обнажать шпагу, вступать со знаменитым композитором в открытую борьбу. Главное, к чему он стремится, — увидеть свою оперу исполненной на театральной сцене; за дальнейшее он не беспокоится.

Но от зоркого взора госпожи де ла Поплиньер — а

именно эта дама была подлинным сувереном в этом маленьком царстве — не ускользают критические ноты, приглушенно звучащие в смиренных ответах Руссо. Госпожа де ла Поплиньер — ученица, поклонница и последовательница великого Рамо — легко угадывает истинные чувства швейцарца к ее учителю. Все старания Руссо завоевать расположение капризной дамы обречены на неуспех. А ведь он умел когда-то «заговаривать зубы»; здесь же все его усилия не смогли привести к большему, чем внешняя сдержанность госпожи де ла Поплиньер. За спиною дамы незримо стоял великий Жан-Филипп Рамо; прославленному композитору, которому шел уже седьмой десяток, был не нужен этот молодой и дерзкий конкурент, самоуверенно рассчитывавший пойти в музыке каким-то своим путем, не похожим на тот, что проложил к вящей славе французского искусства он, Рамо.

Все же эти посещения салона Поплиньеров не прошли бесследно. Госпожа де ла Поплиньер, вероятнее всего невольно, заинтересовала оперой Руссо герцога де Ришелье. Этот знатный сеньор, весьма влиятельный при дворе, был в какой-то мере покровителем четы Поплиньеров (злые языки уверяли, что эта мера определялась степенью его близости с госпожой де ла Поплиньер, поскольку корифей французской музыки отвечал лишь музыкальным запросам дамы).

Как бы то ни было, Ришелье настоял, чтобы «Галантные музы» Жан-Жака Руссо были поставлены за счет короля по всем правилам — с певцами, оркестром, хором — на одной из придворных сцен. Герцог рассчитывал, если опера ему понравится, показать ее королевскому двору в Версале.

Исполнение оперы Руссо привело герцога Ришелье в восхищение. Руссо признавал позднее, что опера написана неровно, в ней имелось немало слабых мест. Так оно, видимо, и было; произведение не удержалось в репертуаре французской оперной музыки. Но в «Галантных музах» была своя прелесть: ее мягкая, беззаботная, веселая музыка отражала оптимизм молодости, присущий в ту пору творчеству Руссо.

Герцог Ришелье бурно аплодировал произведению; он был в восторге от прекрасной гармонии звуков и уверял автора, что опера будет поставлена при дворе. Он лишь заметил, что второй акт, посвященный Торквато

Тассо, должен быть заменен чем-то иным. Все остальное он находил великолепным.

В XVIII веке каждый гран-сеньор считал себя истинным ценителем искусства. Мнение герцога де Ришелье было почти равносильно приказу. Руссо заперся в своем доме, и через три недели второй акт был написан заново. Торквато Тассо был заменен Гесиодом.

В Париже ничто не остается неизвестным. Успех «Галантных муз» Жан-Жака Руссо, исполненных для герцога де Ришелье, через день обсуждался во всех салонах столицы.

Руссо стал получать предложения, казавшиеся ему интресными и выгодными. Вольтер прислал ему письмо, написанное в самых лестных выражениях: «Вы соединяете в одном лице два таланта, до сих пор остававшиеся всегда разделенными. Это дает мне дважды основание высоко оценить Вас и полюбить»³⁸. Он просил Руссо взять на себя исправление и редактирование оперы «Празднества Рамиры», которую в свое время написал вместе с Рамо. Руссо позднее объяснял любезность Вольтера и дружеский тон его письма тем, что Руссо, как полагал знаменитый писатель, пользуется особым расположением герцога Ришелье.

Польщенный просьбой Вольтера, Жан-Жак, отбросив в сторону заботы об исполнении «Галантных муз», взялся за нелегкий труд приведения в порядок оперы Вольтера и Рамо. Ему пришлось приложить немало усилий: он написал к опере увертюру, речитатив, дописал и переделал множество пассажей; он стал в сущности ее третьим соавтором.

Но когда работа была завершена, она не принесла Жан-Жаку ничего, кроме огорчений. Госпожа де ла Поплиньер, считавшая себя полномочной представительницей Жан-Филиппа Рамо, выражала неудовольствие то одной, то другой частью работы и заставляла переделывать ее без конца. Когда же наконец все претензии были удовлетворены и опера была поставлена на королевской сцене, в либретто, раздаваемых зрителям, имя Руссо не было даже упомянуто.

Столь же напрасными и бесцельными оказались и огромные усилия, бессонные ночи, душевный подъем, радостные ожидания, связанные с работой над «Галантными музами». Это талантливое литературно-музыкальное произведение все одобряли, все хвалили, все восхищались им... а опера все-таки не шла.

Позже, в 1747 году, благодаря деятельному вмешательству Франкея, друга Руссо, к тому же нуждавшегося в его услугах, «Галантные музы» были наконец приняты к постановке на сцене Французской оперы. Возможна ли бóльшая честь для композитора? Арии оперы разучивали прославленные певицы и певцы, оркестр, хор; ее не раз репетировали. Дело дошло до генеральной репетиции... и на том остановилось.

Примерно та же участь постигла и оперу Руссо «Нарцисс». То была первая музыкальная комедия, сочиненная Руссо еще задолго до переезда в Париж. В течение многих лет пребывания в столице королевства автор настойчиво добивался постановки ее на сцене театра. Все усилия были напрасны. Одно время казалось, что молодой композитор близок к успеху. Итальянский театр в Париже принял наконец его произведение к постановке. Принял, но не поставил. Единственным вознаграждением, полученным автором за его труды... было право бесплатного посещения итальянского театра.

Были ли музыкальные пьесы Руссо столь плохи, что их невозможно было ставить на сцене?

По всей вероятности (я не берусь с определенностью судить: данная область далека от моей специальности), эти ранние творения молодого композитора и поэта были несвободны от недостатков, возможно даже весьма значительных. Сам Руссо позднее признавал, что порою его произведения казались ему во многих отношениях слабыми. Быть может, такое восприятие было порождено упадком душевных сил, горестными переживаниями; это было бы естественным.

Самая строгая проверка художественной ценности любого произведения искусства — проверка временем показала, что музыкальные творения Руссо не выдержали этого испытания. Но музыка середины XVIII столетия вообще почти не дожила до наших дней. Кто из популярных композиторов той эпохи сохранился в современном музыкальном репертуаре? Руссо в музыке был лишь одним из предшественников Глюка, может быть даже самым значительным предшественником. Но ведь и Глюк в наши дни композитор для избранных, его наследие — достояние узкого круга музыковедов, историков и теоретиков музыкального искусства, но отнюдь не широких кругов любителей музыки.

Вопрос следует поставить иначе: были ли музыкальные произведения Руссо ниже, слабее произведений со-

временных ему композиторов, тех, что исполнялись на сцене королевского и других театров? Были ли оперы Руссо слабее, хуже опер его антиподов и противников?

На этот вопрос следует ответить отрицательно. Нет, конечно же, музыкальные пьесы Руссо были не слабее тех пьес, которым аплодировал французский зритель. Руссо пребывал в безвестности и нищете, тогда как имя, например, Рамо гремело по всей Франции. Но ведь и Рамо не выдержал и не мог выдержать того же испытания временем.

Горестность строк Руссо, когда он пишет или рассказывает о неудачах, преследовавших его музыкальные опыты, понятна и вполне объяснима. Он видел, он чувствовал несправедливость этого произвольного отбора. Он писал не хуже других, может быть, даже лучше. За время пребывания в Италии он прислушивался с вниманием (если угодно, с профессиональной придирчивостью — ведь он уже был автором ряда композиций) к итальянской музыке и не мог не воздать ей должное. Итальянская музыка ушла далеко по сравнению с французской: она была естественнее, проще, ближе к народной музыке.

Жан-Жак Руссо менее всего был копиистом. То был художник, по самому своему внутреннему складу всегда остававшийся оригинальным — в поэзии, в философии, в музыке, в мышлении, в самом восприятии мира. Он не перенял внешних особенностей итальянской школы. Но знакомство с итальянской музыкой не прошло для него бесследно. Оно усилило в его творчестве ту стихийную, озорную, веселую, певучую народную струну, которая всегда была ему свойственна.

Он испытывал отвращение к жеманной, искусственной или, напротив, жесткой, патетически торжественной ложно-классической музыке модных, осыпанных милостями монаршего благоволения композиторов. Жан-Жак Руссо не станет одописцем, прислуживающим двору и его клевретам. Он не хотел быть и будуарным певцом, создавать игривые, легкие мотивчики, разгоняющие скуку завсегдатаев нарядных салонов.

Перечитайте его «Письма о французской музыке» — не для того, чтобы принять их положения: они спорны и в них есть ряд утверждений, вызывающих и сегодня столь же решительные возражения, как и двести лет назад. Нет, «Письма» эти примечательны с иной

стороны: они показывают, с какой принципиальной непримиримостью отстаивает Руссо свои взгляды на музыку³⁹.

Вот почему неудачи, пережитые Руссо во всех его музыкальных начинаниях, означали для него нечто большее, чем серию личных проигрышей. В этой незримой, тайной войне — войне всегда в перчатках, без грубых жестов, без грубых слов — проигрывало то направление в музыке, в искусстве, которое он считал единственно правильным или по меньшей мере более передовым, лучшим, чем то, которому рукоплескали ложи и партер королевского театра в Версале.

VIII

За семь лет, минувших с тех пор, как мы расстались с Жан-Жаком Руссо в 1743 году, его положение в парижском обществе не изменилось. Он был по-прежнему желанным гостем в лучших гостиных Парижа. За Руссо укрепилась репутация оригинала. Он умел замечать и говорить то, что не замечали и не говорили другие. Он знал всегда что-то такое, чего не знали остальные. Он слыл умным человеком. Наконец — это считалось общепризнанным — Руссо был весьма одаренным композитором и поэтом. Он еще не добился признания и полного успеха? Его оперы не идут на сцене? Мало ли что бывает на свете? Музыкальные произведения Руссо охотно исполнялись в закрытых салонах, на подмостках частных театров. А признание — оно придет; не сегодня, так через год, через десять лет или позже. Ведь сколько добивался признания Жан Расин... В мире искусства так бывает...

За минувшие семь лет изменился он сам. Следующие одно за другим поражения: на дипломатическом поприще в Венеции, в поисках справедливого решения в конфликте с Монтегю в Париже, в тщетных усилиях поставить «Галантные музы» на сцене Версаля или Парижа, в неудаче с постановкой «Нарцисса» в итальянском театре, в бесцеремонном пренебрежении его трудом над оперой Вольтера и Рамо — не прошли бесследно, они многому его научили.

Жан-Жак Руссо, об этом говорилось раньше, вошел семь лет назад в парижские салоны не наивным мальчиком, зачарованным всем, что открывалось его взору, а человеком, поднявшимся с самого дна, прошедшим

трудную школу жизни, начиная с ее самых низших ступеней. Он вошел в эти нарядные великосветские залы с тайным предубеждением, глубоко запятанным, но непреодолимым, рожденным долгими годами скитаний, с отвращением к богатству, с трудом скрываемым недоверием к этим ослепляющим улыбками и драгоценностями дамам и всегда любезным, небрежно любезным господам.

Вначале, когда все это было внове, когда все пробуждало интерес, любопытство вчерашнего бродяги, пешком постигавшего географию страны, у него зарождались какие-то иллюзии: а может быть, эти элегантные, изящно одетые, так остроумно, легко поддерживающие беседу знатные дамы и господа и впрямь добрые и хорошие люди? Может быть, его предубеждение ошибочно? Может быть, этот парижский свет действительно заслуживает полного доверия? Некоторое время он, видимо, колебался, может быть, даже был на распутье: чему верить? в какую сторону идти?

В творческой биографии Руссо заслуживает внимания та не объясненная до сих пор пауза, которая наступает после 1741—1742 годов. В эти годы были созданы два больших произведения гражданской поэзии: «Послание г-ну Борду» и «Послание г-ну Паризо». А затем наступает перерыв, и длится он не месяц, не два; он тянется годы.

Это не пауза в творчестве Руссо вообще; он пишет в эти годы сочинения по вопросам теории музыки, создает музыкальные произведения, весь стихотворный (дважды переработанный) текст оперы «Галантные музы», в 1743 году пишет пьесу «Военнопленные» (которой остается неудовлетворен и которую тщательно прячет от посторонних взоров⁴⁰). Затем работает над комедией в трех актах, и тоже в стихах, «Смелая затея», о которой сам в «Предуведомлении» писал: «Эта пьеса — из самых банальных». Словом, то были годы напряженной творческой работы. Но при всем многообразии тем и сюжетов, разрабатываемых Руссо, гражданская тематика полностью исключена.

Чем это объяснить? Переписка Руссо тех лет также не дает ответа на поставленный вопрос. «...В конце концов много проектов, мало надежд...»⁴¹ — писал он в 1745 году в одном из писем к госпоже де Варанс. Эти несколько слов передают горечь его чувств, но не более. Вероятнее всего, эту затянувшуюся паузу в разработке

тематики, к которой Руссо тяготел всю жизнь, следует объяснять именно теми сомнениями, колебаниями, которые он испытывал в первые годы пребывания в Париже.

Руссо приглядывался, прислушивался, наблюдал. Он был в какой-то мере естествоиспытателем, немного ботаником — он не торопился, не спешил. К тому же вначале со всех сторон ему так легко и охотно давали обещания; все были так добры, так щедры на, казалось бы, искренние слова одобрения — как не закружиться непривычной к похвалам голове!

Но время шло, и Жан-Жак с его особым пристрастием, можно даже сказать талантом наблюдательности, стал все отчетливее замечать то, что рождало раньше какие-то мимолетные, смутные впечатления. Он заметил, что чарующая улыбка, с которой его встречала госпожа Дюпен и которую он — о наивный провинциал! — считал своим личным завоеванием и относил только к себе одному, — эту улыбку он вскоре заметил, когда она, мадам Дюпен, приветствовала в своем салоне мсье де Бюффона, и престарелого мсье де Сен-Пьера, и даже дам, в особенности тех, которые не пользовались ее расположением.

Он начинал постигать истинную цену и слов, и улыбок, и обещаний. Он давно привык к тому, что если его спрашивали с участливым видом: «*Comment allez vous?*» (Как вы поживаете?), то единственно возможный ответ мог быть только: «*Merçi. Et vous mêmé?*» (Спасибо. А вы?), потому что ни спрашивающего, ни отвечающего это ни на грош не занимало; то была лишь ритуальная формула вежливости — не более того.

Все было ложью, обманом. Иллюзии рассеялись. Чем дольше он оставался в этом избранном обществе столицы французского королевства, тем отчетливее осознавал, сколь обоснованны, сколь справедливы были то недоверие и интуитивная вражда, которые он испытывал к этой знати богатства, впервые вступая в парижские салоны.

Да, он постепенно постиг, что этот столь блестящий, кажущийся издали столь привлекательным мир изнутри изъеден черным соперничеством честолюбий, завистью, тайной взаимной борьбой, скрытыми подвохами, кознями, обманом.

Он знал, что в этом обществе острословов, бравирую-

щем своей показной независимостью, афиширующем свое фрондерство к официальным властям, обществу, щедром на булабочные уколы двору, что в этом собрании самых блестящих умов, хвастающихся смелостью суждений, постоянно тайно оглядываются на незримый двор, прислушиваются ко всем сплетням, исходящим из будуара мадам де Помпадур, соразмеряют силу влияния тех или иных ее клевретов. Это общество «независимых умов» было в действительности сборищем дельцов и карьеристов, прячущих под внешней куртуазностью и дружелюбной улыбкой холодный расчет, злые тайные умыслы; беспощадность к своим соперникам и конкурентам.

Дамы света были под стать своим мужьям и любовникам. Перечитайте письма Сен-Пре из Парижа Жюли: «Хорошеньким женщинам неуютно сердиться, поэтому их ничто и не сердит; они любят посмеяться, а над преступлением нельзя подшутить, поэтому мошенники, подобно всем, — люди порядочные»⁴². Даже лучшие из дам — самые красивые, самые умные, — и те не свободны от пороков и недостатков своей среды.

Руссо долгое время был увлечен очаровательной госпожой Дюпен. Он воздавал должное ее красоте, обаянию, уму. Госпоже Дюпен было посвящено такое четверостишие:

Не бойся, разум, замирая, —
Не гаснешь ты в ее лучах:
Мудрец, при ней тебя теряя,
Вновь обретет в ее речах⁴³.

О том же неподдельном восхищении госпожой Дюпен и глубоким уважении к ней свидетельствует и переписка Руссо с этой значительной и интересной женщиной⁴⁴. И все же при всей своей увлеченности Жан-Жак постепенно прозревал.

Госпожа Дюпен играла с Жан-Жаком, как кошка с мышкой. Она не шла навстречу его чувствам, но и не хотела его отпустить. То было не только женское кокетство, к этому примешивались и корыстные расчеты. Госпожа Дюпен своим живым, практическим умом оценила способности Жан-Жака и сочла, что он может быть ей полезным. Она сама мечтала о литературной славе, об известности, намеревалась, а может быть, начала писать книгу. Жан-Жак Руссо был бы для нее весьма ценным помощником, чем-то вроде литературного секретаря. Но Руссо, согласившись на эту роль, при этом всег-

да замечал, что госпожа Дюпен, так же как и ее пасынок Франкей, выступая в роли его заботливых друзей, отнюдь не стремились способствовать приобретению им некоторой известности в обществе. Что было тому причиной? В «Исповеди» Руссо объяснил это так: «Может быть, оба опасались, как бы не заподозрили, увидев их книги, что они привили мои таланты к своим»⁴⁵.

Так ли это было в действительности или не так, но с настойчивостью разочарованного влюбленного, пристально наблюдающего за женщиной, к которой еще недавно были устремлены все его помыслы, Руссо открывал в ней все новые непривлекательные черты: неискренность, двоедушие, мелкую корыстную расчетливость. Чем дольше и внимательнее он следил за этой умной и красивой дамой, тем больше он замечал в ней такие штрихи, такие черточки, которые день за днем излечивали его от казавшейся ему вначале непреодолимой любви.

А ведь госпожа Дюпен — напомним еще раз, ибо к этому обязывает дружественно-почтительный тон к этой даме, сохраненный Руссо в «Исповеди», — госпожа Дюпен была лучшей из женщин «высшего света», с которыми он встречался в Париже. А госпожа де ла Поплиньер? А баронесса де Безанваль? А госпожа д'Эпинэ, которая принесет позже Жан-Жаку столько горестных минут и тягостных переживаний?

Может быть, этим неожиданным и потому болезненным и острым разочарованием следует объяснить возникшую в эти годы связь Руссо с молодой — двадцатитрехлетней — белошвейкой из Орлеана Терезой Левассер. Эта женщина, которую Руссо должен был назвать ограниченной и тупой, странным образом оказалась его подругой на всю жизнь. «Вначале я хотел развить ее ум. Напрасные усилия. Ее ум остался таким же, каким его создала природа; образование, культура не приставали к ее уму. Не краснея, я должен признаться, что она так и не смогла научиться правильно читать, хотя и писала прилично».

Так что же привлекло в ней Руссо?

Ее кротость, её беззащитность, ее доверчивость.

В той же «Исповеди», рассказывая о первой встрече с Терезой Левассер, Руссо признается, что был поражен ее скромностью и более всего «кротким живым взгля-

дом ее глаз — взглядом, которого он никогда в жизни не встречал».

Может быть, если бы в ту пору Руссо не переживал внутреннего разлада с парижским светом, разочарования в женщине, недавно еще боготворимой им, если бы он не чувствовал глухой, не высказанной вслух вражды ко всем этим самоуверенным нарядным дамам высшего общества, может быть, он прошел бы мимо скромной провинциальной белошвейки, не обратил бы внимания на ее кроткий взгляд, показавшийся ему таким трогательным и значительным.

Тереза Левассер, вероятнее всего, привлекла его внимание прежде всего своим контрастом с этими образованными, острыми на язык дамами из парижских салонов. Он уже был пресыщен этой несмолкаемой светской болтовней, этой искусственной речью, этими злыми пересудами, намеренными сплетнями, опасными намеками, рискованными обмолвками, которыми сыпали как из рога изобилия эти изнеженные ангелоподобные дамы. Простая, робкая, наивная, глуповато-доверчивая Тереза была так непохожа на этих светских дам, в обществе которых Руссо должен чуть ли не каждый вечер томиться. Впервые за долгие годы он вздохнул свободно.

Лион Фейхтвангер в своем известном романе был несправедлив к этой простой женщине, ставшей подругой, а позже и женой Жан-Жака Руссо. Созданная писателем версия об убийстве Руссо, в которой Терезе отводилась роль хотя и косвенной, но соучастницы, остается литературным вымыслом, не подтвержденным известными фактами биографии Руссо. Но зловещая роль, приданная Фейхтвангером Терезе в финале романа, бросает мрачный отсвет и на более ранний период союза Жан-Жака и Терезы.

Было бы наивным и неуместным сегодня судить и рядить о достоинствах или недостатках женщины, ставшей подругой Руссо и ушедшей из жизни почти двести лет назад. Во время Великой французской революции Национальный конвент воздал все почести вдове Руссо, и в этом была своя логика: высшее представительное собрание французского народа свидетельствовало свое уважение женщине, которую великий Жан-Жак Руссо выбрал спутницей жизни.

Руссо сам с той беспощадной правдивостью, которая присуща «Исповеди», представил Терезу Левассер такой, какой он ее видел. Он рассказал без утайки о ее не-

достатках, о ее неразвитости, необразованности, неспособности к учению. Но он же написал о ней то, что не писал ни об одной другой женщине: Тереза дала ему счастье!

Собственно, этой одной короткой фразой тема Терезы Левассер в жизни Руссо была исчерпана до конца.

Можно высказать предположение, что с этой простой женщиной из народа Жан-Жак чувствовал какое-то внутреннее родство. Он пишет о «сходстве... сердец, о соответствии характеров». Наверно, внутреннее родство определялось не только этим. Жан-Жаку было легко с Терезой. Возвращаясь к ней после тягостных для него вечеров в богатых особняках, он словно снимал с себя хомут. Он возвращался в простой, счастливый мир скитальческой юности; он возвращался к милой простой девушке, встречавшей его кротким, доверчивым взглядом.

Союз с Терезой Левассер стал для Жан-Жака своего рода отдушиной в этой трудной жизни в Париже. Без этих пауз, без этой разрядки, без этого второго, скрытого от посторонних взоров уединенного мирка с Терезой, где ему дышалось легко, он, быть может, не выдержал бы напряжения тех лет.

Союз с Терезой Левассер не был единственным мирным очагом, где он мог отдохнуть от сковывавших его пут светской жизни. У него были друзья, которым со свойственной ему в ту пору доверчивостью он мог открывать душу.

Самым близким для него человеком был молодой испанец Игнацио-Эммануил де Альтуна, увлеченный постижением тайн науки. Они спорили почти по всем вопросам, возникавшим в ходе бесед; их мнения почти ни в чем не совпадали, но ни к кому другому из своих парижских друзей Жан-Жак не питал такой симпатии, такой привязанности, как к Игнацио де Альтуне. У них был даже план поселиться — навеки! — вместе. Но Альтуна уехал — у него была семья — и не вернулся: вскоре после отъезда он умер.

Руссо в ту пору дружил и с молодыми людьми, с которыми его сближала идейная общность. Как и он, то были люди, выступавшие кто смелее, кто осторожнее с критикой существующих порядков. Одни выражали ее в беседах достаточно открыто; другие предпочитали излагать свои мысли на трудно понятном для многих мудреном языке философических сочинений, нередко в затем-

ненной или иносказательной форме, чтобы не навлечь на себя преследования властей.

Среди этих людей, в какой-то мере единомышленников Руссо, — им всем не очень-то нравился существующий порядок вещей — были Дени Дидро, Кондильяк, его брат аббат Габриэль-Бонно де Мабли, Фонтенель, Мельхиор Грим, Дюкло и другие.

Ближе всего Руссо в ту пору сошелся с Дидро: они были почти ровесниками, в их биографиях были некоторые схожие черты. Сын ножовщика из городка Лангра, Дидро был также выходцем из народа. В Париже ему жилось нелегко: он с трудом зарабатывал на пропитание переводами с английского, к тому же он рано женился на бедной дочери белошвейки и расходы еще более возросли. Но он уже приобрел некоторую известность в передовых литературных кругах Парижа, его «Философические письма» произвели большое впечатление. Дидро уже считали, и с должным основанием, одним из выдающихся представителей младшего поколения «просветителей».

Руссо с его доверчивой, увлекающейся натурой был в ту пору очень привязан к Дидро, он считал его самым близким другом. Когда Дидро за не понравившееся властям намеками «Письмо о слепых в назидание зрячим» заключили в Венсенский замок, Руссо воспринял это как личное несчастье. Он написал взволнованное письмо госпоже де Помпадур, умоляя ее изменить участь своего друга; он ходил пешком через весь Париж и его окраины в Венсенский замок, чтобы навещать Дидро, когда ему разрешили свидания.

Дидро, насколько можно судить по встречающимся в его литературном наследии упоминаниям о Руссо, относился к своему другу сдержаннее, спокойнее; в его отзывах о Руссо нет и тени той восторженности, которая явственно ощущается у будущего автора «Новой Элоизы».

Тем не менее в то время, в 40-х годах, их соединяла еще тесная дружба и общность в главном — в идейных позициях.

Руссо дружил в ту пору также с Кондильяком, пребывавшим еще в такой же неизвестности, как и он сам, и испытывавшим частично сходные жизненные затруднения. Кондильяк в те годы сосредоточил свои усилия на завершении труда «Опыт о происхождении человеческих знаний». Эта тема интересовала и Жан-Жака Рус-

со и могла быть предметом длительных оживленных споров и обмена мнениями. По воскресеньям молодые друзья (Кондильяк был лишь немногим моложе Руссо) обедали вместе, «вскладчину», как сообщает Руссо.

Руссо познакомил Кондильяка с Дидро, а тот в свою очередь свел их с Жаном Д'Аламбером. Так сложилось это содружество молодых людей, во многом разных, но похожих друг на друга, но объединенных и возрастной близостью, и, главное, тем, что им всем не нравился окружающий мир, вернее, его политические институты и общественные порядки. Но как сделать этот мир лучше? Как изменить его?

У молодых людей не было еще ни сложившихся идей, ни оформленного плана. Первоначально у Руссо возникла мысль, поддержанная Дидро, об издании периодического листка под названием «Зубоскал». Да, у них был еще избыток молодости и готовности смеяться! Почему бы не высмеять пороки и уродливые черты этого мира спесивых ничтожеств? Почему бы не бороться с противником разящим оружием смеха?

Дидро рассказал об этом плане Д'Аламберу, но по причинам, оставшимся невыясненными, из этого замысла ничего не получилось. Но зато родилось иное.

По идее Дидро и Д'Аламбера было предпринято составление и издание «Энциклопедического словаря». Первоначально план был скромным: что-то вроде перевода известного в ту пору словаря Чемберса, выпуск в свет которого готов был взять на себя книгоиздатель Лебретонн.

Но в ходе обдумывания проекта издания Дидро и Д'Аламбер — и это было их непреходящей заслугой — замыслили нечто принципиально иное. Они решили издать многотомную «Энциклопедию наук и ремесел» — универсальный свод передовых знаний своего века, издание единое и целостное по своим идейным принципам. Авторами этого грандиозного коллективного издания должны были стать литераторы, во многом различные по своей авторской манере, личным вкусам и пристрастиям, но отвечающие главному требованию: сотрудниками «Энциклопедии» должны были быть противники феодальных порядков и догматов, феодальной идеологии.

«Энциклопедия» Д'Аламбера и Дидро стала первым программным выражением нового, передового мировоззрения третьего сословия, идущего на смену изжив-

шему себя, но цепко удерживавшему власть феодально-абсолютистскому строю. В этих толстых, медленно выходявших в свет томах был заключен заряд огромной революционной силы. То был самый действенный, самый эффективный обстрел идеологических позиций старого мира.

«Энциклопедия» XVIII века сыграла еще одну важную роль. Она стала первой широкой идейной платформой, объединившей, пусть на время, все направления, все оттенки антифеодальной, просветительской мысли. «Энциклопедия» на какой-то период способствовала созданию, говоря современной терминологией, единого фронта всех представителей просветительской мысли против феодализма, его институтов, его установлений, его морали и догм. В идеологической подготовке Великой французской буржуазной революции роль «Энциклопедии» была огромной.

Д'Аламбер и Дидро были главными организаторами и редакторами «Энциклопедии». Естественно, они предложили участвовать в этом издании и Жан-Жаку Руссо, своему другу и единомышленнику. Руссо предложили в «Энциклопедии» отдел музыки.

Такое предложение было вполне обоснованным и понятным. Руссо в ту пору был известен (и то в сравнительно узкой парижской среде) только как музыкант, если угодно, даже как теоретик музыки. Он и сам ни на что иное тогда не претендовал и охотно написал для этого издания ряд статей по общим и частным вопросам музыки.

Однако его участие в «Энциклопедии» имело и более общее, принципиальное значение. Приняв участие в «Энциклопедии», Жан-Жак Руссо как бы включался в ту цепь стрелков, которые вели прицельный огонь по боевым позициям враждебного старого мира. Он тоже стал одним из «энциклопедистов», как называли участников этого храброго боевого отряда, смело завязавшего бой с силами старого мира.

Не подлежит сомнению, что участие в «Энциклопедии», дружба с Дидро, Кондильяком, Д'Аламбером, передовыми людьми своего времени оказали определенное влияние на созревание, на «кристаллизацию», как говорил по другому поводу Стендаль, идейных воззрений Руссо.

Жан-Жак Руссо прошел в 40-х годах через трудную школу разочарований; он на личном опыте общения с

парижским светом познал то, о чем раньше мог только догадываться. Из сказанного ранее видно, что то не было разочарование в человеческом роде вообще. Его критика этих лет имеет резко очерченную направленность: личные наблюдения, собственный жизненный опыт убедили его в том, что этот замкнутый, недоступный посторонним мир богатых и знатных, в который он вошел, еще хуже, чем он предполагал раньше, когда видел его издалека, извне.

В «Исповеди» Руссо рассказал, что он упорно отказывался от многократных приглашений посетить салон барона Гольбаха. Посредником был Дидро; у Гольбаха встречались многие их общие друзья. Но Жан-Жак не мог преодолеть испытываемого им отвращения к дому барона. Однажды Гольбах спросил его прямо о причине постоянных отказов. «Вы слишком богаты», — ответил Руссо.

И это была правда. Отвращение к богатству за годы пребывания в Париже у Жан-Жака не убавилось, не притупилось, а, напротив, возросло и обострилось.

Во второй половине 40-х годов в творчестве Руссо вновь начинают звучать мотивы гражданственности.

В пространном лирико-философском стихотворении «Аллея Сильвии» (1747 год) обличение богатства, столь характерное для ранних произведений Руссо, выступает в более общей, программно-декларативной форме:

Тебе, презренный смертный, горе,
Коль ты душой погряз в позоре
И жаждой золота объят!
Страдай же мукою жестокой
От скверны, что в себе глубоко
Твои сокровища таят⁴⁶.

Мысль о том, что «сокровища», «золото» — это скверна и что жажда золота позорна, так отчетливо сформулированная в «Аллее Сильвии», останется идеей, которой Руссо будет верен всю жизнь.

В этом стихотворении Руссо высказывает и другую мысль, быть может не до конца осознанную, но присутствующую ему и раньше:

Ведь мудрому немного надо:
И скудным благам сердце радо, —
Они желанье утолят⁴⁷.

Эти три строки, зная все последующие философско-политические трактаты Руссо, можно было бы при-

нять за декларирование принципа добродетельности бедности, за эмбриональную форму идей эгалитаризма. Можно было бы найти в них и другие мысли. Но лучше остаться на почве строгих фактов. Эта идея, выраженная в трех строках «Аллеи Сильвии», заслуживает внимания. Ничего более добавлять не надо.

Двумя годами позже, в «Послании господину де л'Этан, викарию Маркусси», которое обычно датируют 1749 годом, Руссо дает уже развернутую критику всего парижского света. И. Е. Верцман полагал, что «Послание господину де л'Этан» «представляет в сущности настоящую сатиру»⁴⁸. Это утверждение спорно; «Послание» — не лучшее из художественных творений Руссо — не поднимается, на мой взгляд, до уровня сатиры, да и сам поэт (как он о том и говорил) такой задачи перед собой не ставил. Но нет смысла спорить о наименовании жанра произведения, важнее его существо.

«Послание господину де л'Этан» — это гневное обличение Парижа; автору не терпится свести счеты с городом, вобравшим в себя все пороки, все недостатки, все ущербные черты современного общества. С начальных строк пространного стихотворения Руссо декларирует свое отвращение к Парижу:

Бежать от страшного соседства,
Которым нас дарит Париж.

И далее раскрывает его пороки:

Париж — надменности обитель,
Где подпадает каждый житель
Под власть мошенников таких,
Что Франция боится их...

Это противопоставление Франции Парижу весьма характерно для мышления Руссо той поры. Сама Франция, страна (под этими понятиями подразумевается народ) прекрасны, добродетельны; они чужды порокам и преступлениям, присущим столице..

Зато в Париже все плохо, все вызывает негодование автора. Там честность — «лишь предмет издевки», там «шарлатанские уловки», «высокомерье, наглый тон»; там подавляют и преследуют истинные таланты, «там шавке суждено порою политиком известным стать»...

Париж, где паразит презренный
Продаст научной мысли цвет
У Фрин, Аспазий — за обед!
Париж! Несчастлив, кто над Сеной
Жить осужден...

Спасаясь бегством из Парижа, устремляясь к своему доброму другу, в «любезный сердцу дом», автор надеется, что здесь он и найдет истинное успокоение: «...мир обречем, давно знакомый, селян и домочадцев круг».

Здесь вторично повторяется то же противопоставление: порочному, хищническому, беспощадному и ничтожному Парижу противостоит в «лесах и долах» милый дом, милый круг селян и домочадцев.

В сущности это та же идея, которая была уже сформулирована в «Аллеях Сильвии», но в первый раз, еще как бы мельком, в зародышевой форме; в «Послании господину де л'Этан» она уже звучит во весь голос. Идея, противопоставляющая ущербному Парижу идеальный (и, добавим, идеализированный) мир «селян и домочадцев», становится с того времени одним из краеугольных камней всей системы общественно-политических взглядов Руссо.

В стихотворении автор далее обращается к хозяину с просьбой:

Чтоб внял молениям нашим слезным
И вход закрыл гостям несносным:
Молчальникам, говорунам,
Зловредным сплетникам, врунам, —
Всем проходимцам без изъятья,
Глупцам из той парижской братьи
Неутомимых остряков,
Что для богатых дураков
Открыли бреднями торговлю.

Это только начало. Этот прием: обращенную к хозяину дома просьбу не отворять дверей пришельцам из Парижа — автор повторяет на протяжении всей второй половины стихотворения, насчитывающей около сотни строк. Эта часть «Послания» по существу перечислительная; автор озабочен не столько художественным изображением отрицательных персонажей Парижа, сколько желанием представить эту галерею отвратительных образов возможно более полной, — никого не забывая, никого не пропустить.

В этом перечислительном списке (иначе его не назовешь) как бы чередуются и этически, морально отвратительные типы, и социально неприемлемые представители столицы. Он просит хозяина не открывать дверей льстецам, «чей фимиами для сердца яд», не пускать безвкусных щеголей, дворян, кичащихся своими предками, столь же ничтожными, как они сами, визгливых

женщин, «ханжей-ворчуний», чернящих всех, клеветующих на всех.

Не знать ни крезов, ни каналов,
Особенно же тех ракалий,
Что корчат из себя вельмож,
Бессовестных и наглых рож,
Гогочущих над братьей серой,
Над добродетелью и верой,
Умеющих хватать, сдирать
И не давать, а только брать.

Я позволил себе привести этот отрывок из стихотворения, чтобы показать, что и здесь, как и в первом, до-парижском «Послании г-ну Борду», Руссо вновь клянет крезов, т. е. богачей. Но если в «Послании г-ну Борду» 1741 года поэт лишь отмежевывался от креза, отвергал его как олицетворение богатства, то в 1747 году в «Послании господину де л'Этан» критика богачей гораздо определеннее, конкретнее и злее.

Нет возможности и, вероятно, необходимости приводить иные выдержки из поэтических опытов Руссо тех лет. Их общая направленность, как мне думается, вполне очевидна. Молодого поэта воодушевляют мотивы гражданственности. Но сказать только это недостаточно. Его поэзия и по своему содержанию, и по своему настрою, по своему тону обличительна и наступательна.

Не скрою, меня удивляет до сих пор, почему исследователи литературного наследия Руссо, исследователи серьезные, значения трудов которых я отнюдь не хочу умалить, прошли мимо этих ранних поэтических произведений молодого Руссо.

Ведь именно в этих посланиях к Борду, к Паризо — в этих первых литературных памятниках творчества Жан-Жака и раскрываются его идейные взгляды, если угодно, истоки его последующей идейной эволюции.

Верно то, конечно, что в ту пору Руссо еще не философ, не социальный мыслитель, тем более не политический писатель. Но он уже на пути к этому; процесс его становления как социального мыслителя и писателя уже начался. Разве в «Исповеди» он не рассказал о том, что еще в 30-х годах, в Шамбери, в доме госпожи де Варанс, в его голове уже бродили еще не ясные, не отчетливые литературные и философские идеи и что беседы с господином де Конзье способствовали их формированию? Разве гражданственные, обличительные

стихи допарижского периода не свидетельствуют о том же? Понятно, здесь были бы неуместны крайности. Не следует забывать: сам Руссо еще полон робости и сомнений: он и как поэт еще никем не признан; в собственных глазах он только ищущий музыкант.

И все-таки взгляды молодого Руссо допарижского периода в чем-то главном уже в значительной мере определились. Наедине с самим собой, размышляя вслух стихотворными строками, он уже ясно очерчивает стан врагов и стан друзей. И на языке поэзии он вступает в борьбу с могущественными властителями того времени и полон решимости вести ее до конца, не идя на уступки, не вступая в соглашения с противниками.

Можно ли не придавать значения этим литературным памятникам раннего творчества Руссо?!

Исследователь не вправе их игнорировать, ибо без них, без этих ранних поэтических опытов, останутся непонятными ни «мгновенное озарение», постигшее Руссо в июле 1749 года, ни весь процесс идейного созревания, подготовивший это «озарение», если оно только было в действительности, а не показалось писателю семнадцать лет спустя.

Эти гражданственные стихи весьма важны и для того, чтобы понять строй мыслей, чувств Руссо, когда он впервые переступил порог особняка Дюпенов в Париже, а затем стал его завсегдатаем.

Конечно, не следует изображать все упрощенно, прямолинейно; это никогда не бывает полезным. Исследователи не располагают письмами Руссо тех лет, раскрывающими его внутренний, духовный мир. Но у них есть произведения предшествующего и последующего периодов, и по этим неполным данным, прибегая к необходимой в определенных случаях дивинации — отгадыванию, по этим косвенным признакам исследователь должен суметь восстановить, реконструировать неизвестное или известное лишь частично.

Так вот, Руссо, оказавшись впервые в великолепном особняке госпожи Дюпен, в обществе самых знаменитых людей Франции, должен был ощущать прежде всего робость, смущение, неловкость. Бедный клерк из маленького поселка глухой провинциальной Савойи, неудачливый музыкант, вчерашний бродяга, человек, не имевший ни кола ни двора, — он должен был, естественно, испытывать смутные, противоречивые чувства,

приглядываясь к этому великолепию, к этому яркому, парадному миру, которого он никогда не видел.

Конечно, вначале он только приглядывался; все возбуждало его любопытство, интерес. Он старался отмалчиваться, отвечал коротко, односложно; он слушал с жадностью, со вниманием, что говорили другие. Он приехал в Париж с твердой, устойчивой враждою и недоверием к богачам, к вельможам, к крезам. Но вот теперь он оказался в доме богатых, очень богатых людей! Их постоянными гостями были вельможи — министры, высшие сановники или самые знаменитые, уже прославленные во всей Европе литераторы и ученые. До сих пор крезы — богачи, вельможи — были для него отвлеченными понятиями, собирательными именами. Он никогда не видел их близко, тем более никого из них не мог знать лично; лишь изредка, сторонясь на обочину дороги, он глотал пыль, поднятую промчавшимся мимо него великолепным экипажем. Может быть, он ошибался? Может быть, в действительной жизни все иначе? Ведь люди, с которыми он встречался в доме Дюпенов или у маркизы де Бройль, были, внешне по крайней мере, приятные, обходительные, любезные господа.

Может быть, эти иллюзии или сомнения, колебания длились несколько недель? Может быть, даже месяцев?

Но нельзя забывать: то был человек, пришедший с самого дна жизни, с предубеждением, с недоверием к этому праздничному, нарядному миру богатых и знаменитых. И у него был тонкий слух и зоркий взгляд и быстрая, мужицкая, как сказал бы Лев Толстой, смекалка. Человек из народа, он был, конечно, с хитринкой, он помалкивал до поры до времени, он посматривал по сторонам; он все видел, все слышал; ничто не оставалось для него незамеченным.

Пройдет время, и постепенно, день за днем, может быть даже медленнее, чем можно было ожидать, он во всем разберется.

«С тайным ужасом вступаю я в обширную пустыню, называемую светом...

А ведь встречают меня весьма радушно, по-дружески, предупредительно, принимают, расточая знаки внимания... Поначалу, попав сюда, приходишь в восхищение от мудрости и ума, которые черпаешь в беседах не только ученых и сочинителей, но людей всех состоя-

ний и даже женщин: тон беседы плавен и естествен; в нем нет ни тяжеловесности, ни фривольности; она отличается ученостью, но не педантична, весела, но не шумна, учтива, но не жеманна, галантна, но не пошла, шутлива, но не двусмысленна. Это не диссертации и не эпиграммы; здесь рассуждают без особых доказательств, здесь шутят, не играя словами; здесь искусно сочетают остроумие с серьезностью, глубокомысленные изречения с искрометной шуткой, едкие насмешки, тонкую лесть с высоконравственными идеями. Говорят здесь обо всем, предоставляя всякому случай что-нибудь сказать...»⁴⁹

Это выдержки из письма к Жюли молодого швейцарца, прибывшего в Париж. За этим письмом последует второе, третье. Приезжий делится своими впечатлениями; чем больше он вращается в столичном обществе, тем яснее ему становится, как многообразен свет и как трудно его изучить. В этом новом для него обществе иностранец, не обладающий ни громким именем, ни положением, должен держать себя так, чтобы суметь понравиться. «Я стараюсь, насколько это возможно, быть учтивым без двоедушия, услужливым без низкопоклонства...» Человек сообразительный и наблюдательный, он постиг без особых усилий это искусство нравиться, и теперь от него, иностранца, больше ничего не требуется, он избавлен от участия в кознях и распрях; и «если он не высказывает каким-нибудь женщинам невнимания или, напротив, особого предпочтения, сохраняет тайну того круга, где он принят, в одном доме не высмеивает другой, избегает доверительных бесед, не вздорит, повсюду держится с достоинством, — он может спокойно наблюдать свет, сохранять свои нравственные устои, честь...».

И вот он поднимается все выше по ступеням тайной иерархии, существующей в столице королевства. «Итак, меня стали принимать в не столь многочисленном, но зато в избранном обществе... Ныне я посвящен в более сокровенные тайны. Я присутствую на званых вечерах — в домах, где двери закрыты для непрошеного гостя...» Здесь, в узком кругу, и женщины ведут себя менее осмотнительно, и важные господа злословят острее и язвительнее; здесь никто не сердится, не негодует — все высмеивают и вышучивают.

Приезжий молодой человек — ко всем внимательный, со всеми любезный — постепенно постигает этот

особый замысловатый язык, которым, «якобы стремясь затемнить смысл насмешки, делают ее еще язвительнее». Он начинает понимать, что в этом избранном обществе «тщательно оттачивают кинжал под тем предлогом, что это уменьшает боль, в действительности же дабы нанести рану поглубже». Он начинает постигать тайны этого внешне столь привлекательного мира.

Это выдержки писем Руссо из Парижа? — спросит недоумевающий читатель. Нет, конечно. Такие письма неизвестны науке. Но все приведенные отрывки из писем принадлежат перу Жан-Жака Руссо. Это письма знаменитого героя «Новой Элоизы» Сен-Пре из Парижа к его возлюбленной Жюли д'Этанж⁵⁰.

Помилуйте! — воскликнет иной раздосадованный читатель. — Как же можно сопоставлять Жан-Жака Руссо с героем его собственного произведения?

Если подобные сопоставления имеют вообще какой-то смысл, то в наибольшей мере они оправданы именно в данном случае. Все рассказанное ранее о молодом Руссо, надо надеяться, полностью исключает всякую допустимость числить его идейным предшественником растиньяков. И если искать для Руссо 40-х годов какого-то сопоставления с известными литературными героями, ставшими именами нарицательными, то, вероятно, правильное всего было бы сближение его со знаменитым литературным героем XVIII века, любимым детищем писателя — с Сен-Пре из «Новой Элоизы».

Более того. Как о том рассказал сам Руссо в «Исповеди», как это справедливо отмечали исследователи его творчества, «Новая Элоиза» — роман в значительной мере автобиографический. Руссо был, конечно, писателем с выдумкой; он умел сочинять, придумывать, фантазировать; без этого он не стал бы основоположником сентиментализма в литературе. Вместе с тем — и это нетрудно подтвердить анализом его произведений — благодаря своей цепкой памяти он был поразительно точен, почти педантичен в воспроизведении подробностей, характерных деталей изображаемых им сюжетов, будь то природа или беседа собравшихся за столом гостей. Вот пример. Н. М. Карамзин, посетивший в 1789 году Швейцарию, побывав в Кларане и других местах, описанных в «Новой Элоизе», был поражен тем, насколько достоверно воспроизвел Руссо в романе природу, приметы лесистой местности, где разыгрывалась трогательная история любви Сен-Пре и Жюли⁵¹.

Конечно, должно быть принято во внимание, что «Новая Элоиза» создавалась писателем в 1756—1758 годах и отпечаток минувших двенадцати — пятнадцати лет не мог не оставить следа на картине жизни парижского света, в который вступил приезжий молодой человек из Швейцарии. Было бы, конечно, неправильным принимать изображаемое в романе за протокольно точную запись поведения Жан-Жака Руссо в Париже в первой половине 40-х годов.

Но при всех сделанных оговорках можно ли пренебречь этим литературным памятником более позднего времени для понимания места и роли Руссо в парижском свете сороковых годов? Ведь устами Сен-Преговорит сам Руссо. И, обращаясь к письмам литературного героя, созданного писателем пятнадцать лет спустя, мы лучше понимаем идейные позиции молодого Руссо, начинающего, неизвестного музыканта, так неожиданно легко завоевавшего признание и симпатии парижских салонов 1742 года.

Жан-Жак Руссо конца 40-х годов был уже мало похож на того наивного, полного надежд и иллюзий молодого человека, который совсем недавно робко и неуверенно переступил порог салона госпожи Дюпен. Отрезвляющий опыт общения с элитой парижского света научил его многому. К 1747—1749 годам Руссо пришел уже к осознанно-критической оценке современного ему общества. В его идейном развитии был пройден важный этап. Он уже подошел вплотную к тем идеям, которые — отнюдь не как мгновенное «озарение», а как закономерный итог предшествующего пути — были сформулированы им в трактатах о влиянии наук и искусств и о происхождении неравенства, принесших их автору громкую известность.

МИРАБО

I

...Вот он поднимается медленно вверх, слегка наклонив голову, чуть согнувшись, и сотни, нет, тысячи глаз, не отрываясь, следят, как тяжело и грузно он ступает по пологой лесенке, ведущей к трибуне.

Он поднялся; неторопливо перевел дыхание; спокойно, почти равнодушно обвел взглядом светлых, как бы невидящих глаз заполненный до отказа гудящий зал и поднял руку. Сразу все стихло. Негромко, почти бесстрастным голосом, с едва уловимой хрипотцой, обыденными словами он начал речь о политическом положении в стране.

Большое, с отметинами оспы лицо было некрасиво. Напудренный, пышный, тщательно завитый парик и ослепительно белые брыжи кружевного, видимо, накрахмаленного жабо на бычьей, короткой шее лишь подчеркивали красновато-темный, нездоровый цвет лица и неправильность его черт. Да и весь он, коренастый, массивный, как бы раздавшийся вширь, мог казаться, особенно издали, каким-то сказочным, страшным упырем, пришедшим из ночи.

В зале было тихо. Перегнувшись через перила, напругая слух, люди старались расслышать негромкую, неторопливую речь, доносившуюся с трибуны. Но вот плавная речь оборвалась... Наступила пауза... И тотчас вслед за нею этот голос, казавшийся равнодушным и монотонным, зазвучал резко, громко, прерывисто.

Как бы стремительно поднимаясь по ступеням, голос оратора обретал непрерывно нараставшую мощь. Все усиливаясь, голос гремел над залом, над притихшей, как бы замороженной этим чудодействием аудиторией. Казалось неправдоподобным, что этот могучий, несущийся стремительной, все сокрушающей лавой поток звуков

исходит от этого коренастого человека в темном на трибуне.

Эта рокочущая октава, громоподобная мощь голоса, способная, казалось, силой звуков затушить свечи, гипнотизировала собравшихся. Когда на мгновение поток гремящих металлом звуков останавливался — оратор переводил дыхание или переходил ненадолго к мягкой, плавной, как бы притушенной интонации (то был искусный ораторский прием многоопытного политического трибуна), — в коротких паузах было слышно, как тяжело дышат люди, невольно соучаствующие в этом удивительном колдовстве.

Конечно, то была импровизация. Такую речь нельзя ни подготовить, ни написать заранее, ни тем более прочесть по написанному. Было даже неважно, о чем, собственно, говорил оратор. О том же, наверное, о чем говорили все в то необыкновенное время: о деспотизме, большей частью точно не обозначаемом, но всегда коварном и беспощадном, о его чудовищных злодеяниях, о том, как томились невинные добродетельные люди в страшных казематах и узилищах крепости-тюрьмы Бастилии, о том, как справедлив, как велик и благороден священный порыв народа, повергший в прах эту ненавистную крепость. Оратор предупреждал народ об угрожающих с разных сторон опасностях: о неугасимой злобе тайных врагов революции, врагов свободы; они ведь не исчезли, не испарились от ярких, все озаряющих лучей солнца; они прячутся по углам и здесь, как черные пауки, плетут паутину заговоров. Ради чего? Или вы забыли о вчерашнем дне? О страданиях, о бедствиях народа, до того как не воссияли лучи свободы?

Он ставил вопросы — один за другим — перед собравшимися, вопросы нередко риторические, общие, не требующие ответа, но сформулированные резко, обращенные будто бы непосредственно к каждому из присутствующих в зале; этими требовательными вопросами, взволнованностью речи он вовлекал всех в творческое действие; в зале не было равнодушных или бесстрастных.

Безошибочный инстинкт подсказывал оратору широкий, округлый, словно всех объединяющий жест — могучий размах руки; этот жест как бы звал народ, всех друзей свободы к сплочению, к единству. Уже ниспадавшая, шедшая на убыль мощь голоса вдруг вновь обрела поразительную, нараставшую от фразы к фразе поко-

ряющую силу. То был редчайший, рождающийся, быть может, раз в столетие ораторский дар — дар трибуна, овладевавшего сердцами и умами слушателей.

И когда оратор, возвысив до предельного напряжения мощь голоса, оборвал сразу, резко свою речь и, тяжело дыша и вытирая батистовым платком залитое потом лицо, стал медленно, как бы сомнамбулически, спускаться по ступенькам лестницы, в зале минуту, может быть две, стояла почти неподвижная тишина, затем взорвавшаяся неистовой, восторженной овацией.

То было начало августа незабываемого 1789 года.

Оратор, так потрясший аудиторию, был депутатом от третьего сословия Прованса в Генеральных штатах, а затем в Учредительном собрании — граф Оноре-Габриэль Рикетти де Мирабо.

II

Оноре Мирабо родился 9 марта 1749 года в Гатине, на юге Франции, в замке Биньон, перешедшем к его отцу как часть приданого его супруги Марии-Женевьевы, урожденной де Вассан. И поныне вблизи одной из южных автострад сохранилась деревня со старинным названием «Биньон-Мирабо».

Роды были трудными и едва не стоили матери жизни. Ребенок родился с искривленной ножкой и непропорционально большой головой. В раннем детстве он часто болел, в три года перенес оспу, оставившую на лице неизгладимые следы. Но при всем том мальчик оказался крепышом, его сильный организм преодолевал напасти и недуги; он быстро развивался физически и умственно, рано обнаружив не вызывавшую сомнений у наставников интеллектуальную одаренность.

Будущий знаменитый трибун был сыном одного из самых просвещенных и оригинальных людей Франции XVIII столетия. Маркиз Виктор-Рикетти де Мирабо родился в год смерти «короля-солнца» — Людовика XIV, т. е. в 1715 году, в старинной аристократической и богатой семье Прованса. По обычаям того времени, как и все молодые дворяне, он был в четырнадцать лет зачислен на военную службу: дворянство служило своему королю шпагой, и в мирное время это было не слишком обременительным. Но маркиза Мирабо не удовлетворяло слишком медленное восхождение по ступеням воинской иерархии; он предпочитал бы начать с командования

полком, но до этого надо было еще дослужиться. В 1737 году умер его отец, и в двадцать два года Виктор Мирабо стал обладателем громадного состояния. Он сразу же нашел, как им распорядиться и как изменить свою собственную жизнь. Заботы военной службы, вернее, военная карьера перестали его занимать: несдержанный, необузданный в своих желаниях, он находил теперь практически неограниченную возможность удовлетворять без промедления и не утруждая себя подсчетом расходов все свои прихоти. Как и немногие столь же богатые и знатные его сверстники из привилегированного сословия, он коротал время в кутежах, оргиях, трате денег без счета, следуя в этом примеру королевского двора.

Бог знает, как далеко зашел бы он в этом бездумном прожигании жизни и как быстро промотал бы свое богатство, если бы в один из дней (наверное, мучительного похмелья) маркиз Мирабо не почувствовал отвращения к этому бессмысленному образу жизни и не вспомнил, что ведь в юности он находил радости в ином: он сочинял трагедии, стихи, театральные пьесы; словом, его вновь потянуло к литературе.

Случай свел его с Шарлем-Луи де Монтескье. Будущий автор «Персидских писем» переживал в ту пору полосу исканий. Они быстро нашли общий язык, во многом их взгляды совпадали. Монтескье привлек внимание Мирабо к политическим и социальным проблемам, к вопросам экономической политики, философий. Эти вопросы волновали всю передовую молодежь Франции того времени.

Мирабо перечеркнул всю прежнюю жизнь — военную карьеру, ночные кутежи, мотовство, разгульную жизнь; он уединился в своем родовом поместье на юге Франции и с той же увлеченностью, с той же горячностью отдался новым страстям. Он посвятил себя целиком философии, экономическим наукам, литературе. Он жадно и с упоением читал, выписывал книги, привлекавшие общественное внимание сочинения новейших ораторов, журналы, издаваемые в Англии, Голландии, Швейцарии. Он старался понять и осмыслить прочитанное — не только для того, чтобы встать на уровень знаний века, но и чтобы самому что-то создать, сказать свое слово. Его деятельная творческая натура не мирилась с пассивной ролью литературного потребителя.

В 1747 году он закончил свое первое зрелое сочинение — трактат «Политическое завещание». Откуда это

название? Не перекликалось ли оно с заглавием ходившего тогда по рукам в сокращенных или полных списках сочинения покойного аббата из Этрепиньи Жана Мелье «Завещание»? На это трудно ответить с определенностью. Первое сочинение Мирабо осталось — также по причинам, недостаточно выясненным, — неопубликованным. Вероятнее всего, сам автор не спешил с его изданием. О содержании сочинения известно главным образом по изложению Лони де Ломени, исследовавшего еще в прошлом веке архивы дома Мирабо; его труд, с фактической стороны во всяком случае, и сейчас, сто лет спустя, остается самым полным и достоверным исследованием жизни и деятельности Мирабо старшего и младшего¹. Если верить Ломени — а верить ему, как правило, можно, — это было произведение, и по внешней форме (по построению и авторской речи), и по содержанию вполне отвечавшее духу времени. Конечно, это была критика, критика сдержанная, осторожная, существующих в королевстве порядков; их недостатки были настолько очевидны, что ни один претендующий на общественное внимание автор не мог их не обличать. Но молодой литератор понимал, что существующим недостаткам и порокам должно быть противопоставлено какое-то позитивное решение. Он видел его не столько в движении вперед, к поискам спасительного философского камня, сколько в возврате к прошлому: к неким идеальным или, вернее, идеализированным автором умеренным феодальным порядкам.

Для отпрыска старинной феодальной знати, для гран-сеньора, несмотря на кутежи еще обладавшего огромным состоянием и чувствовавшего себя в своих фамильных владениях вполне независимым и неограниченным сувереном, такой общественный идеал был в какой-то мере понятен и объясним. Но маркиз де Мирабо был достаточно просвещенным и начитанным гран-сеньором, чтобы не почувствовать, что общественный идеал, отвечающий его личным интересам и семейным традициям древнего знатного рода, вряд ли придется по вкусу иным его современникам.

В следующем произведении, в мемуаре «О провинциальных штатах», напечатанном в 1750 году без подписи автора (что также было в обычаях века: выступать с поднятым забралом в то жестокое время было слишком рискованно), автор делал несомненный и притом значительный шаг вперед.

Анонимный сочинитель мемуара уже не противопоставлял недостаткам современных порядков абстрактно-идеализированную модель приукрашенного раннего феодального строя; он предлагал нечто вполне конкретное и практическое. Возрождение Франции автор связывал с возрождением роли и значения провинциальных штатов. В сущности это было продолжением идеи предшествующего произведения. Провинциальные штаты были одним из сохранившихся институтов старой феодальной эпохи, когда провинции, где главенствовали крупные феодалы, были почти независимы от власти всемогущего монарха-самодержца, власти абсолютной монархии. Провинциальные штаты, т. е. постоянные собрания привилегированных сословий, влачившие при Людовике XIV и Людовике XV жалкое, почти призрачное существование, должны быть, по мысли автора мемуара, возрождены и усилены; они призваны стать главным органом управления провинциями и в качестве таковых заменить ныне действующую власть могущественных интендантов.

В этом последнем пункте — в резкой критике системы управления интендантов и в предложенном практическом рецепте замены ее другой системой управления — провинциальными штатами, импонировавшем многим, и заключалась главная притягательная сила мемуара неизвестного сочинителя.

Поскольку интендантов ненавидели все страдавшие от их непомерной жадности, мздоимства, поборов, произвола, беззаконий, прикрываемых именем закона, мемуар «О провинциальных штатах» был сразу же замечен среди передовой читающей публики; ему был обеспечен широкий успех.

Сочинитель, чье имя оставалось большинству современников неизвестным, поощряемый благоприятной оценкой его первого печатного труда, с воодушевлением продолжал свои штудии. Он много читал, много писал, много путешествовал, наблюдал, сравнивал, обдумывал.

В 1756 году он опубликовал, также анонимно, сочинение, озаглавленное «Друг людей, или Трактат о народонаселении». Книга имела большой, вышедший далеко за пределы Франции успех; ее обсуждали все сторонники передовых идей во всей Европе. «Друг людей» провозглашал с полной определенностью суждений и уверенностью, что главным источником благоденствия человеческого общества было, остается и будет земледе-

лие. Станным образом, еще не зная ни лично Франсуа Кене, ни его работ, Виктор-Рикетти де Мирабо пришел вполне самостоятельно и независимо от Кене к взглядам, во многом сходным, а в главном пункте — о роли земледелия — почти полностью совпадающим с воззрениями автора, считавшегося основоположником школы физиократов. Это не частое в истории науки совпадение взглядов ученых, шедших разными путями, видимо, может быть объяснено некоторыми закономерностями той эпохи. В. П. Волгин в свое время предложил объяснение этих закономерностей².

Не случайно эту книгу читатели приписывали первоначально Кене. Но с течением времени все разъяснилось. Имя маркиза Мирабо, как автора нашумевшего произведения, приобрело столь широкую известность и даже популярность, что его стали отождествлять с названием его книги. Маркиза Мирабо называли теперь не иначе как Друг людей. Автор, естественно, очень гордился этим прозвищем, больше почетным, чем справедливым.

Впрочем, шумный успех, выпавший на долю «Друга людей», объяснялся не столько позитивными идеями произведения; школа физиократов (а Мирабо-старший, сам того не подозревая, стал одним из ее первосвященников) встречала не только сочувствие, но и возражения. Главный источник успеха этой книги следует искать в той резкой, острой и остроумной критике ущербного века Людовика XV, эпохи декаданса абсолютистского режима, которую за внешней хаотичностью, даже сумбурностью авторской манеры письма читатели с удовольствием то здесь, то там находили на страницах этого оригинального сочинения.

«Друг людей» сразу же ввел Виктора-Рикетти де Мирабо в круг наиболее известных, читаемых и почитаемых литераторов Франции.

Он сблизился вскоре с Кене; их объединяло в некоторых вопросах даже родство взглядов, к которым каждый пришел самостоятельно. Позже Мирабо установил добрые отношения, а затем и деловое сотрудничество с Поль-Пьером Мерсье де ла Ривьером — экономистом, примыкавшим также к школе физиократов. С Кене и Мерсье де ла Ривьером они сотрудничали на страницах «Journal de l'agriculture, du commerce et finances» («Журнал сельского хозяйства, торговли и финансов»), издаваемого Дюпоном. Дело кончилось тем, что в 1765

году маркиз Мирабо купил у Дюпона в личную собственность журнал, и под его руководством и при деятельном участии Кене и Мерсье де ла Ривьера журнал становится главным рупором школы физиократов.

Было бы ошибочным полагать, что «Друг людей», получивший широкую известность и признание литератор-экономист, один из самых авторитетных, наряду с Кене, руководителей школы физиократов жил отрешенным от мирских интересов и забот, погруженным в чистую науку или в возвышающие душу и сердце раздумья кабинетным ученым, анахоретом. В действительной жизни все было не так.

Занятия наукой отнюдь не изменили ни характера, ни наклонностей маркиза де Мирабо; правда, они их несколько модифицировали. В молодости он сорил деньгами без счета: их было много, и они не имели для него никакой цены. Почувствовав отвращение к «рассеянной», как мягко говорили в то время, вернее, к разгульной жизни и уединившись в своем родовом поместье, поближе к земле, значение которой он теоретически так высоко оценил, Мирабо по-иному стал относиться и к деньгам. Он вполне постиг их практическую пользу; его заботило теперь не то, как их истратить, а как их приумножить.

Наиболее верным способом приумножения богатств в духе века и обычаев сословия был «подходящий» брак. Будущему «Другу людей» казалось, что такой способ найден, и он, недолго думая, предложил руку и сердце единственной дочери барона де Вассана. Невеста была нехороша собой, чтобы не сказать еще определеннее, но этот недостаток в глазах жениха вполне компенсировался тем, что она должна была унаследовать одно из самых больших состояний (в том числе громадное по площади имение в Лимузене, что для физиократа было особенно привлекательным).

Жених ошибся в своих расчетах. Конечно, он получил приличествующее положению обеих знатных семей приданое, но главный предмет его вожделений — великолепное имение в Лимузене и огромные капиталы ускользали от жадно протянутых рук. Барон де Вассан, отец законной супруги «Друга людей», несмотря на частые хвори и обманчиво болезненную внешность, оказался весьма живучим. Маркиза Мирабо получила огромное наследство своих родителей почти тридцать лет спустя после заключения брачного договора с Виктором

Мирабо. Супруги к этому времени так далеко зашли во взаимной вражде, дошедшей до скандальных судебных процессов, что доставшееся так поздно богатство уже мало кого волновало.

Маркиз Виктор-Рикетти де Мирабо и без ожидаемого наследства жены оставался очень состоятельным человеком. Но он стал прижимист — прижимист в расходах на жену, на детей, на подобающие его рангу и месту в рядах провансальского дворянства приемы.

Вспыльчивый, раздражительный, деспотичный, крутой в обращении с подчиненными, с домашними, с соседями по имениям, он жил своенравным «диким барин-ном», внушая окружающим страх. «Друг людей» вблизи был совсем непохож на тот образ, который мог возникнуть при чтении его произведений. Как удачно сказал кто-то из его биографов, может быть, он и в самом деле любил людей, но предпочтительно издали и преимущественно только в книгах.

При всех очень тяжелых для окружающих личных чертах вздорного деспота, взбалмошного гран-сеньора, установившего в своих владениях режим абсолютистского произвола, столь остроумно развенчиваемый им в литературных произведениях, маркиз де Мирабо оставался одним из сильных, творческих умов передовой французской общественной мысли XVIII столетия, одним из значительных представителей французского Просвещения.

В увлечении наукой он был столь же одержим, как и в личных пристрастиях. Он обычно много работал, и в зрелые годы его талант достиг полного расцвета. В 1760-е годы он опубликовал с интервалами в три-четыре года ряд сочинений: «Теория налогов», «Философия земледелия», «Письма о торговле зерном»³. Они заслуженно закрепили за Мирабо, наряду с Кене и Мерсье де ла Ривьером, славу руководителя и теоретика школы физиократов.

Но азартность натуры Мирабо, его темперамент не позволяли ему довольствоваться ролью ученого-исследователя, экономиста-теоретика. Ему не терпелось ввязаться в бой, вступить в схватку с противником — абсолютистской монархией Людовика XV (которому, кстати сказать, в своей личной жизни он во многом подражал) — на политической почве. Уже в «Теории налогов» он подверг резким нападкам налоговую и, более того, всю финансовую политику королевского правитель-

ства. Он позволял себе дерзости, которые другому не прошли бы безнаказанно.

В нападках на политику двора маркиз де Мирабо выступал в роли защитника народа. У него было острое перо, и, рисуя бедственное положение народа, он наносил противнику чувствительные удары. Людовик XV в конце концов был рассержен не на шутку. Он приказал арестовать Мирабо и заточить его в Венсенский замок. Популярность Мирабо сразу же намного возросла. Его книги, отпугивавшие своими сухими, сугубо академическими названиями, теперь вызывали всеобщий интерес. Маркиз де Мирабо становился одним из модных французских литераторов.

В ту пору еще сохранялось влияние маркизы де Помпадур на Людовика XV. Из всех фавориток короля бывшая мадемуазель Пуассон была, несомненно, самой образованной и умной женщиной. В духе времени она считала, что королевский двор должен покровительствовать людям науки и искусства. В ее салоне на приемах можно было встретить всех самых знаменитых авторов века. Признательные авторы, начиная с Вольтера, спешили, обгоняя друг друга, сочинять в честь прелестной и могущественной дамы восторженные мадригалы.

Маркиза де Помпадур быстро сообразила, что заключение в Венсенский замок известного литератора пойдет отнюдь не на пользу двору, а скорее будет на руку самому узнику. К тому же маркиз де Мирабо, побывавший однажды в салоне дамы, о которой вполголоса говорили, что она и есть подлинная вершительница судеб Франции, произвел на нее самое благоприятное впечатление. Она легко добилась согласия короля на освобождение из Венсенского замка вольнодумного литератора; ему было предписано пребывать безвыездно в своем имении в Биньоне. Мирабо давно уже привык проводить большую часть времени в своих поместьях. Он легко и охотно примирился с монаршей карой.

Этот эпизод при всей его безобидности способствовал еще большей популярности «Друга людей». Это сросшееся с его именем прозвище теперь, когда на его лбу запечатлелись тернии мученического венца, представлялось его современникам еще более заслуженным и обоснованным. Нужно ли было еще что-либо для утоления жажды честолюбия «дикого барина», не побоявшегося вступить в противоборство с всемогущим монархом?

В доме своего отца Оноре Мирабо в детском, а затем отроческом возрасте рос в условиях исключительно благоприятных для умственного развития и в то же время трудных, даже тяжелых.

У отца была одна из лучших во Франции личных библиотек, и маленький Оноре, с ранних лет пристрастившийся к чтению, проводил дни и ночи за книгами. Не подлежит сомнению, что его энциклопедическая образованность, так поражавшая современников, начала формироваться еще в доме отца. Благотворную роль сыграла и общая интеллектуальная атмосфера в семье, внушавшая маленькому Мирабо глубокое уважение к науке, книгам, остро отточенным гусиным перьям.

Но было и иное. Отец с первого взгляда на огромную голову, на некрасивые черты лица своего старшего сына невзлюбил его. С присущей ему безапелляционностью он решил, что сын унаследовал все отвратительные качества, вплоть до внешности, ненавистной ему семьи Вассанов, что он похож на свою мать, на ее отца — старого барона Вассана, что в нем нет ничего от старинного рода Мирабо.

«Друг людей» ошибался, ошибался в самом близком из людей. Его сын перенял все главные, отличительные черты своего отца: интеллектуальную одаренность, талантливость, влечение к творчеству, необузданный нрав, взбалмошный характер, одержимость в увлечениях. Во всем — и в сильных сторонах, и в недостатках и пороках — во всем, кроме внешности, он оставался с головы до ног Мирабо.

Семья была многодетной; Оноре-Габриэль был первенцем; за ним последовало еще десять детей. Отец их сравнивал со старшим: все они были ладные, хорошо скроенные, красивые — настоящие Мирабо, не похожие на эту отвратительную породу Вассанов.

Хотя Мария-Женевьева и принесла ему одиннадцать детей, отношения между супругами день ото дня становились все хуже. Вражда переросла во взаимную ненависть. У маркизы де Мирабо был такой же неукротимый характер, как и у ее мужа. Дети, особенно старший, ее ни в малой мере не занимали; она была к ним равнодушна, ее всецело поглощала ненависть к мужу, не скрывавшему ни своего отвращения к ней, ни своей су-

пружеской неверности. Атмосфера в замке Биньон становилась невыносимой.

«Друг людей» нашел простое, как ему представлялось, решение. Под гуманным предлогом болезни матери Марии-Женевьевы и необходимости присмотра за больной он отправил ее в Лимузен, а спустя некоторое время послал ей вдогонку письмо, уведомлявшее, что она не должна торопиться с возвращением в Биньон: их совместная жизнь под одной крышей, как показал долголетний опыт, невозможна.

Маркиз де Мирабо тогда еще не знал, что от женщины, внушавшей ему такую непреодолимую ненависть, нельзя так просто — написанным размашистым почерком письмом — освободиться. Ему еще предстояли многие испытания.

Но пока «Друг людей» чувствовал благодатное облегчение. Он мог вернуться теперь к своим любимым литературным занятиям, не испытывая ежедневно черных чувств, поднимавшихся мутной волной при неизбежных встречах с маркизой де Мирабо.

Освободившись от жены, он поспешил убрать со своих глаз и старшего сына. Сын по достижении пятнадцати лет был отправлен для продолжения образования в Версаль, а затем в Париж. Как старший в дворянской семье, он должен был служить шпагой королю, но для этого надо как следует подготовиться. Против этих доводов было трудно что-либо возразить. Оноре-Габриэль, остро чувствовавший в отроческие годы враждебную отчужденность отца, питал тем не менее к нему почтительное восхищение. Хорошо знакомый с новейшей литературой века Просвещения, он был горд тем, что его отец занимает в ее рядах одно из первых мест. Быть сыном знаменитого «Друга людей» — можно ли было желать большей чести?

С легким сердцем он примирился и с тем, что отец, отправляя сына в столицу, дал ему не подлинное, принадлежавшее ему по праву, известное всей стране имя графа де Мирабо, а снабдил его бумагами, в коих Оноре-Габриэль именовался Пьером Бюффиером. Откуда взялось это имя? Среди многих поместий, принадлежавших Вассанам в Лимузене, было и имение, носившее название «Пьер-Бюффиер». Надеясь своего сына, пусть на какое-то ограниченное время, этим именем, отец молчаливо как бы давал понять старшему сыну, что еще надо заслужить право называться Мирабо.

И вот юный Пьер Бюффиер проходит школу обучения вдали от родного очага. Он расставался с отчим домом без слез, без грусти. В Версале, в доме отставного кавалерийского капитана Сигре, который должен был ему преподать первые уроки военной науки, он встретил самый радушный прием. Но доброта Сигре не понравилась маркизу де Мирабо, издалека через верных ему людей внимательно следившему за сыном. Отец настоял, чтобы Оноре-Габриэля перевели в закрытую военную школу, руководимую аббатом Шокаром.

Этот аббат слыл человеком «твердой руки» и строгих правил, и именно эти качества, по мнению «Друга людей», должны были вышколить его старшего сына. Но аббат вряд ли смог решить возложенную на него задачу; у нового воспитанника школы был строптивый нрав, и к тому же он легко приобрел влияние на своих товарищей по школе. Шли годы; Мирабо-младшему исполнилось восемнадцать лет, он должен был нести службу непосредственно в армии.

Решение снова оказалось в руках Мирабо-старшего. Он выбрал для своего сына самый незавидный род военной службы: его направили в маленький гарнизон городка Сента под командование строгого кавалерийского полковника Ламбера, где лишь через год Оноре-Габриэлю должно было быть присвоено звание младшего лейтенанта.

Конечно, старший сын маркиза де Мирабо, граф Оноре Мирабо, мог претендовать на большее: почему бы, например, в восемнадцать лет не начать с командования полком? В век Людовика XV такое назначение было нередким; в значительной мере это был вопрос имени, связей или денег.

Но он еще полностью доверял своему отцу и беспрекословно подчинялся его воле.

Как и большинство образованных молодых людей его времени, Мирабо-младший — убежденный приверженец идей Просвещения, и прежде всего социально-политических взглядов Жан-Жака Руссо. 60-е годы — время наибольшей славы Руссо. Вся Франция зачитывается его «Новой Элоизой», и юный Мирабо один из самых восторженных его поклонников.

Быть последователем Руссо — это значило быть противником деспотизма, угнетения в любой его форме, быть защитником и другом народа, сражаться за справедливое дело, быть ближе к природе. Молодой Мирабо

готов охотно следовать каждому завету великого учителя, он готов ему подражать.

В то же время он был обуреваем неистовыми желаниями и страстями; и к тому же преклонение перед великим принципом равенства странным образом совмещалось у него с тайной гордостью своим аристократическим происхождением, принадлежностью к одной из самых старых родовитых фамилий Франции. Как соединяется все вместе? В этом он еще не разобрался; придет пора и все встанет на свое место.

Гарнизонная служба в Сенте, несмотря на строгости Ламбера, отправлявшего своего подчиненного десятки раз на гауптвахту, была не так уж трудна и оставляла достаточно свободного времени. «Высшее общество» маленького провинциального городка весьма охотно принимало молодого человека, принадлежащего к одной из знатных фамилий Франции. К тому же этот рослый и сильный юноша, несмотря на неправильные черты лица, покрытого оспой, обладал каким-то особым даром располагать к себе людей. Его апломб, непоколебимая самоуверенность, остроумная речь, меткость наблюдений, учтивость и в то же время непринужденность делали его желанным гостем и собеседником.

В этом маленьком провинциальном городке Мирабо быстро завоевал всеобщие симпатии. Он не скучал. Здесь было все: и приятное общество образованных дворян, и вечерние пирушки, и почные кутежи, и карточная игра, и женщины. Первоначально он испытывал денежные затруднения. Отец с каждым годом становился все скунее; сыну он давал деньги в обрез.

Кто-то подсказал — и юного графа не пришлось долго уговаривать, — что можно найти простейший способ преодоления недостатка в благородном металле. Кто решится отказать в кредите старшему сыну маркиза де Мирабо — одного из самых состоятельных землевладельцев Прованса?

С тех пор как было найдено это простое решение, все пошло легко. Деньги сами шли ему в руки. Он даже не давал себе труда их считать. И была ли в том нужда? Он жил так же, как когда-то и его отец, не думая о завтрашнем дне.

В Сенте он познакомился с дочерью какого-то местного жандармского начальника или полуначальника. Без особых усилий он соблазнил ее, неосмотрительно пообещав жениться на ней. Девушка приняла обещание

всерьез и поспешила рассказать об этом подружкам. Новость всех взбудоражила; подумать только: дочь какого-то местного мелкого чиновника станет графиней де Мирабо.

В Сенте все городские новости становились известными мгновенно. Естественно, они дошли и до кавалерийского полковника. Он воспринял поведение своего подчиненного с присущей ему строгостью, усматривая в происшествии чуть ли не поругание чести знамени полка, и грозил Пьеру Бюффьеру заточением в крепость. Неожиданный интерес к происшествию проявили и кредиторы Мирабо: иные из них предлагали графу новые крупные кредиты (естественно, под высокие проценты) — свадьба, дескать, потребует немалых расходов; другие, руководствуясь труднопостижимой с первого раза логикой, потребовали в вежливой, но настойчивой форме незамедлительного погашения прежних долгов.

Беззаботной, легкой жизни пришел конец. Юный граф де Мирабо оказался в затруднительном положении. Менее всего он собирался жениться на этой наскучившей ему провинциальной девице; он не был намерен и оплачивать свои долги; последнее исключалось хотя бы потому, что у него в кармане не было ни гроша.

Довольно быстро он нашел, может быть, не лучшее, но единственно спасительное в сложившихся условиях решение: однажды ночью он незаметно ушел из города. Когда утром город пробудился и его просвещенные обитатели вернулись к обсуждению так живо занимавшей общество городской сплетни, новое, еще более поразительное известие всех до крайности взволновало: главный герой необычайного происшествия тайно исчез.

IV

Между тем исчезнувший из Сента беглец в том же 1768 году появляется в Париже, в особняке герцога Ниверье — старого близкого друга его-отца, которого он хорошо знал с детских лет.

Оноре-Габриэль отдавал себе отчет, что самовольное бегство из полка на языке воинских уставов имеет вполне точную квалификацию — дезертирство. Естественно, он не употребил в своей речи это грозно произносимое слово. Не вдаваясь в детали, он просил давнего друга семьи походатайствовать перед маркизом Мирабо о пере-

воде сына в другой гарнизон. Герцог Ниверье оставил Мирабо-младшего у себя и вступил в переписку с его отцом.

«Друг людей» показал, что он не принадлежит к числу чувствительных друзей людского племени. Просьбы сына не произвели на него большого впечатления. В его действиях он усмотрел прямое нарушение воинского долга, хотя более всего его задела частные долги сына, которые волей-неволей ему придется оплачивать. В целом сын был виновен, а вина должна повлечь за собой кару. Маркиз де Мирабо исхлопотал *lettre de cachet* — тайное распоряжение от имени короля о заключении Мирабо-младшего в крепость на острове Ре.

В восемнадцать лет быть заключенным в крепости как государственный преступник — не много ли это для начала? Но «Друг людей» полагал, что он поступил великодушно; его первоначальным намерением было сослать сына на остров Суматру — в далекие голландские колонии, откуда никто еще не возвратился.

И вот Оноре де Мирабо — заключенный крепости Ре. Его чувства, вероятно, двойственны и противоречивы. Он испытывает облегчение; он больше ни за что не в ответе — ни за нарушение воинской дисциплины, ни за неоплаченные долги, ни за невыполненное обещание жениться. Он — пленник крепости, окруженной со всех сторон водным пространством; он не распоряжается своей судьбой.

В то же время в нем зарождается и растет чувство протеста и возмущения несправедливостью, жестокостью, произволом, господствующими в мире. Без суда, без гласного разбирательства упрятать человека в крепость оказывается так же просто в этом просвещенном королевстве, как и в дни Екатерины Медичи. В нем пробуждается сомнение, пока еще только сомнение, в правильности действий, в добрых намерениях отца. «Друг людей»? Такой ли он друг, когда речь идет о собственном сыне?

Байи д'Олан, губернатор острова Ре, ожидавший увидеть опасного, озлобленного преступника, был крайне удивлен, встретив умного, образованного, приятного в обхождении молодого человека, добродушно посмеивающегося над ролью государственного преступника, неожиданно навязанной ему. Он быстро завоевывает симпатии всемогущего губернатора-коменданта крепости, его заместителя де Мальмона, дочери заместителя

коменданта. Теперь ему живется легче; ему предоставлена полная свобода передвижения на острове; изредка д'Олан разрешает даже поездки в близлежащий город Ла-Рошель.

Все же старого, многоопытного коменданта крепости несколько смущает необычность ситуации, в которой оказался его юный пленник. Поэтому, когда Мирабо, прослышав, что готовится военная экспедиция на остров Корсика, предлагает участвовать в ней добровольцем, д'Олан охотно поддерживает его предложение. Благодаря хлопотам д'Олана Мирабо зачисляются в лотарингский полк, отправляющийся в Аяччо, и присваивают ему звание лейтенанта.

Вчерашний узник — вновь офицер на службе у короля; он уезжает в полк. Расставание проходит в самой дружеской атмосфере: отчаливающей лодке долго с острова машут платками и дольше всех — мадемуазель де Мальмон, которая будет еще часто вспоминать со слезами на глазах то недолгое счастливое время, когда жизнь на этом малонаселенном острове казалась ей такой яркой и интересной.

А молодой лейтенант Мирабо, принимая участие в военных операциях на Корсике, сумел быстро отличиться. Он был смел, отважен и сообразителен; эти качества принесли ему за сравнительно недолгую войну на Корсике звание капитана драгунов.

В ходе войны против возглавляемых Паоли корсиканцев Мирабо постепенно созрел до понимания, что справедливость и право на стороне корсиканского народа. Но когда он это полностью осознал, война была уже закончена. Могла ли маленькая Корсика, несмотря на мужество ее патриотов, противостоять могущественной Франции?

Позже Мирабо гласно признал, что его участие в войне против корсиканцев было грубой политической ошибкой. Он пытался загладить свою вину перед корсиканским народом тем, что посвятил свое первое литературное произведение Корсике и ее храброму и талантливому народу. Он отдал его на суд своему отцу — самому авторитетному для него литератору. Мирабо-старший не одобрил сочинение своего сына; оно так и осталось при жизни графа Мирабо ненапечатанным.

Война окончена, и капитан драгунов граф де Мирабо получает заслуженный отпуск. Его, естественно, влечет родной Прованс; он всегда скучает по озаренному солн-

цем, пышному, утопающему в яркой зелени приморскому краю. Но после всего происшедшего он не спешит встретиться со своим знаменитым отцом; еще не все улеглось. Его терзают сомнения: заслуженно ли он носит славное имя «Друга людей»? Он останавливается в доме своего дяди — младшего брата отца байи Мирабо, бывшего морского офицера, участника войны в Канаде, бывшего губернатора Гваделупы, кавалера Мальтийского ордена, огромного и красивого, как все Мирабо, старого холостяка, доживающего свой век бьюком в старинном фамильном замке.

Жан-Антуан-Жозеф Рикетти де Мирабо со своими псами, такими же огромными, как он сам, чувствует себя превосходно в этом неприступном замке.

В сущности, это не замок, а старая крепость с шестью угловыми округлыми башнями, с бойницами, амбразурами, с бездействующим, за ненадобностью, подъемным мостом. Замок выложен из непробиваемого камня, потемневшего от времени и дождей. Сколько лет стоит он? Сто, двести, триста, четыреста — этого никто точно не знает; огромные камни, сохранившиеся в парке, поросли седым мохом. Оноре испытывает удовольствие путешественника-первооткрывателя, каждый день обнаруживая в замке загадочные подземные переходы, неизвестные ранее потайные ходы, лабиринты. Он открывает заржавленные двери с трудом и не покидающим его опасением: может быть, сейчас он наткнется на замурованные в стене останки семи жен Синей Бороды. Оноре чувствует себя гордым. Замок Мирабо — это крепость его предков, это их фамильное гнездо, и он принадлежит к этому славному роду, одному из самых старинных во Франции.

Вечером в огромном зале, служившем столовой, дядя и племянник подолгу беседовали. Они мало знали друг друга. Жан-Антуан от своего старшего брата слышал самые нелестные суждения о сыне. Теперь с изумлением и возрастающим интересом каждый вечер он убеждался в том, что его прославленный брат решительно ничего не понял в своем старшем сыне. Этот «морской волк», как сначала пренебрежительно именовал младшего брата Виктор де Мирабо, был не только бывалым, но и весьма неглупым человеком. Он быстро разобрался в своем собеседнике, оценил его острый ум, живую, выразительную речь, меткость ответов на вопросы, его динамический темперамент. В письмах к старшему брату

Жан-Антуан без обвиняков объявил, что тот глубоко заблуждается в характеристике своего сына. После нескольких бесед с племянником он писал старшему брату: «Если он не будет хуже Нерона, он будет лучше, чем Марк Аврелий, так как я еще никогда не встречал такой сильный ум... Или это будет величайший обманщик вселенной или самый великий деятель Европы, способный стать римским папой, министром, генералом на суше или на море, канцлером или замечательным сельским хозяином»⁴.

Этой характеристике нельзя отказать в меткости по крайней мере в главном: в признании значительности дарования юного Мирабо и его внутренней противоречивости. Дядя и племянник быстро сдружились. Оноре до сих пор не хватало родительского внимания, доброты. В лето 1770 года он их впервые ощутил.

К этому присоединилось вскоре и иное. В то лето в замок Мирабо провести своего дядю приехала Луиза, младшая сестра Оноре, с недавних пор, после замужества, именовавшаяся маркизой де Кабри.

Молодая, красивая, жизнерадостная, Луиза внесла в гулкую тишину этого старого замка, где, казалось, бродили лишь привидения, оживленный женский голос, мягкий смех, ласкающие звуки клавикордов.

Брат и сестра не виделись около десяти лет. Им было что рассказать друг другу; каждый торопился облегчить душу рассказом о происшедшем. Их объединяли не только воспоминания детства, но и общность мнений о роли отца в семье. Луиза рассказала брату, как жестоко поступил с ней отец — со своей дочерью, которую он никак не мог бы обвинить в том, что она похожа на ненавистный ему род Вассанов. Он выдал Луизу замуж за маркиза де Кабри, не спросив ни ее согласия, ни даже мнения, не показав ей до свадьбы жениха, руководствуясь только ему одному известными расчетами. Ее муж в двадцать лет оказался полусумасшедшим, полумертвецом; он внушал ей ужас и отвращение.

Брат поспешил рассказать сестре о том, как жесток, как беспощаден был отец по отношению к нему — старшему сыну, наследнику имени Мирабо. Луиза горячо ему сочувствовала; их взгляды в главном совпали: то была не высказанная до конца, но взаимно разделяемая оппозиция его тираническому деспотизму. Оставалась еще другая, столь же трудная семейная тема: отношение к матери, ссора отца с ней, их разрыв. Эти живые,

непринужденные беседы брата и сестры облегчили каждому душу. Они стали друзьями. Их постоянно видели оживленно беседующими в огромном парке имения, в окружающих его полях, иногда вместе с дядей и его собаками.

Счастлирое лето 1770 года шло к концу. Оно было оборвано в последних числах августа, когда старый маркиз де Мирабо срочным письмом вызвал старшего сына к себе.

V

«Друг людей» приглашал Оноре-Габриэля, руководствуясь не чувствами дружбы к самому близкому по прямому родству человеку, а совершенно иными, более прозаичными мотивами. Ему понадобилась поддержка, более того, помощь старшего сына.

В замке Пьер-Бюффьер умерла (маркиз чуть не сказал: «наконец») бабушка Оноре по матери, баронесса де Вассан. Огромные имения в Лимузене, объект давних вожделений маркиза де Мирабо, теперь должны были перейти к наследникам. Завещание было столь неопределенным, что давало повод для самого различного его истолкования. Было нетрудно предвидеть, что точка зрения изгнанной из дома маркизы Мирабо будет не в пользу маркиза. Мария-Женевьева была хорошо осведомлена о том, что творится в замке Биньон, где маркиз без стеснения оставлял своих метресс, и где последние годы полновластно хозяйничала его любовница — хитрая мадам де Пейи, и где законный супруг маркизы вел себя так свободно, как если бы Мария-Женевьева уже давно покоилась в земле.

Маркиза де Мирабо была женщиной с сильным характером. Младший брат, байи Мирабо, хорошо знавший и не любивший свою невестку, писал о ней в письме, датированном 7 февраля 1780 года: «Это женщина, в которой воплощены в высшей степени все пороки и недостатки как женского, так и мужского пола»⁵.

Исход предстоявших переговоров о разделе наследства — переговоров, которые должны были проходить в строгом семейном кругу и не подлежали огласке, — во многом определялся позицией старшего сына. В запутанной и сложной ситуации, в которой находились супруги, самым бесспорным наследником по законам и обычаям страны был, естественно, старший сын. В сущ-

ности, от того, на чьей стороне он выступит — отца или матери, зависел исход переговоров⁶.

Отец беседовал с сыном в сдержанно-дружелюбном тоне. Он не хотел, видимо, создать впечатления, что заискивает перед сыном. Но, может быть, судья Мирабо — его младший брат — был действительно прав в своей высокой оценке Оноре Мирабо? О прошлом с обеих сторон не было сказано ни слова. Отец просил сына поддержать его, Оноре-Габриэль тотчас же согласился.

И вот вся семья собирается за большим столом в одной из зал замка Пьер-Бюффиер. Оноре с интересом присматривается к замку, имя которого он должен был несколько лет носить как собственное. Что же, Пьер-Бюффиер — превосходный замок. Но он все же предпочитает старинные, поросшие мохом камни замка Мирабо в родном Провансе.

Как и предвидел маркиз де Мирабо, первое совместное обсуждение вопроса, даже при намеренной сдержанности и осторожности выражений, сразу же выявило непримиримость позиций супругов. Их роднило лишь одно общее чувство — ненависть, неодолимая взаимная ненависть, которую ни вежливые слова, ни отведенные в сторону взгляды не могли утаить.

Оноре-Габриэль, как и обещал отцу, выступил на его стороне.

Первое семейное обсуждение не дало практических результатов. Переговоры надо было продолжать.

Через некоторое время маркиза де Мирабо пригласила к себе в кабинет своего старшего сына.

Оноре не видел своей матери около десяти лет, и он был поражен тем, какие непоправимые разрушения произвело время. Перед ним предстала маленькая старая женщина с как бы усохшим, немощным телом, с длинными морщинистыми пальцами — руками колдуньи и ввалившимися щеками, беззубым, глубоко запавшим ртом, черным, в сетке мельчайших морщин, подглазьем, и на этом страшном, пугающем своим безобразием лице — светящиеся каким-то странным белым блеском глаза.

На его лице, видимо, отразилось ощущение ужаса; он не сумел этого скрыть; она это заметила, и уголки ее губ дрогнули.

— Так ты вместе с отцом, против меня? — хрип-

лым голосом спросила она, и белый блеск ее глаз стал еще заметнее.

Она что-то шевелила своими сухонькими руками, невидимыми за краем стола.

Он стал подробно, стараясь быть мягким и сохраняя дружеский тон, объяснять. Он не может быть против своей матери, но может ли он выступить и против отца? Не из-за чего ссориться, не так уж трудно найти решение, которое подошло бы всем.

Она его слушала невнимательно; ее, видимо, занимало что-то другое. Он снова стал объяснять, почему, по его, сына, почтительному мнению, надо найти приемлемое для всех соглашение. Он говорил, стараясь не глядеть на нее, чтобы на его лице не отразился снова ужас, внушаемый этой женщиной.

Но когда он поднял голову и взглянул на нее, он увидел совсем рядом, напротив, направленное на него дуло пистолета.

Это было так неожиданно, так невероятно, что он громко рассмеялся.

— Послушайте! К чему это?! Ведь Вы никогда не посмеете стрелять в своего сына!

В ответ прогремел выстрел. Она посмела. Пуля чуть задела его волосы. По-видимому, эта старческая рука дрожала или была слишком слаба, чтобы держать на должном уровне пистолет. Но она целила ему прямо в лоб. Она хотела разнести вдребезги его череп.

Он пристально посмотрел на нее. Ее глаза были совсем белыми, белыми от ненависти.

Он медленно поднялся, не говоря ни слова, и так же медленно, не оглядываясь, вышел из комнаты. Пусть перезаряжает пистолет или стреляет из другого — их, наверно, целый десяток там внизу, за кромкой стола, — пусть стреляет ему в спину. Пусть делает что хочет, он не станет оглядываться. Ему было все равно.

Но она не выстрелила.

Все так же медленно он спустился по лестнице в сад, прошелся по дорожкам, затем сел на тенистую, прикрытую листвой скамью.

О, этот страшный мир! Страшный мир, где мать целится в лоб сына, стараясь разнести ему голову, где отец, не спросив ни о чем, заключает сына в крепость-тюрьму.

Он потрогал рукой голову, провел пальцами по воло-

сам. На руках остался легкий, едва уловимый запах гари.

Ему шел двадцать второй год. О каких иллюзиях еще могла идти речь? Так вот каков он, этот замок Пьер-Бюффиер, чье имя он долго носил.

VI

В замке Пьер-Бюффиер Оноре-Габриэль не хотел после всего происшедшего оставаться. Его отец также понял, что пребывание в одном доме с той, которая носит имя маркизы де Мирабо, но остается самым непримиримым его врагом, невозможно. Полюбовное соглашение — это стало за несколько дней совершенно очевидным — было исключено. Маркиз де Мирабо втягивался в длительную, поглотившую все его душевные силы и в конце концов подорвавшую их борьбу — судебную тяжбу со своей женой.

Но тогда он еще не знал ее исхода, по присущей всем Мирабо самонадеянности был полон оптимистических надежд и, чтобы «рассеяться», предложил сыну поехать в Версаль.

Маркиз де Мирабо — и это делало ему честь — относился ко двору Людовика XV с нескрываемым осуждением и даже презрением. Старший представитель старинной аристократической фамилии, первый сеньор Прованса, он чувствовал себя (при всех своих либеральных взглядах) в каком-то смысле главою некой небольшой, конечно, но вполне суверенной державы. Маркиз де Мирабо многократно повторял придуманное им самим словцо: «Он не опустится до того, чтобы «оверсальиться» (*s'en versailleg*)», — и не советовал этого своему старшему сыну. Но король есть король, двор есть двор, и Мирабо не могут с ними не считаться.

Оноре-Габриэль, как положено, вместе с другими знатными молодыми людьми — кавалерами — был представлен королю Людовику XV. То были последние годы его долгого царствования, его жизни, сожженной в почти непрерывных кутежах, ночных оргиях, полностью его опустошивших. Ему было шестьдесят с немногим лет, а казался он глубоким стариком, сломленным болезнями и потерявшим вкус к жизни. Он скользнул по молодым кавалерам усталым, равнодушным взглядом выцветших, пустых глаз и не дал даже себе труда произнести хоть какое-то слово приветствия.

Мирабо был задет, даже оскорблен этим равнодушным пренебрежением монарха, но позже, видимо, разобравшись во всем происходящем в Версале.

Его давний приятель, молодой герцог Лозен, ввел его в высший свет — придворное окружение короля. Версаль в ту пору был разделен на две большие соперничавшие партии. Люди, живущие сегодняшним днем, старались снискать расположение, покровительство или, лучше, симпатии всецельной последней фаворитки короля графини Жанны Дюбарри. Эта могущественная дама — в ранней юности Жанна Бекю, трактирная потаскуха, благодаря счастливому стечению обстоятельств замеченная, а затем и приближенная королем, для приличия фиктивно выданная замуж за полусумасшедшего графа Дюбарри, — постепенно приобрела огромное влияние на монарха. Привлекательная, женственная, наделенная от природы практическим умом и сообразительностью, заменившая ей образование, она, с тех пор как стала официально именоваться графиней Дюбарри, быстро освоилась с совершенно новой для нее обстановкой и новой для нее ролью.

Безошибочный, почти кошачий инстинкт подсказывал ей наиболее подходящие действия в этих непривычных условиях. Королю давно должны были опостылеть большие залы, торжественная парадность огромного Версальского дворца, и по ее желанию для нее был построен небольшой, всего в пять комнат, особняк — уютный, нарядный, тихий, с мягкими коврами, с удобной и изящной, располагающей к отдыху мебелью, с мягким светом. Особняк был построен не слишком близко от Версальского дворца, чтобы не привлекать внимания, и не чересчур далеко, чтобы не было утомительно туда ездить.

Королю нравилось сюда приезжать; после холодной парадной торжественности официальных покоев дворца здесь было тихо, уютно, все казалось миниатюрным, мягким, успокаивающим; король искал тишины и забвения.

Иногда эта молодая, полная жизни, наивно-грубоватая в замашках прежнего ремесла, но бесконечно внимательная к утомленному королю женщина (день ото дня король к ней все больше привязывался) в уютной столовой собирала немногочисленное общество: несколько важных для государственных дел сановников. За обедом, между сочащимся кровью, но всегда удивительно

мягким мясом и салатом в прованском масле, коротко, двумя-тремя фразами, предрешались важнейшие государственные постановления; за сыром говорить о делах уже не разрешалось; мадам Дюбарри прикладывала розовый пальчик ко рту, и все понимали: теперь надо говорить о чем-то совершенно ином, приятном королю, например о финансовых затруднениях австрийской императрицы Марии-Терезии или о семейных неурядицах испанского короля.

Людовика XV это развлекало и радовало; он прикладывал руку щитком к уху и громко переспрашивал:

— Что? Что? Так у императрицы мало денег? Что? Казна пуста?

Графиня Дюбарри прикладывалась своими свежими, чуть влажными губами к его уху и убежденным голосом хорошо осведомленного человека подтверждала:

— Она просто нищая! Никто не платит налогов! Не известно, может быть, ей даже придется продавать Шенбруннский дворец...

Король, очень довольный, смеялся — казна была пуста не только у него одного — и, попивая маленькими глотками кофе, с удовольствием повторял:

— Продавать Шенбрунн! Ха-ха-ха! Ах, значит, у нее тоже трудные времена! Ха-ха-ха!

Потом все почтительно откланивались. Засиживаться никому не разрешалось.

Король, утомленный, — он все-таки успел решить несколько важных государственных дел — удалялся в свой кабинет; там его ждала удобная уютная софа; он расстегивал пуговицы жилета, устраивался поудобнее и незаметно впадал в приятную, послеобеденную дрему.

Графиня Дюбарри постепенно, не навязчиво убедила его в том, что он устал от государственных забот, что он слишком много взял на свои плечи, что теперь следует быть осторожнее: его огромные знания, долголетний опыт необходимы королевству, и поэтому силы надо расходовать экономно, не утруждая себя чрезмерно, сберегая себя на долгие годы.

Королю и в самом деле стало казаться, что он слишком много сил отдал государственным делам; шутка ли сказать, уже почти полвека он царствует, все бесконечные государственные заботы, трудности, тяготы — все на нем одном. Он теперь никогда не вспоминал о прежних кутежах, ночных сатурналиях, подорвавших его здоровье. Он никогда не вспоминал о мадам Шатору, о

маркизе де Помпадур. Если все же всплывали в его памяти какие-то женщины, то только вызывая раздражение, потому что они мешали ему в государственных занятиях, не облегчали ему тяжкий изнурительный труд монарха-самодержца.

Он все больше привязывался к этой маленькой Дюбарри потому, что она сумела понять, как он устал от государственных дел; она поняла, что король — тоже человек, которому нужен отдых, покой, тишина; она освободила его от многих обременительных и вряд ли необходимых тягостных обязанностей.

Так постепенно, незаметно, как если бы это совершалось само собой, вопреки ее воле и желаниям, мадам Дюбарри взяла в свои руки нити управления королевством. Сначала ей было трудно разобратся в этом сложном и плохо слаженном государственном механизме, тем более что каждый из влиятельных сановников тянул в свою сторону (это она поняла довольно скоро), но ее помощником и наперсником служил герцог Эгийон; он по всем вопросам имел определенные суждения, и на первых порах она слушалась его советов. Потом она заметила вокруг себя множество молодых (и не только молодых) людей, готовых ей всячески угождать и услужить; все, склоняя головы, предлагали ей свои услуги — любого рода. Раньше ее выбирали мужчины, теперь она стала сама выбирать, кто ей больше подходит; она быстро сообразила, что не так уж трудно заменить одного другим, более подходящим; и, оказывая все необходимые знаки внимания и почтения королю, радея о его покое, о его здоровье, она на деле стала вершительницей судеб королевства.

Эта — бóльшая часть версальского высшего света — «партия короля», или «партия Дюбарри», была фактически правящей партией. Ей принадлежала сегодня власть в королевстве, и молодые аристократы, надеющиеся на продвижение по службе сановники и чиновники, искатели приключений, предприимчивые дельцы, ищущие знаков отличия литераторы — словом, вся эта пестрая, разнородная часть придворного окружения, торопившаяся получить от королевской власти «все и сразу», составляла свиту всемогущей графини Дюбарри.

Этой правящей партии, «партии сегодняшнего дня», противостояла «партия завтрашнего дня» — люди, составлявшие окружение «малого двора» — дофина, будущего короля Людовика XVI, и его супруги Марии-

Антуанетты. Количественно она была меньше первой и политически менее влиятельна. Но «малый двор» был не только более молодым; он слыл более элегантным, изящным, более современным. Его считали, может быть даже без должных к тому оснований, более либеральным, прогрессивным. Здесь были в моде не только новейшие танцы, неутомимой любительницей которых была Мария-Антуанетта, но и литературные вечера, встречи с модными, широко известными философами и писателями, еще чаще музыкантами — Мария-Антуанетта любила музыку и считалась строгой ей ценительницей. Здесь были дозволены, в меру конечно, завуалированные, но достаточно понятные критические замечания о главных действующих лицах «большого двора»; в общей, несколько отвлеченной форме признавалась польза и даже необходимость известных реформ. Словом, партия «малого двора», «партия Марии-Антуанетты» слыла партией Франции будущего.

Вне этих соперничающих группировок и вполне независимо от них и относясь даже с нескрываемым пренебрежением к ним заметную роль играла при дворе заносчивая группа «золотой молодежи», возглавляемая принцами королевской крови — графом д'Артуа, принцем Конти и другими младшими отпрысками королевского дома.

Они видели свое призвание в том, чтобы сохранять или даже приумножать ставший уже традиционным для последних Бурбонов, особенно для молодого Людовика XV, особый дар прожигания жизни. «Золотая молодежь» торопила счет времени в кутежах и оргиях, распутстве, во всех пороках, на которые был так изобретателен высший свет XVIII столетия.

Граф Оноре де Мирабо с интересом присматривался к этому столь эффектному издали и столь отталкивающему на близком расстоянии блеску версальского высшего света. Дамы, как это бывало обычно, отнеслись к нему благосклонно. Но эта спесивая, заносчивая молодая знать пыталась смотреть на него сверху вниз и, если бы это ей удалось, третиловать его как пария. Мирабо держался с ними как равный с равными и умел их ставить на место.

Наглый, дерзкий принц де Конти, раздраженный независимым поведением Мирабо, подошел к нему и при всех вызывающе спросил:

— А что ты сделаешь, если тебе дадут пощечину?

Широкоплечий, массивный, с могучими кулаками, способными дробить булыжник, Мирабо смерил взглядом тщедушную, по сравнению с ним, фигуру де Конти. Но он сдержался и, не задумываясь, холодно и спокойно ответил:

— Этот вопрос мог бы быть затруднительным лишь до изобретения пистолета и обмена двумя выстрелами.

Де Конти, ничего не сказав, торопливо отошел от Мирабо. Он понял: с этим лучше не связываться.

Трех месяцев в Версале было для Оноре-Габриэля более чем достаточно. Этот яркий, разноцветный мир нарядных дам, парадных туфель на высоких красных каблуках, чванливых шевалье, степенных сановников, несших высокую придворную службу, прелатов с непроницаемым выражением лица, мир утомительно долгих торжественных церемоний, обязательных богослужений, вечерних музыкальных представлений, невеселых, почти принудительных костюмированных балов и маскарадов, этот мир приглаженных, безразличных улыбок, скрытых за ласковыми словами тайных интриг, замаскированных козней, борьбы соперничающих влияний, это расцвеченное непрерывное кружение придворной карусели стали для него невыносимы. Он был ими пресыщен; он бежал из этого внушавшего отвращение, столь заманчивого издали, слепящего своим блеском версальского мира.

К тому же для жизни при дворе требовалось много денег. Маркизу де Мирабо импонировало независимое положение, занятое его старшим сыном при королевском дворе, но год от году теоретик школы физиократов становился все более скупым.

У Оноре-Габриэля, терзаемого не переносимым для молодого знатного дворянина пороком — скудостью средств, оставался лишь один давно известный среди людей его круга выход: выгодно жениться.

С некоторых пор он все чаще навещался в дом одной из самых богатых наследниц в Провансе, Эмили де Мариньян. Мадемуазель де Мариньян была образованна, умна, миловидна; она обладала приятным голосом, немного пела, немного музицировала.

Но Оноре-Габриэля в то время личные достоинства Эмили не привлекали: более двух лет он был близким другом всеми почитаемой госпожи де Лиме-Кориолис; она владела большим поместьем в Провансе, была лет на восемь старше своего любовника, переживала пору

последнего цветения, и Мирабо торопился навестить уютный дом мадам де Лиме-Кориолис, подгоняемый не корыстными расчетами, а ради нее самой.

Его многоопытной возлюбленной нетрудно было сообразить, что время работает против нее и что вскоре более молодая соперница оттеснит ее. Самым верным способом удержать Оноре дольше — было способствовать его женитьбе на мадемуазель де Мариньян; она полагала, что позже сможет конкурировать с Эмили.

Подталкиваемый своей метрессой, Мирабо стал усердно посещать дом Мариньянов, но вскоре убедился, что опоздал. То ли ради личных достоинств Эмили, то ли ради ее будущих богатств, но на огонек нарядного особняка де Мариньяна в Эксе слетелось множество претендентов на руку и сердце невесты. Один из них, сын главы магистрата Экса кавалер д'Альберта, пользовавшийся особым расположением отца Эмили, преуспел больше других; общественное мнение называло его официальным женихом мадемуазель де Мариньян.

Мирабо не спасовал. Та одержимость, та сила напора, которые помогали ему преодолевать столько препятствий в жизни, обеспечили его победу над соперником. Драгунский капитан склонил на свою сторону Эмили, но оставалась еще одна труднопреодолимая преграда: непреклонная решимость господина де Мариньяна выдать дочь за избранного им жениха.

Здесь нет нужды рассказывать об изобретательных усилиях графа де Мирабо завоевать симпатии своего будущего тестя. Все старания остались безрезультатными.

Тогда Мирабо, может быть даже по совету госпожи де Лиме-Кориолис, остававшейся его незримой наставницей в этом неожиданно трудном деле, решился на крайние меры.

Его экипаж был оставлен на всю ночь, до позднего утра, перед подъездом дома де Мариньяна. Эмили была скомпрометирована, и ее отцу ничего не оставалось, как, подавляя ярость и гнев, дать согласие на этот брак, ставший необходимостью.

Переговоры об условиях брачного договора взял в свои руки маркиз де Мирабо: по обычаям того времени старший сын приобретал полноту прав лишь при достижении двадцати пяти лет; Мирабо-младший, следовательно, не достиг еще в то время совершеннолетия, и отец полностью отстранил сына от решения вопросов, касавшихся прежде всего самого Оноре.

Переговоры были трудными. Родители молодоженов по мотивам, не требующим пояснений, не питали друг к другу симпатий. Господин де Мариньян был вынужден скрепя сердце дать дочери приличное приданое; что же касается главных богатств, к которым жадно тянулись руки Мирабо старшего и младшего, то господин де Мариньян отнюдь не обнаружил склонности передавать хотя бы акр земли.

Словом, повторилась ситуация, хорошо знакомая старому маркизу де Мирабо по его собственному печальному опыту с Марией-Женевьевой де Вассан. Быть единственной наследницей огромных богатств означало нечто совершенно иное, чем быть их владелицей.

23 июня 1772 года в церкви Святого духа в Эксе состоялось торжественное бракосочетание графа Оноре де Мирабо и Эмили де Мариньян. Свадьба не была ни веселой, ни радостной. Отец невесты не мог скрыть раздражения по поводу того, что его принудили к этому браку вопреки его воле. Со стороны жениха не было ни отца, ни матери: по разным мотивам они не пожелали принять участия в церемонии. Семью Мирабо представляла его сестра — Луиза де Кабри.

Недочеты церковной церемонии Оноре-Габриэль стремился возместить послесвадебными торжествами. Отец передал старшему сыну фамильный замок Мирабо; дядюшка — судья Мирабо — перебрался в другой замок семьи, в Руэрг. Молодоженам старались не мешать.

Но Оноре-Габриэль хотел напомнить Провансу, что он старший сын, будущий глава самой знатной и богатой семьи края. Он обновил и разукрасил старый замок, обтянул внутренние стены главных комнат новой яркой тканью, проложил широкие дороги к замку, устлал их розами и цветами.

На протяжении ряда недель в старом замке Мирабо шли пышные приемы. Молодой Мирабо приглашал чуть ли не всех обитателей края, большинство из приглашенных были даже незнакомы ни ему, ни старым слугам в замке. Он хотел, видимо, всех поразить, ошеломить: вот как празднует свою свадьбу граф де Мирабо! Развлекайтесь и веселитесь! Граф Мирабо ничего не пожалеет для своих гостей! Он покупал экипажи с лошадьми, мебель, платье, драгоценности для Эмили; он хотел ее потрясти: вот как богаты Мирабо! Они не считают денег; расходы никого здесь не заботят!

Но Эмили, воспитанная в достатке, в неге и холе, Эмили, наблюдательная, рассудительная в двадцать лет, недоуменно пожимала плечами. Ей было непонятно ни это бессмысленное мотовство, ни эти ночные кутежи с людьми, которых муж не знает в лицо, даже по имени, ни эти странные, кажущиеся ей подозрительными господа, спешащие, отталкивая один другого, предлагать ее мужу деньги на огромных, надо думать, процентах. Ей не нравился этот кажущийся парадным замок с цветами, которые так быстро здесь вянут, с покрытыми нарядными тканями холодными, скользкими стенами, где в углах плетут густую темную паутину пауки, где ночью слышится писк крыс, раздаются какие-то странные шорохи. Она боялась ходить одна по этим бесконечным коридорам и анфиладам комнат, запертых огромными заржавленными замками, которых, наверно, лет сто уже никто не открывал.

Ее пугал в этом старом замке даже собственный муж. В Эксе он казался таким добродушным, простым, понятным. Здесь она не могла его постичь: у него всегда озабоченное выражение лица; глаза беспокойны; он почти всегда не в духе, встревожен, и, даже когда он говорит ей ласковые слова, они только внешне, по видимости обращены к ней; он думает о чем-то совсем другом.

Нет, жизнь в замке Мирабо — это не безмятежное счастье молодых, любящих друг друга супругов. Так ли представлялся ей медовый месяц с этим веселым капитаном драгунов в нарядном синем мундире?

Не успел пройти и год, как безрассудное расточительство привело Оноре к полному финансовому краху. За год он успел растратить, бросая деньги на ветер, и крупное состояние жены, полученное в приданое, и средства, предоставленные отцом, и, наконец, все полученные им от ростовщиков Марселя деньги. Имя Мирабо — первое в Провансе. И кто посмеет отказать в кредите графу де Мирабо? Но зато какие проценты он должен был платить — 100, 200, 300! Проценты возрастали по мере того, как для кредиторов становилась все более очевидной неспособность молодого графа оплачивать в срок свои долги. Когда было прокучено все приданое жены и сделано на 120 тысяч франков долгов, старый маркиз решил, что ему пора снова вмешаться.

В октябре 1773 года в семье молодоженов произошло важное событие: родился сын, наследник славного имени. Ему дали имя деда — Виктор, и Оноре надеялся, что

этим актом сыновней почтительности он возвратит расположение отца.

Но «Друга людей» этим не проймешь. Он оказался перед необходимостью оплачивать долги своего старшего сына, чтобы не бесчестить имя семьи, и он был полон решимости положить конец этому мотовству.

В декабре 1773 года графу де Мирабо власти представляют новое *lettre de cachet* короля; оно пока еще милостиво: находящемуся под государственным надзором графу запрещается покидать родовое поместье; старый маркиз надеется, что его старший сын не сможет совершать путешествий в Марсель и заключать с ростовщиками новые заемные сделки на кабальных условиях.

Но сына невозможно приучить к расчетливости, к умению сообразовывать расходы с доходами. Он любит, чтобы в карманах всегда бренчало золото. Он приказывает слугам не пускать впредь в замок кредиторов; если слова не достигают цели, травить их собаками. Он находится под надзором королевской власти, он не волен собой распоряжаться, покидать замок. Если кредиторам так не терпится, пусть обращаются к маркизу де Мирабо. Его раздражение против отца все более возрастало: подумать только, «Друг людей» не пожелал даже взглянуть на своего внука!

Чтобы досадить отцу, а главное, чтобы всегда бренчало золото, он находит простое решение: в замке Мирабо много старинных дорогих картин, много фамильных драгоценностей.

Он стал их сперва осторожно, потом все смелее распродавать. С чисто дворянским пренебрежением к драгоценному металлу он не входил в рассмотрение соответствия цены стоимости; лишь бы звенело в карманах золото!

Но один из первых экономистов Франции, маркиз де Мирабо, не пожелал мириться с таким попранием экономических законов, затрагивающим к тому же его кровные материальные интересы. У маркиза были верные люди, они всегда своевременно доносили о всем совершавшемся в старом замке. Разорению семьи должен быть положен предел.

И вот маркиз де Мирабо посыпает песком легко и быстро написанное письмо в столицу; у маркиза немало друзей во влиятельных кругах; пока он жив, он остается главой и распорядителем всех владений и собственности

дома Мирабо. Оноре не будет больше распродавать фамильные ценности.

Графу Оноре-Габриэлю де Мирабо остается лишь подчиниться распоряжению королевской власти. Согласно новому предписанию, он должен был переселиться с женой и сыном в маленький, затерянный в Альпах городок Маноск; он до сих пор о нем не слышал, но по распоряжению властей он обязан жить в Маноске безвыездно.

С апреля 1774 года Оноре-Габриэль де Мирабо — обитатель Маноска. На какой срок он заточен в этот неведомый городок в горах? Его снова никто не допрашивал, никто ни в чем не обвинял; никто вообще не интересовался, чего он хочет, к чему стремится, с чем согласен или не согласен, — он, достигший совершеннолетия, двадцатипятилетний мужчина, отец семейства, драгунский капитан, владелец поместий, граф де Мирабо, старший сын, будущий глава одной из самых старинных и славных фамилий родовитой знати Франции.

Боже! Что творится в этой стране! Если так поступают с ним, графом де Мирабо, то какая участь уготована простому крестьянину, бедному горожанину, любому подданному короля из третьего сословия?!

Он снова с жадностью, наслаждением, душевным соучастием перечитывает обличительные строки великого Руссо, Дидро, Вольтера!

Нет, мало, разделяя взгляды, читать эти полные огня творения «партии философов», идти мысленно в их рядах. Надо самому писать. Надо ввязаться в битву, обнажить меч, надо атаковать противников!

VII

В Маноске Мирабо — наконец-то! — берется за дело. Он оттачивает остро гусиные перья и торопливо пишет, торопливо потому, что чувства опережают мысли. Ему так не терпится скорее вылить на бумаге все свое негодование, накопленное за долгие годы раздражение, все свои обиды, возмущение, ярость, что он не в состоянии сразу придать этим бушующим чувствам должную, логическую, подчиненную строгим литературным правилам форму.

Название приходит раньше всего; оно ясно и определено: «Опыт о деспотизме»⁷. В этом названии нет лишней, неуместной чувствительности и вполне точно

обозначен противник. Деспотизм — вот враг! Вот главный противник, по которому следует вести прицельный огонь.

В том же 1774 году в Лондоне на английском языке вышла книга автора, по понятным причинам пожелавшего остаться неизвестным. Но, несмотря на английское издание и прямые указания автора на то, что сочинение написано в связи с нашумевшим в то время «делом Уилкса», содержание сочинения заставляло полагать, что анонимный автор, вероятнее всего, был французом и испытал сильное влияние французской просветительской мысли. Книжка называлась «Цепи рабства» («The chains of slavery»). Сочинение обратило на себя внимание; позже, в 1793 году, на французском языке оно было издано во Франции. В этой сравнительно небольшой по объему, но экономно и в энергичном стиле написанной книге была дана последовательная и систематизированная критика деспотизма на множестве примеров прошлого и некоторых, не всегда точно обозначенных, фактах современности⁸.

Автор повторил в качестве названия своего сочинения заголовок известного политического памфлета Джона Лилльберна эпохи английской революции XVII века. Хотя в предисловии говорилось, что книга подсказана задачами избирательной кампании, сочинение было произведением не столько английской общественной мысли, сколько французской.

Автор «Цепей рабства» 1774 года шел от Жан-Жака Руссо. Он не только открыто провозглашал себя его последователем, но и принимал полностью аргументацию Руссо, повторял ее и развивал дальше. В частности, он делал, несомненно, важный, значительный шаг вперед от Руссо, принимая как непреложный тезис о праве народа на сопротивление, на противодействие тирании деспотизма. Автор подвергал конкретному рассмотрению — теоретически и с точки зрения практики — вопросы вооруженной борьбы или даже вооруженного восстания народа против ига деспотии.

«Цепи рабства» и обратили на себя внимание современников именно потому, что в этой книге впервые в политической литературе того времени проблемы борьбы против деспотизма переносились из плана морального осуждения в сферу реальных, конкретных практических действий. Это значило, говоря иными словами, что в книге ставился вопрос не только о том, что такое «це-

ни рабства», в чем проявляется и какие формы приобретает деспотизм, но и как его уничтожить, как разбить «цепи».

Автором сочинения, остававшимся еще ряд лет загадочным, был живший в ту пору в Англии известный в медицинских кругах доктор медицины университета святого Эндрьюса в Эдинбурге, естествоиспытатель, биолог и физик, уроженец г. Будри, кантона Невшатель в Швейцарии, Жан-Поль Марат, вошедший позже в историю под именем Друга народа — по названию газеты, издаваемой им в годы Великой французской революции.

Знал ли Оноре-Габриэль Мирабо «Цепи рабства» анонимного автора? С полной определенностью ответить на этот вопрос затруднительно, но можно утверждать с большой долей вероятности, что, когда он начинал собственное сочинение о деспотизме — весной 1774 года, он этого произведения не знал. Он его и не мог знать, хотя бы потому, что «Цепи рабства» вышли из печати в конце 1774 года⁹, а Мирабо начинал свой «Опыт о деспотизме» в апреле — мае того же года. Может быть, он с ним познакомился позже? Такое допущение возможно, но существенного значения оно не имеет.

Сопоставление «Цепей рабства» Марата с «Опытом о деспотизме» Оноре де Мирабо заслуживает внимания прежде всего потому, что оба автора, не знавшие друг друга, пришли самостоятельно к весьма близким, чтобы не сказать тождественным, заключениям.

В «Опыте о деспотизме» Мирабо писал: «Долг, интерес и честь предписывают сопротивляться высшим распоряжениям монарха и даже вырвать у него власть, если злоупотребления его могут уничтожить свободу и не остается иных средств ее спасти»¹⁰.

Достаточно сопоставить эти строки с соответствующими страницами «Цепей рабства» Марата¹¹, чтобы убедиться, что оба автора одновременно и вполне независимо друг от друга пришли к общему, принципиально важному и новому в развитии французской общественной мысли XVIII века заключению. Выраженные разными словами положения Жан-Поля Марата и Оноре-Габриэля де Мирабо заключались в том, что если деспотизм власти (монарха) попирает свободу, то народ не только вправе, но и обязан оказать сопротивление поку-

шению на свободу, вплоть до свержения власти монарха, если это окажется необходимым.

То был политический вывод капитальной важности.

Кажущееся случайным на первый взгляд совпадение дат — и Жан-Поль Марат, и Мирабо, ничего не знавшие в ту пору друг о друге, пришли к этому выводу одновременно, в 1774 году, — в действительности имеет определенное объяснение и в какой-то мере закономерно.

За годы, прошедшие со времени написания «Общественного договора» Жан-Жака Руссо, произведения, справедливо считавшегося самым передовым в мировой прогрессивной мысли XVIII века, за минувшие одиннадцать-двенадцать лет кризис феодально-абсолютистской системы во Франции настолько обострился, атмосфера общественного недовольства настолько накалилась, что абстрактно-теоретические выводы Руссо уже оказывались недостаточными. 1774 год — год преддверия так называемой мучной войны — широких, принимавших угрожающий для властей характер крестьянских выступлений, во многих случаях вооруженных, прокатившихся почти по всему королевству. «Мучная война» разразилась в 1775 году, но вызрела она ранее. Предпосылками крестьянских восстаний и выступлений 1775 года были прогрессирующее обнищание и голод среди подавляющего большинства производителей хлеба и других необходимых жизненных благ. Непомерная, всевозрастающая алчность сеньоров, помещиков, интендантов, откупщиков, местных сборщиков налогов, судебных властей, церкви с ее «десятиной», полиции и жандармерии во всех их разветвлениях, всего чудовищно огромного аппарата феодально-абсолютистской монархии и привилегированных сословий, существующих и богатееющих за счет беспощадной эксплуатации крестьянства, привела его к концу 60-х — началу 70-х годов к полному разорению.

Кризис режима, нараставший и углублявшийся на протяжении многих лет, коренился прежде всего в аграрных отношениях, в оскудении сельского хозяйства, в разорении крестьянства, в крайнем обострении классовых противоречий между крестьянством и всеми угнетавшими, эксплуатирующими его паразитическими группами феодально-абсолютистской монархии. Освобождение крестьян от феодальных повинностей, поборов и всех прочих форм угнетения, порожденных режи-

мом феодального «старого порядка», становилось условием его существования.

Это, конечно, все трюизмы, и автор должен за них просить прощения у читателей. Но эти давно знакомые, кажущиеся нам привычными положения в последние десятилетия (как, впрочем, и раньше) берутся под сомнение некоторыми историками и публицистами, пытающимися уверить нас в том, что Великая французская революция по сути дела была не нужна, так как никаких реальных противоречий в старой предреволюционной Франции не существовало.

Вот почему мне представляется необходимым еще раз повторить в данном контексте эти кажущиеся некоторым авторам старомодными истины. Ведь только исходя из этих аксиоматических положений можно объяснить образ мышления, образ действий трех главных героев данного исторического повествования.

Но если классовые противоречия в деревне были основными в углублявшемся кризисе режима и аграрный вопрос стал главным в назревавшей буржуазной революции, то это вовсе не значило, что они были единственными и что кризисные явления сводились только к ним. Нет, конечно. На эти основные противоречия наслаивались многие другие, порою не менее острые, и в сознании людей того времени иные конфликтные ситуации казались нередко более значительными, более важными, чем первые. Не подлежит сомнению, например, что для либеральной дворянской и буржуазной оппозиции война абсолютистского правительства Людовика XV против парламентов, как и вся открыто реакционная политика последних лет его царствования, обычно связываемая с именами Мопу и Терре, представлялась главным злом и вызывала наибольшее недовольство и раздражение.

Не случайно поэтому смерть Людовика XV, «Людовика любимого» (*le bien aimé*), каким его хотели бы представить в наше время Гаксотт и иные историки крайне правого направления¹², — смерть в 1774 году этого так долго царствовавшего монарха была встречена с облегчением. Никто, кроме, быть может, графини Дюбарри, не оплакивал этой непредвиденной кончины (король умер от ветряной оспы). Все до неприличия откровенно радовались восшествию на престол нового, молодого монарха — Людовика XVI; на него возлагались все надежды.

У авторов двух почти одновременно появившихся

книг о вреде деспотизма, у Оноре-Габриэля де Мирабо и Жан-Поля Марата, остававшихся во всем остальном глубоко, я бы даже сказал, принципиально различными, помимо общих, свойственных всей просветительской мысли мотивов существовали и побудительные стимулы, связанные с личной биографией каждого.

О Марате речь здесь не идет*.

В том, что касается Мирабо, то у него к двадцати пяти годам было уже вполне достаточно чисто личных причин кипеть выходящим из берегов негодованием против деспотизма. За недолгие годы своей взрослой жизни он сумел в полной мере познать деспотизм отца, деспотизм матери, деспотизм монархии и ее институтов. Споры нет, эти злключения молодого графа Мирабо придавали его обвинительным речам против произвола деспотизма особую искреннюю убежденность. Но было бы ошибочным, на мой взгляд, как это делают некоторые его биографы, объяснять первые литературные выступления Мирабо против абсолютистского режима только несчастливым сложившимися для него годами молодости под суровой рукой тиранического отца.

Нет, основа антиабсолютистских выступлений Мирабо была и глубже и шире. Она была рождена не только и даже не столько просветительской литературой XVIII века, на которой воспитывалось все современное ему поколение, но и прямым соприкосновением с действительностью, с теми настроениями всеобщего недовольства, атмосферой приближающейся грозы, которые не мог не чувствовать любой внимательный наблюдатель. Мирабо был из их числа. Он умел замечать приметы своего времени. Человек образованный, умный и, несомненно, талантливый, он был восприимчив к неодинаковым, во многом различным, но при разном звучании всегда чем-то встревоженным голосам эпохи. Он был одним из тех, кто раньше других почувствовал приближение грозы.

Конечно, его недолгий еще жизненный опыт способствовал его идейному созреванию. Он видел вблизи, совсем рядом, короля, его окружение, версальский двор, и они вызвали у него чувство отвращения. Он хорошо

* Я пытался это в свое время объяснить в книге «Марат» (серия «Жизнь замечательных людей»), но должен к этому добавить, что если бы я ее писал сейчас, пятнадцать лет спустя, то она была бы написана несколько иначе.

знал людей своего сословия, своего круга — высшую, родовитую знать Франции — отца, мать, тестя, своих сверстников; все, что он знал, говорило не в их пользу. Он видел, как тяжело живется во Франции простым людям — хлебопашцам, крестьянам, тем, кто кормит своим трудом привилегированные сословия. Все эти личные наблюдения укрепляли его критические суждения о существующем порядке. Этот мир насилия, бесправия, беззакония, несправедливый, жестокий мир должен быть изменен. Руссо был прав: существующие общественные институты противоречат естественным правам человека. Главный источник зла — деспотизм, и против него должны быть направлены разящие удары.

Так обобщенно, схематично и наивно представлялись Мирабо задачи храброго бойца, вышедшего в рыцарских доспехах, с мечом в руках на смертельный поединок с могущественным противником.

Следует избегать, само собой разумеется, и всяких преувеличений. «Опыт о деспотизме» при некоторых чертах сходства с «Цепями рабства» имел и существенные отличия. Хотя в этом раннем произведении Марата его общественно-политические взгляды еще не достигли полной зрелости (что было вполне понятно), тем не менее, прочитав это анонимно опубликованное произведение, можно безошибочно утверждать, что оно было написано революционером-демократом. Сочинение было как бы озарено отблеском далеких пожаров народного мятежа. В прошлом или будущем? То были отголоски минувших восстаний или предвосхищение будущих? На такие вопросы трудно ответить. Но, читая «Цепи рабства», нельзя не ощутить дыхание буйных ветров, несущихся над миром.

В книге Мирабо, посвященной в сущности той же теме, это не чувствуется. Ее писал не революционер и не демократ. Какие-то неуловимые нюансы, не поддающиеся точному определению оттенки — обороты ли речи, склонность ли говорить от первого лица, порою прорывающиеся барствянные нотки — все это дает вам почувствовать, что это мятежное, проникнутое искренними чувствами произведение умного, хорошо разбирающегося в обстановке человека написано гран-сеньором. Это критика зоркого наблюдателя, принадлежащего, несомненно, к верхам. Подобно тому как, читая «Мемуары» герцога Сен-Симона или «Афоризмы и максимы» Ларошфуко, вы не можете ошибиться в сословной при-

надлежности их авторов, так и, читая превосходный, злой «Опыт о деспотизме» Мирабо, вы сразу же ощущаете, что это произведение написано человеком не из народа.

Это сказано здесь, конечно, не в осуждение Мирабо; этические оценки были бы неуместны и смешны. И дело в данном случае не в сословной принадлежности и не в происхождении и воспитании. Эта констатация, свободная от любой формы морализирования, тем более от попыток резонерствовать, важна сама по себе. Это своеобразие Мирабо как личности и как политического деятеля в дальнейшем должно быть замечено, принято во внимание.

Позже, когда Мирабо будет совершать — до 1789 года — свою эволюцию влево, и с началом революции, выдвинувшей его (до каких-то пор) в первые ряды, это внутреннее противоречие, или раздвоенность, как угодно, политического лидера, сражавшегося против абсолютизма, за свободу, и «дикого барина», аристократа, избалованного и распущенного, не способного преодолеть склонности к мотовству, всех впитанных с молоком матери, как бы прирожденных привычек главенствовать, быть первым, позже эта внутренняя раздвоенность станет трагической, фатальной в его судьбе.

Мы обозначили здесь пунктиром или самыми общими штрихами, когда речь зашла об «Опыте о деспотизме», лишь зарождение, первые симптомы этих опасных тенденций.

Но всё это обозначится в полной мере позже. А пока пора вернуться от общих рассуждений к реальным событиям непростой биографии нашего героя.

VIII

Маноск, представлявшийся возбужденному воображению Мирабо чуть ли не местом ссылки на краю света, оказался прелестным городком, где несколько хороших, просвещенных в духе века дворянских семей приняли с величайшим радушием прибывших не по своей воле пришельцев.

Громкое имя графа де Мирабо открывало перед молодой четой двери любой дворянской усадьбы или особняка. В Маноске был дом родственников, довольно близких, Эмили — гостеприимная семья господ де Гассо. Родственные семьи сблизились. После приезда супругов

Мирабо в родительский дом все чаще стал наведываться их сын кавалер Лоран де Гассо, командовавший отрядом мушкетеров в гарнизоне, расположенном недалеко от города. В раннем детстве Лоран и Эмили играли вместе в песочек; стоит ли удивляться тому, что кузен и кузина теперь охотно вспоминали в оживленной беседе такое близкое и такое далекое детство?

В Грассе, недалеко от Маноска, было расположено имение маркиза де Кабри. Этот выродок, этот всегда тихо посмеивающийся молодой маркиз, сумасшедший или притворяющийся сумасшедшим, играющий какую-то странную, а может, и страшную роль, был безразличен, а вернее, антипатичен Мирабо. Но маркиза де Кабри, его сестра, всегда притягивала к себе Оноре. Вместе им никогда не бывало скучно.

Правда, о маркизе Луизе де Кабри порою, как бы мимоходом, замечали, что последнее время ее часто встречают в костюме амазонки в обществе капитана де Бриансона, совершающими верхом на лошадях дальние путешествия по живописным предгорьям Альп.

Мирабо это отнюдь не смущало. Он одобрял образ действий Луизы. Не оставаться же ей в одной клетке с этим высохшим орангутангом — маркизом де Кабри! И подумать только, как испортил жизнь своим детям — сыну, дочери — их отец, которого доверчивые французы продолжают прославлять как Друга людей!

Оноре тем охотнее хотел встретиться с Луизой, что он снова чувствовал себя одиноким. Он порвал столь затянувшуюся связь с госпожой де Лиме-Кориолис. Эта дама родила сына, поражавшего удивительным портретным сходством с графом Мирабо. В провинции ничто не остается незамеченным. Об этом мальчике с большой головой, так поразительно похожем на всем известного знатного молодого человека, заговорили во всех гостиных дворянских усадьб.

Оноре-Габриэль, понятно, не мог возражать ни против самого факта, ни против данного ему истолкования. Но когда дама, в которой он до сих пор находил больше достоинств, чем недостатков, проявила склонность придать излишне большое значение сходству между отцом и сыном, Оноре без труда нашел повод, чтобы рассориться с ней навсегда.

Мирабо о мадам де Лиме-Кориолис никогда больше не вспоминал.

Это оказалось для него тем легче, что в собственном

доме его подстерегали неожиданные осложнения. Случайно из письма к Эмили, на которую со времени переезда в Маноск он перестал обращать внимание, из подвернувшегося ему под руку письма, написанного незнакомым почерком, письма Лорана де Гассо, как это выяснилось из текста, он узнал, что жена, эта тихая, незаметная Эмили, ему неверна. Как, когда это произошло? Он не мог на это ответить, не мог ничего припомнить, хотя бы потому, что он действительно всю весну и лето в Маноске попросту не замечал своей жены. Он ее видел каждый день, говорил ей, очевидно, какие-то слова, слушал ее ответы — иначе быть не могло, — но он скользил по ней взглядом, не задерживаясь. Так, вероятно, смотрят на привычную дверь, на пол, на чашку, из которой каждое утро пьют кофе. Графиня де Мирабо, Эмили, его жена, не занимала никакого места ни в его мыслях, ни в его чувствах.

Менее всего он был склонен осуждать или винить в чем-то себя. Он не был верен жене, и это в порядке вещей. Но чтобы жена ему изменяла!.. Оноре был в бешенстве. Он бросился в ярости, чтобы избить, уничтожить этого прикидывавшегося тихоней кавалера де Гассо. По счастью для обоих, он его не застал: мушкетер короля был в своей воинской части. Застигнутая врасплох неистовым негодованием мужа, Эмили чистосердечно призналась и затем в слезах смиренно просила у мужа прощения. Она каялась в грехе, давала клятвенные заверения, что больше это никогда не повторится. Она проявила столько супружеской покорности, столько раскаяния, скорбного смирения, столько выплакала слез, что наконец была прощена мужем, и мир, по крайней мере по видимости, в семье был восстановлен¹³.

Чтобы погасить в зародыше скандал, не дать сплетне разойтись по всей округе, старшие де Гассо, умудренные жизненным опытом, спешно женили Лорана-Мари де Гассо. Невеста давно уже была на примете: то была дочь маркиза де Туретт — наследница крупного состояния. В XVIII столетии согласия молодых, вступающих в брак, не требовалось. За них все решали родители. Летом 1774 года без промедления свадьба кавалера де Гассо и мадемуазель де Туретт была сыграна.

Честь графини и графа де Мирабо была полностью восстановлена. Кто посмеет теперь, после торжественно отпразднованной свадьбы молодого де Гассо, повторять вздорные, лживые сплетни?

Но расколотый фарфор плохо склеивается. После недавнего потрясения мир в доме супругов Мирабо непрочен. Между мужем и женой все чаще возникают ссоры. Вряд ли свадьба молодого де Гассо могла доставить радость Эмили. Она вовсе не была такой простушкой, какой воображал ее муж. Она все видела, ничто не ускользало от ее внимания. Во время одной из ссор она холодно и сухо сообщила мужу, что давно осведомлена о том, что говорят по поводу странного сходства сына госпожи де Лиме-Кориолис с ее, графини де Мирабо, законным супругом. У него не хватило решимости опровергать всем известное, и он должен был признать, что жена день ото дня все более выходит из узды. Смирительный тон покаяния был предан забвению. Если она в чем и готова была раскаяться, то лишь в том, что тогда, после того злосчастного письма, так унижалась, так покорно просила прощения у ее недостойного мужа. Теперь жена все чаще, все смелее контратаковала супруга; неизвестно каким путем, но она была превосходно осведомлена о всех его прегрешениях.

Во время одной из ссор, становившихся все более резкими и грубыми, Эмили в запальчивости бросила ему обвинение в супружеской неверности. Он дал ей пощечину; рука у него была тяжелая. Эмили запомнила на всю жизнь этот удар по лицу.

Мир в доме Мирабо был сорван, снова началась война.

Не желая считаться с тем, что он находится в Маноске под надзором полиции, что ему запрещен выезд из города, Мирабо самовольно выехал в Грасс; ему не терпелось встретиться с Луизой.

Почти целый месяц, позабыв о всех невзгодах, заботах, обо всем этом страшном, сумеречном мире, он коротал часы с Луизой де Кабри и капитаном де Бриансоном в веселых, беспечных верховых прогулках по глухим сказочным горным дорогам отрогов Альп. Днем они совершали долгие утомительные путешествия по узким дорогам и горным тропам. Нередко приходилось ездить осторожно, по одному, гуськом. Когда вечерело и опускалась быстро, почти мгновенно, густая непроницаемая, черно-чернильная темнота, они находили какой-нибудь маленький отель, тускло светивший издалека, и тут начиналась упоительная пирушка.

Дни остановившегося времени, дни без вчера и без

завтра, без раздумий, счастливые, блаженные часы, когда никто не замечает отсчета уходящих минут.

Но всему приходит конец. Эта блестящая кавалькада — позади господ на почтительном расстоянии следовали берейторы, — так беспечно и весело путешествующая по дорогам провинции, была замечена и привлекла внимание старых, чопорных дам — владелиц поместий, свято чтущих все правила церкви; кумушек помоложе, всегда готовых посплетничать на чужой счет; старых строгих господ, следящих за поддержанием порядка; моралистов, охотников до всяких происшествий, искателей приключений — словом, всех любителей совать свой нос в чужие дела. Какая провинция королевства испытывает недостаток в великосветских сплетниках?

Начались пересуды. Затем в один из воскресных дней на дверях лавочек, магазинов, отелей, официальных учреждений, даже в церквях оказались расклеенными на видном месте небольшие, но броские своего рода плакаты. В них сообщалось в намеренно напыщенном, но не лишенном злобного остроумия тоне о бесстыдных похождениях высокопоставленной дамы в обществе двух мужчин — своего брата, безбожника и распутника, и кавалера, втроем, напоказ, глумящихся над священными законами господ, бога, церкви и короля.

Пасквиль был сочинен опытным, набившим руку в литературном ремесле дворянином; в том не могло быть сомнения. Но кто же был автором гнусного пасквиля? Все три участника компании, осмеянные в памфлете (они не могли его не прочесть: он им повсюду попадался на глаза), терялись в догадках. Впрочем, сам пасквиль на них не произвел большого впечатления: молодые люди пренебрегали мнением этих заскорuzлых обитателей провинциальных, медвежьих углов.

Случилось так, что в один из прекрасных, беспечно веселых дней им повстречался на дороге знатный местный сеньор, владелец поместий Муана господин Жильбер де Вильнев-Муан. Компания возвращалась навеселе. Старый строгий господин не слыл почитателем маркизы де Кабри и ее свободного образа жизни. Но бог весть почему Мирабо заподозрил в нем автора пасквиля и в вызывающе грубом тоне стал требовать извинений или дуэли. Де Вильнев-Муан не проявил ни малейшей склонности удовлетворить ни первое, ни второе требование грубияна. Тогда Мирабо, вырвав из рук старого го-

сподина зонтик, разбил его, ударив того по голове, а затем, не довольствуясь этим, поднял его на воздух, бросил на землю и на глазах собравшихся крестьян стал катать, пинать его ногами.

Когда некоторое время спустя избитый, полуживой господин де Вильнев-Муан добрался до собственного дома, он, едва лишь придя в себя, подал в судебные инстанции жалобу о попытке графа Мирабо убить его.

Оноре-Габриэлю было ясно, что происшествие не пройдет безнаказанно. Вся эта нелепая история была тем досаднее, что вскоре обнаружилось, кто был действительным автором гнусного сочинения против Луизы де Кабри и ее спутников. То был ее законный супруг — маркиз де Кабри. Этот странный молодой человек с остановившимся взглядом мертвых, как бы ничего не видящих глаз, сумасшедший, безумец, по общему мнению, которое он всем своим поведением поддерживал, на самом деле все видел, все замечал; злой и мстительный, он скрытно, никем не замеченный шел неотступно по следам своей жены.

Мирабо вернулся в Маноск. Оставалось ждать, когда на его плечи опустится меч правосудия. К тому же, как всегда, он снова был без денег. Он заставил себя забыть о пистолете, поднятом старческой рукой его матери, чтобы сразить сына, и написал ей почтительно-сыновнее, просительное письмо. Он умолял мать — она ведь была так богата, а он, ее первенец, беден и в беде — помочь сыну деньгами. Он находил слова, которые, казалось, могли разжалобить камень.

Ответ не заставил себя ждать. Письмо матери было коротким: у нее нет для сына денег. Она не утверждала, что денег нет вообще, — их нет для Оноре-Габриэля.

Тогда у него почти мгновенно родилась иная идея: надо отправить Эмили с миссией доброй воли в Биньон, к его отцу — маркизу де Мирабо. Эмили с ее обходительными, мягкими манерами, с ее певучим голосом, может быть, удастся склонить «Друга людей» на свою сторону. У отца могущественные связи в Париже: со времени восшествия на престол молодого короля Людовика XVI физиократы вошли в моду. Отцу нетрудно прикрыть, положить под сукно жалобу де Вильнев-Муана. И потом Эмили сможет убедить своего свекра, что его сын, граф Мирабо, достигший, кстати сказать, совершеннолетия, не может существовать без денег.

Эмили не пришлось долго уговаривать. Она быстро согласилась с предложением мужа.

Графиня де Мирабо была умной женщиной. Наверно, она сразу же поняла, что предложенный мужем способ расставания при сложившихся в семье отношениях — самый лучший, самый пристойный выход из непреодолимого кризиса. Наверно, и Оноре-Габриэль думал так же, как и она, но по понятным причинам он не хотел высказывать мысли вслух.

Сборы были недолгими. Взглянуть со стороны — в семье Мирабо вновь утвердился добрый мир, восторжествовала безоблачная, теплая семейная дружба. Расставаясь, муж и жена заверяли друг друга в том, что это будет временная, совсем короткая разлука.

Но в глубине души — об этом тоже нельзя было сказать вслух — оба, вероятно, чувствовали, что расстаются надолго, может быть, навсегда.

Мирабо в части своих расчетов оказался прав. Эмили действительно без усилий сумела расположить в свою пользу свекра. Старый маркиз не мог нарадоваться на свою невестку: она была умна, начитанна, хорошо воспитана; у нее были приятные манеры, прелестный голосок. Главное же, что он особенно в невестке ценил, ей понравился дом в Биньоне. Эмили и в самом деле почувствовала себя в добротном аристократическом, немного старомодном замке маркиза де Мирабо как рыба в воде. Он напоминал дом ее счастливого детства.

Маленький внук, маленький Виктор де Мирабо, стал любимцем, утешением старого деда. Старый славный род Мирабо будет достойно продолжен; дед был готов взять на себя все заботы по воспитанию внука. Словом, все были довольны и счастливы.

В Маноск из Биньона приходили ласковые, успокоительные письма. План Оноре-Габриэля был, казалось, близок к осуществлению. Он почувствовал себя наконец чуть спокойнее. Он снова вернулся к прерванным литературным занятиям; с увлечением стал вновь работать над завершением «Опыта о деспотизме».

Приближалась осень. Он ждал теперь каждый день, нетерпеливо, считая часы, когда зазвенят колокольчики пароконной почтовой повозки. Почта должна была привезти ему деньги, которые получит от отца милая Эмили, так хорошо выполняющая тонкую дипломатическую миссию, королевский указ из Версаля, кассирующий жалобу де Вильнев-Муана, а может быть, указ нового,

доброего короля Людовика XVI, возвращающий графу де Мирабо всю полноту свободы, так несправедливо отнятой у него в предшествующее царствование.

Каждый день час-два он ожидал у небольшого домика почты, прислушиваясь к доносящимся издалика перзвонам почтовых колокольчиков. Дни проходили — все было напрасным; он так и не дождался того, чего ожидал.

В расчетах Мирабо, которые он связывал с миссией Эмили и которые, казалось ему, были близки к счастливому осуществлению и действительно в какой-то своей части оправдались, была лишь одна, но первостепенной важности ошибка. Эмили и в самом деле удалось сблизиться со свекром и найти с ним общий язык. Она стала самой влиятельной союзницей старого маркиза. Но союз невестки и свекра был направлен не в пользу мужа и сына, а против него, против Оноре-Габриэля.

До сих пор у Мирабо в Биньоне был один противник — не любивший сына отец; теперь их стало два: отец и объединившаяся с ним, не любящая мужа, ничего ему не простившая, умная, враждебная жена.

В один из вечеров, уже после прихода почты, снова обманувшей его ожидания, в дверь к Мирабо постучали. То были жандармы. Они предъявили тайное королевское распоряжение о заточении Оноре-Габриэля Рикетти де Мирабо в крепость-тюрьму на острове Иф без определения сроков заключения.

Совместные усилия маркиза и графини де Мирабо не остались безрезультатными.

IX

Кругом море, море, море... Где-то позади рейд Марселя, но остров окружает со всех сторон водная гладь, далеко-далеко впереди, на почти неразличимой линии горизонта, сливающаяся с холодным, сумрачным небом.

Оноре Мирабо — узник крепости Иф. Эта крепость-тюрьма, отделенная от суши непреодолимым для пловца водным пространством, была всегда окружена таинственными легендами. Кто был скрыт, погребен в ее казематах? По преданиям, здесь был заживо похоронен тот, кого называли загадочной «железной маской». В подземелье крепости Иф томились самые опасные государственные преступники. Позднее, в XIX веке, Александр Дюма прославил на весь мир страшную

крепость Иф, упрятав по воле сил зла своего любимого героя, будущего графа Монте-Кристо, в ее гибельные узилища. Но и в XVIII столетии у крепости Иф была дурная слава. С острова Иф не возвращаются — так говорили уже в дни молодости Мирабо.

Он был заключен в крепость без права переписки с отцом, матерью, сестрами, с кем бы то ни было, кроме жены. Он ехал к месту своего заключения с тяжелыми чувствами. В двадцать шесть лет столько ударов судьбы, столько поражений! И впереди — тюремное заключение в зловещей крепости, отрезанной от земли, без определения сроков заточения. Ты во власти пиратов, разбойников, незримых злодеев; против тебя эта страшная могущественная власть деспотизма, эта охватывающая всю страну беспощадная неодолимая машина государственного принуждения; что может противопоставить ей одинокий, бедный слабый человек?!

Об этих настроениях можно только догадываться. Прямых источников, т. е. писем самого Мирабо той поры, не сохранилось. Но остались косвенные свидетельства: письма Эмили Мирабо к мужу, по которым можно в какой-то мере реконструировать письма и настроение узника крепости Иф (письма тщательно собирал и изучал младший Ломени¹⁴), и затем связанные с заключением в крепости Иф воспоминания или суждения самого Мирабо последующих лет. Следует также припомнить: надвигалась осень с хмурым небом, холодными ветрами, длинными ночами. Было естественно, что это самое суровое из испытаний, которым Мирабо подвергался за свою недолгую и бурную жизнь, рождало у него чувство подавленности.

Сознание беспомощности, отрешенности от всего остального мира — мира свободной, независимой жизни — подтверждается также оживленностью его переписки с женой. Последнее время супруги не искали взаимного общения; скорее напротив. После отъезда Эмили в Биньон Мирабо писал ей редко, коротко и по сугубо деловым вопросам. На острове Иф его жена, его маленькая Эмили, представлялась ему лучом света в непроглядной мгле, последним окном, соединяющим его с внешним миром. Далекий, невидимый, недоступный, потерянный для него мир, кажущийся издали ярким, многоцветным, чудесным, со всеми его радостями и огорчениями, он, может быть, утрачен навсегда. Одна лишь Эмили еще остается тоненькой, слабой нитью, сое-

дияющей его с прежней, счастливой, свободной жизнью, где каждый волен делать то, что он хочет.

Оноре пишет жене часто, чаще, чем когда-либо в жизни. Он обращается к ней снова, как в первые счастливые дни после свадьбы, на ты; он пишет ей ласковые, добрые письма: он и в самом деле скучает по ней, по маленькому сыну. Он их любит; этот каменный остров без них пустынен.

Письма Эмили к своему мужу в заточении — это нежное голубиное воркованье. Теперь, когда так далеко, так прочно он укрыт за каменными неприступными стенами крепости, она находит для него самые теплые, проникающие в сердце слова. Верная, лишенная мужа жена, она думает только о нем; для нее больше ничто не существует, все ее помыслы, чувства — все обращено к нему. Единственные заботы, занимающие ее дни и ночи, — это как ему помочь, как облегчить судьбу дорогого Оноре, отца их маленького сына.

Мирабо — умный человек, и ему не надо сыграть три партии в берлан*, чтобы разобраться в своем партнере. Он был сначала обрадован, растроган этой нежностью Эмили, ее сердечными заверениями в любви. Может быть, и в самом деле. заточение в крепость Иф, которого добился его отец, было, как она открыто писала, благом по сравнению с теми карами, которые по жалобе де Вильнев-Муана готовил суд в Грассе. Послушать Эмили — и отец, и она, отправив Оноре узником в крепость, откуда никто не возвращается, радели только о его благе.

Но с некоторых пор заключенному в крепости Иф, радующемуся каждому письму от своего единственного корреспондента, стало казаться, что в письмах его жены слишком уж много меда. В настойчивости заверений в любви, в постоянных напоминаниях о ее хлопотах, о ее заботах, о ее бессонных ночах он чувствовал какую-то преувеличенность чувств, что-то неискреннее, порождавшее неотчетливое ощущение возрастающей тревоги.

Письма с его стороны становились реже и суше. Графиня Эмили де Мирабо и в самом деле совсем не проста. Старый маркиз был ею очарован; ее влияние на него день ото дня все более возрастало. Он, правда, не мог никак разобраться до конца, как же она относится на

* Берлан — широко распространенная во времена Людовика XV и Людовика XVI карточная игра.

деле к своему мужу, где проходит грань между искренними чувствами и ролью, играемой так искусно, так тонко, что порою кажется, будто это вовсе не роль, а правда.

Эмили делала вид, что не замечает растущего недоверия и сухости писем мужа. С некоторых пор он стал ей писать на вы вместо прежнего доверительного ты, как это принято между мужем и женой. Она ему писала по-прежнему на ты и не скупилась на ласковые слова. Но на прямо поставленные вопросы — например, приедет ли она к нему на остров Иф — отвечала неясно и уклончиво.

Мирабо уже составил мнение о своем партнере в партии берлан. Он не доверял больше своей жене. Иллюзии, порожденные возросшими трудностями и угрожавшими ему опасностями, рассеивались. Со стороны графини Мирабо следовало ожидать маскируемого сладчайшими улыбками и речами стремительного удара стилетом.

Враждебность матери, отца, жены — не слишком ли много для слабых человеческих плеч?

Впрочем, и сам наш герой не только не являл пример добродетели, но и беспечно давал противникам сильные козыри против себя.

Крепость Иф, после того как он немного обжился на новом месте, оказалась не таким уж адом; и здесь, как постепенно выяснилось, можно было существовать.

Как всегда, Мирабо в злключениях помогали его громкое имя и особый дар склонять в свою пользу, даже очаровывать людей.

Старый комендант крепости д'Аллегр, небогатый дворянин, исправный служака, сначала не знал, как вести себя со своим знатным пленником. Он не получил никаких прямых указаний о применении особо строгого режима к заключенному. Но в Провансе нет, пожалуй, имени более знаменитого и почитаемого, чем имя графа Мирабо. Старый комендант превосходно знал, что все большие начальники провинции — это ближайшие родичи или приятели графа Мирабо. Сегодня он узник крепости Иф, а завтра он может стать министром и таким высоким начальством, до которого бедному провинциальному служителю власти не дойти. Комендант д'Аллегр счел благоразумным пригласить пленника к своему обеденному столу. А дальше сам Мирабо с его даром обвораживать сумел настолько завоевать симпа-

тии коменданта, что стал самым желанным гостем в его доме. В общем, и на острове Иф, даже оставаясь заключенным, граф Мирабо мог жить вполне свободно.

Но неожиданно возникли осложнения. Среди немногочисленного вольного населения крепости была и некая Лазари Муре, жена одного из младших служащих. Мирабо как-то мимоходом сказал ей ничего не значащую любезную фразу, и этого оказалось достаточным, чтобы «одичавшая» на острове молодая женщина, возмнив бог знает что, поспешила предоставить себя в полное распоряжение пленника крепости. Эта случайная интрижка не занимала Мирабо, но по крайней мере он получил возможность через посредство послушной и исполнительной Лазари переписываться, с кем он хотел.

Но на маленьком острове ничто не может быть долго тайной, и Лазари сочла, что благоразумнее не дожидаться возмездия мужа. В один из вечеров, заручившись письмом от Мирабо к маркизе де Кабри и предварительно похитив все долголетние сбережения мужа — примерно 4 тысячи ливров, — она скрылась с острова.

Обманутый и оскорбленный супруг, лишившись и жены и денег (что, видимо, его потрясло в равной мере), подал жалобу на дерзкого нарушителя семейного счастья коменданту крепости и, чтобы досадить обидчику, переслал жалобу по единственному известному ему адресу — графине Эмили де Мирабо.

На коменданта жалоба большого впечатления не произвела. Ради какой-то вздорной женщины он не намеревался портить отношения со своим высокопоставленным пленником. Когда у него позже запросили официально отзыв о поведении графа Мирабо в крепости Иф, он дал самую лестную и похвальную характеристику.

Эмили в переписке с мужем представила дело так, будто ей ничего не известно. Ничто не изменилось ни в тоне, ни в содержании ее писем. Но она, конечно, оценила значение попавшего в ее руки документа. Он ей пригодится в будущем. Пока же она поторопилась ознакомиться с поступившей жалобой, не определяя к ней своего отношения, старого маркиза. Для «Друга людей» во всей этой истории наиболее важным представлялось, что Оноре поддерживает связи со своей сестрой Луизой де Кабри, перешедшей на сторону матери в борьбе меж-

ду родителями, которая приняла совершенно открытые формы.

К этому времени маркиз де Мирабо затеял судебный процесс против своей жены. Он надеялся, что ему удастся выиграть его легко, объявив ее сумасшедшей. Но все оказалось совсем не просто. Процесс поглощал его внимание и силы. Он купил особняк в Париже и на долгие месяцы приезжал в столицу в сопровождении своей невестки, чтобы иметь возможность непосредственно влиять на прохождение дела. Но процесс затягивался и шел с переменным успехом, так как маркиза при энергичной поддержке своей дочери Луизы де Кабри вела достаточно умело контригру против ненавистного мужа.

«Друг людей», увлеченный войной против своих ближних и подчиняясь ее стратегическим задачам так, как они ему представлялись, считал наиболее опасным, если сын под внушением сестры перейдет на сторону матери.

К тому же комендант д'Аллегр давал на все запросы столь лестные отзывы о своем пленнике, что в сложившихся обстоятельствах старый маркиз счел благоразумным изменить условия заключения сына к лучшему, правда переместив его подальше от Грасса, т. е. от Луизы де Кабри.

Против своей дочери ему удалось с помощью друзей выхлопотать тайное королевское предписание о заключении ее в монастырь.

Старший же его сын, граф Оноре-Габриэль Рикетти де Мирабо, также тайным королевским предписанием был переведен из крепости Иф в форт Жу, в самой высокогорной части Юры, на границе между Франш-Конте и Швейцарией.

Весной 1775 года после длительного путешествия в сопровождении стражи Мирабо прибыл на место своего нового заключения — в замок Жу*.

Х

Эмили де Мирабо, предуведомляя мужа о предстоящем перемещении из крепости Иф в форт Жу, преподносила эту новость как своего рода победу доброго начала над злым, как важный этап на пути полного возвращения к

* Сведения о времени прибытия Мирабо в крепость Жу расходятся; по некоторым данным, его доставили в Жу осенью 1775 года.

свободе. (Это надо было понимать так же, как напоминание о том, что перемены к лучшему совершаются лишь потому, что она, верная, преданная жена, продолжает радеть об интересах мужа.)

На сей раз сообщаемое графиней Мирабо в основной своей части было верным.

По прибытии в крепость Жу — орлиное гнездо, затерянное в непроходимых лесах, — Мирабо был принят радушно и даже ласково комендантом крепости, графом де Сен-Морисом, состарившимся на военной службе, просвещенным, старомодно учтивым и любезным аристократом. Он заявил, что отнюдь не намерен становиться сторожем графа Мирабо, пригласил его быть гостем за своим обеденным столом и предоставил ему полную свободу действий: ездить в близлежащий городок Понтарлье, на охоту, путешествовать, словом, делать все, что он пожелает, не покидая лишь пределов вверенной графу Сен-Морису территории.

Между Мирабо и Сен-Морисом установились добрые, даже дружественные отношения. Они были людьми одного круга, в широкой трактовке вопросов довольно близких идейных позиций — оба сторонники Просвещения, и, хотя их разделяла значительная разница в возрасте, их беседы за обеденным столом протекали оживленно и были приятны и интересны обоим собеседникам.

Мирабо воспользовался в полной мере предоставленной ему свободой. Он много охотился и часто ездил в Понтарлье — укрывшийся в горах маленький городок: в нем было всего около двух тысяч обитателей, и среди них несколько рекомендованных Сен-Морисом хороших дворянских домов, т. е. людей просвещенных, благовоспитанных и тонкого вкуса.

Понтарлье встретил Мирабо в высшей степени доброжелательно. Оказалось, что он уже пользовался некоторой известностью в дворянских кругах, хотя в самой этой известности пробивалось и нечто двусмысленное. Не только унаследованное от предков, пользующееся уважением громкое имя, но и краткая, необычная биография молодого графа привлекали к нему внимание. Преследования, которым он подвергался со стороны отца, а также (об этом говорили шепотом) со стороны правительства — его заточение в собственном замке Мирабо, в Маноске, в крепости Иф, в крепости Жу — придавали ему не только ореол романтичности; ему тай-

но сочувствовали как невинно пострадавшему, как жертве сурового времени. Женщины (а именно они формировали так называемое общественное мнение), еще не видя молодого графа, проявляли к нему интерес и внимание. О его любовных приключениях рассказывали самые невероятные истории; правда перемешивалась с вымыслом; все было преувеличено, от его почти сатанинского уродства до его особого, тоже, наверное, дьявольского дара соблазна. Словом, ему сопутствовала слава крайне опасного донжуана XVIII столетия.

Когда он наконец появился в гостиных Понтарлье — рослый, массивный, некрасивый, но молодой, учтивый, остроумный, уверенный в себе, — дамы сразу же заключили, что он в сто раз лучше, чем о нем рассказывали. Мирабо стал гостем нарасхват бомонда Понтарлье.

1775 год был годом коронавания молодого короля Людовика XVI, пробуждавшего в то время столько надежд, и это давало повод для бесконечных празднеств. Ни одно из них не обходилось без графа Мирабо. В маленьком провинциальном городке, где все друг о друге известно, все вплоть до числа и рисунка морщинок на подглазьях соперничающих дам, этот молодой человек — умный, доброжелательный, как-то умевший всех, даже старых желчных господ, располагать в свою пользу, стал сразу общим любимцем.

Правда, ни форт Жу, ни Понтарлье, видимо, не заслуживают тех идеализированных, восторженных описаний, которые можно встретить почти во всех сочинениях, затрагивающих важный этап в жизни Мирабо, связанный с этими географическими пунктами. Форт Жу был все-таки крепостью, а не старинным красивым замком, и крепостью в суровом значении этого слова; стоит напомнить, что в Жу погиб в 1803 году заточенный сюда Туссен-Лувертюр, глава восставших в 1791 году негров острова Гаити.

Но спору нет, для Мирабо полнота свободы, предоставленная в Жу и Понтарлье, в особенности после узкого, ограниченного крепостными стенами круга для прогулок на острове Иф, должна была показаться почти беспредельной.

Мирабо понял это по-своему, вновь обретенная им свобода вдохновила его на определенный образ действий, и Понтарлье стал действительно переломным рубежом в жизни Мирабо.

Все или почти все биографы Мирабо, рассказывая о

событиях, происшедших с нашим героем в Понтарлье, говорят прежде всего, а большей частью исключительно, лишь о нашумевшем романе с Софи Моннье. Это относится и к таким авторитетным начала нашего века авторам, как блистательный Луи Барту¹⁵, и к академическому Rousse¹⁶, и к самым последним биографам Мирабо — Антонине Валлентен¹⁷ и Анне и Клоду Мансерон¹⁸.

Мирабо по всему своему складу, по темпераменту, по образу действий более всего подходил к тому, чаще всего встречавшемуся в предреволюционную эпоху, т. е. в XVIII веке, типу людей, которых в то время обозначали трудно переводимым словом *libertin*. Это значило, что он отнюдь не был ни схимником, ни скромником, что он жил сегодняшним днем, не отказываясь ни от каких земных радостей, что он охотно, не резонерствуя, шел на любую любовную авантюру, не боялся идти на риск, легко ввязывался в азартную и опасную игру.

Поэтому его сравнительно недолгая жизнь — он не прожил полный человеческий век и умер в возрасте сорока двух лет — заполнена бесконечными романтическими историями и разного рода, нередко весьма рискованными, любовными авантюрами. Вдаваться в их детальное изучение или даже хотя бы перечислять «донжуанские» списки Мирабо, чем занималось немало авторов¹⁹, значило бы принижать и искажать роль Мирабо как политического деятеля. Обходить их молчанием, считать их как бы не существовавшими было бы также неверно, так как без этих авантурных историй Мирабо перестал бы быть самим собой, и некоторые, вернее, даже многие из них, оказывая прямое влияние на его необычную судьбу, тем самым косвенно в чем-то определяли и его политическое развитие.

Итак, возвращаясь к прерванному рассказу о неожиданном повороте хода событий в Понтарлье в первой половине 1776 года, следует восстановить, хотя бы кратко, фактическую сторону дела.

Мирабо, как уже говорилось, до конца 1775 года поддерживал самые дружеские отношения с комендантом Жу и Понтарлье графом Сен-Морисом, пользовался его полным доверием и проводил большую часть времени вне крепости.

Куда он ездил? Только в Понтарлье? Только на охоту?

Нет, можно считать ныне вполне установленным,

что в нарушение прямых инструкций, данных ему Сен-Морисом осенью 1775 года, он несколько раз нелегально пересекал границу и на какое-то время уезжал в Швейцарию.

Зачем? Мы вернемся к этому вопросу чуть позже.

Все же свободное время, когда ему предоставлялись легальные отлучки из крепости Жу, он проводил с санкции и даже, если угодно, с поощрения губернатора Понтарлье Сен-Мориса в этом маленьком городке.

Было известно, что он свел дружбу с королевским прокурором Мишо, часто бывал в его доме. Молва приписывала, и, может быть, не без основания, что у него установились близкие отношения с молодой сестрой прокурора, некой Жанетон, придавшей большое значение этому происшествию, не занимавшему ни мысли, ни чувства Мирабо. В одном из домов знати Понтарлье, приглашавшей полуузника наперебой на вечера и празднества, Мирабо познакомился с супругами де Моннье — весьма пожилым (ему было около семидесяти лет) маркизом, почтенным сеньором, председателем счетной палаты города Доль, и его молодой женой Софи де Моннье, урожденной де Рюффей. Мирабо произвел большое впечатление на обоих супругов, особенно на ценившего острый ум и живую речь маркиза де Моннье; он настойчиво приглашал приезжего молодого человека навещать их дом.

Мирабо приглашение принял — не столько ради мужа, сколько ради его жены.

Софи Моннье, хотя она уже четыре года была замужем, в 1775 году, ко времени ее знакомства с Мирабо, шел только двадцать второй год. Мари-Терез-Софи Ришар де Рюффей родилась и воспитывалась в одной из самых просвещенных и почтенных семей дворянства мантии Бургундии. Ее отец — председатель счетной палаты Дижона, ближайший друг де Бросса, Бюффона, нередко навещавший «самого» Вольтера, способствовавший, как он говорил, присуждению Дижонской академией премии Жан-Жаку Руссо, — создал в своем доме литературный салон. В его салоне бывали все знаменитости края, к которым он, естественно, причислял и самого себя как автора многочисленных стихов и поэм, которые благовоспитанные гости были в состоянии выслушать, но при всем старании не могли запомнить. Словом, это был высокопросвещенный дом, где Софи, младшая из пяти детей, получила превосходное, по понятиям

тех лет, образование. Она знала почти наизусть письма Жюли и Сен-Пре из «Новой Элоизы» Руссо и была восторженной почитательницей великого Жан-Жака. При всем том она была от природы умна, обладала сильным характером, душевной твердостью — качествами, дремавшими в ней до тех пор, пока она жила в условиях, когда спокойное течение повседневной жизни не позволяло ей различить, где кончался возвышенный, идеальный или идеализированный мир Жан-Жака Руссо и начиналась трудная житейская проза.

Ее мать, гордившаяся тем, что она была урожденной Ла Форе де Монфор и принадлежала к старинной аристократической фамилии, кичившаяся также строгостью своих принципов и под этим предлогом прибравшая весь дом к рукам, оставив мужу эфемерную область поэзии, была в сущности вздорной, мало что понимавшей женщиной. Она видела свое главное призвание в том, чтобы прославить свой дом, и ради этого подсовывала своих дочерей всем знаменитым старикам. Софи еще не было пятнадцати лет, когда мать пыталась выдать ее замуж за овдовевшего Бюффона. Но знаменитый естествоиспытатель проявил достаточно благоразумия, чтобы отклонить оказанную ему честь.

Госпожа де Рюффей-Монфор, как она любила порой себя называть, осталась, однако, верна своим навязчивым идеям и вскоре выдала замуж свою младшую дочь (естественно, не спросив ее мнения) за маркиза де Моннье. Будучи на пятьдесят лет старше Софи и не располагая столь знаменитым именем, как Бюффон, он имел перед последним то преимущество, что был намного богаче естествоиспытателя и отличался более покладистым характером.

Сближение между Софи и Мирабо не шло так быстро, как во всех предыдущих схожих случаях. Они часто и подолгу беседовали, обменивались письмами, говорили о каких-то пустяках. Это был понятный лишь влюбленным разговор о незначительных на первый взгляд вещах: о столь похожих и каждый раз столь различных пяти углах листа клена или о чем-либо подобном, не имевшем реального значения, но приобретавшем для собеседников особый смысл. По некоторым приметам: по тому, как оживало и светлело ее лицо, когда он входил в комнату, по тому, как темнели медленно, постепенно ее глаза, — Мирабо понял, что то будет не просто дорожное происшествие, мимолетная интрижка, о которой

позже, зевая в дилижансе, он на секунду вспомнит, чтобы затем навсегда забыть, а нечто совсем иное, непохожее, не случавшееся в его жизни.

Мирабо, почувствовав это, испугался и, может быть, первый раз в жизни попытался уклониться от надвигавшейся на него любви.

Он перестал бывать в доме у Моннье, избегал с ним встреч. Он стал искать спасительного решения от подстерегавших его опасностей на самом, казалось, простом и естественном пути. Ведь у него есть жена, сын, семья. Боже мой, почему же им не воссоединиться снова? Прошлое перечеркнуто; к чему о нем вспоминать?

Он написал Эмили ласковое письмо. Он звал ее приехать в Понтарлье к нему вместе с маленьким сыном. Или, может быть, вместе уехать за границу. Главное — снова восстановить семью; жизнь могла бы начаться заново.

Эмили ответила мужу быстро, но сухо и холодно, как всегда уклоняясь от прямого ответа. Тем не менее она дала ясно понять, что не проявляет склонности принять ни одно из его предложений. «Я должна признать, что предложение, содержащееся в Вашем последнем письме, поставило меня в столь затруднительное положение, что я не знаю, как Вам ответить, чтобы объяснить невозможность его осуществления. Я не буду Вам перечислять все бесчисленные неудобства, которых более чем достаточно, чтобы воспрепятствовать практической реализации Ваших планов»²⁰.

И далее тем же холодным наставительным тоном она разъясняла, что лишь на стезе добродетели он может вернуть себе расположение отца.

Мирабо, прочитав письмо своей жены, вернее, своей бывшей жены, произнес фразу, которую нередко потом повторяли: «Моя ошибка была в том, что я ожидал плоды от дерева, способного приносить только цветы». Эмили навсегда должна была быть вычеркнута из его жизни.

В октябре 1775 года по приглашению господина де Моннье Мирабо вновь посетил их дом и снова увидел Софи.

В декабре, через полтора месяца, то, чего они оба хотели и чего, хотя и по разным мотивам, оба боялись, предвидя неисчислимыя препятствия на пути к их счастью, совершилось.

Но случилось так, что одновременно или почти одно-

временно две-три недели спустя после сближения с Софи произошли разрыв Мирабо с Сен-Морисом и затем бегство из крепости Жу. В течение короткого времени Мирабо дважды грубо нарушил законы королевства и из всеми почитаемого и для всех желанного знатного гостя лучших домов Понтарлье превратился в беглеца, разыскиваемого полицией преступника.

Софи де Моннье познала не только радость разделенной любви; на ее слабые женские плечи почти с первых же дней пал и немилосердно тяжелый груз жесточайших испытаний.

ХІ

Знаменитый роман Оноре де Мирабо с Софи де Моннье с его неожиданными поворотами событий, невероятными приключениями, драматизмом коллизий, наконец, давно уже не встречавшейся силой взаимной любви, преодолевавшей неисчислимые препятствия, так потряс Францию XVIII века, что эта действительная история реальных, многим известных лиц захватила современников, может быть, больше, чем литературная история кавалера де Грие и Манон Леско в пользовавшемся в ту пору исключительной популярностью романе аббата Прево.

Необычайный интерес, проявленный к этому роману Мирабо, в известной мере объясняется и тем, что ни одному другому событию своей бурной жизни знаменитый трибун не уделял столько внимания. Роману с Софи Моннье посвящены три тома изданных посмертно собраний его сочинений²¹ и ряд сборников. Наконец, о нем написано множество сочинений.

Но за этим особым вниманием преимущественно к романтической и по большей части внешней стороне этой мужественной борьбы двух любящих существ незаметно отошли в тень, а затем почти полностью исчезли некоторые важные аспекты этой во многом необыкновенной истории.

Ведь роман с Софи Моннье принял вскоре же для обоих героев крайне острую форму не сам по себе — мало ли адюльтеров с замужними дамами тянулись многие годы во Франции XVIII века (и, может быть, не только XVIII), не нарушая существенно ни благополучия, ни спокойствия участников этого своеобразного треугольника. Роман стал драматичен с того момента (он насту-

пил, правда, очень скоро), когда граф Сен-Морис в бурной сцене 1 января 1776 года объявил Мирабо, что аннулирует все предоставленные узнику льготы и свободу и обязывает его подчиниться режиму заключенного. Мирабо попросил смиренно у Сен-Мориса разрешения явиться — в последний раз! — на бал, устраиваемый в честь короля 14 января. Губернатор милостиво оказал ему эту любезность.

Бал 14 января действительно стал для Мирабо последним, но лишь потому, что он не возвратился в крепость Жу; он бежал.

Здесь мы подходим вплотную к вопросу о том, что же послужило причиной разрыва графа Сен-Мориса со своим пленником, которому он раньше благоволил, и что заставило Мирабо бежать из крепости Жу?

Сам Мирабо позднее не раз объяснял причины разрыва с комендантом Жу и Понтарлье и последовавшего затем бегства из крепости, настойчиво повторяя, что единственной реальной причиной разрыва двух взаимно дружески расположенных людей был ставший Сен-Морису известным роман его пленника с маркизой Софи де Моннье. Граф Сен-Морис, по версии Мирабо, сам был, дескать, давно равнодушен к госпоже де Моннье, и охватившее его чувство ревности подсказало ему сначала недоброжелательные, враждебные к Оноре-Габриэлю письма его отцу маркизу де Мирабо, а затем, в начале января 1776 года, репрессивный, строго ограничительный режим в узких пределах крепости Жу, на который он обрекал своего пленника²².

Но зыбкость, неосновательность этой версии вполне очевидна. Около ста лет тому назад на это обратил внимание еще Шарль де Ломени, продолживший с успехом дело своего отца.

Мирабо указывал на эти ничем не подтверждаемые мотивы резкой перемены в отношении графа де Сен-Мориса к своему полупленнику не в силу заблуждения, не потому, что он сам допускал эту вероятность, а для того, чтобы скрыть действительную причину предельного раздражения коменданта Жу и Понтарлье; оглашение этой истинной причины было ему, Мирабо, в то время, т. е. до революции, крайне нежелательно.

Возвратимся теперь к поставленному ранее вопросу: зачем, ради чего в нарушение законов ездил Мирабо в 1775 году в Швейцарию?

В тот образ нашего героя, который складывался до

сих пор из суммы фактов, из всего рассказанного о нем, — образ человека без узды, без границ, транжиры и мота, распутника и искателя приключений, просвещенного, образованного и не лишенного циничного остроумия эпикурейца — словом, молодого аристократа, наиболее полно воплощавшего все родовые черты своей касты, пора, давно пора внести существенные поправки.

Нужно ли оспаривать тот образ, который невольно складывается в нашем представлении о Мирабо? Вероятно, нет. Указанные недостатки были ему, как и многим другим представителям феодальной знати, присущи; правда, нельзя забывать, что каждый внесил в них свои личные, неповторимые черты.

Но для правильного понимания образа во всей его противоречивости, для правильной оценки последующей роли Мирабо не следует упускать из виду и забывать, что помимо выставленной напоказ даже с известной бравадой, вольной и, добавим, фривольной жизни графа Оноре-Габриэля Рикетти де Мирабо была еще вторая, тайная, тщательно скрытая от глаз посторонних, подпольная, нелегальная жизнь того же Мирабо.

С какого времени она началась? В своем месте это было точно указано: с 1774 года, с того дня, когда он начал писать «Опыт о деспотизме».

В нашем повествовании, после того как было изложено, когда и ради чего Мирабо написал свое первое политическое произведение, мы о нем более не вспоминали. А Мирабо? Он-то его ведь не мог забыть.

«Опыт о деспотизме» был для Мирабо не литературной забавой и не пробой пера на вольную тему; то был акт политической борьбы.

Мирабо — и в своем месте об этом уже шла речь — совершенно сознательно, по убеждению вступал в борьбу против деспотической власти. В своем сочинении — плохо ли, хорошо ли — он убеждал своих сограждан в том, что надо действительно бороться против деспотической власти, не останавливаясь перед насилием, чтобы вырвать власть у деспотов.

Для того чтобы эти взгляды, вся система аргументации могли дойти до народа, подвигнуть кого-либо на борьбу, надо, чтобы рукопись не покрывалась пылью в потайном ящике письменного стола автора, надо было, чтобы она была прочитана и, следовательно, ранее всего издана.

Но как это сделать? Ведь это было непросто, осо-

бенно для человека, находящегося под надзором полиции.

Пытался ли Мирабо ранее издать свою рукопись? Предпринимал ли он какие-либо конкретные шаги?

На эти вопросы нет точного ответа, и его, вероятно, не может быть, поскольку историки не располагают источниками.

Оказавшись в 1775 году в крепости Жу и Понтарлье, на границе со Швейцарией, и пользуясь довольно широко свободой, предоставленной ему Сен-Морисом, Мирабо, естественно, должен был попытаться воспользоваться этими возможностями. Целью его тайных поездок в Швейцарию и были переговоры с издателями о публикации его рукописи «Опыт о деспотизме».

Знал ли об этом Сен-Морис? Первоначально, разумеется, нет. Но, как губернатор пограничной области, он имел свою агентуру, и, видимо, в конце декабря к нему стали поступать сведения о поездках Мирабо в Швейцарию (что при всех обстоятельствах было уже нелегальным, противозаконным действием), а затем, в начале января, получил прямые, документальные подтверждения, что целью этих поездок было издание антиправительственных сочинений.

Сен-Морис был либералом и просвещенным человеком; он охотно за чашкой кофе вместе с Мирабо восхищался Жан-Жаком Руссо и осуждал в принципе деспотизм. Какой слышавший современным, образованным дворянин рискнул бы объявить себя приверженцем деспотизма?

Граф Сен-Морис был губернатором и военачальником пограничной части королевства; он представлял здесь власть короля и был призван защищать его интересы. Он не мог допустить, чтобы у него под носом введенный его попечению поднадзорный тайно, за пределами Франции, налаживал издание антиправительственных книг!

За такие вещи он, губернатор Сен-Морис, был первым в ответе. Госпожа де Моннье его, конечно, ни с какой стороны не интересовала. Но иметь взыскания по службе или выслушивать нотации от кого бы то ни было и молчать при этом, потому что он действительно дал слишком много воли своему полузаключенному, он тоже не хотел.

Когда он активно вмешался и пытался пресечь «преступные действия» Мирабо, было уже поздно.

Автор «Опыта о деспотизме» уже успел договориться с издателями. В 1776 году книга (понятно, анонимно) вышла из печати. В Москве в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина хранится издание 1776 года, помеченное Лондоном²³. Предшествовало ли этому швейцарское издание, или Лондон был указан лишь для маскировки, как это нередко в ту пору практиковалось, мне установить пока не удалось.

Но это уже частный вопрос, имеющий интерес для исследователей и мало что меняющий в общей ситуации.

Здесь же, в определении общей жизненной эволюции Мирабо, наиболее важной является совершенно бесспорная констатация, что перелом в биографии будущего трибуна, его разрыв с Сен-Морисом, бегство из крепости Жу, переход на нелегальное положение и прочее были порождены не соперничеством из-за Софи де Моннье, как пытался уверить своих современников Мирабо (и как это приняли многие его биографы), а более глубокими — политическими причинами, неустранимыми по самому их характеру.

Этот казавшийся столь беспечным и бесшабашным бонвиван на деле был сложнее, чем он представлялся большинству знавших его. Приключения, ссоры, женщины, охота, карты, долги — все оставалось. Но за всем этим, где-то в глубоком подполье, надежно укрытая от непосвященных, теплилась, может быть, самая важная для него надежда продолжить путь, на который он стал, — путь политической борьбы против сил деспотизма.

XII

Маркиз де Мирабо, когда до него дошли негодующие письма графа Сен-Мориса о новых эскападах его старшего сына, в разговорах со своими близкими и даже с официальными должностными лицами пытался представить его сумасшедшим. Весьма возможно, то был не только риторический прием, но и обдуманый тактический ход, рассчитанный на далеко идущие последствия: как и в процессе против жены, он стремился к юридической дисквалификации становящегося опасным, как ему представлялось, лица.

В обоих случаях он потерпел неудачу.

Бегство Оноре Мирабо из крепости отнюдь не было актом безумия или крайнего легкомыслия, граничащего с безрассудством. Стоит задуматься над вопросом, почему молодой Мирабо бежал из крепости Жу в январе 1776 года, а не ранее — из крепости Иф, или из Маноска, или из замка Мирабо? Ведь в крепости Жу под надзором либерального Сей-Мориса ему жилось вполне вольготно. Он возбудил недовольство коменданта, при желании с ним можно было бы снова примириться, завоевать его доверие. Почему же в этой не столь уж тяжелой и бесперспективной ситуации он решился пойти на риск и опасности нелегального положения?

Биографы Мирабо нередко объясняют этот поступок силой его всепоглощающей любви к Софи де Моннье. Бесспорно, невозможно отрицать его увлеченность Софи; впервые любовь к женщине поглотила его целиком. Но самый несложный расчет показывает, что, сохраняя положение всеми почитаемого полуузника и укрывая в секрете или хотя бы полусекрете свою близость к Софи, он избавлял ее от неисчислимых тягот и унижений и даже создавал большие возможности для встреч. Он всем этим пренебрег и ринулся в неизвестное, чреватое неисчислимыми опасностями. На что же он рассчитывал? На что надеялся?

С лета 1774 года Франция вступила в полосу крупных перемен. Восшествие на престол Людовика XVI не было простой сменой монархов. Новый король пробудил самые широкие надежды в стране не потому, что он представлялся подданным олицетворением молодости — ему не исполнилось еще и тридцати лет, — а потому, что уже первыми своими актами вселил уверенность в грядущие перемены к лучшему. Его первым указом 30 мая 1774 года был отказ от полагающихся ему по традициям королевства двадцати четырех миллионов. Вслед за тем и королева Мария-Антуанетта отказалась от положенной ей крупной суммы.

Давно уже ни один государственный акт не встречал такого всеобщего одобрения. Все славили нового, великодушного и справедливого монарха и ждали давно назревших реформ, прежде всего изгнания со своих постов ненавистных правителей прежнего царствования — канцлера Мопу и министра аббата Терре. Король не спешил; уже с первых дней царствования проявились присущая ему медлительность и нерешительность. Но 25 августа были обнародованы указы о смещении

Мону и Терре. Эта весть была встречена народным ликованием. В Париже, Руане, других городах на площадях сжигались чучела, изображавшие ненавистных министров царствования Людовика XV и всемогущей Дюбарри.

Почти одновременно на пост государственного контролера финансов был призван один из самых авторитетных лидеров школы экономистов-физиократов, Анн-Робер-Жак Тюрго. Новый государственный контролер отличался от других руководителей школы экономистов (Ф. Кенё, Мирабо-старшего и др.) не только тем, что в его теоретических работах гораздо последовательнее проступали чисто буржуазные воззрения, но и самым складом своим: он был не только, вернее, даже не столько теоретиком, сколько государственным деятелем, практиком. Почти пятнадцать лет он был интендантом в Лимузене и за эти годы провел в провинции столько реформ прогрессивного характера, что о них стала говорить вся страна. Заняв пост генерального контролера финансов, он с той же неистощимой энергией увлекся широкими государственными преобразованиями. Маркс писал о нем: Тюрго выступил как «радикальный буржуазный министр, деятельность которого была введением к французской революции»²⁴.

В 1774 году Тюрго не было еще пятидесяти лет, он был воодушевлен идеями широких преобразований и обладал огромной динамической силой. Его появление на посту генерального контролера финансов требовало изменения правительственного руководства в целом. К власти пришли новые люди. Одним из влиятельнейших министров стал известный просветитель и друг Руссо — Кретиен-Гийом Малерб де Лемуаньон, полный, как Тюрго, решимости искоренить социальные недуги французского королевства. В стране наступила новая, либеральная эра.

Был ли осведомлен об этих новых общественных изменениях Оноре де Мирабо? В том не может быть ни малейшего сомнения. При остром интересе к социальным и политическим проблемам автор «Опыта о деспотизме» должен был с пристальным вниманием следить за развитием событий во Франции. Он причислял себя, и с определенным основанием, к «партии Просвещения». Она была ему идейно близка, его должны были знать и Тюрго, и Малерб (с Малербом он установил

прямые связи). Мирабо был вправе рассчитывать на их поддержку.

Словом, его бегство из крепости Жу вовсе не было необдуманым, спонтанным актом безумия, безрассудства. Скорее, напротив, оно было обдуманным и в известной степени правильно во времени рассчитанным шагом. Действуя так, Мирабо несомненно надеялся добиться отмены *lettre de cachet* («тайного приказа»), представлявшегося ему явно несовместимым с либерально-буржуазным, просвещенным, как говорили в ту пору, курсом правительства реформ Тюрго — Малерб.

Даже в этих частностях Мирабо обнаружил верное чутье политической атмосферы. Малерб действительно, заняв пост государственного секретаря, решил первым делом искоренить как позорный пережиток абсолютистского произвола лишнюю всякой законной основы практику *lettre de cachet*. Он приказал своим сотрудникам представить ему полный список всех заключенных или находящихся под надзором полиции по «тайным приказам» и произвести тщательное расследование каждого дела. Он имел в виду в конечном счете всех освободить, а саму систему «тайных приказов» полностью исключить из государственной практики королевства как несовместимую с новым, просвещенным веком.

Мирабо в глуши Понтарлье вряд ли мог знать об этих конкретных действиях министра. Но он правильно предположил, что Малерб должен быть противником политики произвола, царившей при прежнем царствовании. Он направил ему пространное послание, в котором, перечисляя насилия, беззакония, обрушившиеся на него с юных лет, требовал восстановления справедливости.

Расчеты Мирабо в исходных позициях были правильными. Но он не мог предвидеть, какие поправки внесет в них жизнь.

События развивались стремительно. В течение примерно полутора месяцев Мирабо удавалось скрываться в маленькой комнатке неподалеку от дома маркиза де Моннье. Его положение было незавидным. Он полностью зависел от слуг Софи, которые приносили ему пищу и охраняли его от посторонних взоров. Софи изредка удавалось с ним встречаться.

Но эта комнатка была единственным тихим островком среди бушующего моря. Понтарлье был взбаламучен скандалом, представлявшимся беспрецедентным. Кушники с утра до вечера только и обсуждали невероят-

ное происшествие в их благопристойном городе. Исчезновение графа де Мирабо вследствие открытой, афишированной связи с маркизой де Моннье, не умевшей и не желавшей скрывать своей близости со знаменитым узником крепости Жу, рождало самые невероятные толки и домыслы. В конце концов о месте тайных свиданий влюбленных через слуг все-таки узнали. Перед маркизой де Моннье закрылись двери всех дворянских домов Понтарлье. Она оказалась в полном одиночестве, окруженной всеобщим презрением. Аристократическое лицемерие имело свои законы. Если бы то же самое — связь замужней маркизы с женатым графом — поддерживалось с соблюдением внешних приличий, все бы считали это в порядке вещей. Но в данном случае нарушение общепринятых норм поведения было совершено открыто. Для Софи Моннье наступили трудные времена.

Как это бывает в подобных случаях, последним, кто узнал о событиях, волновавших весь город, был обманутый муж. В течение ряда недель маркиз де Моннье с огорчением вздыхал: что это к нам так долго не приходит милейший граф де Мирабо? Софи недоуменно пожимала плечами.

Мирабо, которому наскучило вынужденное уединение в неприглядном помещении, в один из дней имел дерзость явиться открыто в дом господина де Моннье. Силой своего красноречия он сумел заговорить зубы старому маркизу, и тот, растроганный, предложил ему полное гостеприимство в собственном доме.

Но все имеет свой конец. Значительно позже, чем это можно было предположить, почтенный маркиз все же осознал, что он выступает в неприглядной роли рогоносца, и он обрушил яростное негодование против опозорившей его жены.

У Софи был характер. Она не пожелала слушать обличительные тирады нелюбимого мужа и уехала из Понтарлье к своим родителям в Дижон. Одновременно в заранее подготовленную законспирированную квартиру был переброшен и ее возлюбленный.

Но в Дижоне оказалось еще труднее, чем в Понтарлье. Ее мать госпожа де Рюффей де Монфор была главным образом озабочена тем, чтобы ее дом сохранял репутацию первого салона Бургундии. Чувства дочери ее менее всего занимали, и, считая происшедшее (о котором она была уже превосходно осведомлена, включая

все домыслы и легенды, созданные пылким женским воображением) крайне компрометантным, она установила над Софи неусыпный надзор.

И Софи и Оноре в Дижоне оказалось совсем нелегко. Но однажды Оноре, тяготившийся вынужденным бездействием и одиночеством на своей конспиративной квартире, рискнул явиться на бал к руководителю высшей административной власти Бургундии господину де Монтеро под вымышленным и странно звучащим именем маркиза де Лансефудры. Среди приглашенных была и семья де Рюффей. Софи, не ожидавшая этой встречи, на какое-то время лишилась чувств и тем выдала себя. Госпожа де Рюффей устроила надзор за Софи. Мирабо-Лансефудра представлялся ей демоном во плоти. На следующий день она подала против него официальную жалобу и добилась его ареста. Но даже после этого она продолжала так его опасаться, что на ночь связывала перевязью ногу Софи с ногой ее сестры, спавшей в той же комнате, дабы ее дочь не убежала к демон-соблазнителю.

Мирабо, оказавшийся вновь в заключении, на этот раз в замке Дижона, пребывал тем не менее в превосходном настроении.

Причиной этого было не только то, что он быстро и без особых усилий завоевал симпатии и доверие господина де Монтеро. Руководитель высшей административной власти в Бургундии проявил полное понимание чувств несчастных возлюбленных. Маркиз де Моннье, взявший в жены девушку на пятьдесят лет моложе себя, должен был понести заслуженное наказание. Монтеро создал своему узнику самые благоприятные условия в замке Дижона. В роли узника властей Бургундии Мирабо жилось свободнее, лучше, чем когда-либо раньше.

Но все же его бодрое настроение объяснялось не этим. В начале 1776 года он получил от Малерба известие о том, что дело его вскоре будет положительно решено.

Мирабо рассчитывал на скорое освобождение с первых дней образования правительства Тюрго — Малерба. Но он не мог предвидеть всех возникших на его пути препятствий.

У нового правительства было немало серьезных забот. Летом 1775 года в ряде провинций королевства развернулось широкое народное движение протеста, вошедшее в историю под именем «мучной войны». Эти на-

родные волнения показали, какого накала достигли социальные противоречия в королевстве. С большим трудом лишь к осени правительство Тюрго смогло преодолеть кризис.

Но возникли еще и препятствия более частного характера, затруднявшие быстрое решение дела Оноре де Мирабо.

Приходу к власти Тюрго — Малерб радовался не только томящийся под надзором полиции граф де Мирабо. Новое правительство еще более импонировало его отцу маркизу де Мирабо. «Друг людей», один из авторитетнейших лидеров школы физиократов, не без основания считал себя отныне представителем руководящей «партии». В этом качестве явившись к Малербу, он потребовал от министра новых строгих и эффективных мер против своего непокорного сына.

Малерб оказался в затруднительном положении. Он был полон решимости освободить графа Оноре де Мирабо, но не мог в то же время не считаться с настойчивыми требованиями одного из теоретиков партии экономистов. Как справедливо утверждает одна из новейших биографов Мирабо, Антонина Валентен, парадоксальность ситуации заключалась в том, что в пререканиях теоретика партии и королевского министра первый отстаивал чисто феодальные требования, тогда как Малерб противопоставлял либерально-буржуазную аргументацию²⁵. В конце концов Малерб нашел выход. Он дал какие-то успокаивающие обещания маркизу де Мирабо и одновременно вызвал графа де Мирабо в Париж, чтобы в присутствии высших властей выступить с речью, обосновывающей несправедливость совершенных против него насилий. Малерб знал и настроения правительства Тюрго, и силу красноречия молодого Мирабо. Оноре-Габриэль был также полон веры в мощь своего ораторского таланта. Он предвкушал близкое и полное торжество.

Но в тот момент, когда, казалось, перечеркивались навсегда все темные страницы его жизни, когда Мирабо уже обдумывал план построения своей речи, которая должна быть не столько защитительной, сколько актом обвинения деспотического режима, в эти дни из Парижа пришло потрясшее всех известие: правительство Тюрго в мае 1776 года пало. Вместе с Тюрго должен был покинуть свой министерский пост и Малерб. Последнее, что он успел сделать для Мирабо, — дать заключенному совет: бежать из Франции за границу.

Здесь не представляется возможным входить в рассмотрение причин и последствий падения правительства Тюрго²⁶. В сущности само падение правительства либеральных реформ Тюрго было вполне закономерным для «старого порядка»; его крушение было предопределено в момент его зарождения. Падение Тюрго было вызвано не возросшим влиянием расточительной Марии-Антуанетты и не терпящего никаких ограничений графа д'Артуа-младшего, брата монарха, но слабовольного и нерешительного Людовика XVI, как это порой объясняют историки. Оно было обусловлено самой природой феодально-абсолютистской монархии, интересами господствовавшей феодальной клики — так называемых привилегированных сословий, феодальной элиты, не желавших поступиться хоть самой малостью из присвоенных ими преимуществ и выгод.

Падение правительства Тюрго — Малерба означало переход абсолютистской реакции в контрнаступление. Важнейшие прогрессивные реформы Тюрго были отменены. Его ближайший помощник инициативный и одаренный Дюпон де Немур был отправлен в ссылку. Пост министра финансов был доверен бывшему интенданту в Бордо, ничтожному и вороватому Ключьи, считавшему, что его должность создана прежде всего для того, чтобы пополнять свои собственные бездонные карманы и подобные же карманы придворной камарильи. Возраставшие с устрашающей быстротой государственные долги он надеялся разрешить простейшей мерой — объявить Францию банкротом.

Внезапная смерть Ключьи в октябре 1776 года избавила страну от губительных последствий его пребывания у власти.

Безрассудство и циничное воровство Ключьи нагнали такой ужас, что неустойчивый, колеблющийся Людовик XVI вновь попытался вернуться к политике реформ. Надежды возлагались на сей раз на банкира Жака Неккера. Несмотря на то что он был протестантом и поэтому мог быть назначен директором государственной казны, а не министром, он располагал двумя преимуществами, обеспечившими ему широкие общественные симпатии. Он был противником школы физиократов, следовательно, и Тюрго, что импонировало всем противникам поверженного реформатора, а главное, как

банкир столь успешно вел свои дела, что стал одним из самых богатых людей в Париже.

Будучи человеком практического склада, Неккер, взявшись за руководство расстроеными финансами королевства, нашел для их исцеления единственное средство — жесточайшую экономию. Он пытался ограничить мотовство королевы и королевских братьев, а также раздаваемые придворным всякого рода пенсии, составлявшие ежегодный расход в 28 миллионов ливров. Одного этого было достаточно, чтобы возбудить против Неккера негодование всех привилегированных. Его участь была предрешена. В мае 1781 года он ушел в отставку, освободив место ставленнику придворной элиты Жоли де Флери, который с легким сердцем опустошал казну, раздавая деньги направо и налево придворным сеньорам, убежденным в том, что все их прихоти требуют немедленного удовлетворения за счет королевской казны.

Эти перемены означали, что во французском королевстве стрелка часов была передвинута назад, и время шло по старому, установленному еще во времена Людовика XIV счету: монархия, привилегированные сословия живут сегодняшним днем, не заглядывая в неизвестные, загадочные листки будущего. «На наш век хватит», — монархия, просуществовавшая почти тысячу лет, переживет и завтрашний день.

Мирабо, как-только до него дошли роковые вести, разрушившие все радужные надежды и планы, немедленно воспользовался последним советом Малерба: он бежал из Франции. Это оказалось легче, чем он ожидал: в его распоряжение были предоставлены даже почтовые кареты. Господин де Монтеро, просвещенный правитель провинции Бургундия, был также потрясен падением правительства, пробудившего столько надежд, и считал долгом совести помочь чем возможно бедному графу Мирабо. В конце концов справедливость должна восторжествовать; поклонники Руссо и энциклопедистов непоколебимо верили в конечное торжество естественных прав человека.

И вот Мирабо вновь на свободе. Как легко дышится, он больше не испытывает становившегося невыносимым ощущения травимой со всех сторон собаками лисицы. Он в Швейцарии; он свободный человек и гражданин.

Мирабо вполне уверен в своих силах: природа наделила его даром красноречия и он владеет пером. С та-

ким могучим оружием давно пора вступить в открытое сражение с деспотизмом.

Граф Оноре-Габриэль Рикетти де Мирабо — плоть от плоти французской аристократии. Но никто лучше него не знает все ее пороки, все низости, все преступления, на которые она способна. Он все это испытал на собственной шкуре; они его травили, они были готовы растерзать его в клочья. Его отец — «Друг людей», просвещенный либерал, человек передовых взглядов, мстительной злобой преследовал родного сына с помощью феодальных *lettres de cachet*, стремился сгноить его в тюремных подземельях; его мать хладнокровно целилась в лоб своего первенца; он никогда не забудет этих минут в замке Пьер-Бюффиер. Его жена — ласковая Эмили, прячущая за сладкой улыбкой змеиную злобу и с грациозным изяществом выжидающая миг, чтобы нанести смертельный укус — отравить своим ядом. Маркиз де Мариньян, ее отец, его тесть, — алчный стяжатель, человек без совести, без чести, без души, лихоимец и тиран; госпожа де Рюффей де Монфор — чванливая спесь, — а чем, собственно, чванится? — закосневшая в мелочном тщеславии и глупости старуха, готовая ради ничтожного честолюбия подсовывать кому угодно своих дочерей...

Таковы самые близкие, родные, его окружение... а дальше вся эта высокомерная, заносчивая знать, все эти первые фамилии королевства...

Графу Мирабо давно пора свести счеты со своей родней — с этой волчьей стаей, шедшей с горящими ненавистью глазами и оскалом клыков по его следам. Мирабо, лучше чем кто-либо другой, понимает, что весь этот строй привилегированных сословий прогнил насквозь.

Волки в овечьих шкурах, вороны в павлиньих перьях — он-то хорошо знает, чего стоят на деле все эти улыбающиеся, пересыпающие тонкими шутками речь господ в нарядных костюмах, тщательно завитых париках, шелковых чулках и туфлях на высоких красных каблуках. Он знает, как эти ласковые господа умеют плести почти незаметную паутину интриги, к концу сплетающуюся в удавную петлю, как с пленительной улыбкой они умеют подносить блещущий хрустальными гранями бокал прозрачного вина, в котором растворены капли смертельного яда. Пора, пора сводить счеты. Слишком долго его заставляли молчать. Он не может, не должен, не имеет права молчать.

Граф де Мирабо, кипящий неукротимым негодованием против своего сословия, против этой тупой, ограниченной, высокомерной аристократии, против обветшавшего, косного режима деспотизма, силен в своем отрицании, во всем, что против. Но может ли он с такою же убежденностью и силой противопоставить этому старому, изжившему себя миру позитивную программу?

В этом его ахиллесова пята. Все эти годы, когда шло его формирование как политического деятеля, как противника режима, он оставался одиночкой, преследуемым и гонимым изгоем аристократии, скитавшимся по казематам и крепостям, отрешенным от мира узником, бесконечно далеким от народа. И в этом главная слабость Мирабо. Он враг, он обличитель деспотизма, но он не мог бы, как Жан-Поль Марат, назвать себя Другом народа. Народ? Он его не знает: он знаком с ним лишь как с литературным понятием, заимствованным из сочинений Жан-Жака Руссо.

Принято считать, и для этого есть веские основания, что формирование лидера либеральной оппозиции и противника абсолютистского режима произошло под влиянием передовой просветительской литературы XVIII века. В какой-то мере это действительно так. Но при этом в формировании антифеодалных, антиабсолютистских воззрений Мирабо значительную роль играет его личная судьба, его биография: десять, нет, пятнадцать лет преследований и гонений, которым подвергался он со стороны сильных мира сего. Он-то знал не из книг, а из собственного опыта, из горестных уроков безжалостно растоптанной молодости, как тяжела рука главы феодального клана, как жестока, деспотична, беззаконна неограниченная сила королевской власти, попирающая права человека.

Но в те недолгие счастливые дни, когда Мирабо вдыхал полной грудью сладостный воздух свободы, когда он обдумывал, с каких разящих ударов надо начать открытую войну против системы деспотизма, его поразила вставшая перед ним во всей суровости и неотразимости дилемма: а Софи? Что будет с Софи?

Забыть ее? Перечеркнуть страницы этого бурного романа? Считать его преходящим любовным происшествием, каких было так много в его жизни? Не вспоминать? Уйти не оглядываясь? Все пройдет, все проходит, она погорюет, поплачет, а затем постепен-

но — время все исцеляет — забудет и Габриэля, и их недолгую пылкую любовь. Поступить так?

Это решение представлялось самым простым и легким. Оно как бы само собой подразумевалось: мало ли женщин встречалось на его пути?

Но нечто более сильное, чем логика бесспорных, как ему казалось, доводов, заставляло его вновь и вновь возвращаться к этим мучившим его вопросам.

Он отдавал себе отчет в том, что бегство из Франции вместе с Софи создаст для него совершенно иные, неизмеримо более трудные и опасные условия. Дело было не только в том, что он брал на себя ответственность за ее судьбу и что он, законный супруг Эмили Мариньян, графини Мирабо, не сможет представлять Софи как свою жену. По законам того времени похищение замужней женщины, законной супруги маркиза де Моннье, будет квалифицироваться как государственное преступление. Со времен гомеровского эпоса о Троянской войне, о похищении супруги царя Менелая прекрасной Елены поколения были воспитаны в уважении к непрекаемости законов об освященных господом богом и церковью браках...

Как же поступить?

Ведь он прежде всего политический деятель и бежал из родной Франции по совету Малерба не ради личного благополучия, а для того, чтобы оттуда, из свободной страны, атаковать своим пером темные силы зла, вновь взявшие верх в королевстве... Но эти разумные доводы рушились: он не может бросить Софи, не может предать их любовь.

Габриэль устанавливает связи с Софи. Через верных людей, а частью через купленных они поддерживают тайную переписку. Мирабо узнает, что Софи в порыве отчаяния приняла большую дозу яда (лауданума). Но ее молодой организм оказался сильнее: она промучилась несколько дней, но выжила. Тогда она приняла решение бежать из пределов Франции и там соединиться со своим возлюбленным. Мать грозила, что запрет Софи в монастырь, но дочь ей ответила, что если она посмеет это сделать, то она сожжет монастырь и либо погибнет в пожаре, либо убежит. Госпожа де Рюффей уже убедилась в неукротимом характере своей дочери; она ее уже побаивалась: от этой молодой женщины, одержимой страстью, можно всего ожидать.

Софи переезжает из Дижона в Понтарлье, поближе к

границе Швейцарии. Дважды, 31 мая и 12 июня, она пыталась бежать, но на границе была задержана.

Эта неодолимая всепобеждающая страсть молодой женщины кладет конец колебаниям Мирабо. Он не может обмануть ожиданий Софи, предать их любовь. 15 июня он пишет своей сестре: «Я всем пожертвовал ради любви. Я никогда больше не смогу вернуться на свою родину, даже если придет время, когда я этого захочу». Эти горестные строки показывают, что он отчетливо понимал, как велика тяжесть ответственности, которую он возлагал на свои плечи.

Отныне он озабочен тем, как организовать переход Софи де Моннье швейцарской границы. Чета Рюффей объединяется с маркизом де Моннье и его родней, чтобы общими усилиями воспрепятствовать бегству неверной жены и непослушной дочери. Мирабо со своей стороны призывает на помощь сестру Луизу де Кабри. Она приезжает в укромное место возле швейцарской границы.

Луиза устанавливает (через посредников) прямую связь с Софи, вырабатывая во всех деталях план бегства. Безошибочный женский инстинкт побуждает Софи просить ее возлюбленного рассказать ей немного подробнее о его сестре; она ведь ее никогда не видела.

Мирабо отвечает ей пространным письмом. Психологически это один из самых труднообъяснимых его поступков. Неизвестно зачем, для чего проводит он параллель между Софи и Луизой. Он вдается в такие подробности, интимные детали, не относящиеся к характеру или моральным качествам обеих женщин, что это производит двусмысленное, крайне странное впечатление. Зачем надо было писать так о сестре? Этот вопрос не находит объяснимого ответа.

Финал этой полузагадочной истории с письмом о Луизе был еще более неожиданным. Письмо это не дошло до адресата, Софи (к счастью для нее) его никогда не прочла. Оно было перехвачено горничной, перекупленной госпожой де Рюффей, и передано ей. Старая дама, не обладавшая необходимой литературной подготовкой, не смогла разобраться в содержании письма и переправила его своему союзнику маркизу де Мирабо. «Друг людей» пришел в восторг от неожиданно доставшегося трофея. Последние годы жизни он был целиком поглощен процессом против своей жены. Отчасти под влиянием ставшей всесильной хозяйкой замка Биньон госпожи дю Майи, мечтавшей о юридическом закреплении своего

фактического статуса, обуреваемый маниакальной идеей овладеть несметными богатствами Вассанов (на что они ему, старику? И сохранились ли они вообще?), он старался доказать, что маркиза де Мирабо сумасшедшая и, следовательно, юридически неполноценное лицо. Этот процесс его разорил и духовно опустошил; он поглотил все его силы, мысли и время; его теоретические занятия заброшены ради изобретений новых формул крючкотворства. Оноре и Луиза выступали на стороне матери, и этого было достаточно, чтобы считать их злейшими его врагами. И вот в его руках бесценный документ: его сын и его дочь изобличены этим письмом в тягчайшем преступлении: кровосмесительной связи. Он их сметет теперь с пути: на всю жизнь запрет сына в тюрьме, а дочь — в монастыре. Старик, в мономании ненависти к бывшей жене растерявший человеческие чувства, даже любовь к родным детям, потирает от удовольствия всегда холодные, плохо гнущиеся пальцы. Он прячет этот кажущийся ему драгоценным документ в секретный ящик для особо важных бумаг: он его придержит до поры до времени, а в нужный час ударит этой карточью...

Ни Оноре, ни Луиза пока еще не знают о злосчастной судьбе письма. Позже и до конца своих дней Оноре будет решительно отвергать тот смысл, который хотел придать письму отец. Луиза, когда ей станет известным это непостижимое письмо, в ярости порвет навсегда со своим братом, и их былая дружба сменится полным разрывом; все попытки Оноре вновь найти с ней общий язык будут наталкиваться на непоколебимую непримиримость... Но все это будет потом... А пока все еще дружный союз с берегов Женевского озера действительно подготавливает бегство Софи...

Наконец настает желанный день. 27 августа 1777 года вечером во время грозы, под проливным дождем и раскатами грома, маркиза де Моннье в мужском костюме и широкополой шляпе своего мужа, скрывающей ее лицо, охраняемая двумя подосланными Мирабо в Понтарлье его тайными сообщниками, со множеством всяких приключений пересекает государственную границу. Она мчится затем, влекомая неизвестными спутниками, в чьих руках ее судьба, по горным дорогам Швейцарских Альп, и, наконец, в маленьком городке Верьере они останавливаются у небольшого одинокого домика с освещенными окнами. Здесь ее на пороге обнимает давно

терпеливо прислушивавшийся ко всем звукам за чуть прикрытой дверью ее Оноре, ее Мирабо.

В этом темном, залитом дождями, гремящем грозою, скрывавшем за каждым углом неисчислимые опасности страшном мире, оказывается, все-таки возможно полное, бескрайнее, простое счастье.

XIV

Счастье. Сколько оно может длиться?

Уже было за полдень, когда Софи и Оноре проснулись... За окном ярко светило солнце, уходили вверх покрытые темно-зеленой листвою деревьев горы. Это была Швейцария, они были вдвоем, они были свободны, им ниоткуда не угрожала опасность. Наверно, они оба рассмеялись легким, беззаботным смехом радости, смехом счастья.

Затем пришла пора размышлений вслух.

Софи оказалась предусмотрительной. Может быть, даже больше, чем это было нужно. Она привезла не только все необходимые туалеты дамы высшего общества, но и прихватила с собой из потайного ларца ее официального супруга две тысячи ливров. Она с наивностью уверяла Оноре, что эта сумма меньше даже той доли, на которую она имела право претендовать. Оноре ей охотно поддакивал; они были соединены отныне одной судьбой, и в эти первые дни счастья и свободы он не хотел задумываться над грозящими опасностями. Но он, конечно, хорошо понимал, как может быть повернут против него, против нее избранный Софи способ частичного урегулирования финансовых расчетов с ее бывшим, вернее, ее официальным супругом.

Оноре был легкомысленным, умел жить сегодняшним днем: их мечты осуществились, они были вместе и счастливы; они натянули длинный нос всем этим старым дуракам — Моннье, Сен-Морису, супругам Рюффей, и к тому же эти деньги оказались весьма кстати. Мирабо оставался в Швейцарии с пустыми карманами, теперь они полны, и для начала можно жить беззаботно, не задумываясь над завтрашним днем.

Но все же, по зрелом размышлении, они вскоре пришли к заключению, что оставаться в такой угрожающей близости от Понтарлье было небезопасно. Урок с пропавшим, вернее, с похищенным письмом не прошел для Оноре даром. У его врагов длинные руки, в этом он

уже убедился. Заметая следы, отрываясь от своих преследователей, которых они скорее чувствуют, чем видят, перебираясь то в Базель, то в Берн, они добираются до Рейна, и на небольшом чудесном корабле медленно поднимаются вверх.

Беглецы обретают приют в Голландии, в Амстердаме. Этот город, со всех сторон защищенный морем, как бы наполовину погруженный в морскую зыбь, кажется им самым надежным укрытием.

Мирабо вновь берется за перо. Счеты с врагами еще не сведены. Но жестокие уроки жизни многому его научили; он стал осторожнее, расчетливее. Нельзя начинать с ударов по главной цели: первые удары надо наносить по флангам. В Амстердаме он пишет «Обращение к народу Гессена». Формально это острокритическое сочинение, направленное против немецких владетельных князей, в частности против герцога Гессенского, торгующего своими подданными. Но только ли гессенского монарха имеет он в виду? Только ли народ Гессена страдает от произвола деспотизма? Это все тот же враг — безжалостный и беспощадный деспотизм во всех его вариантах и оттенках, остающийся одним и тем же, — душителем свободы, воплощением зла и произвола, попирающего дарованные природой естественные права человека.

Софи безмерно счастлива. Сбылось все, о чем она мечтала. С ней ее Оноре, он с ней ласков, у них скоро будет ребенок. В их маленьком домике на так странно звучащей улице Кальверстаат тихо. Что еще можно желать на этом свете? Вот оно, полное, чистое и теплое, как молоко, женское, человеческое счастье.

Счастье не знает счета времени. Ей кажется, что оно бесконечно. Но это иллюзии...

Мирабо с некоторых пор замечает, что недалеко от дома он встречает одно и то же лицо. От него отворачиваются, стараются быстро уйти, но завтра все повторяется снова. Оноре ловит в окне все тот же пристальный взгляд. Сомнений быть не может: за ними снова охотятся, по их следу идут ищейки.

Мирабо не ошибался в оценке грозящей им опасности. Маркиз де Моннье кричал на всех перекрестках, что этот злодей похитил у него не только жему, но и все его сбережения. Не только Понтарлье — вся Франция была потрясена этим беспрецедентным попранием прав супруга, королевских законов, законов святой церкви.

Эти исчадия ада, эти преступники, прикрывавшиеся громкими дворянскими именами — графа де Мирабо и маркизы де Моннье, обесчестили, оскорбили все благородное сословие. В аристократических гостиных столовые и провинциальных дворянских усадьбах дополненное пылким воображением негодующих дам происшествие принимало гиперболизированные очертания. Две тысячи ливров, похищенных у маркиза де Моннье, молва легко превращала в двадцать, в двести тысяч. Этот ужасный преступник, опозоривший благородные седины своего несчастного отца, был разбойником, способным на все: убийство, ограбление, любое святотатство.

Общественное негодование возглавила и направила по надлежащему руслу могущественная коалиция, сложившаяся из наиболее пострадавших или ближе других затронутых лиц. Маркиз де Моннье, стараниями оскорбленных в высоких чувствах дам поднятый почти до роли национального мученика или даже национального героя, граф Сен-Морис — комендант крепости Жу, из которой негодяй посмел бежать, господа де Рюффей, обещанные и ограбленные преступной дочерью, маркиз де Мирабо — «Друг людей», всю жизнь мучившийся со своим сыном-чудовищем, маркиз де Мариньян, с самого начала противившийся браку своей святой дочери с этим извергом, — то была действительно могущественная коалиция самых знатных, богатых и влиятельных патрициев южной Франции, и она взяла в свои руки весы карающего правосудия.

Суд над беглецами состоялся в Понтарлье; он был скорый и правый. Оноре-Габриэля де Мирабо «за грабеж и обольщение» приговаривали к смертной казни; ему должны были отсечь голову; Софи де Моннье пожизненно должна была пребывать с обритой головой в доме падших женщин.

Решение суда было предано широкой гласности. Теперь оставалось лишь привести приговор в исполнение.

Какие бы перемены ни совершались в правительственных верхах царствования Людовика XVI — были во главе правительства либеральный Тюрго или беспутный Калонн, или их преемники, — полиция оставалась неизменной; она хорошо знала порученное ей дело. Выследить беглецов — государственных преступников, наивно полагавших, что если они кружным путем отправятся в Амстердам, то их не скоро найдут, не представляло трудной задачи. Полиция быстро напала на

след беглецов. И если Мирабо и Софи в течение семи месяцев жили легко и свободно, не подозревая, как хрупко их счастье, то это не потому, что полиция не нашла их раньше; нужны были недели, чтобы урегулировать с голландскими властями вопрос о выдаче французской полиции разыскиваемых государственных преступников.

В мае 1778 года Мирабо, отчетливо ощущавший, как сужается вокруг них круг, принял решение и убедил в том Софи, что надо спешно покидать Амстердам. Софи не хотелось расставаться с этим тихим домом, в котором она была так счастлива; она медлила, оттягивала отъезд день за днем.

14 мая Мирабо удалось незамеченным выйти из дома. У них были друзья в Амстердаме, где они могли на какое-то время укрыться. Но Софи задержалась, замешкалась, и, когда к вечеру она наконец собралась оставить полюбившийся ей дом навсегда, оказалось, что уже поздно. Дом был оцеплен, и в двери ворвалась полиция.

Перед Мирабо второй раз раздваивались пути. Он сумел уйти от преследователей, и друзья помогли бы ему укрыться в глубоком подполье или на краю света, где его никто не найдет. Речь шла о его голове, он это отчетливо понимал. Но мог ли он оставить Софи одну? В лапах полиции? Их смертельных врагов?

Может быть, оставаясь на свободе, он был бы ей более полезен. Но он, наверно, представил ее смертельно бледное от ужаса, от отчаяния лицо, ее потухшие глаза, бессильно опущенные руки, и он твердым, спокойным шагом направился к домику на Кальверстаат. В этот решающий час, переламывающий, наверно навсегда, их судьбу, он не мог предать, не мог оставить одинокой Софи.

Счастье? Сколько оно может длиться?

Ни Оноре, ни Софи уже не повторяли больше этот вопрос.

Они были несчастны, их горе огромно, и впереди не видно просвета.

Софи не поместили в тюрьму Сен-Пелажи — с проститутками, убийцами, ночными колдуньями. Врач удостоверил, что у нее должен быть ребенок, и ей милостиво заменили Сен-Пелажи одним из суровых парижских домов призрения, где в маленькой сырой камере с тремя ведъмами и сумасшедшей, прикованной гремящими цепями к железной койке, должны были проходить ее дни

и ночи. Когда у нее родился ребенок — девочка, ее называли Софи-Габриэль, — у нее снова пробудилась привязанность к жизни, но после нескольких недель кормления девочку отобрали у матери и отправили куда-то далеко в деревню. Через какое-то время девочка, о которой она так тосковала, умерла. Тогда, видимо в возмещение, Софи перевели в Гиень, в женский монастырь. Физически здесь было легче, но по-прежнему никаких надежд.

Мирабо не был предан казни. Его отец, доживавший поздние часы своей долгой жизни, не захотел пятнать свои руки кровью родного сына. Старый маркиз де Мирабо был достаточно влиятельным представителем высшей знати в сословной монархии, чтобы без труда добиться замены смертной казни пожизненным тюремным заключением. Мирабо был помещен в одиночную темницу башни Венсенского замка.

Я видел Венсенский замок: суровое величие строгих линий этой кажущейся и сегодня неприступной грозной крепости, сложенной из серого, побуревшего от времени непробиваемого камня, с ее округлыми сторожевыми башнями, амбразурами, бойницами, с глубоким рвом, окружающим крепость со всех сторон, и в наше время подавляет своей мрачной мощью.

Каменные стены, каменные пол и потолок, узкая полоска света, лиловеющая ранним утром и гаснущая быстрее, чем где-либо, шесть шагов вперед, шесть шагов назад, и так день за днем, день за днем, недели, месяцы, год, годы — вот и жизнь Оноре-Габриэля де Мирабо.

Первые недели он метался, как тигр в клетке, из угла в угол. Потом он привык ходить тише, медленнее; он стал присаживаться у маленького деревянного столика, прислушиваться к сторожившей его тишине крепостной башни.

Через какое-то время он добился бумаги, перьев, чернил. Сначала он писал письма — протесты, просьбы, мольбы королю, министрам, отцу, близким; он всех просил об одном и том же: проявить хоть малую долю справедливости к нему, немного человечности — изменить его судьбу, послать простым солдатом на войну в Америку, куда угодно, но только не оставлять его здесь; ведь он заживо погребен в могиле. Все его письма остались без ответа.

Он был полон решимости не сдаваться, продолжать борьбу. В Венсенской темнице Мирабо написал больше,

чем когда-либо. Здесь было создано одно из самых зрелых и сильных его политических произведений — «О тайных приказах и государственных тюрьмах». Написанное ясным, точным, подчас протокольно сухим, но тем более впечатляющим языком, сочинение воссоздает картину чудовищного произвола, беззакония, бесправия; насилия над личностью, составляющих основу функционирования режима государственной власти. Если в этом государстве беззакония и есть что-то продуманное и логически обоснованное, так это сатанинская система издевательств и унижений человека, попрания его естественных прав, — система, рассчитанная на то, чтобы в кратчайший срок сокрушить физически и морально человека.

Из этого сдержанного, немногословного перечня почти бесстрастно формулированных констатаций всевозможных преступлений режима тирании и произвола против человеческой личности, против естественных прав человека автор делает краткие, но полные бунтарского духа выводы. Важнейшие из них два. Первый сформулирован так: «Я всегда полагаю и буду так полагать и впредь, что безразличие к несправедливости есть предательство и подлость». Это заключение, если угодно, морализующего порядка. В переводе на язык практики оно означает, что ни один порядочный человек не может не участвовать в борьбе против существующей в государстве системы насилия над человеком, т. е. несправедливости. Этим тезисом утверждается не только моральное право, но и прямой моральный долг, моральная обязанность всех честных людей включаться в борьбу против несправедливого режима тирании и деспотизма.

Второй обобщающий вывод идет дальше и имеет уже отчетливо революционный характер: «Человеку для того, чтобы разорвать свои цепи, дозволены все средства без исключения...»

Говоря о дозволенных средствах, Мирабо, несомненно, имеет в виду впервые сформулированное еще в «Опыте о деспотизме» признание права на вооруженное сопротивление системе угнетения, права на насильственное лишение власти угнетателей.

По существу этими крайними заключениями Мирабо признает и с точки зрения защиты естественных прав человека обосновывает право на вооруженную борьбу против системы насилия, право на революцию.

В формировании политических взглядов Мирабо, в становлении его как революционера — буржуазного революционера, добавим мы тут же, — созданный в Венсенской темнице трактат имел важное, определяющее значение.

То дополнительное определение — буржуазный революционер, — которое мы сочли необходимым сразу же внести, говоря уже о венсенском этапе биографии Мирабо, продиктовано не склонностью к схематическим или жестким формулировкам. Оно вытекает из самой сути идейно-политических взглядов Мирабо.

Критика системы феодально-абсолютистских институтов у Мирабо целиком укладывалась в рамки политических разоблачений. Дальше Мирабо не шел, и социальные аспекты антифеодальной борьбы его привлекали значительно меньше, чем политические. Напомним еще раз, что мятеж Мирабо против привилегированного сословия, к которому он принадлежал по происхождению, был рожден прежде всего его противодействием отцовскому деспотизму. Семейный конфликт закономерно перерос в конфликт со всей системой правительственной власти. Насилия, беззакония, попрания всяких правовых норм, обрушившиеся на юного, затем молодого Мирабо, логически привели его к критике всей системы деспотического режима.

Достаточно было Мирабо однажды соприкоснуться с неумеряемой ни законом, ни практикой системой произвола, чтобы он оказался несомым ею, как песчинка в пустыне.

Если отвлечься от восклицаний и резонерства и рассмотреть вещи в их суровой действительности, то надо сказать, что все усилия Мирабо добиться какого-либо законного права или какого-то порядка оставались чистейшим донкихотством. По самой своей природе, по своей сущности и сути королевская власть не могла функционировать, не подавляя и не угнетая одновременно всю систему прав человека. Сословная монархия действовала на основе многостороннего и, так сказать, непрерывного нарушения прав.

Смущало ли это хоть в какой-то мере руководителей государства? Ни в малой степени; это не было вообще проблемой.

Для Мирабо же как лица, пострадавшего и продолжающего страдать от произвола феодально-абсолютистского деспотизма, то было, естественно, главной пробле-

мой. От своего частного случая он перешел к критике существующего режима в целом. Объективно эта критика означала противопоставление системе феодально-абсолютистского бесправия и деспотизма системы буржуазного правопорядка, опирающегося на антисословную доктрину «естественных прав человека».

Но следует остановиться еще на одном аспекте, который имел для Мирабо дополнительное значение. Мирабо придавал важное значение принципу либеральной, прогрессивной, представительной монархии. С точки зрения его идеалов, наилучшей была бы монархия, ближе всего уподобляющаяся британской. Но первое и основное требование, которое он к ней предъявлял: она должна была бы быть монархией вообще.

Симпатии в пользу монархии не были продиктованы вкусом выдающегося политического деятеля. Более того, в том не было и какого-либо его своеобразия. В XVIII веке во Франции идея монархии была господствующей; ее можно встретить у политических мыслителей и более левых, и более правых взглядов. То была сфера общественного бытия, считалось неразумным, непрактичным, бессмысленным вести абстрактные споры. Чтобы не быть голословным, достаточно сослаться на три наиболее впечатляющих примера. В годы, предшествующие революции, будущие прославленные ораторы якобинцев и руководители революционного правительства Максимилиан Робеспьер, Жорж Дантон и Жан-Поль Марат были, не проявляя и тени колебаний, убежденными сторонниками монархии. В сущности, почти вся французская прогрессивная литература исходила в последнее десятилетие перед революцией из признания непререкаемости тезиса о незыблемости монархии.

Вряд ли есть смысл углубляться в исследование причин этого своеобразного парадокса: все недовольны монархией, но никому не приходит в голову поставить ее под сомнение. Стоит разве лишь напомнить, что вся французская политическая литература предреволюционных лет, может быть, за исключением Камилла Демулена, и то, вероятно, больше из озорства, полностью отвергала республиканские учреждения. По-видимому, еще ранее получила распространение идея о том, что республика аристократична. Монархия противопоставлялась республике. Не потому, что трезвыми умами она строго взвешивалась на весах в сопоставлении с республикой и достоинства ее перевешивали. Прежде всего

потому, что республики опасались и готовы были видеть в ней прямую угрозу будущим свободам.

Оноре Мирабо в полной мере разделял все предрассудки или все заблуждения, как угодно, своих соотечественников. Его занимала не далекая, туманная, абстрактная республика, а реальный мир, в котором он жил. То была монархия — монархия плохая, испорченная привилегированными сословиями, придавшими ей отталкивающие черты деспотического режима. Деспотизм надо уничтожить, и тогда окружающий мир — старая французская монархия — станет лучшим, более справедливым.

Таковы были, несколько схематично, политические взгляды Мирабо той поры.

Но жизнь Мирабо, как мы знаем, с молодых лет пошла с перекосом. И чем дальше шло время, тем перекос этот становился все больше и больше.

Итак, вернемся к вопросу, от которого мы до сих пор уходили. В литературном наследии Оноре Мирабо трактат «Тайные приказы и государственные тюрьмы» не занимал определяющего, тем более доминирующего места. В общем это произведение, которое, на мой взгляд, имело наибольшее влияние на определение постепенно складывающихся политических убеждений будущего трибуна, осталось недооцененным или, если угодно, не замеченным в должной мере.

В чем тут дело?

Подойти к этому сюжету надо несколько издалека. Еще более ста лет назад Альфонс де Ламартин, знаменитый поэт, романтик; историк, государственный деятель, министр иностранных дел, один из первых ораторов Европы, привлекавший в течение полувека внимание всего мира своими «поэтическими раздумьями», сладкогласными речами и пышной шевелюрой, — Альфонс де Ламартин в своей столь же знаменитой, как и все, что выходило из-под его пера, «Истории жирондистов» дал яркий, запоминающийся портрет графа Оноре-Габриэля Рикетти де Мирабо — знаменитого трибуна Великой французской революции.

Ламартин был первым, кто не задумываясь назвал как нечто неоспоримое и достойное поклонения нашумевшие письма Софи Моннье и Оноре Мирабо, которыми томящиеся в разных тюрьмах влюбленные на протяжении почти четырех лет обменивались друг с другом, бессмертными²⁷. Авторитет, эстетическая компетент-

ность Ламартина, его художественный вкус были настолько непререкаемы, что это мнение поэта стало своего рода классикой.

Тридцать лет спустя Марио Прот в обширном введении к публикации писем Мирабо «О любви» подтвердил определение, данное впервые Ламартином²⁸. Письма Мирабо и Софи Моннье стали в своем роде классическим примером, образцом любви двух беззаветно преданных друг другу существ.

И вот перед вами страницы старинного, бесконечно далекого романа давно отшумевшего времени.

Когда вы смотрите на эти поблекшие от времени строки, на потемневшие, влажные, как бы уже охваченные начавшимся тлением листы, вас обдаёт холодок отлетающего времени. Здесь все в прошлом.

Но вы начинаете вчитываться в эти строки, и с первых слов вас невольно захватывает, притягивает пробирающаяся сквозь долгие, долгие годы их живая, покоряющая сила. Слова бегут, обгоняя друг друга. Они торопятся, они боятся опоздать; им некогда. Всего час, два часа назад эти два самых счастливых существа на свете — или два самых несчастных? — расстались. Что с ними было? Что с ними будет? Они еще ничего не знают. Завтрашний день — каким он будет? Он еще неразличим, неведом. Оноре пишет ей торопливо: ведь так много надо сказать. Еще не окончив одно письмо, он начинает другое. Им не терпится друг другу все рассказать. И постоянным рефреном, повторяющимся почти за каждой фразой, за кратким деловым сообщением, — вопросы, на которые, ей кажется, она никогда не дождется ответа: «Ты меня помнишь? Ты меня любишь? Ты меня не забыл?»

Наверно, нетрудно представить грудку белых страничек, написанных непривычным к письму крупным женским почерком на жестком столе тюремной кельи. Но в этих листках белой бумаги сама жизнь. Сколько чувств, сколько ожиданий, сколько надежд вложено в эти торопливые бегущие буквы!

В этом огромном, беспощадном мире их, незащищенных, всего двое.

Может быть, Альфонс Ламартин и в самом деле был прав? Кто решится оспорить эти залитые слезами страницы романа XVIII столетия? Разве не внушают они невольного уважения читателям?

Когда вы смотрите на эти прочные, казалось бы, не-

сокрушимые переплеты, на эти пожелтевшие и как бы сгустившиеся плотные листы старой толстой бумаги, на этот затейливый и в то же время бедный в своей убогой типографской технике старинный шрифт, вы невольно как бы переноситесь в давно минувший, в почти неразличимый, навсегда ушедший век.

Уже нет в жизни ни Софи, ни Оноре, ни свидетелей, ни очевидцев. Никого не осталось. От минувшей поры если что и сохранилось, так лишь эти так наивно и часто повторяемые вопросы:

«Ты меня помнишь? Ты меня любишь? Ты меня не забыл?»

Так начинается этот роман в письмах. Конечно, он имеет несопоставимые преимущества перед «Новой Элоизой» Руссо. Но вряд ли нужны сопоставления писем Софи Моннье и Оноре Мирабо с авторами литературной переписки, созданной талантом Жан-Жака Руссо. Да и к чему эти поздние счета славой? Во втором варианте, который Мирабо по своему неполному человеческому веку так и не опубликовал (как, впрочем, и не думал вовсе об этом), за неровными линиями строк стоит сама жизнь.

Можно лишь представить, как медленно, бесконечно медленно тянется время для двух существ, любящих друг друга, постоянно думающих друг о друге, всегда опасаящихся друг за друга и в то же время разлученных на долгие годы. Наверно, Ламартин был прав, утверждая, что страницы истории любви Софи и Оноре бессмертны. Может быть, и в самом деле они бессмертны?

Но еще раз перечитайте эти письма сначала. Прошел год. За этот долгий год чуда не произошло. Могучие и строгие очертания Венсенского замка все так же грозно высятся на горизонте. И никому не видимые, тайные обитатели живут в неменяющемся, строго установленном, подчиненном жестким правилам мире крепости.

Монастырь, в который заключена Софи Моннье, все так же зорко и бдительно охраняется бесшумно ступающими сестрами, облаченными в строгие монашеские платья. Вчерашний день похож на сегодняшний, а сегодняшний — на вчерашний и на завтрашний... Минувший день — это много или мало? Чем дольше идет время, тем, кажется, все явственнее замедляется его ход.

Оноре Мирабо был полон решимости не понасться в

руки своих врагов, как глупый полуслепой кролик. Он не позволит, чтобы они подчинили его своей воле. Он продумал, строго распределил во времени огромные обязанности, которые ему предстоит выполнить в ближайшие год-два.

Было над чем поразмыслить... Как уже ранее было сказано, Мирабо начал свой трактат «О тайных приказах и государственных тюрьмах». По мере развертывания работы он расширял круг источников и литературы, привлекаемых для изучения рассматриваемых вопросов. Одновременно он начал ряд крупных литературных работ. То были обширные переводы из Гомера и по древнегреческим источникам, и в английском переложении Поппа, переводы из Тацита, и упорно продвигаемые им вперед и тщательно редактируемые переводы Боккаччо. Нельзя не поражаться удивительной работоспособности и внутренней собранности этого человека.

В Венсенской башне он обнаружил такую продуктивность пера, которую трудно было бы от него ожидать при иных, самых благоприятных условиях. Он умудрился в условиях жесткого, строго регламентируемого режима наладить и организовать за пределами Венсенского замка выпуск сочинений Боккаччо с помощью посреднических издательских фирм.

Каждый день, два-три раза в сутки, он пишет письма своей Софи. Он ей пересылает свои литературные переводы, спрашивает ее мнение по тому или иному литературному вопросу. Он искренне озабочен развитием ее литературных вкусов. Кажется, он один готов полностью взять на свои плечи все тяготы этой выпавшей им не легкой доли. Он по-прежнему находит для нее нежные, ласковые слова. Он обращается к ней: моя единственная, моя горячо любимая, моя самая дорогая...

Это — могучий дуб, и кажется, нет на свете сил, которые могут сломить железный организм и эту несгибаемую волю.

И все-таки загляните дальше в эти письма. Еще год прошел. Уже прошло три года. Бьет колокол на Венсенской башне, а время идет все медленнее, все тише. Оно ре оглядывается назад. Вот он сделал на дереве зарубку. Тогда еще было воскресенье, за ним начинался понедельник, а впереди еще долгая, большая неделя. Он оглядывается назад. Как различить дни? Теперь, когда они остались позади, они становятся как бы одинаковыми, похожими один на другой. Одна неделя на другую.

Вот страшная, затягивающая, все туже подступающая к горлу петля остановившегося времени.

Перечитайте еще раз письма, которыми по-прежнему обмениваются бывшие когда-то, в незапамятном, бесконечно далеком прошлом, счастливыми любовники. А ведь писем становится все меньше. Да и сами письма стали короче, тоньше; Оноре и Софи все реже испытывают необходимость обращаться друг к другу. И кто может сказать, что действует сильнее: сложившаяся с годами привычка, душевная необходимость или потребность, или, быть может, ни он, ни она не хотят, да и не смеют задумываться над этим вопросом.

Это как будто те же самые письма, что были и раньше. И вместе с тем они уже не те.

Любовь не горит на костре из слов, слов одних недостаточно. Можно повторять в письмах неделю, месяц, год, три года одни и те же или, если хотите, разные слова любви, но с течением времени они будут казаться все более тусклыми, блеклыми, обесцвеченными. Слова сохраняются, но они теряют свою убеждающую силу.

На третий год заключения в поведении, образе жизни, психологии этого казавшегося железным человека что-то начинает сдавать. Его ясная и чистая мысль замутняется. Он пишет по ночам какие-то чудовищные эротические истории, которые при дневном свете страшно перечитывать. Он теперь подолгу — часами — может задумываться, уставившись в одну точку.

Бьет колокол на башне Венсенского замка. Бьет каждый час. Бьет ночью, утром, днем, вечером. Он не в силах больше этого вытерпеть. Он не может более ожидать в напряжении, когда же упадет с башни удар колокола.

Вести, поступающие извне, так же печальны и тяжелы, как и все, с чем он соприкасается в этой мрачной крепости. Его маленький Виктор, его сын, его надежда, о котором он так много думал в дни вынужденного одиночества, умер от какой-то детской болезни, которой, может быть, и не было бы, если бы графиня Эмили де Мирабо не уделяла столько внимания светским развлечениям в ущерб воспитанию собственного сына.

Софи и Оноре скрывают друг от друга горестную весть о смерти их маленькой Софи-Габриэль. Но у каждого из них это лежит тяжелым камнем на сердце. Страшный мир, мир без радостей, мир потерь, мир утрат.

Поздней осенью 1780 года, когда ноябрьский ветер уносит последние листья с деревьев, когда снова — в который раз! — с той же безжалостной повторяемостью хмурые сумерки возвещают надвигающуюся зиму, он понимает, что дальше он уже не выдержит. Еще одну зиму ему не устоять на ногах.

Он пишет в замок Биньон своему отцу маркизу де Мирабо покаянные, почти раболепные письма. Он просит у него прощения во всем. Он всегда был виноват. Отец всегда и во всем был прав. И он безоговорочно признает моральное превосходство отца, его мудрость, его великодушие. Он смиренно просит лишь об одном: помочь ему, сделать все, что можно, чтобы вытащить его из этой страшной ямы, в которую он заживо погребен. Он пишет просительные письма и своей жене. Он взывает о помощи.

И письма достигают цели. То ли маркиз Мирабо почувствовал за этими строчками какую-то последнюю, предельную степень отчаяния, то ли в крутом нраве этого ставшего уже глубоким стариком человека что-то изменилось. Вероятно, и на него, как и на Оноре, большое впечатление произвела смерть маленького Виктора, его внука, к которому он был очень привязан. Не вступая в обсуждения, без пререканий он принимает необходимые меры. В старой сословной монархии глава клана Мирабо — это большая сила, и решения старого маркиза оказываются достаточно, чтобы в несколько часов изменить судьбу его сына.

И вот зимой 1781 года в старинном замке Биньон коротают время отец и сын. Кто мог бы узнать в этом замкнутом, угрюмом и отяжелевшем человеке того, кого еще не так давно звали «месяе Ураган». Мирабо-младший, как правило, молчит. Если он и произносит слова, то лишь для того, чтобы во всем соглашаться с отцом. Он признает его всегда и безусловно правым.

Но время идет, и этот человек, казавшийся полностью сломленным, перемолотым годами заключения в башне, постепенно начинает оживать. Это происходит не сразу, медленно, и отец, боявшийся первоначально, что уже слишком поздно, с облегчением видит признаки возрождения. Как все Мирабо одержимый манией величия, маркиз считает самым важным в жизни заботы о продлении своего старинного рода.

В один из весенних дней 1781 года Мирабо совершает путешествие в далекую Гиень, в монастырь, где

по-прежнему под надзором монахинь находится Софи де Моннье.

И вот после четырех лет разлуки происходит эта встреча, о которой столько раз, как о дне счастья, они мечтали.

Им обоим трудно скрыть истинные чувства, проступающие в выражении их лиц. Оноре увидел перед собой немолодую, грузную женщину с полуседыми поредевшими волосами, с набрякшими веками выцветших глаз, некрасивую, с размытыми чертами лица, утратившую былую живость и легкость. Да и сам он изменился. Конечно, они оба старались сделать вид, что ничто не изменилось. «Я тебя все так же люблю. Я тебя всегда буду любить», — повторяли они сейчас, как когда-то в былые времена. Но слова эти были неправдой, которую оба хорошо чувствовали. За годы разлуки любовь умерла.

Вероятно, они оба почувствовали внутреннее облегчение, когда эта столь трудная встреча была окончена. Конечно, прощаясь, он еще раз повторил те же обещания, которые столько раз уже давались. Но слова, в сущности, уже были не нужны.

Оноре де Мирабо больше уже не писал Софи. То была их последняя встреча.

Софи де Моннье еще несколько лет прожила в монастыре Сен-Клер в Гиени. Она не хотела с ним расставаться. В один из весенних дней, несколько лет спустя, когда навещавший ее священник, как обычно, зашел в утренние часы в ее келью, он нашел Софи мертвой. Она накануне намеренно оставила горящие угли и закрыла печь. Она умерла, видимо, ночью от угара. Она устала жить на этой трудной земле.

XV

В один из зимних дней 1781 года маркиз де Мирабо, убедившись в том, что его сын уже почти полностью восстановил свои силы, решил, что пришла пора поговорить с ним начистоту. Положение графа де Мирабо оставалось крайне двусмысленным. Хуже того, оно было нетерпимым. Решение суда в Понтарлье не было отменено. Даже смертный приговор, вынесенный ему за совершенные преступления, сохранял полностью свою юридическую силу; он просто не был приведен в исполнение. Первой и самой важной задачей графа де Мирабо было добиваться пересмотра решений суда в Понтарлье.

Отмена приговора и восстановление доброго имени графа де Мирабо были первой безотлагательной, насущной задачей, до решения которой было невозможно все остальное.

После того как эта задача будет решена, следует приступить к выполнению второй задачи: примирению Мирабо с женой, восстановлению единой семьи и полному слиянию имущества и земель Мариньянов и Мирабо.

Оноре без возражения принял стратегический план маркиза де Мирабо. Да и возражать против него по существу было бы невозможно. Отвоевание утраченных позиций надо было начинать с самых элементарных основ, прежде всего с удержания собственной головы на плечах.

В феврале 1783 года Мирабо приехал в Понтарлье, добровольно явился в местную тюрьму и объявил властям, что он прибыл для того, чтобы лично принять участие в судебном процессе, проходившем несколько лет назад в его отсутствие.

Процесс по его инициативе возобновлен, длится несколько месяцев и по мере того, как он разворачивается, привлекает все большее внимание общественного мнения Франции. Мирабо отказался от адвокатов и сам ведет по выработанному им плану защиту. Этот план крайне смел, более того, рискован, в нем все поставлено на карту. Мирабо использует имевшееся в решении суда 1778 года противоречие. Ему инкриминировалось как один из главных пунктов обвинения обольщение маркизы Софи де Моннье.

По общепринятому среди французских юристов толкованию, обольщение (*séduction*) предполагает соблазн невинной, незамужней девушки. Мирабо умело использует этот юридический просчет. В Понтарлье впервые убеждаются в том, как велика его ораторская сила. Он издевается над своими противниками, высмеивает несостоятельность их юридических аргументов. Как можно обвинять в обольщении дамы, как можно обвинять и даже требовать голову обвиняемого за обольщение дамы, уже несколько лет находящейся в законном браке? От обороны он переходит к нападению. Его обвинительные речи столь же искусны и сильны, как и защитительные. Он печатает их отдельными брошюрами, распространяет по всей стране. Вся Франция зачитывается речами Мирабо.

Доказав, что обвинительное заключение было по-

строено на несообразностях и ошибках, он категорически требует отмены судебного приговора, за который невинные люди несли столь тяжелое, ничем не заслуженное наказание, и полной реабилитации и лично себя, и маркизы Софи де Моннье.

Процесс в Понтарлье показал поразительную ораторскую мощь Мирабо. Сила его красноречия была так велика, так убеждающа, что склонила в его пользу большинство судей.

14 августа 1783 года суд вынес окончательное решение, отменяющее предыдущий приговор; все обвинения против Мирабо признаны утратившими юридическую силу, и даже судебные издержки, достигающие довольно значительной суммы — 40 тысяч ливров, возложены на счет престарелого маркиза де Моннье.

Это самая полная победа из всех одержанных Мирабо. Такого решения суда трудно было ожидать. Доброе имя графа де Мирабо снова восстановлено. Он окружен ореолом мученика, и его имя стало одним из самых известных в стране. Правда, старые дамы в аристократических салонах при упоминании имени графа де Мирабо всплескивают руками от ужаса, а наиболее чувствительные даже падают в обморок; их потом приходится приводить в чувство с помощью солей.

Старый маркиз, во время процесса не одобрявший рискованной тактики сына, считая ее слишком опасной и дерзкой, теперь с удовольствием потирает руки: «Эти ослы, по-видимому, забыли, что имеют дело с моим сыном. Моему сыну было у кого учиться».

Но со второй задачей, поставленной маркизом перед Габриэлем, дело шло много труднее.

Для графини Эмили де Мирабо годы заточения ее супруга в башне Венсенского замка были самыми счастливыми. Она была в то время одной из наиболее модных светских дам, и ей приходилось строго рассчитывать свое время, чтобы иметь возможность участвовать в сменяющихся друг друга светских развлечениях. Вся аристократическая Франция была превосходно осведомлена о ее связи с графом де Галлифе. По существу те же обвинения, которые дали повод суду в Понтарлье в 1778 году приговорить к смерти, а затем обречь на пожизненное заключение в Венсенском замке Мирабо, а маркизу Софи де Моннье — на позор и заключение в монастырь, могли бы быть предъявлены и графу де Галлифе, и графине де Мирабо. Но было и различие: в первом случае

любовники. должны были жестоко поплатиться за то, что они делали это совершенно открыто, не считаясь с общественным мнением, а во втором — то же самое делалось осторожнее, с соблюдением необходимых условностей и с обязательной данью официальному лицемерию.

Эмили де Мирабо при существующем статусе жилось легко и свободно, и у нее не было ни малейшей склонности менять избранный ею образ жизни и подчиняться воле мужа. К тому же, унаследовавшая от своего отца не только несметное богатство, но и жадность к золоту, она не хотела делить его даже со своим собственным супругом.

Переговоры между сторонами ни к чему не привели. И тогда Мирабо, продолжавший слушаться советов своего отца, возбуждает судебный процесс против Эмили. Судебный приговор должен обязать жену вернуться к своему супругу и жить с ним под одной крышей.

Процесс в Эксе, начавшийся в феврале 1783 года, по существу был процессом между двумя самыми могущественными кланами Прованса — Мирабо и Мариньянами. Но у него есть одна особенность. Мирабо как клан, т. е. глава его маркиз де Мирабо, его младший брат байи Мирабо, в этой клановой борьбе не участвуют. Это процесс графа Оноре де Мирабо против клана де Мариньянов. Это значит, что на одной стороне только ораторское искусство, а на другой — мощь богатства. В Эксе, столице Прованса, все куплено маркизом де Мариньяном и его кланом. Когда Мирабо пытался в виде опыта привлечь на свою сторону хотя бы одного адвоката, это оказалось невозможным: все адвокаты Прованса были, что называется, на корню скуплены Мариньяном. И высшие, и низшие судебские чиновники, участвовавшие и в конечном счете определявшие исход этого судебного процесса, были в руках Мариньянов. При таком соотношении сил исход процесса в Эксе был предрешен. И тем не менее, несмотря на то что процесс — Мирабо не мог в том сомневаться — нанесет ему материальный и моральный ущерб, он в целом будет способствовать росту его популярности.

Процесс в Эксе проходил при ужаснувшем Мирабо общественном интересе и внимании. Зал заседаний ломился от публики, и число желающих побывать на этом самом знаменитом процессе того времени все возрастало.

Главная причина такой труднообъяснимой на первый взгляд заинтересованности в, казалось бы, сугубо частном вопросе, касавшемся взаимоотношений мужа и жены, оставалась скрытой от непосвященных. Клан Мариньянов отстаивал свои права на монопольное обладание огромным наследством маркиза. Пока был жив маленький Виктор, он оставался вместе со своим отцом, мужем Эмили Мирабо, наиболее бесспорным наследником. Но после смерти Виктора и при размолвке Эмили с ее мужем открылась благостная для Мариньянов возможность путем поддержания ссоры между супругами исключить Мирабо из числа наследников. Эти корыстные расчеты и придавали Мариньянам такую непримиримость.

Среди посетителей судебных заседаний, прибывших в Экс, в первых рядах видели знатных гостей: австрийского эрц-герцога Фердинанда, брата королевы Марии-Антуанетты, наместника Ломбардии с супругой. Совершая путешествие по Франции, высокий гость не без основания посчитал: самое интересное, что он может увидеть и услышать в соседнем королевстве, — это процесс знаменитого Мирабо.

Процесс тянулся несколько месяцев. Обе стороны первоначально действовали осторожно, отдавая себе отчет в том, что у каждой в запасе есть еще грозное оружие, до сих пор не введенное в бой. Трудно сказать, чего было больше в этих первых речах: отвлекающих противника маневров или рассчитанных на завоевание симпатий аудитории театральных эффектов.

Решающий удар был нанесен Порталисом, главным адвокатом Мариньянов, 7 мая. То был удар огромной силы против Мирабо, показывавший, что Эмили заранее исключает возможность всякого примирения с тем, кто продолжает еще называться ее мужем. Эмили вооружила Порталиса письмами маркиза Мирабо к своей невестке против собственного сына. Не было таких почти неправдоподобных, чудовищных обвинений во всех мыслимых и немыслимых злодеяниях, которые не приписывались бы ужасному супругу несчастной графини де Мирабо. В изображении Порталиса Мирабо представал злодеем, тираном, развратником, обманщиком, человеком без совести и чести. Самое ужасное в обвинительном акте Порталиса было то, что он ссылался при этом на суждения, принадлежащие почтенному отцу графа де Мирабо, либо на суждения графини де Мирабо.

Удар казался сокрушительным, и представлялось маловероятным, чтобы Мирабо мог от него оправиться и продолжать судебную дуэль.

Мирабо выступил с ответной речью 23 мая. Эту речь, продолжавшуюся четыре часа, принято считать вершиной процесса в Эксе. В начале выступления Мирабо выразил сожаление о том, что адвокаты противной стороны, вместо того чтобы искать возможные пути к примирению — это было бы естественным при данных обстоятельствах, — обратили внимание на поиски материалов обвинения. Они вынуждают его, Мирабо, обращаться к тем страницам прошлого, к которым он ни при каких иных условиях, кроме тех, которые создал Порталис своим выступлением, не обратился бы. И он процитировал хранившееся у него с 1774 года письмо Эмили, относящееся к первым счастливым дням их брака, в котором она признавалась в своей связи с кавалером де Гассо и смиренно просила его простить, обещая, что такого больше не повторится.

То был первый удар огромной силы, вызвавший, когда он закончил чтение письма, шумные возгласы аудитории. Графиня де Мирабо, до сих пор представавшая в изображении Порталиса — и Мирабо ни разу это не оспорил — в роли скромной овечки, теперь рисовалась слушателям совсем иной. Но инстинкт искусного оратора, прежде всего чутко улавливавшего настроение аудитории, удержал Мирабо от дальнейших критических замечаний в адрес своей жены. Нарастающий огонь критики и все более овладевавшего им негодования он обрушил первоначально против ее отца, а затем повернул основное оружие против Порталиса, с которым он должен был свести счеты за судебное заседание 7 мая.

Он обвинял Порталиса в том, что этот адвокат, который мог бы использовать предоставленные его положением возможности в целях добра, является по существу вдохновителем и главным автором настоящего процесса. Он с возрастающей яростью обрушился на своего противника и закончил обвинение словами: «Если адвокат со всем красноречием извергает лживые декларации, клевету, если он передергивает или, иначе, фальсифицирует документы, которые он цитирует... такой человек — продавец лжи и клеветы».

Порталис пытался встать, чтобы ответить Мирабо, но не выдержал уничтожающих ударов своего противника. Он потерял сознание и рухнул наземь. Его вынес-

ли на руках из зала. То был не частый в судебной практике случай, когда один из ораторов силой красноречия сбил с ног в буквальном смысле слова своего противника.

В июне суд, как уже говорилось, сформированный из людей Мариньянов, вынес решение, подсказанное маркизом де Мариньяном. Для Мирабо решение суда не было неожиданностью. Да и по существу примирение с Эмили было практически невозможно. Как таковое, оно ему было и не нужно. Реальное значение в этом процессе имели лишь имущественные интересы.

Еще до того, как суд вынес решение, Мирабо вызвал на дуэль графа де Галлифе. Они дрались на шпагах, и Мирабо ранил его в руку. Через день Мирабо вторично послал ему вызов на дуэль, но Галлифе не явился к назначенному месту. Мирабо послал Галлифе коробку улик, сопроводив ее краткой запиской: «Вот у кого Вам следует учиться отступать».

Процесс в Эксе, хотя практически оказался для Мирабо безрезультатным, принес ему крупный моральный выигрыш. В значительно большей мере, чем процесс в Понтарлье, процесс в Эксе способствовал росту его популярности среди самых широких слоев, особенно третьего сословия. Когда Мирабо проходил по улицам Экса и других городов Прованса, его встречали аплодисментами. Незнакомые люди подходили и жали ему руку, снимали приветственно шляпу, награждали его одобрительными возгласами.

Процесс в Эксе принадлежал к числу самых громких процессов своего времени и привлек еще большее внимание, чем на шумевший процесс Бомарше против Гёзмана.

Мирабо стал знаменитостью. О его ораторском искусстве, проявившемся во время этих судебных поединков, рассказывали полуфантастические истории.

Вокруг Мирабо теперь группировались молодые люди, в большинстве своем передовых взглядов: Бриссо — будущий знаменитый лидер жирондистов, в ту пору пытавшийся пробиться наверх журналистскими опытами и философско-публицистическими сочинениями; Клавьер — один из вождей женевских демократов, позже также игравший значительную роль в жирондистском движении, к тому же он был крупным финансистом; Николя Шамфор — один из выдающихся писателей предреволюционной эпохи, уже добившийся приз-

нания и почетного положения в литературе. С Шамфором у Мирабо установились самые тесные, дружеские отношения, выдержавшие испытание временем. Популярность Мирабо была так велика, что к нему тянутся и некоторые молодые аристократы, вступающие в жизнь и хорошо чувствовавшие близящиеся перемены. Среди них одним из первых, кто особым, только ему одному свойственным чутьем распознал силу Мирабо, был только входивший тогда в свет совсем молодой, очаровательный епископ Оттенский — князь Шарль-Морис Талейран. Биография Талейрана в ту пору только начиналась. И о нем, преимущественно в дамских салонах, говорили с нежной улыбкой: «Обворожительный мальчик». Но этот «мальчик», которому и в самом деле нельзя было отказать в искусстве «шарма», умении очаровывать, быстро обнаружил и иные, практического свойства, способности. Подобно тому как многим позже он с первого же взгляда сумел оцепить молодого генерала Бонапарта, так и в начале 80-х годов, увидев раз Мирабо, он понял его силу и стал к нему льнуть.

С Мирабо теперь вынуждены считаться и влиятельные члены министерства. Граф де Вержен, министр иностранных дел Людовика XVI, советуется с ним по ряду вопросов. А позже, в 1786 году, Мирабо предлагают сугубо секретное дипломатическое поручение в Берлин, связанное со сложными дипломатическими комбинациями Вержена. Он мечтает о создании новой тройственной коалиции держав — Англии, Франции и Пруссии, в преимуществах которой Мирабо должен убедить престарелого короля Фридриха II и принца Генриха. Эта дипломатическая миссия на самом деле отнюдь не столь безобидна и невинна, как может показаться с первого взгляда. Это игра на острие ножа. Против кого должен быть направлен этот союз трех держав? Об этом нетрудно догадаться — против могущественной империи Габсбургов. Но антиавстрийская политика заслуживает пристального внимания не столько внешнеполитическими аспектами, сколько внутренней расстановкой сил. Вести борьбу против Австрии — это значит вести борьбу против могущественной королевы Марии-Антуанетты и против всей послушной движению ее бровей австрийской партии.

Однако Мирабо это не беспокоит. Он хорошо знает, что королева Мария-Антуанетта его терпеть не может, что еще ранее, когда он, находясь в Англии, опублико-

вал памфлет в защиту нидерландского народа, страдающего от ига деспотизма Габсбургов, Мария-Антуанетта подготовила «тайный приказ» о заключении Мирабо в крепость. Более того, он также знал, что у королевы подготовлены и другие тайные приказы, целая серия тайных приказов, которые, будь они приведены в исполнение, снова держали бы Мирабо до скончания его дней в башне Венсенского замка.

Однако времена меняются. И если тайные приказы Марии-Антуанетты не приводятся в действие, то не только по настоянию дам, принимающих близко к сердцу судьбу графа де Мирабо, но и потому, что королева уже не в силах делать все то, что она хочет.

С середины 80-х годов все во Франции чувствуют приближение взрыва огромной силы. То внимание, которым теперь окружен вчерашний бесправный узник Венсенского замка, само по себе было прямым доказательством происходящих в общественном сознании перемен.

В 1783 году Франция вместе с США подписала Версальский договор, положивший конец войне с Англией. Это породило надежды, что с завершением дорого стоившей войны финансовое положение королевства улучшится. Однако с этими надеждами пришлось вскоре расстаться. Расточительность Марии-Антуанетты, проявлявшей поразительную изобретательность в поисках все новых и новых способов пускать деньги по ветру, растущая жадность, необузданные аппетиты кормящейся у подножия трона придворной клики, бесстыдное воровство, всеобщая продажность, безответственность, граничащие с преступлением спекуляции, в которые были вовлечены высшие служащие короля вплоть до министра Калонна, — все это с угрожающей быстротой увеличивает дефицит, создавая непреодолимые финансовые трудности.

Бездарные, но полностью послушные Марии-Антуанетте государственные контролеры финансов вели политику, как бы нарочно придуманную для того, чтобы усилить всеобщее недовольство. В сентябре 1786 года был заключен торговый договор с Англией, но договор был составлен так, что он давал все преимущества английской стороне и был невыгоден французской. В рядах третьего сословия договор подвергался открытой, вполне обоснованной критике.

Генеральные контролеры финансов не засиживались

долго на своих постах: место было слишком горячим. Жоли де Флери сменил д'Ормессон, но и тот не сумел удержаться. Дольше других — с 1783 по 1787 год — четыре года, этот важный пост занимал Шарль-Александр де Калонн.

Этот красивый, элегантный, с приветливой улыбкой министр, казалось, обладал какими-то тайными секретами. Для него не существовало никаких препятствий, никаких затруднений. Он удовлетворял без слова возражения любые просьбы о пенсиях, пожалованиях, погашении долгов. С той же обезоруживающей, пленительно-доверчивой улыбкой он признался во время одной из бесед королю, что у него есть личные долги — пустяки, 220 тысяч ливров, — но что это все-таки его удручает. Король тут же вынул из шкатулки 220 тысяч и передал их министру. Злые языки утверждали, что Калонн полученные деньги кредиторам так и не отдал, а приобрел их к своим доходам (или расходам); разобраться в том, как это надо называть, было не просто. Почти каждый год Калонн выпускал займы на 100 миллионов ливров или более (для покрытия текущих расходов), и подписка на них проходила весьма успешно. Во всех своих официальных выступлениях он утверждал, что финансовое положение государства в полном порядке, что дела идут хорошо, а дальше пойдут еще лучше. При первом же выраженном королевой желании приобрести дворец Сен-Клу Калонн немедленно уплатил за него 15 миллионов, а за 14 миллионов был приобретен замок Рамбуйе, приглянувшийся королю.

Мария-Антуанетта, а вслед за ней и все придворные дамы вздохнули с облегчением: наконец-то во Франции появился настоящий, понимающий толк в делах министр финансов вместо этих скряг вроде Неккера, пытавшегося сэкономить состояние на огарках свечей.

Всем этим господам было невдомек, что Калонн (от природы весьма неглупый человек) давно уже понял, что долги государства столь велики, что их все равно не погасить, и с истинно дворянской беззаботностью к старым долгам казны прибавлял новые: 30 миллионов больше или меньше — какая разница, когда платить все равно нечем.

Королевская казна опустошена, платить по обязательствам государства нечем, и в 1787 году, не находя иного решения, король был вынужден пойти на созыв совещания нотаблей в Версале. Но привилегированные

сословия, которые должны были пожертвовать малостью своих доходов, чтобы укрепить шатающееся здание монархии, не пожелали ничем поступаться. Каждый считал: пусть выкручиваются как хотят, но без него. Созыв нотаблей окончился полной неудачей.

Два неурожайных года подряд — 1787 и 1788, беспримерно суровая зима 1788/89 года, когда замерзла Сена и другие реки на севере Франции, катастрофически ухудшили положение крестьянства, бедноты и мелкого люда в городах. Народ не мог и не хотел мириться с лишениями и страданиями.

Пытаясь преодолеть быстро углублявшийся кризис режима, королевская власть объявила о проведении выборов в Генеральные штаты.

XVI

Граф Оноре де Мирабо в январе 1786 года в небольшом, но удобном экипаже выехал из Парижа с особым дипломатическим паспортом по дорогам, идущим к восточной границе. Мирабо ехал не один. Вместе с ним в дальнее путешествие отправились Жюли-Генриетта де Нейра и их маленький сын Люка де Монтиньи. Эту группу путников можно назвать маленькой семьей, не придавая этому определению юридического смысла. Случилось так, что при беспорядочном образе жизни, изобиловавшей случайными связями, Мирабо неожиданно привязался к молоденькой, почти в два раза моложе его блондинке — умной, образованной, рассудительной, приобретающей день ото дня все большее на него влияние. Это новое, последнее увлечение Мирабо не напоминало прежней страсти к Софи Моннье; он стал старше, и чувства его уже были иными. Любовь дополнялась дружбой и своего рода интеллектуальным сотрудничеством. Мадам де Нейра была весьма ценным участником и помощником всех его важнейших литературных начинаний. Маленький мальчик, который ехал рядом с ними в карете, был сыном Мирабо от другой женщины. Прелестный мальчик, к которому Мирабо очень привязался и для которого мадам де Нейра добровольно и с большим желанием стала матерью. Как известно, позже благодаря Люке де Монтиньи последующее поколение стало располагать одной из наиболее полных и хорошо документированных биографий Мирабо²⁹. И если книгу Монтиньи с известным основанием обвиняют в апологетиче-

ском характере, то по-человечески трудно в этом обвинить сына, гордившегося своим отцом.

Итак, экипаж, уходивший все дальше на Восток, направлялся в Берлин. Не будем здесь излагать историю двухлетнего пребывания Мирабо и его маленькой семьи ни в Потсдаме, где ему удалось дважды встретиться с уже почти агонизирующим железным монархом Пруссии, ни в Магдебурге, ни в Берлине, ни в родовом поместье герцога Брауншвейга, с которым ему удалось установить тесные связи.

Мирабо с его даром политической ориентации разобрался быстро и во внутреннем механизме Прусской монархии, и в реальной расстановке политических сил внутри страны. Его практические соображения, которые он адресовал версальскому кабинету, были разумны и обоснованны с точки зрения защиты интересов Франции. С первых дней приезда он наткнулся на противодействие, на открытую оппозицию официального французского посла в Берлине, и должно признать, что Мирабо понимал реальности прусской политики лучше, чем официальный представитель Франции.

В Берлине Мирабо начал грандиозный труд о Прусской монархии. Удивительнее всего то, что у него хватило сил и настойчивости довести его до конца. То было обширное сочинение в четырех томах, рассматривающее в самых разных аспектах деятельность, внутреннюю природу Прусской монархии, возглавляемую Гогенцоллернами. Конечно, с точки зрения современного читателя, это сочинение представляется архаичным, да иначе и быть не могло, так как оно написано в стиле литературных трактатов XVIII века и находится на уровне знаний и журнальных вкусов того времени. Но это сочинение свидетельствует не только о поразительной работоспособности и целеустремленности литературного творчества Мирабо. Оно само по себе и ныне продолжает оставаться источником первоклассного значения для понимания социально-политической природы Прусского государства конца XVIII века. Этот монументальный труд прельщает не только обилием конкретного фактического материала, богатством сообщаемых автором сведений, но прежде всего меткостью характеристик и глубиной понимания тупой, ограниченной, заносчивой, чванливой агрессивности прусских феодалов³⁰.

Труд о Прусской монархии не был бы завершен, если бы Мирабо не располагал таким неоценимым помощ-

ником, как госпожа де Нейра. В эти последние, наиболее плодотворные в литературном отношении годы мадам де Нейра являлась по существу его ближайшим помощником, почти соавтором. Тогда уже, собственно, создается то, что позже стали называть «ателье Мирабо». Уже в Пруссии наряду с госпожой де Нейра большую помощь в поисках и подборе материалов ему оказывал превосходно ориентировавшийся в немецких делах и долго живший в Германии Мовильон. Сотрудниками Мирабо были также Клавьер, Бриссо и ряд менее известных помощников.

Все больше внимания, времени, сил отдает Мирабо литературной деятельности. В 1788 году, после того как герцог Брауншвейг возглавляет прусскую армию, выступившую в поход против Голландии, Мирабо удаётся опубликовать в Англии резкий памфлет против Пруссии и против прусского генерала герцога Брауншвейга, которого ещё вчера он легковерно склонен был считать либералом, чуть ли не своим единомышленником.

Годом позже, уже вернувшись во Францию, Мирабо публикует приобретшие скандально-разоблачительную известность выдержки из писем, относящихся к интимной истории двора Гогенцоллернов. Эта книга, броско озаглавленная «Секретная история берлинского двора», вызывает крайнее недовольство французских правительственных кругов. Но Мирабо удалось уладить грозивший осложнениями конфликт официальным отрицанием своей причастности к этому изданию.

Мирабо пишет в эти последние предреволюционные годы много, запальчиво. Он теперь чувствует себя гораздо увереннее, чем раньше. Хотя большинство издаваемых им произведений в соответствии с обычаем времени не подписаны, многие из них пользуются широкой известностью. Так, его первая книга «Опыт о деспотизме» имела репутацию чуть ли не одного из ведущих произведений просветительской мысли.

Мирабо смело атакует и политических деятелей, пользовавшихся большим весом среди оппозиции в рядах третьего сословия.

Богатый банкир Неккер во Франции, с большим успехом приумноживший свое личное состояние, может быть, поэтому слывет среди французской буржуазии крупнейшим мастером финансового искусства. Французская буржуазия возлагает на Неккера все надежды. Принято считать, что лишь он один может спасти коро-

левство от финансового банкротства, что у него все карманы набиты спасительными рецептами излечения Франции.

Мирабо отнюдь не разделяет этих иллюзий. В силу множества причин частного, нередко второстепенного характера он терпеть не может этого деятеля. Отдавая себе отчет в том, что борьбой против Неккера он не будет способствовать росту своей популярности, Мирабо тем не менее решается на открытую войну против знаменитого финансиста. В момент, когда популярность Неккера достигает кульминации, Мирабо публикует против него памфлет «Письма о господине Неккере». Это «часы, которые всегда опаздывают», — пренебрежительно отзывается он о Неккере.

Не расчетливо, видимо, переоценивая свои силы, он ведет одновременно войну не только против Неккера, но и против еще могущественного в то время министра Калонна. Мирабо прозорливо предвидит скорое падение Калонна, но, не дожидаясь этого часа, он публикует и против него памфлеты. Впрочем, обширная литературная продукция Мирабо задевает интересы и других. Ироничный Бомарше, увлеченный в это время спекулятивными операциями крупного масштаба, попавший под критический обстрел Мирабо, насмешливо замечает: «С меня хватит этой мирабели, я ее наелся вдоволь».

С начала 1788 года Мирабо, еще ранее выезжавший на время из Берлина в Париж, окончательно остается в столице. Но семья его, без которой он чувствует себя бездомным, все еще находилась в Пруссии. И ему приходится изыскивать разные варианты ее возвращения в Париж. Самые главные трудности, как почти всю его жизнь, — финансовые. Ему уже около сорока лет, а он все еще не научился простому искусству считать деньги и жить сообразно своим доходам. Наконец с помощью друзей ему удается преодолеть препятствия, возникавшие на пути возвращения его семьи, и в 1788 году она воссоединяется.

Жюли-Генриетта возвращается вовремя. В 1788 году Мирабо валит с ног какая-то загадочная и причиняющая ему невероятные страдания болезнь. Врачи не могут поставить точный диагноз. В соответствии с канонами медицины того времени лечат пациента пусканием крови. Может быть, Мирабо за это время потерял около двух литров крови. И если в конце концов он преодолел все свои недуги и прошел через все опасные методы лечения тех лет, то этим он был обязан не только своему

могучему от природы организму, но и заботливому уходу жены.

Но этот хаотичный, внутренне противоречивый человек, на самом деле ощущающий облегчение лишь тогда, когда рядом с ним была его верная подруга, и искренне стремившийся закрепить этот союз, впервые давший ему душевный покой, умудряется собственными руками разрушить то, что было так счастливо им найдено. Он позволил втянуть себя в интрижку, переросшую в длительную устойчивую связь с женщиной сомнительной репутации, занимавшей его первоначально лишь как реальная хозяйка издательского предприятия. Жюли-Генриетта де Нейра до поры до времени терпела неверность своего мужа. Но и ее терпению пришел конец. В августе 1788 года она ушла из дома и в тот же вечер выехала в Лондон.

Еще вчера казавшееся таким надежным и счастливым семейное гнездо опустело. Мирабо был полон решимости все исправить, все изменить: поехать за Жюли в Лондон, уговорить ее вернуться, восстановить семейное счастье, которое он сам преступным легкомыслием разрушил.

Но наступил завтрашний день с новыми заботами, с делами, казавшимися, как всегда, безотлагательными. И то, что решено было сделать завтра, отодвигалось еще на один день, затем еще на один, и так все дальше, постепенно теряя свою настоятельность и мало-помалу превращаясь из жизненной необходимости в благие пожелания.

Мирабо еще представлялось, что вся жизнь впереди, что все еще только начинается, он еще не вступил даже в полную силу — ему ведь нет еще и сорока лет — и что он успеет еще все изменить, все повернуть к лучшему.

Бедный, слабый человек! Мог ли он знать тогда, что хотя действительно наступили самые важные страницы его биографии, но что они будут и самыми короткими и что жизнь, казавшаяся ему безбрежным океаном, уже шла к концу: не пройдет и двух лет, как она будет оборвана смертью.

XVII

18 ноября 1787 года Мирабо писал: «Франция созрела для революции».

Мирабо в эти последние годы случалось во многом ошибаться, совершать ложные или опрометчивые по-

ступки. Но о главном, о характере и тенденциях общественного развития он судил правильно. И в только что приведенном отрывке он также яснее, чем многие его современники, определил положение вещей. Франция действительно была на пороге революции. Мирабо столь же обоснованно высказывал еще в пору созыва нотаблей, когда многое было неясным и не представлялось неизбежным крушение последнего неудачного маневра Калонна, уверенность, что в скором времени король окажется перед необходимостью созыва Генеральных штатов. И в этом он также не ошибся.

В августе 1788 года, после того, как потерпели неудачу все попытки Ломени де Бриенна (сменившего бежавшего Калонна) на путях реакционной политики преодолеть углублявшийся в королевстве кризис, после того, как вся страна узнала, что, несмотря на обещания и заверения, государственный дефицит превысил 140 миллионов ливров, монархии ничего не оставалось, как объявить о созыве Генеральных штатов на май 1789 года.

Все мгновенно пришло в движение. Созыв Генеральных штатов, предстоящее выдвижение кандидатов в депутаты, подготовка наказов, обсуждение необозримых задач — все это кружило головы, рождало радостные ожидания, большие надежды.

С первых же дней после опубликования королевского указа о Генеральных штатах выявилось глубокое расхождение между целями и задачами монархии, с одной стороны, и всей нации — с другой. Король надеялся, что Генеральные штаты дадут ему возможность отсрочить или полностью избежать нарастание революционного кризиса и обеспечат пути преодоления финансового банкротства и пополнения пустой королевской казны. Франция, вернее мыслящая часть французского общества, менее всего была озабочена узкофинансовыми задачами, волновавшими двор. В созыве Генеральных штатов видели начало новой эпохи. Генеральные штаты — это было преддверие национального собрания, это был орган, представляющий собственно нацию, который призван объединенными усилиями выработать для Франции конституцию.

Мирабо давно уже не испытывал такого прилива душевных и физических сил, такого внутреннего подъема,

как в те дни 1788 года. Он чувствовал, что его час пришел.

Без колебаний он сразу же решил, что должен баллотироваться как кандидат от Прованса. Но от кого? От дворянства или от третьего сословия Прованса? Его первым решением, очевидно недостаточно обдуман-ным, было выставить свою кандидатуру от дворянства Прованса. Вероятно, ему представлялось это самым естественным и простым для графа Мирабо. Он пред-принял некоторые необходимые практические меры: на-до было зарегистрировать принадлежащий ему земель-ный участок, надо было вступить, как это вошло с нача-ла 80-х годов в моду, в один из замкнутых клубов. И он при содействии Талейрана стал членом «Клуба 30-ти». Но все эти усилия оказались напрасными. Он забыл, что в Эксе еще сравнительно недавно закончился нанесший тяжелое моральное поражение Мариньянам судебный процесс. Могли ли Мариньяны допустить избрание своего смертельного врага графа Мирабо в депутаты от дворянства Прованса?

Дворянство Прованса отвернулось от графа Мирабо. Ну что же, тем лучше! Мирабо был рад, что жизнь ис-правила допущенную им ошибку. Он предложил свою кандидатуру третьему сословию. Он опубликовал весь-ма искусно составленный манифест, озаглавленный «Мирабо — провансальской нации». Манифест был встречен восторженно буржуазией и народом этой бога-той провинции.

Зиму и начало весны 1789 года Мирабо провел в Провансе. Он выступал с программными речами перед будущими избирателями. Уже в ходе этой избиратель-ной кампании полностью раскрылось изумительное ора-торское искусство Мирабо. Вероятно, правильнее даже говорить не об ораторском искусстве, а об особом талан-те, даре трибуна.

В XVIII веке было принято читать речи по заранее написанному тексту. Так поступали будущие знамени-тые ораторы Конвента: Максимилиан Робеспьер, Жорж Дантон, Сен-Жюст и другие. Так поступал ранее и Мирабо. Некоторые из его речей на судебных процессах в Понтарлье и Эксе были написаны заранее. Уже в ходе судебных процессов Мирабо отходил от подготовленных текстов, и всякий раз удачно. Во время многочисленных выступлений в Провансе в 1788—1789 годах сама прак-тика доказала, что наиболее удачными бывают его им-

провизированные речи. В спонтанной, как бы стихийно развивающейся речи Мирабо неожиданно находил такие яркие краски, такие образные, врезающиеся в сознание слушателей выражения, которые были бы невозможны в тщательно обдуманной, заранее написанной речи. Казалось, что его несет поток мыслей и слов. И представлялось почти необъяснимым, как он в состоянии управлять этой стремительно несущейся, как бы расплавленной лавиной звуков, низвергаемых им с трибуны. Всякий раз это производило на аудиторию впечатление какого-то чудодействия, колдовства.

Эти захватывающие слушателей импровизации были бы невозможны, если бы Мирабо не обладал исключительными голосовыми данными и по мощи их звучания, казавшейся безграничной способности наращивать силу звуков, и по мастерству инстинктивно найденной способности их модуляции.

Альфонс Олар в двухтомной работе «Ораторы революции» главное место уделил анализу ораторского мастерства Мирабо. Сегодня едва ли было бы уместно рассматривать по существу эту работу, написанную много десятилетий назад. Все же нельзя не отметить, что при рассмотрении своеобразия ораторского дара Мирабо Олар, на мой взгляд, упустил из виду одну из самых важных сторон неповторимого таланта Мирабо. От рождения, от природы в Мирабо был скрыт великий талант артиста. Это был, по-видимому, один из самых крупных актеров своего времени. Мирабо обладал поразительным чувством аудитории, пониманием ее сокровенных мыслей, желаний, неосознанных стремлений. Но он был не рабом своих слушателей, а их вождем. Чувствуя аудиторию, он инстинктивно, в соответствии с ходом своей мысли, умел находить отвечающие моменту интонации, верные жесты, неожиданно рождавшие у него суммирующие, обобщающие формулировки, подкрепляемые могучим размахом руки.

Может быть, сам Мирабо и не догадывался об этом: ведь его ораторское дарование и таящиеся в нем возможности впервые для него раскрылись сначала еще не полностью во время судебных процессов в Понтарлье и Эксе, а затем в полную силу — в его выступлениях в Провансе в 1788—1789 годах.

Но конечно, как ни велика была сила исключительного ораторского дарования Мирабо как трибуна поразительной мощи (и в этом смысле он оставался непрев-

зойденным на протяжении всех последующих десятилетий; больше всех к нему позже приближался Жан Жорес), огромное политическое влияние, которое он приобрел в последние два года своей жизни, объяснялось не столько его силой трибуна, сколько политическим содержанием его выступлений.

Каково было главное политическое содержание речей Мирабо в 1788—1789 годах?

То были часы раннего, наступающего утра. То было время безграничных надежд, иллюзий, ожиданий всеобщего счастья. Тот золотой век, то счастливое время господства разума, торжества добродетели, великих принципов свободы, о которых на протяжении более ста лет возвещала передовая, просветительская мысль, тот идеальный и идеализированный Монтескье, Вольтером, Гельвецием, Дидро, Гольбахом, Кондильяком, Д'Аламбером, Жан-Жаком Руссо мир торжества естественных прав человека наступал. Престиж, моральный авторитет литераторов школы Просвещения никогда не был так велик, как в эти годы. Замечательные успехи естественных наук тех лет: создание братьями Монгольфьер летательного аппарата, первый полет Шарля и Робера на летательном аппарате при огромном стечении толпы в Париже, на Марсовом поле, а затем перелет Бланшара в 1785 году на воздушном шаре через Ла-Манш, открытие Лавуазье химического состава воды и другие успехи физики и механики — рождали уверенность в безграничной возможности дерзающей человеческой мысли.

Если стало возможным проникновение в воздушное пространство, если человек отвоевывал небо, остававшееся до сих пор неприкосновенным доменом господ бога и его служителей на земле — святой католической церкви, то есть ли силы, способные остановить творческую энергию человека, перестраивающего общество на разумных началах? Таковы были в самом приближенном и грубо обобщенном изображении иллюзии, разделявшиеся самыми широкими слоями французской нации в предреволюционные годы.

Все ожидали, что мир изменится к лучшему в самое короткое время. Но было бы ошибочно представлять себе, что французские буржуа, крестьяне, городская беднота, составлявшие подавляющее большинство населения страны, оставались бесстрастными, пассивными созерцателями, ожидавшими чуда, которое явится откуда-то извне.

Нет, то были люди, отчетливо сознававшие, кто преграждает им путь к счастью на земле. У них были прямые классовые противники (хотя этим термином в ту пору еще, конечно, не пользовались) и старые, не сведенные до конца счеты. Их прямые интересы, их общественное негодование, более того, социальная ярость были направлены против двух привилегированных сословий — против духовенства и дворянства. На протяжении долгих столетий эти господствующие, привилегированные сословия угнетали, эксплуатировали, унижали весь народ страны.

Мирабо предстал перед третьим сословием Прованса прежде всего как главный обличитель аристократии, дворянства и князей церкви. У него были свои счеты с этой спесивой богатой знатью, травившей его двадцать лет чуть ли не собаками. Он не забыл ни замка Иф, ни Маноска, ни крепости Жу, ни, конечно, башни Венсенского замка. Он помнил и последний процесс в Эксе, и то высокомерное презрение, с которым дворянство Прованса отвергло его, когда он по наивности предложил ему сотрудничество. Пришла пора рассчитаться. Никто с такой точностью не мог наносить удары по самым чувствительным местам аристократии Прованса, как граф де Мирабо, вышедший из ее рядов. Он-то, конечно, знал лучше, чем кто-либо, все тайные пороки, коварные помыслы, черные дела, преступные действия этих кичащихся своим философским беспристрастием или рыцарскими добродетелями знатных господ в изящных туфельках на красных каблуках. И он с беспощадностью срывал с них маски, представлял их избирателям в подлинном их виде. Слуги деспотизма — кто они? Это аристократия, это князья церкви.

Аудитория, состоявшая из крупных негоциантов, арматоров, рыночных торговцев, трудового люда городов, крестьян, пришедших из окрестных деревень, ревела от восторга, когда оратор с трибуны местных штатов Прованса или какого-нибудь собрания горожан наносил удар за ударом высокомерной провансальской знати. То, что этот обличитель привилегированных сословий, столь дерзкий, что ничего подобного до сих пор никогда не приходилось слышать, принадлежал по рождению к одной из самых знатных фамилий Прованса, придавало еще большую ценность его сенсационным обличительным речам. «Да здравствует граф де Мирабо!» — ревела

аудитория, а базарные торговки Марселя засыпали цветами экипажи, в которых Мирабо проезжал по городу.

Но Мирабо, будучи опытным и мудрым политическим деятелем, понимал, что одной лишь негативной программы, одного лишь обличения пороков привилегированных сословий и чудовищного произвола системы деспотизма недостаточно. Нужна была и позитивная программа. И ему было что сказать.

Читая теперь, почти двести лет спустя, эту позитивную программу, с которой Мирабо выступал перед своими избирателями, нельзя не отметить ее умеренность, ее кажущуюся ограниченность.

К чему эта программа сводилась?

Общие политические лозунги — свобода и равенство. Братство — третий главный лозунг того времени также встречался в выступлениях Мирабо, но ему уделялось меньше внимания; прежде всего, важнее всего свобода!

Лозунг свободы имел и ясное, конкретное содержание: он означал требование уничтожения деспотизма, т. е. по существу феодально-абсолютистского режима, и превращения Франции в конституционную монархию.

Но как прийти к этому? Как завоевать свободу? Как обеспечить равенство? Как проложить путь к конституции?

Мирабо отвечал на это с убежденностью: сплочением всех сил нации, объединением, единством, нерушимым союзом всего третьего сословия. Призыв к единству и объединению был лейтмотивом всех его выступлений того времени. Он многократно возвращался к этому предмету в каждой своей речи. Порой это могло производить впечатление даже какой-то навязчивой идеи. Солидарность, сплоченность, союз всего третьего сословия в борьбе против привилегированных сословий в его устах становились главной, решающей задачей момента.

Нетрудно заметить, что вся эта программа, которую Мирабо развертывал перед своими слушателями, была по преимуществу политической программой. Социальные вопросы, имевшие в ту пору, естественно, большое, быть может, не менее важное значение, чем политические, он обходил молчанием. Например, ему часто приходилось говорить о равенстве — одном из самых популярных лозунгов эпохи, но он трактовал его ограниченно, главным образом как требование уничтожения сословного неравенства. Социальные аспекты лозунга

равенства — любые варианты уничтожения имущественного неравенства он оставлял без рассмотрения, как если бы они не ставились самой жизнью, либо хотя и в общей форме, но вполне определенно указывал на их неосуществимость.

Как оценивать эти выступления Мирабо? Что же — то были сильные или слабые стороны его политического мышления? Каким знаком их сопровождать — плюсом или минусом?

Несомненно, что одолеть могущественные силы феодально-абсолютистского режима и привилегированных сословий, опирающихся на мощный репрессивный аппарат, можно было лишь при самом тесном сплочении всех сил третьего сословия. Таково было объективное требование момента. Как известно, третье сословие по классовому составу было неоднородным. Интересы буржуазии, крестьянства, предпролетариата и городской бедноты отнюдь не во всем совпадали. Напротив — и последующая история Великой французской революции это наглядно показала — между ними существовали противоречия.

Однако на начальном этапе революции и особенно в ее преддверии решающее значение приобретали не разъединявшее их различие или столкновение классовых интересов, а то, что их объединяло. Общность интересов преобладала над расхождениями в целях и задачах. Главное, в чем жизненно были заинтересованы буржуазия, крестьянство, рабочие, санкюлоты, — это уничтожение тирании деспотизма, господства привилегированных сословий, как говорили в ту пору, т. е. уничтожение феодально-абсолютистского режима.

Ни одна из составных сил третьего сословия порознь не могла решить этой задачи. Буржуазия, стремившаяся освободиться от препятствовавших ее экономической инициативе пережитков средневековья, созревшая для того, чтобы стать у кормила правления и перестроить страну на новый, буржуазный лад, буржуазия одна, без союза с народом, была не в состоянии решить эту задачу. В той же мере и многомиллионное крестьянство, составлявшее подавляющее большинство населения страны, одно, без союза с буржуазией и беднейшими слоями города — рабочими, санкюлотами, тоже не могло решить этой задачи.

Сама объективная расстановка классовых сил в стране требовала максимального сплочения всех состав-

ных элементов третьего сословия в единый лагерь, вступавший в борьбу с могущественными силами старого режима.

Одолеть такого могущественного противника, как феодально-абсолютистский строй, можно было, только выступая сообща, сплоченно. В наше время мы бы сказали, что объективная необходимость требовала создания единого фронта против феодалов. В ту пору так не говорили, конечно. Но нашли иное превосходное определение, подчеркивавшее общность спланивавших интересов: термин «народ». Народ (по-французски это звучало и *peuple* и *nation*) и нация — это и было слитое воедино то, что при неограниченной монархии именовалось третьим сословием.

Политическое чутье Мирабо подсказало ему правильное понимание особенностей сложившегося соотношения сил в стране и главные политические задачи момента.

В чем была сила политических выступлений Мирабо? Прежде всего в том, что его главный политический лозунг — единство, сплочение — объективно отвечал основному требованию времени.

Жан Жорес в «Социалистической истории французской революции» справедливо обратил внимание на то, что Мирабо в своих речах в местных штатах Прованса противопоставлял народ (под которым он подразумевал и буржуазию, и крестьянство, и рабочих) как сообщество производителей, как единство людей труда бесплодной привилегированной касте дворян, паразитическому меньшинству³¹.

Могут сказать, что и другие деятели предреволюционного времени ставили эти же вопросы. Это, конечно, верно. И нет недостатка в примерах. Но ежели, скажем, обратиться к одному из самых популярных произведений предреволюционного времени — к нашумевшей брошюре Сиейеса «Что такое третье сословие?», то легко заметить, что если он и ставит сходные вопросы, то сама тональность его изложения, манера трактовки вопросов совершенно иная. Приобретшие хрестоматийную известность первые три вопроса звучали так: «Что такое третье сословие? — Все.

Чем оно было до сих пор в политическом строе? — Ничем.

Чем оно хочет быть? — Стать чем-то»³². С робо-

стью и подчеркнутой скромностью пожеланий Сиейеса резко контрастируют речи Мирабо.

В отличие от просительного тона Сиейеса Мирабо говорит языком требований, языком угроз. Его речь напориста, динамична, полна энергии.

В годы борьбы против фашизма и надвигавшейся опасности войны Ромен Роллан напомнил о стиле речей 1789 года: «В те времена французы знали полный смысл слова «хотеть». Оно не означает: «Я хотел бы...» Оно означает: «Я хочу». Следовательно, я действую»³³.

Мирабо был одним из тех, кто создал этот волевой, действенный стиль речей 1789 года. Он не просит, не высказывает благих пожеланий. Его речам присущ повелительный тон. Он говорит от имени народа, от имени всей нации. И народ, а не эти бездельники — дворяне будет определять судьбу страны.

Жорес полагал, что Мирабо был первым, кто прибег к угрозе всеобщей стачки производителей³⁴. Возможно, Жорес здесь излишне нажимал на перо, как бы форсировал смысл речи Мирабо. Несомненно, Мирабо и в самом деле подчеркивал, что само существование привилегированных сословий полностью зависит от людей труда, будь то предприниматель или простой рабочий. Для речей Мирабо этого времени весьма симптоматично, что он говорит не о противоречиях, имевшихся в реальной жизни между хозяевами и рабочими, между богатыми и бедными, а о том, что их объединяет. Все эти люди, занимающиеся производительным трудом, создающие материальные ценности, эти самые полезные люди полностью бесправны и должны подчиняться бездельникам и кутилам, хвастающимся тем, что в их жилах якобы течет голубая кровь. Этот подход, который в иную эпоху можно было, по терминологии XX века, назвать оппортунистическим, в XVIII столетии, на пороге буржуазной революции, был исторически оправдан. В ту пору, когда над Парижем еще висилась казавшаяся несокрушимой крепость-тюрьма Бастилия, когда тысячелетняя монархия с ее огромным аппаратом насилия представлялась неодолимой силой, объективные задачи близящейся революции повелительно требовали сплочения всех сил третьего сословия.

Конечно, классовые противоречия внутри третьего сословия сохранялись, но не о них надо было в тот момент говорить. Более того, все то, что разъединяло третье сословие, все спорные или нерешенные вопросы вре-

менно должны быть отодвинуты в сторону. На первый план следовало выдвигать то общее, что сближало, что делало необходимым боевой союз всех сил третьего сословия против общего врага.

В 1788—1789 годах буржуазия смело шла на союз с народом. И это придавало ей силу. Народ видел в ту пору в буржуазии прежде всего союзника в борьбе против ненавистных деспотических порядков и феодальной эксплуатации. Все были жизненно заинтересованы в том, чтобы положить конец феодализму.

Сила Мирабо в том и была, что он понял сложившуюся ситуацию лучше, глубже, яснее, чем кто-либо из его современников. Ему тем легче было это понять, что такой ход идей отвечал внутреннему строю его мыслей и чувств. Однако не следует терять из виду, что при всей неукротимой энергии, при всей искренности его презрения, его афишируемой вражде к аристократии, к спесивому дворянству, от которых он столько натерпелся за свою предшествующую жизнь, сам он по своему внутреннему складу, привычкам, психологии все-таки оставался сеньором, барином, аристократом, так никогда и не слившимся полностью с простым народом, интересы которого он в то время вполне искренне защищал.

Исключительная популярность Мирабо, огромный авторитет, который он быстро приобрел первоначально в Провансе и отголоски которого стали слышны во всей Франции, объяснялись не столько его ораторским даром, сколько ясностью и определенностью его политической программы, отвечавшей требованиям того времени. Никто с такой убедительностью и силой не сумел обрисовать главные задачи, стоявшие перед Францией в тот момент, как Мирабо. В этом разгадка тайны его ошеломляющего успеха. Каждая его речь заканчивалась грандиозной овацией аудитории. Молодежь распрягала лошадей его экипажа и везла либо несла его на руках. Банкиры, крупные купцы, базарные торговки рыбной снедью, портовые рабочие окружали его в Марселе густой толпой, забрасывая цветами и выкрикивая: «Да здравствует Мирабо — отец отечества!»

Мирабо был избран одновременно депутатом в Генеральные штаты от третьего сословия города Экса и города Марселя. Но поскольку в Эксе он был избран первым в избирательном списке, а в Марселе четвертым, он отдал предпочтение городу Эксу.

Униженное и испуганное его беспримерным успехом

дворянство Прованса избрало своим депутатом его младшего брата виконта Мирабо, прозванного за приверженность к горячительным напиткам «Мирабо-бочка», стремившегося, но так и не набравшегося храбрости выступить против своего старшего брата с крайне правых позиций.

Избрание Мирабо депутатом сопровождалось новой волной манифестаций народа в его честь. Он приобрел в Провансе такой непререкаемый авторитет, что когда в Марселе возникли крупные народные волнения, вызванные провокационными или бессмысленно раздражающими действиями местных властей, то комендант Марселя Караман, еще недавно презрительно отзывавшийся о Мирабо, вынужден был в почтительно-смиренных выражениях просить самого авторитетного в Провансе руководителя третьего сословия лично вмешаться, чтобы успокоить народ и спасти ему жизнь.

Мирабо пришлось ехать в Марсель. Его речи, обращенные непосредственно к народу, внесли успокоение в городе. Он наводит порядок и в Эксе. Не занимая никакой должности, не имея никакого официального положения, он становится в сущности главным политическим арбитром провинции Прованса.

По собственной инициативе, ни с кем не советуясь, он принимает решение о создании вооруженных отрядов, сформированных из добровольцев третьего сословия. Так по существу еще ранее, чем в Париже, Мирабо становится фактическим организатором национальной гвардии — вооруженной силы третьего сословия, вооруженной силы приближающейся революции. С Мирабо все должны отныне считаться. К каждому его слову прислушивается не только восторженно приветствующая его народная толпа, но еще вчера так безрассудно, высокомерно отвернувшееся от него дворянство. Ведь этот человек, пожелай он только, мог бы без каких-либо препятствий стать диктатором Прованса.

Но Мирабо это ни к чему. Он торопится в Париж, в Версаль. Там только и начнется настоящая, большая игра. Он уезжает в экипажах, забросанных доверху цветами, его провожает до самой границы Прованса и Дофинэ эскорт всадников из молодежи с факелами в руках.

Какая странная, превратная судьба у этого человека! Двадцать лет гонений, преследований, унижений, тюремных заключений и почти мгновенно полное изменение судьбы, триумф, всеобщее признание, почет и слава.

5 мая 1789 года в Версале, в так называемом зале Малых забав, вступительной речью короля и докладом Жака Неккера — фактического главы правительства — состоялось торжественное открытие Генеральных штатов.

Депутаты разделены на три сословия. В нарядных одеждах, в широкополых шляпах с перьями, в туфлях на высоких красных каблуках, живописными рядами, строго сохраняя свою обособленность, в уверенных и непринужденных позах стоят представители дворянства.

В пышных сутанах и строгом черном одеянии по другую сторону также с сознанием своей важности и значительности стоят представители духовенства.

И наконец, поодаль, как бы на втором плане, с непокрытыми головами в однообразном одеянии жмутся друг к другу представители самого многочисленного третьего сословия. По установленному королевским указом порядку, третьему сословию, представляющему девять десятых всей нации, предоставлено 600 мест — столько же, сколько духовенству и дворянству вместе.

В зале царит оживление. Все охвачены нетерпеливым ожиданием. Все ждут, что в тронной речи Людовика XVI будут возвещены великие реформы, преобразования, призванные обновить и возродить страну.

Депутаты третьего сословия, либо никогда здесь не бывавшие, либо бывавшие крайне редко и только в роли просителей, в этих великолепных, нарядных апартаментах чувствуют себя робко и неуверенно. Лишь один среди них с высоко поднятой головой непринужденно, спокойно разглядывает присутствующих. Это граф де Мирабо. Но и он в толпе депутатов третьего сословия мало замечен. Да на него и не обращают большого внимания.

Слава сопровождала его лишь по дорогам Прованса. В соседних провинциях, в Париже, в Версале все приходилось начинать сначала.

В зале «Малых забав» и других покоях великолепного королевского дворца в Версале, где заседали Генеральные штаты, было совсем не просто заставить прислушаться к своему голосу. Среди депутатов Генеральных штатов было немало людей, имевших уже громкое имя в стране и внутренне предрасположенных к тому, чтобы играть роль лидера или влиятельного советника

третьего сословия. Самым популярным и авторитетным был, бесспорно, маркиз де Лафайет, участник войны за независимость Америки, генерал американской армии, друг Вашингтона; он слыл «героем Нового и Старого Света» и, хотя и был избран в Генеральные штаты от дворянства, был бесспорно самым крупным авторитетом для депутатов третьего сословия.

Широкой известностью пользовались и ничем внешне не примечательный аббат Сиейес; важный, степенный, всегда самоуверенный ученый-астроном Байи; адвокат из Бретани Рене Шапелье, крепкий, коренастый человек, с первых дней заседаний считавший своим долгом выступать по любому вопросу; Шарль де Ламетт, происходивший из старинной аристократической фамилии, стяжавший себе широкую известность своим активным участием в американской войне; один из самых молодых депутатов (в 1789 году ему было двадцать восемь лет), Антуан де Барнав, умный, энергичный, превосходный оратор; коварный и лукавый князь Талейран, избранный депутатом от духовенства; и среди них скромный и еще никому не известный депутат от Арраса Максимилиан де Робеспьер — сколько выдающихся политических деятелей, большинство из которых претендовало играть в этом Собрании первую роль. Когда проходили по залу Лафайет, Байи или Сиейес и другие, никому не ведомые депутаты из провинции, составлявшие большинство представительства третьего сословия, перешептывались между собой: «Смотрите, вот идет Лафайет», «Вот идет Сиейес».

Среди этих соперничающих честолюбий Мирабо было нелегко выдвинуться вперед, завоевать симпатии или хотя бы заставить слушать себя. Было бы ошибочным сказать, что его не знали, что его имя оставалось неизвестным. Нет, у него была определенная известность. Но сама эта известность, весьма двусмысленная, скорее таила в себе предубеждение против него. Шумные, скандальные события его предшествующей жизни с большей или меньшей степенью достоверности, нередко со многими преувеличениями доходили и до провинциальных буржуа. К нему относились с недоверчивостью и настороженностью. Максимилиан Робеспьер в письме к своему другу Бюиссару от 24 мая 1789 года, давая характеристику наиболее заметных депутатов Генеральных штатов, о Мирабо писал: «Граф Мирабо не имеет никакого влияния, потому что его нравственный облик

не внушает к нему доверия»³⁵. Эти строки из частного письма Робеспьера, никогда ранее не встречавшегося с Мирабо, отражали ходячее мнение, господствующее в Версале, о депутате третьего сословия от Прованса.

Мирабо с его острым политическим чутьем, конечно, догадывался об этих настроениях. Но это его не смущало. Вкусив в Провансе от плодов дерева Славы, он был теперь уверен в себе и знал источник своей силы.

С первых же дней работы Генеральных штатов третье сословие натолкнулось на препятствие на первый взгляд формально процедурного характера — как проверять полномочия депутатов, как проводить голосование: по сословиям или сообща. За этой формальной стороной скрывалась одна из главнейших проблем будущего. Привилегированные сословия, поддерживаемые королем, настаивали на сословном голосовании. И именно поэтому, так как два всегда больше одного, депутаты третьего сословия категорически возражали, настаивая на персональном, поименном голосовании. Возникший на этой почве конфликт столько раз описан во всех работах по истории французской революции, что нет нужды здесь рассказывать все его перипетии, затянувшиеся почти на два месяца, поставив под угрозу самую будущность представительного органа, собравшегося в Версале. В ходе этих дебатов Мирабо несколько раз выступал: 18, 27, 28 мая. Исключительная сила его голоса и выразительность его речи заставили аудиторию слушать его со вниманием, хотя еще и не завоевали ему симпатий. Лишь одной неожиданной, импровизированной речью 11 июня, когда по ходу прений он счел необходимым выступить в защиту одного из своих друзей, журналиста дю Ровера, которого один из предыдущих ораторов требовал удалить из зала как недепутата, Мирабо сумел приковать к себе внимание всей аудитории. Эта краткая речь, как почти всегда в импровизациях Мирабо, была произнесена страстно и вдохновенно. Впервые речь Мирабо была встречена аплодисментами всего зала.

Решающий перелом произошел на знаменитом заседании 23 июня 1789 года, когда явившийся обер-церемониймейстер двора маркиз де Брезе зачитал распоряжение короля, предписывающее депутатам немедленно разделиться по сословиям и заседать отдельно.

Депутаты третьего сословия были в замешательстве. Открыто воспротивиться королевскому приказу? На это не хватало смелости. Подчиниться ему? Это зна-

чило капитулировать и добровольно отдать все с таким трудом завоеванные за два месяца позиции. Вероятно, мысленно каждый из присутствующих задавал себе вопрос: «Что же делать? Как поступить?»

И в это мгновение растерянности и колебаний Мирабо уверенным, почти повелительным тоном ответил де Брезе: «Вы, кто не имеет среди нас ни места, ни голоса, ни права говорить, идите к Вашему господину и скажите ему, что мы находимся здесь по воле народа и нас нельзя отсюда удалить иначе, как силой штыков». Зал облегченно вздохнул. Казавшаяся почти неразрешимой дилемма мгновенно предстала легко и просто преодолимой.

Как свидетельствовали многочисленные очевидцы или современники событий, эта короткая реплика Мирабо произвела такое огромное впечатление на присутствующих не только существом своего содержания, но и тем, как она была произнесена. У маркиза де Брезе был слабый, еле слышимый голос, и зачитываемый им текст он произносил неуверенно, робко, с запинками, прилагая заметные, но бесплодные усилия к тому, чтобы быть услышанным в дальних рядах. Мирабо, говоривший со своего места без каких-либо усилий, своим могучим басом, твердо и уверенно, резко контрастировал с церемониймейстером короля. Растерянный, потерявший всякую самоуверенность, де Брезе поспешно удалился из зала.

С этого дня, с этой исторической фразы, на которой почти двести лет воспитывалось поколение французских школьников, Мирабо вошел в мировую историю. До 23 июня он был лишь одним из депутатов третьего сословия, более или менее удачно выступавшим в Собрании.

С 23 июня он стал вождем революции, более того, ее воплощением. Имя Мирабо и революция стали неотделимыми.

Как известно, эта знаменитая реплика Мирабо послужила поводом для многочисленных изысканий историков. Подобно всем историческим фразам, она была взята под сомнение. Ряд авторов брали под сомнение достоверность этой ставшей классической формулы, скрупулезно изучали условия, обстановку, мелкие детали знаменитого заседания 23 июня, иные доходили до самых крайних утверждений, что вся эта историческая сцена была чуть ли не мифом. Возможно и даже вероят-

но, что в некоторых из этих критических этюдов есть элементы достоверного или какие-либо аргументы, заслуживающие внимания. Однако при всем том подавляющее большинство источников того времени с неопровержимостью подтверждает основное содержание заседания 23 июня и решающую роль, сыгранную в этот день Мирабо.

Мы не можем здесь вдаваться в рассмотрение и сравнительное сопоставление всех высказываемых по этому поводу соображений. Да в этом и нет надобности. Историческая наука знает немало иных примеров возникновения длительных, с привлечением различных аргументов споров ученых по поводу тех или иных событий, прозванных историческими. Чтобы не ходить далеко за примерами, напомним хотя бы пристрастные споры и взаимоисключающие версии, возникшие по поводу знаменитой фразы Камбронна под Ватерлоо: «Гвардия умирает, но не сдается».

Каковы бы ни были расхождения спорящих сторон по поводу тех или иных подробностей событий, сам факт остается неоспоримым; такие вещи не выдумываются.

Так и история Великой французской революции, как она представлялась всегда последующим поколениям, уже невозможна без этой знаменитой реплики Мирабо. С этого полного достоинства и уверенности в своих силах ответа Мирабо представителю королевской власти и начинается, собственно, открытое сопротивление и противодействие третьего сословия абсолютной монархии. С этого же дня следует датировать и превращение Мирабо в общепризнанного лидера Национального собрания. Все иные претенденты на первую роль — Лафайет, Сиейес, Байи, Мунье, позволявшие себе еще вчера с чуть замаскированным недоверием и даже некоторым пренебрежением относиться к этому аристократу со скандальным прошлым, представлявшему третье сословие Прованса, теперь должны были потесниться, предусмотрительно пропуская его вперед. Как это было и в Провансе, Мирабо завоевал прежде всего симпатии народа. Париж до сих пор его не знал. После 23 июня Мирабо стал кумиром народа. Простые люди, мастера, рыночные торговцы, завсегдатаи вечерних кабачков передавали из уст в уста преувеличенные рассказы об этом графе огромного роста и с такой мощью голоса,

что он тушит им свечи, повторяя разукрашенные фантазией легенды о его невероятных подвигах.

Почти с первых дней созыва Генеральных штатов Мирабо стал издавать газету под названием «Journal des E'tats généraux» («Газета Генеральных штатов»). Неккер, которого он критиковал на страницах своей газеты, проявляя присущее ему отсутствие политического такта, запретил ее. Через день Мирабо вновь выпустил ту же самую газету под измененным названием: «Письма к моим избирателям». Эта неловкая и оставшаяся вполне бесплодной полицейская акция Неккера в большой степени способствовала росту популярности газеты Мирабо. Хотя формально газета была адресована избирателям Прованса, она стала одной из самых читаемых газет в Париже. Ее раскупали нарасхват.

В отличие от Марата, «делавшего» свою газету «Друг народа» фактически собственными силами, в одиночку, газету Мирабо подготавливало его «ателье». Трудно сказать, как велико было непосредственное участие Мирабо в написании собственно литературного текста. Вероятнее всего, оно было незначительным. На это у него просто не хватило бы ни времени, ни сил. Но он ощупью, стихийно приближался к роли редактора газеты более позднего времени. Он определял направление газеты, ее политическую линию, он давал оценки тем или иным событиям и людям. Его сотрудники, подготавливавшие тексты, шедшие в очередной номер, и организовывавшие ее печатание, оставались неизвестны читателям. Единственное имя, повторяемое на страницах газеты, было имя Мирабо. Но среди этих анонимных сотрудников, своего рода литературных «негров», было немало выдающихся и безусловно способных людей — К. Демулен, Клавьер и другие.

XIX

С 23 июня, со времени своей знаменитой реплики де Брезе, выведшей Национальное собрание из тупика, и на протяжении всего начального этапа революции Мирабо ходом вещей стал играть роль одного из главных руководителей Национального собрания. Его интуиция, быстрая, почти мгновенная реакция на меняющуюся обстановку, свободная ориентация в требованиях большой политической сцены подсказывали ему выступления и практические предложения Собранию, почти

всегда встречавшие широкое одобрение большинства депутатов.

Так, на том же заседании 23 июня Мирабо выступил вторично с превосходно аргументированным предложением декрета о неприкосновенности личности депутатов Национального собрания. Предложение это не только импонировало чувствам каждого из депутатов, оно имело и важное принципиальное значение. Депутаты, как представители нации, обретая иммунитет неприкосновенности, ставились выше законов монархии и королевской воли.

Внесенное Мирабо предложение было с энтузиазмом одобрено Собранием и обрело силу закона. Было принято также постановление опубликовать речь Мирабо.

Практически после заседания 23 июня длившееся два месяца препирательство между сословиями было прекращено. Большинство депутатов духовенства и дворянства, а затем и даже самые косные из них присоединились к Национальному собранию. И если первоначально депутаты первого и второго сословий садились еще особняком, то постепенно и эти различия стирались. Сословное разделение ранее всего перестало существовать в Национальном собрании; сословия были здесь фактически уничтожены. Здесь были только представители нации, и никакая иная трактовка была уже невозможна.

Мирабо теперь становится лидером, выразителем мнения большинства Национального собрания. Он угадывает и своим сильным уверенным голосом высказывает вслух то, что смутно еще, не осознанно до конца формируется в сознании депутатов.

Его теперь можно часто услышать с трибуны Собрания. После решающего дня 23 июня Мирабо выступает 27 июня, 2 июля, 3, 8, 9, 11, 15, 16 июля и т. д.³⁶ Некоторые из этих речей имеют большое политическое значение и существенно важны для хода политической борьбы в стране. Так, Мирабо был первым, кто, правильно разгадав контрреволюционные планы крайних элементов, взявших верх при дворе, столь же обоснованно, с точки зрения политической тактики потребовал от имени нации немедленного удаления войск из окрестностей Парижа и Версаля.

С первых чисел июня в Версаль и в предместья столицы один за другим вступали полки, прибывавшие из дальних провинций королевства. Были подтянуты зна-

чительные силы артиллерии. Район Парижа и Версаля был превращен в вооруженный лагерь.

Против кого сосредоточивались эти грозные вооруженные силы?

8 июля Мирабо поднялся на трибуну Собрания и во взволнованной, но хорошо рассчитанной речи заявил, что самым безотлагательным требованием, побуждающим его отвлечь Собрание от обсуждения общих важных проблем, является прямая опасность, угрожающая народу, его кровным интересам и представителям нации. Мирабо привлек внимание депутатов к внушавшему крайнее беспокойство сосредоточению войск и артиллерии вокруг Версаля и Парижа. Он заявил, что Национальное собрание обязано от имени всей нации обратиться к монарху с требованием немедленного вывода из зоны Парижа и Версаля угрожающих им войск.

Мирабо зачитал составленный им проект адреса королю. Он предлагал заменить королевские вооруженные части национальной гвардией, созданной самим народом, на которую следовало возложить поддержание порядка³⁷.

Сохранивший почтительность выражений, этот адрес тем не менее повторял основные требования, сформулированные в речи Мирабо: немедленный вывод королевских вооруженных сил и замена их национальной гвардией. И речь Мирабо, и предложенный им адрес встретили единодушное одобрение Собрания.

Робеспьер в письме к тому же Бюиссару от 23 июля 1789 года писал уже в совершенно ином тоне, чем раньше, о роли Мирабо: «Вы, конечно, знаете об адресе королю, представленном от имени Национального собрания и составленном графом Мирабо, который с некоторых пор очень хорошо себя проявил. Это подлинно возвышенное произведение, полное величия, правды и энергии»³⁸.

Выступления Мирабо в Национальном собрании 9 июля были в сущности первым политическим призывом к мобилизации сил народа и Национального собрания на противодействие контрреволюционным замыслам двора. То была первая политическая речь в цепи последующих выступлений других известных или безвестных ораторов, подготовивших народное восстание 14 июля 1789 года.

Мирабо проявил ту же политическую зрелость и быстроту политической реакции в последующих событиях.

Король ответил Национальному собранию, что находящиеся под Парижем и Версалем войска сосредоточены там исключительно в целях поддержания надлежащего порядка, но ежели они кого-то смущают, то он готов перевести Генеральные штаты в Нуайон или Суассон, а сам переехать в Компьен, откуда он будет поддерживать связь с Собранием. Зачитанный на заседании Национального собрания 11 июля, этот ответ короля был встречен громкими аплодисментами депутатов.

Лишь один Мирабо, поднявшись на трибуну, решительно отверг это предложение монарха. Он заявил, что, как и другие депутаты, он разделяет веру в добрые намерения короля. Но есть еще министры, есть администрация, есть силы, стремящиеся к обострению обстановки. «Ответ короля — это в действительности отказ. Вместо того чтобы удалить войска, нам, Собранию, предлагают самим удалиться в Нуайон или Суассон, где бы мы оказались окруженными со всех сторон войсками. Мы не станем даже обсуждать эти предложения; мы об этом не просили и не будем просить; мы требовали в адресе вывода войск, и мы вновь настаиваем на том же»³⁹.

Выступление Мирабо оказало отрезвляющее влияние на Собрание. В самом деле, против кого направлены эти грозные военные силы? Не следует ли ожидать, что в первую очередь они будут двинуты против Национального собрания? Разве не очевидно, что силой штыков партия деспотизма попытается перечеркнуть все завоеванное с таким трудом до сих пор?

С 11 июля в Париже в различных слоях общества широко распространились передаваемые шепотом слухи о том, что в самые ближайшие дни двор осуществит военный переворот: Собрание будет разогнано, мятежные главари Мирабо, Лафайет, Сиейес, Байи будут арестованы. Стрелка часов будет переведена назад; Франция вернется к временам Людовика XIV.

Как показали последующие события, эти слухи довольно точно передавали действительные намерения королевского двора.

С 11 до 15 июля нигде не отмечено ни одного выступления Мирабо. В решающие исторические дни 12—14 июля, когда на сцену выступает главная действующая сила — народ, когда под его ударами 14 июля рушится казавшаяся неприступной твердыней абсолютизма Бастилия, имя Мирабо нигде не встречается и не

упоминается. Позже это давало почву для кривотолков, неблагоприятных для трибуна. Но они должны быть решительно отвергнуты. Мирабо действительно не участвовал в событиях 13 и 14 июля. Причина была вполне уважительной. 13 июля умер его отец. Он, старший сын, выехал на похороны. 15 июля он был уже на заседании Национального собрания и одним из первых поднялся на трибуну.

Несмотря на падение Бастилии, исход революции еще полностью не определился и положение в столице оставалось крайне угрожающим, так как Париж и Версаль были наводнены войсками, преимущественно иностранными наемниками.

В короткой энергичной речи, обращенной к членам третьей депутации Собрания, направленной к королю с требованием вывода войск, Мирабо говорил: «Скажите королю, что иностранные орды, которыми мы со всех сторон окружены, вчера принимали визит принцев и принцесс, их фаворитов и фавориток... Скажите ему, что всю ночь эти иностранные сателлиты, купавшиеся в вине и золоте, в своих разнузданных разглагольствованиях предсказывали порабощение Франции и высказывали вслух свои воинственные намерения разгромить Национальное собрание»⁴⁰. Мирабо сравнивал эти сцены с началом Варфоломеевской ночи.

Но революция, начавшаяся с падения Бастилии в Париже, в течение нескольких дней могучей волной прокатилась по всей Франции. И в больших городах, и в малых, как только туда доходила весть о падении Бастилии, она мгновенно, как огонь, поднесенный к пороховому погребу, вызывала взрыв народной ярости. Повсеместно толпы людей выходили на улицу, своею волей смещали старые органы власти и заменяли их новыми выборными органами городского самоуправления — муниципалитетами, составленными в основном из представителей буржуазии. В ряде городов разгон старых властей сопровождался разрушением местных «бастилий», тюрем, городских ратуш, домов наиболее ненавистных народу представителей старой власти. В Труа народ убил мэра города, разгромил ратушу и, захватив склад соли, заставил продавать ее по дешевым ценам. В Страсбурге народ также разгромил здание ратуши. Полным хозяином улиц народ стал в Амьене, Руане и других городах.

На протяжении июля — августа эта «муниципаль-

ная революция», как ее называли историки, охватила все города Франции, приведя повсеместно к созданию новых, буржуазных по своему составу органов городской власти. Одновременно была создана новая вооруженная сила революции — местные отряды Национальной гвардии, сформированной из добровольцев из рядов буржуазии и народа.

С конца июля, когда необычайная, казавшаяся почти неправдоподобной весть о падении Бастилии достигла самых отдаленных, глухих уголков деревень, крестьянство восприняло ее как боевой призыв и поднялось на борьбу против помещиков-феодалов. По стране прокатилась волна вооруженных выступлений: крестьяне громили и сжигали феодальные замки, усадьбы сеньоров, уничтожали — рвали в клочья или сжигали на кострах феодальные акты, прекращали выплату феодальных налогов и выполнение феодальных повинностей. «Великий страх» охватил помещиков-землевладельцев, всех господ. Сеньоры бросали свои усадьбы и в панике бежали в города.

Революция разлилась по всей стране. Она пробудила, втянула в водоворот событий многомиллионные массы народа. Не оставалось больше во Франции такого уголка, где не было бы все взбаламучено поднявшимся народом. Революция обрела общенациональный характер, она стала необратимой.

XX

За короткий период от созыва Генеральных штатов до полной победы революции, за три-четыре месяца, Мирабо сумел завоевать такое огромное влияние на своих современников, приобрести такую огромную популярность в стране и далеко за ее пределами, утвердить в такой степени свой авторитет, что он становится по существу вождем революции. Успех Мирабо тем более поразителен, что в отличие от Лафайета, имевшего со времен американской войны за независимость широкую добрую славу, Мирабо должен был преодолевать предубеждения, существовавшие против него среди большинства депутатов. Не говоря уже о депутатах от дворянства и высших представителей духовенства, рассматривавших его как противника, как дворянина, предавшего интересы своего сословия, и в среде добропорядочных буржуа, представлявших третье сословие, к Мирабо относились

вследствие его скандальных историй с крайним недоверием.

Мирабо заставил своих коллег — депутатов Собрания отбросить эти личные чувства. Он сумел не только принудить их внимательно слушать каждое его выступление, но и следовать его советам, иногда звучавшим как прямые указания. После падения Бастилии Мирабо стал чуть ли не единственным депутатом Ассамблеи, который имел смелость учить Собрание, заставляя его менять тактику. И хотели того или нет депутаты, они должны были следовать советам Мирабо.

Как объяснить этот беспримерный успех человека, к которому совсем недавно относились с нескрываемым предубеждением? Только ли как результат его замечательного ораторского таланта, дара красноречия? Бесспорно, это единственное в своем роде редкое мастерство оратора-трибуна также сыграло определенную роль. Но главное было все-таки не в этом. Главное заключалось в том, что на этом раннем, начальном этапе революции поставленная Мирабо в качестве центральной задачи идея единства всех сил народа, всех классов в борьбе против абсолютизма отвечала объективным требованиям революции. Порой упускают из виду, что до середины июля, до падения Бастилии и вступления народа в борьбу, абсолютистский режим обладал еще большой силой. Двор располагал значительными вооруженными силами, не только полицией и собственно французскими полками, находящимися под командованием доверенных или близких ко двору аристократов. Абсолютистский режим располагал и такой опасной военной силой, как иностранные наёмные войска, не поддающиеся и чуждые революционной пропаганде, революционным веяниям века.

Сломить эти могущественные силы, на которые опирался деспотизм, свергнуть и уничтожить феодально-абсолютистский режим можно было лишь консолидацией, объединением всех сил нации. Мирабо это понимал лучше, чем кто-либо другой из его современников. Зародыши его мыслей можно проследить и в его ранних сочинениях, и в «Опыте о деспотизме», и в его размышлениях в башне Венсенского замка и др. Но там они проступали еще в эмбриональной форме, и это было понятно. Жизнь еще не ставила эти задачи в порядок дня. В 1789 году задача сплочения всех сил третьего сословия против абсолютизма стала повелительной необходи-

мостью, и Мирабо, с его быстрой политической ориентацией, это понял лучше, чем кто-либо из национальных руководителей Собрания. Знаменательно, что Мирабо, аристократ, граф де Мирабо, чаще и настойчивее, чем кто-либо другой, требует единства буржуазии и простого народа — рабочих, бедных людей. Даже Марат, ранее других проявивший недоверие к Мирабо, и тот должен был признать, что Мирабо пользуется особой популярностью среди городской бедноты, среди рабочих⁴¹. Это действительно так и было. Когда он появлялся на улицах Парижа, простые люди его окружали, радостно приветствовали возгласами: «Да здравствует Мирабо — отец народа!»

Жорес в своей «Социалистической истории французской революции» объяснял такой стремительный рост популярности и политического влияния Мирабо тем, что все его практические предложения были политически наиболее разумными. Он лучше, чем кто-либо, понимал задачи революции. Именно Мирабо сумел проявить необходимый политический такт и разум, публично солидаризовавшись с трибуны Национального собрания с восставшим народом, штурмовавшим Бастилию. Он взял на себя смелость учить Собрание. Когда Собрание, узнав, что король направляется на его заседание, стало проявлять неумеренные восторги по одному лишь этому поводу, Мирабо не побоялся выступить наперекор этим настроениям. «Подождем, — сказал он, — чтобы его величество подтвердил бы нам сам те благие намерения, которые ему приписываются». Мирабо счел нужным напомнить: «В Париже льется кровь наших братьев; пусть мрачная почтительность будет единственной формой приветствия монарху от представителей несчастного народа». Он призывал депутатов отказаться от всяких неуместных в данной обстановке восторгов: «Молчание народа — урок королю»⁴².

Можно считать бесспорным, что из всех деятелей Национального собрания на решающем, начальном этапе революции Мирабо оказался политически наиболее зрелым его руководителем.

Именно политическая мудрость, смелость, отвага, проявленные Мирабо в эти решающие дни революции, и принесли ему мировую славу.

Екатерина II, кокетничавшая с Вольтером и Дидро, афишировавшая свое свободолобие, совсем иначе оценивала Мирабо. В заметках на «Путешествие из Петер-

бурга в Москву» против строк, в которых Радищев высоко оценивал Мирабо, императрица написала на полях книги: «Тут вмещена хвала Мирабоа, который не единой, но многие висельницы достоин». Этот отзыв российской императрицы, приговорившей заочно Мирабо ко многим виселицам, очень показателен. Не многие из деятелей французской революции заслужили честь такой нескрываемой ненависти монархов. В Москве в 1793 году была опубликована как переведенная с французского книга неизвестного автора под названием «Публичная и приватная жизнь Гонория-Гавриила Рикетти графа Мирабо», в которой прославленный трибун был назван «извергом человечества». Официальная, правящая, самодержавная Россия с величайшей враждою относилась к трибуну Великой французской революции — Мирабо.

На противоположном полюсе передовая, свободомыслящая Россия славila Мирабо как выдающегося защитника передовых идей. Уже говорилось о сочувственном отзыве Радищева о Мирабо. В «Слове о Ломоносове» Радищев особо отмечал ораторское дарование Мирабо, он причислял его «к отменным в слове мужам»⁴³.

Традиции Радищева были восприняты и продолжены будущими декабристами. В. Ф. Раевский, обучая солдат и юнкеров в Кишиневе военному искусству, предлагал им для постижения грамоты писать такие слова: «Свобода, равенство, конституция», «Квируга» (один из руководителей восстания в Испании в 1820 году. — А. М.), «Вашингтон», «Мирабо». Генерал М. Ф. Орлов, командовавший дивизией, был осведомлен об этом вольном направлении преподавательской деятельности Раевского, разделял его взгляды⁴⁴.

В передовой русской печати особо отмечалось искусство Мирабо как оратора. В «Невском зрителе» за 1820 год в одной из статей, называвшей Демосфена «царем ораторов» в древности, автор сравнивал с ним лишь Мирабо: «Мирабо возвысился до высоты Демосфена, он давал законы собранию, двору, народу целой Франции, речи его всегда красноречивы, иногда превосходны». Отмечая силу Мирабо как полемиста, автор писал: «Чем он (Мирабо. — А. М.) более был раздражен, тем слова его приобретали более энергии; орган и телодвижение Мирабо придавали его красноречию власть, поражающую гением, иногда одушевленную чувством. Она казалась беспрестанно вновь рождающеюся»⁴⁵.

Современники отмечали влияние Мирабо даже на стиль Радищева. А. Р. Воронцов в январе 1791 года утверждал, что в авторской манере «Путешествия из Петербурга в Москву» чувствуется «тон Мирабо и других бешеных Франции»⁴⁶.

Мирабо прочно вошел в сознание передовых людей России. Исследователями было установлено, что на полях черновика пятой главы «Евгения Онегина» А. С. Пушкиным был нарисован превосходный портрет Мирабо⁴⁷.

А. И. Герцен высоко ценил манеру речи и сочность мысли Мирабо. Переводя одно из его суждений о Барнаве, Герцен писал: «В этом выражении, как и в многих того времени, ярко отозвалось то время энергии в словах и делах, которое имело свой язык, свой романтизм, свою поэзию. В наше время никто не скажет подобного замечания и так сильно»⁴⁸.

Можно было привести немало иных сходных суждений передовых людей России о Мирабо.

Примерно то же самое можно утверждать, анализируя историю общественной мысли в Германии, Италии, Англии и т. д.

При всей противоречивости политического облика Мирабо благодаря той исключительной роли, которую он играл на первом этапе французской революции, имя его стало для последующих поколений одним из символов борьбы за свободу. В той же мере, в какой передовые люди, шедшие в авангарде общества, чтили память Мирабо как одного из своих ярких предшественников, официальные круги, сторонники и защитники старых, «незыблемых» принципов абсолютной монархии, ревнители привилегий аристократии, консерваторы и охранители, кляли и поносили Мирабо, изменившего своему сословию, остававшегося в их глазах одним из «бешеных».

Какому-то оставшемуся неизвестным современнику Великой французской революции приписывали слова: «Если бы Мирабо умер годом раньше, какая великая слава навсегда окружала бы его имя».

Если так в действительности было сказано, то надо признать, что безвестный автор этого парадоксального изречения был прав.

1789 год был временем высшей славы Оноре Мирабо. В течение нескольких месяцев свершилось то, что можно назвать почти чудом. Неудачливый авантюрист, чье

имя постоянно связывалось с громкими на всю Европу скандалами, скрывавшийся от преследований властей и кредиторов, искатель приключений, заканчивавшихся для него по большей части суровым возмездием, донжуан XVIII века, от одного имени которого дамы падали в обморок, аристократ, рассорившийся не только со своим семейным кланом, но и со всей сословной элитой и расплачивавшийся за это долгими годами скитаний по крепостям и тюрьмам, талантливый литератор, обличавший деспотизм, но в анонимной форме и потому не завоевавший славы, — этот человек, которого старались обходить либо не замечать, совершил самую невероятную из метаморфоз. За пять месяцев революции он стал самым знаменитым политическим деятелем Франции, кумиром революционной молодежи, трибуном, пользующимся любовью и поддержкой народа, которой не знал ни один другой деятель, самым авторитетным руководителем Национального собрания. В 1789 году имя Мирабо было воплощением французской революции.

Но вот главная и самая трудная задача революции была решена. Падение Бастилии означало крушение феодально-абсолютистского режима. К концу лета незабываемого 1789 года, первого года свободы, абсолютистский режим как система власти был сокрушен. Король и двор скрепя сердце должны были признать победу революции. После похода народных масс 5—6 октября на Версаль, завершившегося почтительно-насильственным переездом короля и Национального собрания из уединенного Версаля в кипевший революционными страстями Париж, победа революции стала необратимой. При всех оказываемых монарху почестях, при еще почти безраздельном господстве монархических чувств в нации король все же на деле стал пленником народа.

Внешним выражением происшедшего поражения абсолютизма было бегство из Франции братьев короля графа Прованского, графа д'Артуа, принца Конде, принца Конти и других. Контрреволюционная эмиграция, принимавшая все более широкий размах, была прямым доказательством того, что главари и сторонники жесткой политики абсолютизма считали свое дело проигранным.

Революция вступала в новый этап. Период единения всех сил в борьбе против могущественного врага заканчивается. Теперь, когда первая, и главная, задача была

решена, абсолютизму был нанесен тяжелейший удар, сама жизнь ставила в порядок дня новые проблемы.

XXI

Поход народа 5—6 октября на Версаль и последовавший за ним переезд королевского двора, Национального собрания и Бретонского клуба в Париж знаменовали дальнейшее углубление революции.

Прямое вмешательство народа не только, как в июле, сорвало замыслы и планы сил контрреволюции и нанесло им тяжелое поражение, но и означало дальнейшее развитие революционного процесса. После событий 5—6 октября многое стало иным. Перемещение политического центра из Версаля в Париж имело большое значение. В Париже королевский двор оказался фактически под наблюдением и контролем народа. Парижане получили теперь возможность воздействовать и на Национальное собрание. Его заседания проходили в просторном здании манежа, и отведенные для гостей места были отныне переполнены до отказа живо реагирующими на происходящее экспансивными жителями столицы.

Мирабо был доволен результатами октябрьских событий. Они его радовали не только, вернее; даже не столько по общеполитическим соображениям — в успехах революции он не сомневался, — сколько по чисто личным мотивам. В критические часы, когда женщины ворвались в здание Учредительного собрания, готовые все разнести в щепки, он единственный из 600 своим властным голосом заставил их повиноваться его приказам*. Но не это было важным. Он полагал, что теперь, когда положение монархии резко осложнилось, король окажется перед необходимостью поручить ему, Мирабо, руководство правительством. Приближался его час — он был в том уверен. Хотят того или нет Людовик XVI и Мария-Антуанетта (он даже не сомневался в том, что королева против него), они будут вынуждены силой обстоятельств обратиться к нему, прибегнуть к его помощи.

Эти планы Мирабо не были беспочвенными расчетами неуголенного честолюбия. В печати того времени,

* Имеется в виду число депутатов третьего сословия.

почти во всех газетах вплоть до «Друга народа» Мара-та⁴⁹, многократно высказывались предположения, что в ближайшее время к власти придет «великое министерство» Мирабо — Лафайета. И в самом деле, кто, кроме этих популярных в народе либеральных монархистов, мог еще поддержать шатающееся здание монархии?

Соперников-конкурентов, будь то Лафайет, Байи или Сиейес, Мирабо не боялся. Ни один из них не мог с ним соревноваться в ораторском даровании, в умении влиять на Собрание, на народ.

С переездом Национального собрания в здание манежа, где акустические условия были несопоставимо лучше, чем в старом версальском зале, Мирабо выступал особенно часто и охотно. Его могучий голос гремел здесь во всю мощь, вызывая восторги сидящих на хорах парижан. Когда Мирабо поднимался на трибуну, в зале все замолкало. Теперь уже не было разговоров, нравятся ли кому или нет депутат из Экса. Его первенство стало общепризнанным. И Лафайет, и Байи, и Мунье — все усвоили по отношению к Мирабо почтительный тон. Может быть, один лишь мало тогда кому известный депутат из Арраса господин де Робеспьер пристально смотрел на Мирабо внимательно-отчужденным, скорее даже недоброжелательным взглядом. Но Робеспьер в ту пору не делал погоды: с ним не считались. Впрочем, Мирабо его заметил и сумел оценить. «Этот молодой человек пойдет далеко, — сказал Мирабо, — он верит во все, что говорит».

В 1789—1790 годах влияние Мирабо и в стенах Национального собрания, и в кипящем страстями Париже, и во всей стране было огромным. Станным образом, Мирабо был особенно популярен среди народных низов, городского мелкого люда. Достаточно ему было показаться где-нибудь на улицах столицы, как сразу же образовывалась плотная толпа. Зеленщицы, рыночные торговки рыбой, каменщики, строительные рабочие, весь пестрый парижский люд окружал прославленного трибуна, аплодировал ему, жал ему руку, хлопал по плечу, восторженно восклицал: «Да здравствует наш граф де Мирабо!», «Да здравствует наш отец Мирабо!»

Инстинктивный, прирожденный актерский талант подсказывал Мирабо требуемые моментом импровизированные короткие речи. Он был быстр и находчив в ответах, и его популярность в народе все больше росла.

Порой исключительную популярность Мирабо в на-

роде его биографы склонны были объяснять так: простым людям импонировало, что аристократ, граф перешел на сторону народа и стал его защитником. Может быть, на кого-то это и в самом деле производило впечатление. Но как серьезный аргумент он не может быть принят во внимание, так как легко опровергается общеизвестными фактами.

Герцог Филипп Орлеанский, представлявший младшую ветвь королевской династии и, следовательно, принадлежавший к самой высшей аристократической знати, тоже, как известно, примкнул к революции и даже стал именоваться Филиппом Эгалите (Равенство). Маркиз де Лафайет, также представитель аристократической элиты, с первых дней стал на сторону революции. Но ни тот, ни другой не могли соперничать с Мирабо в популярности.

Герцог Орлеанский, несмотря на то что последовательно занимал самые крайние позиции вплоть до голосования за казнь Людовика XVI, своего кузена, так популярности в народе никогда и не достиг. Его не замечали и не принимали всерьез до тех пор, пока в 1793 году не пресекли в один день все его левые жесты и речи, отправив его на гильотину. Лафайет в первые недели революции был действительно популярен; за ним стояла слава генерала-героя, участника американской войны за независимость. Назначение его командующим Национальной гвардией французской революционной столицы было формой общественного признания его боевых заслуг. Но долго ли продержалась популярность Лафайета? Несколько месяцев! Колебание, нерешительность, проявленные им в дни народных выступлений 5—6 октября 1789 года, оттолкнули от него народ. Он стал быстро эволюционировать вправо и кончил тем, что в 1792 году попытался повернуть армию против революционного Парижа и, потерпев неудачу, бежал в стан врагов. Можно было бы привести и иные примеры: Кондорсе, Талейран и т. д.

Аристократов, перешедших на сторону революции, было немало, но ни один из них не мог не только сравняться с Мирабо, но даже отдаленно приблизиться к гремевшей на всю страну, на всю Европу славе депутата от Прованса.

Припомним незначительный на первый взгляд штрих из хроники нравов того времени. Лейтенант Буонапарте, никому не ведомый в ту пору артиллерий-

ский офицер, прозябавший вместе со своей воинской частью в маленьком городке Оксонне, но весьма внимательно прислушивавшийся ко всем вестям, доходящим из революционной столицы, приехав в отпуск в свой дом в Аяччо, на Корсике, вывесил большой транспарант: «Да здравствует нация! Да здравствует Мирабо!»

Эта небольшая, почти бытовая деталь полна глубокого смысла. Транспарант, написанный от руки на доме Летиции Буонапарте в далеком Аяччо, доказывал, что в сознании молодого артиллерийского офицера имя Мирабо было символом революции, оно отождествлялось с понятием «нация», т. е. «народ».

Вот как велика была всенародная слава Мирабо в первые годы революции.

Ну а дальше, спросит нетерпеливый читатель, что же дальше?

Мы к этому, разумеется, вернемся, но чуть позже.

Парадоксальность исключительной популярности Мирабо заключалась еще и в том, что в своих выступлениях и в стенах Национального собрания, и за его пределами знаменитый трибун отнюдь не придерживался самых левых взглядов. По тем вопросам, которые сама жизнь ставила в порядок дня, например по вопросам конституционным, постоянно обсуждавшимся в 1789—1791 годах в Учредительном собрании, Мирабо нередко выступал с более правых позиций, чем его коллеги, и, несмотря на громадное личное влияние, оказывался порой в меньшинстве.

При обсуждении вопроса о праве вето короля он первоначально выступал за абсолютное вето, а затем в пользу права задерживающего вето. Его позиция в этом частном вопросе (как и в других конституционных вопросах) определялась его политическими взглядами.

Внимательно анализируя выступления Мирабо предреволюционного периода и первых двух лет революции, можно заметить, что при некоторых разночтениях во фразеологии (по-видимому, диктуемых конкретными обстоятельствами) позитивные взгляды трибуна оставались по существу неизменными.

Несколько схематизируя политический идеал Мирабо, можно сказать, что он выступал за конституционную, либеральную, управляемую сильным правительством, опирающимся на доверие народа, точнее, законодательного собрания, монархию. Если говорить современными терминами, его идеалом была буржуазная,

обеспечивающая определенные буржуазно-демократические права монархия.

В отличие от предреволюционных лет, когда эти вопросы имели абстрактно-теоретическое значение, в 1789—1791 годах они стали конкретной практикой повседневной работы Учредительного собрания.

Мирабо был весьма невысокого мнения о королевской чете, возглавлявшей французскую монархию. Его отношение к Марии-Антуанетте было резко отрицательным. Для него была вполне очевидна также ограниченность, слабость, незначительность Людовика XVI. Он писал о нем: «Он не знает ни что он может, ни что он хочет, ни что он должен»⁵⁰.

И тем не менее, отдавая отчет во всех недостатках короля, он настойчиво добивался сохранения и укрепления института монархии. Почему? Прежде всего потому, что он опасался республики или ее вариантов, т. е. плюралистической власти, власти многих. В одном из выступлений в Собрании он говорил: «Я хочу совершенно открыто заявить, что считаю наиболее ужасным власть 600 персон; завтра они объявят себя несменяемыми, послезавтра — наследственными, с тем чтобы закончить, как это присуще аристократическим режимам в иных странах, присвоением себе неограниченной власти»⁵¹.

Пусть король слаб, нерешителен, наделен множеством недостатков. Какое это может иметь реальное значение? Король будет царствовать, но не править. Но само существование наследственной монархии является преградой для установления господства 600, для тирании новой аристократии, какими бы парламентскими нарядами они ни прикрывались.

Естественно, что такие взгляды, открыто выраженное им недоверие к своим коллегам, к 600 депутатам Учредительного собрания не внушали представителям третьего сословия симпатий к знаменитому трибуну.

Но так сильна была еще в ту пору «диктатура слова», так велик был личный престиж Мирабо, что открыто против него в Учредительном собрании еще никто не решался выступать. Никому не хотелось стать жертвой полемического красноречия непревзойденного оратора. Однако к этим мотивам присоединились и иные, быть может, более веские.

Как уже говорилось ранее, стремительный, почти мгновенный рост популярности Мирабо в конце

1788—1789 годов объясняли во многом тем, что лозунг «Единение всего третьего сословия!», который он тогда отстаивал и пропагандировал, отвечал объективным требованиям времени, задачам, поставленным ходом истории перед французским народом.

Мирабо понял это первым и первый всей мощью своего громового голоса провозгласил лозунг единения на всю страну.

Но после 14 июля, после падения абсолютистского режима, сваленного объединенными усилиями всего третьего сословия, лозунг единения потерял свое прежнее значение. Жизнь ставила в порядок дня новые задачи; начинался новый процесс: борьба внутри самого третьего сословия, размежевание внутри еще вчера выступавшего единым блоком. Крупная буржуазия и либеральное дворянство, т. е. политически самая правая часть, главенствовавшая до тех пор в Учредительном собрании, стали претендовать и на политическое господство в стране. Они стремились, продолжая говорить от имени всего народа, присвоить себе монополию власти. Лафайет, Байи, Мунье, Сиейес — лидеры крупной буржуазии и либерального дворянства стремились не только монополизировать государственную власть, но и удержать революцию в определенных пределах, и прежде всего затормозить ее стремительное развитие.

Мирабо с его огромным личным престижем, поразительным даром трибуна, громадной популярностью в стране, в народе был им жизненно необходим. Ни один из них не мог состязаться с Мирабо; какой-нибудь Сиейес, терзавшийся муками неутоленного честолюбия⁵², или Лафайет, как и другие лидеры, страдавшие непрощаемым в годы революции пороком — косноязычием, отчетливо понимали, что с Мирабо им не тягаться. Главное же — Мирабо в глазах народа оставался как бы живым символом революции; народ его боготворил. И имя Мирабо было партии крупной буржуазии необходимо как общенациональное знамя. То были люди практического склада, деловые, и потому, подавляя свои личные чувства, свою антипатию, они склоняли голову перед Мирабо, даже афишировали признание его первенства.

Сам Оноре Мирабо по своим политическим взглядам был, несомненно, ближе всего к этой группировке. Если между ними и возникали какие-либо расхождения, то в частностях, а не в главном. Все они были сторонниками

конституционной монархии, и Мирабо, как и другие конституционалисты (так вскоре стали именовать эту правобуржуазную группировку Учредительного собрания), считал, что революционный процесс надо затормозить.

После событий 5—6 октября Мирабо подал королю мемуар (остававшийся для современников долгое время неизвестным), в котором рекомендовал ему целую программу мер. Он прежде всего весьма прозорливо предостерегал короля, что пребывание двора в столице может стать небезопасным, не следует создавать себе иллюзий. Он рекомендовал монарху уехать куда-либо в глубь Франции и, обратившись с воззванием к народу, создать Конвент — новое представительное собрание. Король должен перед всем народом признать, что абсолютизм и феодализм уничтожены во французском королевстве навсегда и что король торжественно подтверждает права нации и обязуется всегда действовать в согласии с нацией, и ее права должны быть упрочены.

Одновременно с мемуаром был представлен и план безотлагательного формирования сильного и авторитетного правительства, в состав которого должны войти все виднейшие современные деятели, начиная с Неккера (для себя Мирабо с афишируемой скромностью просил лишь пост министра без портфеля), и которое должно было быть ответственным непосредственно перед Конвентом.

Этот мемуар Людовику XVI заслуживает по многим причинам внимания. Мемуар — это первое прямое обращение Мирабо к королю. Но важна не эта, формальная сторона дела. Существенно иное. Для короля, для двора, для всей королевской партии в целом обращение Мирабо должно было представляться неслыханной, беспримерной дерзостью. Не только потому, что этот дворянин из Прованса, хотя и соблюдал все положенные формы почтительности к монарху, по существу обращался к нему как равный к равному; он не только забыл о расстоянии, разделяющем их — подданного и монарха, но и брал на себя смелость давать королю советы, т. е., если называть вещи своими именами, учить короля.

И само содержание преподанных советов должно было представляться двору чудовищным. Советчик хотел лишить монархию всех ее прерогатив, всех ее прав. Этот дерзкий депутат имел наглость предложить монарху добровольно согласиться с жалкой ролью исполнителя ре-

шений могущественного законодательного собрания, представлявшего волю нации.

Даже после второго поражения в октябре 1789 года королевская партия отнюдь не считала свое дело проигранным. У нее в запасе были еще сильные козыри; в нужный час они будут введены в игру. Мемуар Мирабо был с негодованием отвергнут и оставлен, естественно, без ответа. Весьма вероятно, что под впечатлением возбуждавшего негодование двора дерзкого послания Мирабо Мария-Антуанетта произнесла эту известную фразу: «Я надеюсь, что мы никогда не будем настолько несчастны, чтобы оказаться в прискорбной необходимости прибегнуть к советам Мирабо».

Но октябрьский мемуар Мирабо требует рассмотрения его и с иной стороны. Как соотносить его с программой конституционалистов, т. е. группировки крупной буржуазии и либерального дворянства? Они почти полностью совпадают. То, что рекомендовал Мирабо королю, может быть, в чем-то шло дальше желаний Лафайета — Байи. Никто бы из них, никто из этих господ, представлявших самых богатых собственников Франции, не потребовал бы, например, отмены феодализма. К чему эти крайности? Но в остальном программа Мирабо была для них полностью приемлемой.

Именно поэтому и Лафайет, и Мунье, и Сиейес, и Ле Шапелье — все эти политические дельцы, каждый из которых наедине с собой прикидывал варианты рассчитанной на многие годы вперед сложной игры, обеспечивающей в эндшпиле выигрыш, считали необходимым в 1789—1790 годах стушевываться перед Мирабо, выдвигать его на первый план: человека, олицетворявшего в глазах народа революцию, было выгодно иметь лидером своей фракции. Имя Мирабо могло замаскировать узкоэгоистические, корыстные расчеты крупной буржуазии, стремившейся удержать в своих руках власть.

Мирабо не был так прост, чтобы не разгадать побудительные мотивы своих друзей-соперников. Он ни на грош не имел к ним доверия, и они не внушали ему личных симпатий. Но в важных политических вопросах их позиции совпадали или были близки. Почему же не идти какую-то часть пути вместе?

После того как период всеобщего братства и братания, упоения первыми победами, розовых надежд довольно быстро, к осени 1789 года, закончился, и противоречия классовых интересов расслаивали и разделяли

прежде единый лагерь революции, четко определились две главные противоборствующие тенденции: дальнейшего развития и углубления революции и торможения ее. Сторонников первой первоначально называли демократами, второй — либералами или конституционалистами; позже их стали обозначать иными терминами. Эта главная линия политического размежевания была закреплена созданием вскоре и отдельных группировок. Первоначально все противники абсолютизма входили в один, общий для всех политический клуб; в Версале его называли Бретонским, после переезда Собрания в Париж — Якобинским (по занимаемому им помещению). Но в конце 1789 года Лафайет, Мунье, Байи и другие либералы сочли необходимым выйти из Якобинского клуба и создать свою обособленную организацию — «Общество 1789 года»; позже ее стали называть Клубом фейянов. Новый клуб был более узким и замкнутым, чем Клуб якобинцев, замкнутым вполне намеренно: весьма высокие членские взносы преграждали доступ в него демократическим элементам.

Мирабо по приглашению инициаторов создания нового клуба вступил в его состав и сразу же стал одним из авторитетнейших лидеров «Общества 1789 года». Самый факт вступления Мирабо в это общество требует должной оценки. Он раскрывал и общее направление его политической линии в революции, и, следовательно, его эволюцию в будущем: Мирабо становился на путь торможения революции. Это значило, что при начавшемся размежевании его относил к правым.

Но как политический деятель, политический лидер Мирабо был неизмеримо более тонким и гибким, чем его друзья-соперники из «Общества 1789 года». Развитие революционного процесса влекло за собой чрезвычайно быструю политическую девальвацию имен. Неккер, пользовавшийся громадной популярностью весной 1789 года, осенью был уже полностью обесценен; за три месяца он растратил весь политический кредит, он превратился в ничто. Примерно то же, но не в столь крайней форме происходило с Лафайетом.

Мирабо среди политических лидеров 1789 года оказался, пожалуй, единственным, кто сумел избежать политической девальвации. Ему удалось удержать популярность в широких народных массах. Он умел сохранять доверие народа, и тот же безошибочный инстинкт великого артиста вдохновлял его порой на самые риско-

ванные импровизации, оказывавшиеся неожиданно удачными. Так, например, когда Собрание отменило все сословные привилегии, в том числе и дворянские титулы, и, согласно новому закону, граф де Мирабо должен был именоваться гражданином Рикетти, Мирабо отказался подчиниться этому решению. «Европа знает только графа де Мирабо», — высокомерно заявил он и продолжал выступать и подписываться именем Мирабо. С этим должны были считаться.

Он сохранял по-прежнему и внешний облик, и повадки гран-сеньора: пышный парик, крахмальное жабо, высоко, гордо поднятая голова.

Не только в этих внешних жестах, в политике Мирабо был гораздо тоньше своих коллег. Побывав на нескольких заседаниях «Общества 1789 года», он скоро пришел к выводу, что в силу своей кастовой замкнутости оно не имеет будущего; оно ранее других вступит в конфликт с народом. Мирабо снова вернулся в Якобинский клуб и охотно и часто выступал на его заседаниях; он быстро понял, что это организация, которой предстоит играть крупную роль. В 1790 году он был избран в соответствии с уставом на определенный срок председателем Якобинского клуба. Его избирали так же на время председателем Учредительного собрания. Он действительно работал в комиссиях Собрания; особенно велика была его роль в дипломатическом комитете; важнейшие вопросы внешней политики Франции уже не решались без учета его мнения. Словом, в 1789—1790 годах Мирабо стал не только именем, олицетворявшим во всем мире французскую революцию, но и наиболее влиятельным политическим лидером новой Франции.

Мирабо не был бы самим собой, если бы за величавой осанкой и барственным манерами самоуверенного аристократа, отягощенного к тому же европейской славой великого трибуна, не скрывалась колеблющаяся, подвижная, зыбкая тень чего-то всегда ищущего, готового идти на самый неожиданный риск авантюриста.

За последние два-три года он пережил самые невероятные метаморфозы. Из травимого, постоянно преследуемого скитальца и узника Венсенской башни он стал, как по мановению волшебной палочки, самым знаменитым и самым авторитетным политическим вождем страны, приковавшей внимание всего мира.

Эмили, его бывшая жена, прелестная, лживая, умная Эмили, грызла ногти с досады. Она кляла себя и осо-

бенно свою родню — этих глупых, ничего не понимающих, жадных Мариньянов, толкнувших ее на столь позорный процесс. Она купалась бы теперь в лучах славы Мирабо. Ведь она первая его оценила. Как же она не разглядела великого будущего, ожидавшего его и ее. Она старалась дать понять Оноре, что она готова покаяться, признать себя виноватой — все, что угодно, лишь бы вернуться к прошлому, представлявшемуся ей теперь таким счастливым.

Но Мирабо не хотел о ней вспоминать: страницы давно перевернуты, и к прошлому нет возврата. Если бы ему и надо было кого-нибудь искать, так это конечно Жюли Нейра. Он вспоминал о ней с благодарностью и нежностью, и ему еще долго казалось, что не сегодня-завтра он ее разыщет, и все пойдет по-старому. Но с каждым днем оставалось все меньше времени; он вел по-прежнему беспорядочную ночную разгульную жизнь; он теперь не запоминал имен и лиц женщин, встречавшихся на его пути. Он жил странными иллюзиями, что все это «пока», а главное — хорошее: любящая рука жены, тихий уютный дом, маленький сын, безмятежный ночной сон — все впереди и где-то близко. Этим иллюзиям так и не суждено было сбыться.

Совершившиеся за короткое время разительные изменения в его положении в обществе, в его судьбе он принял как должное. Могло ли быть иначе?

Но и этого было мало. Все достигнутое завоевано им самим; все окружавшие его — политики, депутаты были его соперниками, его тайными врагами. Если они теперь ему дружески улыбаются и искательно заглядывают в глаза, то это лишь потому, что он сильнее их. То, что он мог, они все, его друзья-враги по Учредительному собранию, не могли. И в этом только разгадка положения, занятого им, Оноре Мирабо, в Генеральных штатах, в Учредительном собрании, в стране.

Но и это его не удовлетворяло. Когда в первом обращении к королю он с подчеркнутой скромностью намечал для себя должность министра без портфеля, это был не более чем тактический ход, рассчитанное лицемерие. Не роль какого-то второстепенного министра была ему нужна, а роль первого лица в королевстве, первого министра.

Конечно, то будет министр-либерал, враг деспотизма; он будет править в соответствии со своими политическими взглядами, он теперь охотно ссылался на 30 то-

мов своих сочинений в защиту свободы, — но, министр с твердой рукой, он мечтал о роли главы правительства более сильного, чем Ришелье, ибо он опирался бы на поддержку нации, а не только короля.

Мирабо был уверен, что Людовик XVI и королева, чье влияние он оценивал вполне реально, в силу необходимости должны будут уступить — обратиться к нему; у них не будет другого выхода.

С осени 1789 года он свел дружбу с Августом д'Аренбергом, графом де Ла Марком. Немецкий аристократ, пользовавшийся полным доверием Марии-Антуанетты и искренне ей преданный, он привлек внимание Мирабо прежде всего тем, что располагал несомненным влиянием при дворе. Мирабо владел даром обвораживать, ему нетрудно было установить дружеские отношения с Ла Марком.

Однако вскоре Мирабо убедился, что Ла Марк, т. е. стоявшие за ним незримые могущественные силы, проявляет к нему интерес. Его тайные, наедине с собой, политические расчеты оказались правильными. Двор не мог не считаться с силой Мирабо. По-видимому, осенью 1789 года Мирабо считал, что мастерски задуманная им партия приближается к выигрышу.

Но в решающий момент оказалось, что он недооценил своих противников. Группа молодых честолюбивых депутатов — Антуан Барнав, Адриен Дюпор и Александр Ламет, так называемый «триумвират», тайно стремившийся перехватить в свою пользу влияние Мирабо, — 7 ноября 1789 года внесла в Собрание проект решения, запрещающего любому депутату Учредительного собрания занимать пост министра.

Внесенный «триумвиратом» проект декрета, хотя Мирабо в нем, понятно, не упоминался, был направлен прежде всего против него. Предложение было поддержано демократами Робеспьером и Петيوном и было принято Собранием.

Казалось, уже выигранная партия неожиданно, в самом финале, была проиграна.

Мирабо был в бешенстве. Но ему не в чем было себя винить, разве лишь в том, что он не разглядел во время контригры своих противников. Но что можно было сделать, когда вносят проникнутое столь добродетельными мотивами предложение? Он хорошо знал цену этой показной добродетели, но попадаться в ловушку не хотел.

Что же дальше? Путь к креслу главы министерства, даже просто министра был отныне для него навсегда закрыт. Но он оценил должным образом, что граф де Ла Марк и после декрета 7 ноября сохранял интерес к нему и дружеский тон в переговорах. Из этого явствовало, что в королевском дворе продолжают придавать значение депутату от Прованса. Стало быть...

Его прирожденный дух авантюризма и быстрый ум подсказали ему новый возможный вариант: если нельзя быть официальным премьером, то почему, собственно, нельзя выполнять ту же роль тайно, в глубоком секрете? Почему следует отказываться от тонкой двойной игры: сохранять положение влиятельного политическо-го лидера Собрания и быть в то же время — понятно, в величайшей тайне — секретным советником короля, направляющим всю его деятельность? Это была, конечно, крайне опасная, рискованная игра, но его вкусу и темпераменту азартного игрока сама рискованность этой игры на острие ножа представлялась, может быть, именно поэтому особенно соблазнительной.

Переговоры с Ла Марком приняли вполне откровенный характер: немецкий граф не считал нужным более скрывать, что он является прямым представителем двора; он действовал по его поручению. День ото дня положение монархии становилось все более трудным, и Марии-Антуанетте, несмотря на все ее предубеждения, пришлось прибегнуть к услугам Мирабо.

Видимо, в апреле 1790 года двустороннее соглашение было достигнуто полностью. Через посредство графа Ла Марка (никто другой не мог быть допущен к этим сугубо секретным связям) Мирабо передавал королю советы и рекомендации, в форме ли мемуара либо в другой форме. Двор брал на себя определенные финансовые обязательства. Королева из своих личных средств передала 208 тысяч ливров на погашение долгов Мирабо; король выплачивал ему ежемесячно по 6300 франков и передал нотариусу 1 миллион ливров, разделенный на четыре доли, по 250 тысяч каждая, которые выплачивались Мирабо в знак благодарности за оказанные им услуги в период деятельности Учредительного собрания.

Таково было реальное содержание тайного соглашения Мирабо с королевским двором, вошедшее позднее в историю под названием великой измены графа Мирабо. Но это наименование приобрело известность уже в пору, когда прах Мирабо покоился в могиле.

Мирабо пошел на эту тайную сделку с монархией с легким сердцем, не испытывая никаких моральных сомнений.

С присущей ему аристократической, даже феодальной привычкой сорить деньгами без счета он, став обладателем крупных денежных сумм, ни от кого не таясь, бросал их на ветер. Мирабо переехал из своего отеля Мальты, где он скромно жил до сих пор, в модный в ту пору (как, впрочем, и в наше время) квартал в самом центре столицы — Шоссе д'Антен, где снял за 2400 ливров в год верхний этаж красивого особняка. Дюмон рассказывает в своих воспоминаниях, что, посетив впервые новые апартаменты Мирабо, он был потрясен роскошью домашнего очага трибуна⁵³.

Эта роскошь была через край, бросалась в глаза, она не могла остаться незамеченной. На вечерних приемах, за изысканным и сервировкой и тонкостью кухни ужином собиралось общество избранных, известных всей стране людей — политиков, ученых, дипломатов. Всех объединяла молодая, красивая, элегантная Жюли Карро, владелица особняка, не считавшая нужным скрывать, что ее связывают со знаменитым ее постояльцем отношения более близкие и тесные, чем деловые.

В бесконечном «донжуанском списке» Мирабо эта последняя его привязанность была, вероятно, одной из самых счастливых. Впрочем, это не помешало последней спутнице Мирабо через недолгое время после смерти знаменитого трибуна еще раз войти в историю, но уже в качестве любимой жены величайшего трагика французской сцены Франсуа-Жозефа Тальма.

Но вернемся к 1790 году, к особняку на Шоссе д'Антен.

Именитые гости, так дружески поднимавшие бокалы вина за успехи и здоровье прославленного трибуна — гордость Франции, покинув после полуночи уютный дом, вполголоса, в тоне раздумий вслух, говорили друг другу: «Все-таки откуда же у него это богатство?»

Богатство как таковое мало занимало Мирабо. После смерти отца, как старший сын, он наследовал замки, недвижимость, огромные земельные владения в Провансе. Он и в самом деле стал крупным, богатым землевладельцем. Но при всем том он умудрился за короткое время сделать новые долги на 200 тысяч ливров, погашенные королевой.

Он пошел на эту опасную игру не ради денег, в этом можно ему поверить; он не умел их ценить никогда: ни раньше, ни на закате своих дней. Он считал само собой разумеющимся, что двор обязан ему платить, и платить много, как министру; с какой стати он стал бы работать на короля бесплатно?

Однако эта тайная сделка с двором, породившая уже после смерти Мирабо столь горячие споры, продолжавшиеся почти двести лет, стала самым уязвимым местом его политической биографии.

Поклонники и приверженцы графа Мирабо выдвинули в его защиту нашумевший в свое время тезис: «Он не продался», «Ему платили». Это было по существу повторением его собственных доводов, но в этом тезисе было нечто двусмысленное. Ему платили — это было бесспорным, но за что? За то, в чем он не мог никогда публично признаться.

Марат, не располагавший точными данными, инстинктивно почувствовал в действиях, в речах Мирабо обман, измену. Он многократно со страниц своей газеты обличал Мирабо в измене, в предательстве. Мирабо в беседах с близкими людьми, которым он доверял, категорически отвергал обвинения в измене. Измене чему? Своим взглядам? Убеждениям? Но в убеждениях ему ничего не приходилось пересматривать. С этим нельзя не согласиться. Он всегда — и до соглашения с двором, и после — убежденно выступал в пользу монархии — конституционной, либеральной, но монархии. Он считал необходимым ее сохранение, как естественного препятствия образованию республики.

Когда в июле 1790 года надменная, заносчивая Мария-Антуанетта все-таки «оказалась настолько несчастной», что согласилась на личную встречу с Мирабо, в заключение беседы, оставшейся в целом бесприметной, целуя руки королеве, он с присущей ему самоуверенностью сказал: «Я спасаю монархию».

Он действительно делал все возможное, чтобы, не компрометируя себя в глазах народа, в глазах Собрания (тогда бы он потерял всякую ценность для двора), защищать интересы монархии. Он решался порой на крайне рискованные шаги. Так, в феврале 1791 года, когда обе тетки короля, дочери Людовика XV, вслед за братьями короля эмигрировали, пытались бежать за границу, но были задержаны патриотами в небольшом селении Арнедюк близ границы, он не побоялся высту-

пить и в Национальном собрании, и в Якобинском клубе в их защиту и добился, что обоим старухам — членам королевского дома разрешили уехать в Турин.

Он продолжал ходить с гордо поднятой головой, самоуверенный больше, чем когда-либо, полный сознания, что он выполняет сейчас самую важную и ответственную роль в судьбах королевства, в судьбах революции.

Но то были снова иллюзии, на сей раз еще более опасные и губительные...

Какими бы доводами он ни оправдывал и даже возвеличивал свое поведение, добровольное выполнение им миссии тайного советника короля, так высоко оплачиваемой, представляло собой нечто аморальное, постыдное, недопустимое для политического деятеля, которого народ считал вождем революции. Он вел двойную игру, он обманывал своих доверителей, своих товарищей по Национальному собранию, по Якобинскому клубу. Он не был с ними ни искренен, ни правдив.

За ним по пятам шла неотделимая от него слава великого трибуна революции. В конце января — в феврале 1791 года он был единодушно, с огромным подъемом избран на пятнадцать дней в соответствии с уставом председателем Национального собрания. И Мирабо выполнял функции председателя уверенно, умело, сохраняя ту величавость манер и осанки, которые так нравились и депутатам, и простому народу.

И все-таки обвинение, брошенное Маратом, все нарастающая враждебность к нему Робеспьера, какие-то неопределенные слухи, связанные с его именем, проникали за границу. Как стало известно много позже, Екатерина II, считавшая ранее, что «Мирабоа», как она выражалась, «многия висельницы достоин», с ее практическим, циничным умом пришла к заключению, что этот «Мирабоа» может быть ей полезен, и дала секретное поручение своему послу в Париже графу Симолину вступить в тайные переговоры с Мирабо и за крупное вознаграждение привлечь его на сторону России. Проект не был осуществлен.

Этих сгущавшихся вокруг него туч Мирабо не замечал или не захотел замечать.

С 1790 года, со второй половины, здоровье Мирабо вдруг резко ухудшилось. Сначала возникла какая-то болезнь глаз: он стал плохо видеть и глаза болели. Потом наступили острые, длительные боли в животе. Его друг Кабанис лечил его, но, видимо, ошибочно. Позже стали

утверждать, что у него болезнь крови, и, как всегда в то время, обильно пускали кровь.

В начале 1791 года наступило заметное облегчение. Он и ранее не придавал большого значения своим недугам и верил в свой могучий организм. Ему было сорок лет, и он жил в представлении, что впереди еще большой и долгий путь, что все, что было ранее, — это лишь начало, ступени, ведущие его вверх, к вершинам.

В марте 1791 года наступило новое резкое ухудшение. Он уже был не в состоянии выходить из дому. Кабанис и другие пользовавшие его врачи признали у него острую дизентерию. Его пробовали лечить, но день ото дня ему становилось все хуже, боли непрерывно нарастали. Уже когда было поздно, врачи установили, что его мучил не распознанный своевременно перитонит, но он был запущен и уже не поддавался ни хирургическим, ни другим видам лечения.

Видимо, в последних числах марта Мирабо понял, что конец близок. Жизнь оказалась много короче, чем он ожидал. Станным образом, он принял это спокойно, почти равнодушно, как если бы речь шла не о нем, а о каком-то другом человеке. Он лишь сожалел, что многого из задуманного не успел выполнить. Что же, и это в конце концов не самое важное. Придут другие и сделают, может быть лучше, то, что он надеялся сделать сам.

Он распорядился, чтобы его перенесли в самую светлую комнату и раскрыли настежь окна. Была весна, и в комнату проникали сквозь раскрытые окна нежные запахи распускающейся молодой листвы. Когда боль ненадолго (ему давали все время опий) его отпускала, он жадно втягивал (в последний раз) доходящее до него дыхание весны.

Начиная с 30 марта, когда стало известно, что Мирабо умирает, огромные толпы народа безмолвно часами стояли перед окнами его дома. Улицу Шоссе д'Антен покрыли толстым слоем песка, чтобы проезжавшие коляски не нарушали его покоя. В комнатах первого этажа стояла очередь депутатов, членов Якобинского клуба, журналистов, всех знаменитостей столицы, спешивших расписаться в книге посетителей у секретаря трибуны.

День и вечер 1 апреля Мирабо страдал от все нараставшей боли, никакие лекарства не могли ее снять.

Мирабо мучился всю ночь 2 апреля и только утром почувствовал некоторое облегчение. Невероятным уси-

лием он подтянулся на руках наверх, устроился поудобнее на подушках и после оказавшегося трудным напряжения глубоко вздохнул. Его последними словами были: «Спать, спать, спать...»

Он закрыл глаза и почти сразу же заснул, — заснул, чтобы никогда больше не пробуждаться.

И сейчас на улице Шоссе д'Антен в глубине дома № 42 на стене сохранилась потемневшая от времени и дождей небольшая мраморная доска, на которой выцветшими буквами написано: «Здесь в 1791 году умер Мирабо».

XXII

4 апреля 1791 года Национальное собрание в полном составе, Якобинский клуб, несметные толпы народа, тысячи простых людей — рабочих, ремесленников, мелких уличных торговцев, обитателей кварталов городской бедноты шли нескончаемым потоком за траурной колесницей, в которой покоился прах — все, что осталось от человека, именовавшегося при жизни Оноре де Мирабо.

С начала революции Париж еще не видел таких грандиозных прощаний с политическим деятелем, заслужившим в многоустой молве почетное прозвище «отец народа».

По постановлению Национального собрания останки Мирабо были захоронены в церкви святой Женевиевы, объявленной Пантеоном — храмом, где благодарное отечество хранит навечно останки великих людей. Мирабо был первым, кто был удостоен этой чести.

В короткое время были отлиты из металла и выбиты из мрамора скульптурные изображения Мирабо, и бюсты знаменитого трибуна были установлены на высоком постаменте на самом видном месте Учредительного собрания, в зале заседаний Якобинского клуба, во всех важных общественных местах.

Ораторы, произнося речи о гражданской добродетели, патриотическом долге, считали необходимым обращаться к бюсту Мирабо, молча, незрячими глазами соучаствовавшему во всех общественных дебатах.

«Отец народа» Оноре-Габриэль де Мирабо стал первым героем Великой французской революции, прокладывавшей человечеству путь в новый мир.

Но вот прошел год со смерти Мирабо, за ним пошел второй, могучее народное восстание 10 августа 1792 го-

да свергло тысячелетнюю монархию, король был заключен в башню «Тампль», в сентябре 1792 года начал заседать великий Конвент; во Франции была установлена Республика.

5 декабря 1792 года специальная комиссия Конвента, на которую были возложены задачи разбора и изучения секретных досье, хранившихся в потайных шкафах королевского дворца в Тюильри, доложила Конвенту о найденных ею тщательно спрятанных документах, доказывавших с неопровержимостью тайные связи между Мирабо и королевским двором.

Взрыв негодования, возмущения, ярости потряс Францию. Кому же можно после этого верить? В зале Конвента, в Якобинском клубе, в Коммуне Парижа, в больших и малых городах Франции бюсты Мирабо разбивались вдребезги; имя человека, которого еще вчера именовали великим народным трибуном, отцом народа, было предано позору и поруганию.

Осенью 1793 года по решению Конвента, принявшего предложение Леонара Бурдона, были вынесены из Пантеона оскорблявшие республиканскую добродетель останки Мирабо и на их место был торжественно перенесен прах Жан-Поля Марата — Друга народа, погибшего от кинжала Шарлотты Корде 13 июля 1793 года. Прах Жан-Поля Марата пробыл в усыпальнице великих людей немногим дольше останков Мирабо. После 9 термидора колесо истории поворачивало все вправо. В Пантеоне не осталось праха ни Мирабо, ни Марата.

С тех пор прошло без малого двести лет.

Страсти, волновавшие когда-то участников великих событий, развертывавшихся столь стремительно, давно перегорели, и даже пепел их остудило время. Все ушло в прошлое.

А как же главное действующее лицо нашего повествования? Как же Мирабо? «Великий Мирабо», — как о нем говорили при его жизни? «Презренный, продажный Мирабо», — как стали говорить после его смерти?

Так кем же он был? И кем он остался в истории?

Почти три четверти столетия спустя после смерти Мирабо один из самых строгих и мудрых судей в наиболее зрелом, обдуманном и взвешенном своем произведении — речь идет о Карле Марксе и первом томе его

«Капитала» — назвал знаменитого трибуна «львом революции»⁵⁴.

Это высокая оценка, пожалуй, самая высокая из всех, данных прославленному трибуну.

Знал ли Маркс о тайном сговоре Мирабо с королевским двором? О всех невероятных приключениях его авантюрной жизни? О возводимых против Мирабо обвинениях почти во всех возможных прегрешениях? Конечно, кто об этом не знал? После посмертного разоблачения «великой измены Мирабо» густая накипь молвы еще больше заволокла его имя, и уже нелегко было отделить действительное, подлинное от наносного, ложного и составить свободное от пристрастий, преувеличений трезвое и верное суждение об исторической роли этого во многом не похожего на других человека.

Маркс сумел это сделать. Высокую оценку исторической роли Мирабо в целом, несмотря на известные его пороки и недостатки, дали Виктор Гюго, Джордж Байрон, Иоганн Вольфганг Гёте, позже — ряд крупных историков: Альфонс Олар, Жан Жорес и другие.

Конечно, здесь не нужны ни декретивные определения, ни суммирующие жесткие характеристики, еще менее уместны броские этикетки. К чему они?

Надо попытаться понять этого крупного политического деятеля в контексте с его эпохой и во всей его сложности и противоречивости — таким, каким он был.

Мирабо 1788—1791 годов, т. е. трех последних лет его жизни, трех лет его ослепительной славы, навсегда запечатлевших его имя в летописях истории, неотделим от его прежней жизни, — авантюрной и скитальческой, — аристократа, «дикого барина», со всеми привычками и вкусами своей касты, но вступившего с ней в непримиримую, беспощадную войну.

Мирабо пришел в революцию не как представитель народа, хотя он говорил от его имени и пользовался его симпатиями больше, чем кто-либо иной. Он всегда оставался человеком *dolce vita* — «сладкой жизни», человеком верхов элиты буржуазии и либерального дворянства.

Об этом нельзя забывать не только потому, что это наложило отпечаток на весь его облик и предопределило, когда начался процесс размежевания в рядах революционного лагеря, его движение вправо, оставшееся не завершенным полностью лишь потому, что оно было оборвано ранней смертью.

Но все-таки ведь это он, граф де Мирабо, при всем его авантюризме, пороках, недостатках — и чисто личных, и кастовых — сумел стать политическим именем, наиболее полно воплотившим перед всем миром Великую французскую революцию на ее первом этапе. Кто имел в 1789 году больший авторитет в стенах Генеральных штатов и Учредительного собрания, чем Мирабо? Кто пользовался большей известностью, популярностью в народе, в стране, в Европе? Нельзя назвать ни одного имени, которое можно было бы противопоставить Мирабо. Так в чем же разгадка этой неоспоримой, огромной, на глазах застывшей в металл и мрамор, тяжеловесной славы Мирабо?

Его исключительный ораторский дар? Волшебное колдовство слов, слитых в стремительный поток, гипнотизирующий аудиторию? Да, конечно, этот редчайший талант трибуна, умеющего повести за собой людей, многое объясняет; об этом речь уже шла. Но ранее говорилось и об ином.

Слава Мирабо так стремительно росла и ширилась в навсегда памятном 89-м году потому, что он был первым из французских политических деятелей, кто понял и на всю страну громогласно заявил, что победа над деспотизмом, над тиранией абсолютизма и привилегированных сословий невозможна без единства третьего сословия, без единства народа.

«Единство, единство и еще раз единство!» — вот основной, главный политический лозунг, отстаиваемый Мирабо во всех его политических выступлениях весной и летом 89-го года. И этот призыв к единению сил, объективно отражая историческую необходимость времени, политически подготавливал штурм и падение Бастилии 14 июля 1789 года.

Именно это полное соответствие выдвинутых Мирабо лозунгов единения народа с исторически назревшими задачами эпохи и превратило его на какое-то время в самого авторитетного и популярного вождя революции.

И наконец, последнее. Мирабо был человеком дела, действия, а не фраз. У Байрона в его дневнике от 23 и 24 ноября 1813 года есть запись, в которой он признавался, что хотел бы быть похожим на Мирабо и Сен-Жюста. Само это сочетание имен, кажущееся на первый взгляд столь неожиданным, раскрывается в последующих объяснениях Байрона. Что объединяет этих столь несхожих деятелей? Прежде всего то, что и Мирабо,

и Сен-Жюст при всех их различиях были людьми дела, людьми действия, а не слова. «Действия, действия — говорю я — а не сочинительство, особенно в стихах», — повторял Байрон⁵⁵.

Великий английский поэт правильно определил источник силы столь различных, даже противоположных людей, как Мирабо и Сен-Жюст. Мирабо был, конечно, величайшим оратором своего времени и лучше чем кто-либо иной в ту пору, постиг магию сочетания слов. Но силу, источник его влияния на массы определял не столько сам ораторский талант, сколько его направленность. Слово Мирабо было призывом к действию. Вспомним его отпор де Брезе, приведший к первому отступлению абсолютизма, его требования о выводе войск в начале июля 1789 года, политическую мобилизацию масс накануне 14 июля, безоговорочную горячую защиту народного подвига — штурма Бастилии. Во всех выступлениях Мирабо 1789 года — первого, начального этапа революции находили полное воплощение ее могучая действенная сила, примат действия над словом.

Именно все это, на мой взгляд, и давало Марксу основание три четверти столетия спустя, когда все темное и тайное, неотступно следовавшее за Мирабо, давно уже всплыло на поверхность, подводя итоги, сводя воедино концы и начала, назвать Мирабо львом революции.

МАКСИМИЛИАН РОБЕСПЬЕР

I

В истории есть имена, которые ни время, ни страсти, ни равнодушие не могут вытравить из памяти поколений. К их числу принадлежит имя Максимилиана Робеспьера.

Робеспьер прожил короткую жизнь. Он умер, а говоря точнее, погиб на эшафоте вскоре после того, как ему исполнилось тридцать шесть лет. Из этой недолгой жизни лишь последние пять лет были значительными; все предыдущие годы мало чем выделяли молодого адвоката из Арраса, поклонника Жан-Жака Руссо и автора сентиментальных стихов.

Когда весной 1789 года Робеспьер как депутат Генеральных штатов от третьего сословия Арраса вышел на большую политическую арену, его первые шаги были встречены враждебно-пренебрежительно. Не только «Деяния апостолов» (реакционно-монархический листок Ривароля) издевались над ним, но даже его политические единомышленники, депутаты третьего сословия и журналисты — противники абсолютизма, либо не замечали его, либо третировали свысока. В газетных отчетах того времени его фамилия искажалась: его называли то Роберпьер, то Робецпьер, то Робер, а чаще всего даже не приводили имя, заменяя его обидно безличной формой: «Один из депутатов». Столичные щеголи и многоопытные остряки избрали Робеспьера мишенью для своих насмешек. Все развлекало их в этом депутате от Арраса: и старомодный оливкового цвета фрак, и провинциальные манеры, и приподнято-напыщенный слог заранее написанных речей. Однажды ему пришлось покинуть трибуну вследствие невероятного смеха, возникшего в зале. В другой раз он прервал свое вы-

ступление из-за шума, поднявшегося в аудитории; он тщетно пытался перекрычать собравшихся, но, убедившись, что это ему не под силу, сошел с трибуны, не закончив речь.

Но время шло, и голоса насмешников должны были смолкнуть. В газетах научились правильно писать его имя; с последней страницы оно перешло на первую. В Национальном собрании и в Якобинском клубе к его выступлениям теперь внимательно прислушивались; уже ни костюм, ни манеры, ни слог оратора не вызывали иронических замечаний.

Прошло еще немного времени, и каждая речь Робеспьера в Конвенте была уже крупным политическим событием: ее встречали яростными возгласами неодобрения на одной стороне Собрания и громовыми аплодисментами на другой.

Революция шла вперед, поднималась на новые, все более высокие ступени в своем развитии. Вместе с нею росла и слава Максимилиана Робеспьера. В его образе жизни ничто не изменилось: он по-прежнему жил в той же единственной комнате в деревянном флигеле у столяра Мориса Дюпле на улице Сент-Оноре; он оставался так же беден, как и в ту пору, когда был безвестным; он не занимал каких-либо особых должностей или постов. И все же его влияние на политику революционного правительства, на общий ход событий непрерывно возрастало, а его слово становилось все более весомым.

Из всех лидеров революции Робеспьер оказался единственным, кто вместе с нею и во главе ее прошел весь путь до конца. Некоторые отстали в самом начале. Иные были отброшены на крутых поворотах революционным потоком. Из трех якобинских вождей Марат был убит кинжалом врага в первые дни якобинской власти, Дантон сложил голову на гильотине по приговору Революционного трибунала несколько позже, и лишь Робеспьер остался на гребне революционной волны.

Робеспьер стоял в самом центре стремительного хода событий, невиданных, беспрецедентных в истории. Он вел жестокую борьбу, но, как сказал Герцен, смелым шагом он «ступал в кровь, и кровь его не марала»¹. Простой народ любил Неподкупного. Враги революции, открытые и тайные, трепетавшие при одном лишь движении его бровей, но тем сильнее его ненавидевшие, оттачивали ножи, плели паутину заговоров.

К лету 1794 года Республика, казалось, достигла вершины могущества и славы. Лучи этой славы озаряли

вождя революционного правительства — Робеспьера. Однако его слава, достигшая зенита, мгновенно обернулась гильотиной. 9 термидора скрывавшиеся дотоле в глубокой тени заговорщики совершили контрреволюционный переворот, объявили Робеспьера и его друзей вне закона и на следующий день без суда казнили их на Гревской площади Парижа.

* * *

Эта необычная жизнь, эта поразительная судьба, естественно, приковывала к себе в течение долгих десятилетий не ослабевавшее с годами внимание.

Уже на следующий день после гибели Робеспьера его имя стало окружаться легендой. Его враги из всех политических лагерей, из всех группировок и фракций, сражавшихся против революции, его вчерашние друзья, которых страх заставлял отмежевываться от побежденного, — все выступали против него. Достаточно вспомнить хотя бы Луи Давида — прославленного художника, члена Комитета общественной безопасности. Друг Робеспьера, с горячностью обещавший после речи Неподкупного 8 термидора в Якобинском клубе выпить вместе с ним цикуту до дна, он после гибели Робеспьера оправдывался, утверждая, что был им грубо обманут. Все недовольные по тем или иным причинам правительством якобинской диктатуры, все подозрительные, над которыми нависла тень гильотины, все спекулянты, мздоимцы, расхитители государственного добра, честолюбцы, карьеристы — все дрожавшие под железной десницей Комитета общественного спасения теперь забрасывали поверженного вождя грязью, ложью, клеветой. Не только нечестивые соучастники заговора — все эти Тальены, Баррасы, Фрероны соперничали в проклятиях, изрыгаемых ими против «тирана» и «деспота», как именовали теперь Неподкупного. Политическая атмосфера после 9 термидора была столь накалена, что даже люди, далекие от корыстных страстей и политических расчетов, поддавались этому общественному психозу. Так, Жозеф Руже де Лиль, автор гениальной «Марсельезы», сочинил угодливый низкопробный гимн, прославляющий переворот 9 термидора, который якобы пресек «заговор Робеспьера»; а драматурги, режиссеры и актеры, имена которых не сохранила история, клеветали на Неподкупного в разнузданных театральных представлениях².

Почти все деятели революции нажили множество

врагов. След этой настигавшей их при жизни вражды переходил и в историю. Конечно, ни сама эта вражда, ни степень ее непримиримости у последующих поколений господствующих классов не могла быть одинаковой. Марат, например, — мне уже приходилось об этом писать — возбудил к себе особую ненависть буржуазии. И все-таки, если в данном случае допустимы сопоставления, надо признать, что круг врагов Робеспьера был значительно шире круга противников Друга народа. Марата ненавидели и боялись все те, кто стоял правее якобинцев: жирондисты, фельяны, роялисты. Среди недругов Робеспьера наряду с ними были и иные, выросшие в последний год якобинской власти, когда Марата уже не было в живых. Врагами Робеспьера при жизни были не только перечисленные группировки, но и «бешеные», и эбертисты, и дантонисты, и все те пестрые, разнообразные элементы, из которых позднее сложился термидорианский блок.

На Робеспьера возлагали ответственность за все. И нож возмездия, занесенный над Шарлоттой Корде, и изглоданные волками трупы жирондистских депутатов, и локоны Марии-Антуанетты, и прах герцога Орлеанского — Филиппа Эгалите, и отчаяние заколовшего себя в тюрьме Жака Ру, и кровь невинно погибшего Шометта, и бычья ярость Дантона, и слезы Люсиль Демулен, и сотни других казненных Революционным трибуналом, виновных и невинных, — все это записывалось на счет Максимилиана Робеспьера.

На это следует сразу же обратить внимание, ибо здесь ключ к пониманию последующей историографии Робеспьера, сложности и противоречивости оценок, которые будут ему даны позже.

После падения якобинской диктатуры все противники Робеспьера — правые и «левые» — сошлись на нескольких общих формулах, которые, будучи чудовищной клеветой, преподносились как ходячая истина. «Тиран», «диктатор», «деспот», «убийца», «кровопийца» — все эти бранные клички применительно к Робеспьеру одинаково звучали в устах и «левого» Колло д'Эрбуа, и правого Буасси д'Англа. Солидарность термидорианцев всех оттенков в их стремлении представить Робеспьера врагом рода человеческого простиралась так далеко, что они, не довольствуясь политическим и физическим уничтожением лидера якобинцев,

даже надругались над прахом его, сочинив кощунственную эпитафию:

«Passant, qui que tu sois, ne pleure pas mon sort.
Si je vivais, tu serais mort», что можно перевести примерно так:

Прохожий, не печалься над моей судьбой,
Ты был бы мертв, когда б я был живой³.

Но дальше этого начиналась область разногласий. Уже на второй день после 9 термидора Билло-Варенн, Барер, Вадье обвиняли Робеспьера в модерантизме, в терпимости к врагам, покровительстве священникам, т. е. критиковали его, так сказать, с левых позиций. Тибодо, Тюрио и другие дантонисты, напротив, требовали чистки и упразднения Революционного трибунала, амнистии, милосердия, т. е. выступали справа.

Так к Робеспьеру, который уже не мог ответить своим хулителям, прилипла грязь и клевета. Политические и литературные мародеры, торопившиеся нагреть руки на своем нечистом ремесле, глумились над памятью вождя Горы, стряпая клеветнические сочинения.

Начиная с доклада Куртуа, построенного на самой грубой и откровенной фальсификации⁴, с низкопробных брошюр Дюперона, Монжуа, Мерлена из Тионвилля, Лорана Лекуантра, еще ранее набившего руку на клеветнических доносах⁵, и многих других им подобных произведений продажного пера, постепенно стала складываться историография Робеспьера, крайне противоречивая, но вся от начала до конца лживая, основанная на клевете, на передержках, на вымыслах мстительной злобы, на злопыхательстве незабытых обид.

Так создавался образ Робеспьера — искаженный, неузнаваемый, страшный, лишенный всяких человеческих черт, окаменевший сгусток всех пороков и низменных страстей, портрет тирана и кровожадного убийцы.

Однако вопреки этой версии, поддерживаемой государственной властью, насаждаемой церковью, школой, официальной наукой, в сознании народа, в памяти поколений жили иные представления о Робеспьере, иные воспоминания, иной, непохожий на страшный портрет — человеческий и человеческий образ. Как ни старались клеветники очернить великого революционера XVIII века, сквозь многолетние напластования лжи и вымыслов все же пробивался и светился неискажен-

ный, не забрызганный грязью портрет Неподкупного. И новые поколения, вглядываясь в этот чеканный силуэт, отодвигавшийся все дальше в глубь времени, старались разгадать его тайну.

На первый взгляд могло показаться, что головы молодых людей кружила сама исключительность жизненного пути Робеспьера: тридцать лет безвестности, а затем стремительное и ослепляющее, как старт ракеты, восхождение вверх и на самой вершине — падение и гибель. Но если эта внешняя сторона биографии Робеспьера могла привлекать честолюбивые умы и сердца, то для них, конечно, гораздо более притягательным был другой пример необычного жизненного пути, стоявший у всех перед глазами, — путь Наполеона Бонапарта. Аркольский мост, солнце Аустерлица, фанфары побед, золотые пчелы на бархате — эмблема новой императорской династии — все это для честолюбцев и мечтателей в восемнадцать лет во сто раз соблазнительнее суровой строгости черных сукон Комитета общественного спасения. Стендаль был верен исторической правде, когда заставлял своего любимого героя Жюльена Сореля, одаренного и честолюбивого выходца из народа, прятать в матрацах заветный портрет — не Робеспьера, конечно, а Наполеона Бонапарта. Да и посмертная судьба этих двух — каждого по-своему — наиболее значительных людей переломной эпохи конца XVIII — начала XIX века была слишком различна. Память Наполеона была увековечена господствующими классами Вандомской колонной, Домом Инвалидов, монументами, сотнями тысяч репродукций, музеями, почти необозримой литературой; но до сих пор во Франции, в столице, где некогда заседал Конвент, и в других городах нет памятника самому замечательному представителю Первой республики, да и имя его в истории Франции еще далеко не звучит во весь голос.

Нет, конечно, не те, кто гнался за славой, триумфом, почестями, оглядывались на Робеспьера и старались постичь сокровенный смысл его необычной судьбы. Представители угнетенных классов, общественных сил, поднимавшихся на революционную борьбу, в героическом опыте якобинской диктатуры и ее вожде Робеспьере видели вдохновляющий пример для подвигов и испытаний.

И первыми, кто должен быть назван в этом ряду, кто смело провозгласил себя наследниками и продолжа-

телями возглавленной Робеспьером борьбы, были Гракх Бабёф и его товарищи по знаменитому «заговору равных».

Они были зачинателями иного, сочувственного Робеспьеру и гораздо более правдивого направления в развитии общественной мысли, и в частности историографии первой французской революции, противостоявшего реакционному и клеветническому направлению. Впрочем, на этом следует остановиться подробнее.

* * *

Возникновение движения «равных», как известно, совпало по времени с политическим и идейным крушением так называемых «левых термидорианцев». Некоторые из них, например Амар, установили прямую связь с «заговором равных»^{6*} и играли в движении довольно значительную роль. В целом же «левые термидорианцы» Билло-Варенн, Колло д'Эрбуа, Вуллан, Барер и другие оказались далекими от движения «равных», от Бабёфа и его соратников не только организационно и идейно, но и в оценке Робеспьера.

«Левые термидорианцы», как известно, сыграли большую и зловещую роль в роковых событиях 8—10 термидора⁷. Большинство будущих участников «заговора равных», как, впрочем, и иные честные якобинцы, например, так называемые «последние монтаньяры» Ромм, Гужон, Бурботт, Субрани и другие будущие жертвы прериала, в гораздо меньшей мере способствовали низвержению Робеспьера, хотя полностью одобряли переворот. Несмотря на эти различия, и те, и другие — по искреннему убеждению, недомыслию или лицемерию, в данном случае это значения не имеет — считали контрреволюционный переворот 9 термидора революционным восстанием или революцией. Даже в одном из ранних документов движения «равных», относящемся к концу 1795 или началу 1796 года, события 27 июля 1794 года именовались «революцией термидора»⁸.

Но для «левых термидорианцев» очень скоро после переворота стало очевидным, что эта «революция термидора» не повинуетя больше их руке и оказывается в

* По вандомскому процессу «равных» наряду с Амаром был привлечен также и Вадье, которому, однако, по авторитетному свидетельству Буонарроти, «ничего не было известно о заговоре».

действительности вовсе не революцией, а контрреволюцией. Когда их стали оттирать на задний план, затем громить и клеймить, затем арестовывать и ссылать, чаще всего даже без соблюдения судебных формальностей, точь-в-точь как в день 9 термидора, тогда к ним пришло раскаяние.

Психологически было вполне понятно, что все эти Билло, Колло, Вадье — члены могущественных комитетов общественного спасения и безопасности, при всех своих грехах люди стальной закалки — кипели негодованием, видя, как какой-то ничтожный Ровер, цинично признававшийся в том, что он «ласкал собачку Кутона, чтобы завоевать благоволение ее хозяина»⁹, теперь в Комитете общественной безопасности распоряжается судьбами людей и купается в золоте!

Конечно, эта запоздалая и уже беспредметная самокритика имела у «левых термидорианцев» свой индивидуальный оттенок. Умный, гибкий, беспринципный Барер де Вьезак, умевший всегда оставаться на поверхности стремительного потока, — Барер, который, будучи в свое время председателем Клуба фельянов, смог позже стать почти единственным бессменным членом Комитета общественного спасения, в своих мемуарах, написанных или отредактированных спустя более тридцати лет после трагических событий 1794 года, признавал, что «9 термидора разбило революционную силу». Он утверждал с нескрываемым негодованием, что к власти пришла «контрреволюционная коалиция», состоящая, по его мнению, из преданных Дантону людей, представителей «болота» и секретных агентов Людовика XVIII; он даже именовал их презрительно «термидорианцами»^{10*}, понятно исключая себя из их числа. Но Барер воспринимал эти события прежде всего как личную катастрофу: термидор стал контрреволюцией не потому, что было свергнуто возглавляемое Робеспьером революционное правительство, а потому, что вскоре после термидора бездарные «любители власти» (*amateurs du pouvoir*), не прощавшие ему, Бареру, его популярности и талантов, оттеснили его от руковод-

* Ипполит Карно, предпославший изданным (вместе с Давидом д'Анжером) мемуарам Барера обширное и содержательное введение, указывает, что Барер начал работать над своими мемуарами в первые годы империи, а редактировал их в последние годы своей жизни (он умер в 1841 году).

ства^{11*}. Пересматривать же свое отношение к Робеспьеру, политически переоценивать роль Непокупного в революции — от этого Барер был бесконечно далек. Конечно, как умный человек, он должен был признать и достоинства Робеспьера: «безупречную честность, любовь к свободе, твердость принципов, любовь к бедности, преданность делу народа»; иначе было бы непонятно, как мог он, Бертран Барер, разделять с ним славу и власть в Комитете общественного спасения. Но в главном и основном Барер и после длительного опыта торжества буржуазной, а затем феодально-аристократической реакции повторял в своих мемуарах старую версию о ненасытном, властолюбивом деспотизме Робеспьера и, явно рисуясь, преувеличивал свою роль в событиях 9 термидора¹².

Барер, таким образом, и тридцать лет спустя после падения и гибели Робеспьера продолжал оправдывать борьбу против него как якобы героический подвиг спасения революции от угнетавшей ее тиранической диктатуры.

В распоряжении историка нет, к сожалению, таких же полных, как мемуары Барера, источников, раскрывающих идейные позиции других «левых термидорианцев» после их политического крушения. Приходится довольствоваться обрывочными сведениями, косвенными доказательствами, оставляющими место для догадок.

Из записок Филиппа Буонарроти о встречах с Барером и Вадье в бельгийском изгнании в годы Реставрации, опубликованных в свое время французским историком Матъезом¹³, мы можем составить отчетливое представление о взглядах и идейных позициях обоих участников переворота 9 термидора.

Впечатления и суждения Буонарроти о Барере в целом полностью подтверждают тот политический автопортрет, который нарисовал Барер в своих мемуарах, опубликованных примерно пятнадцать лет спустя после этих встреч. Характеристика Барера, данная Буонарро-

* Барер среди прочих приводимых им в «Мемуарах» свидетельств в свою пользу воспроизводит и сказанные будто бы ему Гране из Марсея слова: «Поддай в отставку: этим все будет закончено. Только действуя таким образом, ты обретишь спокойствие, так как эти люди не прощают тебе твоей известности, твоих длительных успехов на трибуне. Надо им уступить и освободить для них место» (*Mémoires de B. Barère*. Т. 2. Р. 219—220).

ти, свидетельствует о замечательной проницательности и точности суждений автора этих заметок.

Влиятельнейший член Комитета общественной безопасности, непримиримый воинствующий противник церкви и религии, Вадье сыграл немалую роль в подготовке и организации термидорианского переворота. Тридцать лет спустя, когда Буонарроти вновь встретил его* в брюссельском изгнании, это был глубокий старик, перешагнувший за девятый десяток. Но даже этот почтенный возраст не мог внушить Буонарроти уважения к бывшему грозному руководителю Комитета общественной безопасности. Буонарроти пишет о нем в пренебрежительном и недоброжелательном тоне: «Ненавидеть дворян и издеваться над религией — вот вся политика Вадье. Он очень любит равенство, если только имеет хорошие доходы, может выгодно сбыть свои товары и сохраняет некоторое влияние на политические дела»¹⁴. Таков престарелый Вадье — без маски, без прикрас, нарисованный Буонарроти с натуры в будничные дни его прозябания. Этот мелочный, обозленный и тщеславный старик, каким его рисует Буонарроти, конечно, считал теперь день 9 термидора гибельным и роковым, ибо отсюда начались бедствия родины, которые он отождествлял со своими собственными несчастьями. Но так же, как и Барер, только грубее и примитивнее, без всяких оговорок, он полностью оправдывал свое участие в борьбе против Робеспьера и повторял все избитые и вымышленные обвинения, выдвигавшиеся против Робеспьера в 1794 году.

У нас нет данных, позволяющих предполагать какое-либо изменение отношения к Робеспьеру со стороны главарей «левых термидорианцев» — Колло д'Эрбуа и Билло-Варенна.

Самый близкий к эбертистам член Комитета общественного спасения, ответственный за чрезмерные жестокости в Лионе, осужденный революционным правительством — Колло д'Эрбуа, имевший все основания бояться Робеспьера, сыграл одну из главных ролей в решающие дни термидора. Это он председательствовал на роковом заседании Конвента 9 термидора, злоупотребляя своей властью в пользу заговорщиков, и это

* Буонарроти находился в 1797 году более трех месяцев в заключении на острове Пеле, близ Шербурга, вместе с Вадье, по ошибке привлеченным к делу «заговора равных».

его Робеспьер в своей последней гневной реплике с места назвал «председателем убийц». Брошенный через несколько месяцев в тюрьму, а затем сосланный в гниющую в тропической лихорадке Гвиану, чтобы найти там смерть, переоценил ли Колло д'Эрбуа на соломе тюремного тюфяка значение событий, в которых он играл столь зловещую роль? На этот счет нет никаких свидетельств; догадки же в данном случае неуместны. Колло д'Эрбуа остался в истории таким, каким его видели 9 термидора, — неистовым, злобным врагом Робеспьера.

Строгий, твердый, оставшийся до конца своих дней убежденным демократом, Билло-Варенн в своих посмертно опубликованных записках оказался гораздо справедливее к Робеспьеру, чем был в действительной жизни. «Если бы меня спросили, каким образом Робеспьер сумел приобрести такое влияние на общественное мнение, я бы ответил, что это было достигнуто путем подчеркивания самых строгих добродетелей, безусловным самопожертвованием, самыми чистыми принципами», — писал Билло-Варенн. Но и он, как и Барер, как Вадье (и даже, может быть, в большей мере, чем они, ибо был принципиальнее их), не склонен был критически переосмысливать роль, сыгранную им летом 1794 года.

Карье, подобно Колло д'Эрбуа, опасавшийся революционного возмездия за преступные жестокости в Нанте, за прямое участие в попытке несостоявшегося восстания эбертистов в марте 1794 года и уже по одному этому ставший деятельным сообщником антиробеспьеристского заговора, оказался, по злой иронии судьбы, одним из первых, кого правые термидорианцы, объявив «охвостом Робеспьера», потащили на гильотину. Знаменитая фраза Карье в его защитительной речи в Конвенте: «Здесь все виновно, все вплоть до звонка председателя!» — имела ясный подтекст: вся Гора, весь Конвент ответственны за террор и политику насилия, которые ставятся в вину лишь одному ему, Карье. Логика этих рассуждений должна была привести к косвенной реабилитации и Робеспьера. Но эта фраза не имела продолжения. Карье скатывался под откос, и скрытая угроза в этих продиктованных отчаянием словах не помогла ему зацепиться на поверхности. Напротив, будучи хорошо понятой, она лишь ускорила его падение и гибель.

Нужно ли говорить о других «левых термидорианцах»?

Мы и так задержались на них достаточно долго. Но это нужно было для того, чтобы установить, что большинство «левых термидорианцев» и после полного банкротства их политики и их личного крушения продолжали оправдывать свою борьбу против Робеспьера летом 1794 года.

Эта констатация важна и потому, что она объясняет источники возникновения в более поздней, революционно-демократической историографии XIX века второго, враждебного Робеспьеру направления.

* * *

В отличие от «левых термидорианцев» Бабёф и его соратники в период термидорианской реакции и Директории произвели полную переоценку своих взглядов на переломные события июля 1794 года и сознательно изменили свое отношение к Робеспьеру.

Матъез, неоднократно исследовавший вопрос об отношении бабувистов к Робеспьеру, дал наиболее полное изложение своих взглядов по этому вопросу в очень ценной статье «Бабёф и Робеспьер», опубликованной в 1917 году¹⁵.

Матъез, напомнив в этой статье, что Бабёф начиная с 1791 года и позже неизменно восхищался Робеспьером, высказывал мнение, будто одобрение Бабёфом переворота 9 термидора было только лицемерной данью требованиям времени. «Без сомнения, Бабёф как журналист должен был считаться с общественным мнением, — писал Матъез, — он был вынужден в основанной им 17 фрюктидора II года газете дезавуировать Робеспьера и отмежеваться от компрометирующего имени». Но способ, каким он это делал, «не обманывает в истинных чувствах Бабёфа»¹⁶.

С этим мнением согласиться нельзя. Анализ статей Бабёфа в «Journal de la liberté de la presse» («Журнал свободы печати»), выходившем в сентябре 1794 года, и отчасти также в «Le tribun du peuple», служившем его продолжением, показывает, что Бабёф в первые месяцы после 9 термидора, не разобравшись, как и многие другие, в очень запутанной и затемненной различными маскировочными лозунгами обстановке, приветствовал переворот 27 июля, считая его революцией, и осуждал Робеспьера как тирана¹⁷. Позиция Бабёфа в

эти дни была близка к позиции многих других обманутых или обманывавшихся левых демократов, принимавших демагогические лозунги термидорианцев о борьбе «против тирании» за чистую монету. Бабёф, подобно многим другим, наивно верил, что с падением «триумвиров тиранов» должна наступить неограниченная свобода народа. Само название первого печатного органа, издаваемого Бабёфом, — «Журнал свободы печати» красноречиво говорило за себя.

Однако вскоре же под воздействием отрезвляющего опыта термидорианской контрреволюции Бабёф изменил свое отношение к перевороту 27 июля и соответственно пересмотрел и свою оценку его жертв: Робеспьера, Сен-Жюста, Кутона и их места и роли в революции. Анализ идейной эволюции Бабёфа в эти последние, решающие два года его жизни не входит в задачу данной работы. Отметим здесь лишь в самой общей форме, что по мере того как Бабёф становился идейным и политическим руководителем движения «равных», он все решительнее менял свою оценку Робеспьера и якобинской диктатуры в пользу последних.

Эта новая оценка Робеспьера и революционной диктатуры была высказана Бабёфом в ряде его статей в «*Le tribun du peuple*»¹⁸ и была засвидетельствована Буонарроти в его знаменитой истории «заговора равных»¹⁹. Но, пожалуй, лучше всего она была сформулирована в частном письме Бабёфа к Бодсону от 29 февраля 1796 года, переизданном в конце XIX века Эспинасом. «Я должен сегодня признать свою вину в том, что когда-то видел в черном свете и революционное правительство, и Робеспьера, и Сен-Жюста, — писал Бабёф. — Я убежден, что эти люди сами по себе стоили больше, чем все революционеры, вместе взятые, и что их диктаторское правительство было дьявольски хорошо придумано!» — и дальше: «...робеспьеризм — это демократия; эти два слова полностью тождественны»²⁰.

Вот суждение, не оставляющее почвы для кривотолков и какой-либо неясности!

Не только Бабёф, но и другие руководители и участники движения «равных» в дни термидорианской контрреволюции и «буржуазной оргии Директории»²¹ сумели понять и оценить историческое величие Робеспьера. Александр Дарте, один из главных руководителей «заговора равных», казненный вместе с Бабёфом, по свидетельству Буонарроти, «рано усвоил убеждения

Робеспьера и всеми силами способствовал их осуществлению; со своей стороны Робеспьер весьма дорожил им». Сам Буонарроти определял Робеспьера как «знаменитого мученика во имя равенства»²², всю жизнь восхищался им, чтил его как «великого человека»²³.

Буонарроти же был первым и наиболее авторитетным автором концепции, устанавливавшей преемственную связь между Бабёфом и Робеспьером, между бабувистами и якобинцами. Он показал в своем сочинении не только персональную, но и идейную преемственность между ними, сумел замечательно определить глубоко постигнутое им прогрессивное существо диктаторской политики революционного правительства. Полемизируя против лживых обвинений Робеспьера в тирании, Буонарроти писал: «Тирания Робеспьера заключалась... в силе его мудрых советов, влиянии его добродетелей... Он был тираном для дурных людей»²⁴.

В той же книге, оценивая положительные цели движения «равных» — стремление сторонников Бабёфа к осуществлению «законов свободы и равенства», Буонарроти писал, что «Робеспьер был другом такого равенства», рассматривая тем самым его как прямого предшественника движения «равных»²⁵.

Матъез лишь следовал за концепцией Буонарроти, подчеркивая преемственную связь между робеспьеризмом и бабувизмом. Он сделал немало ценного в этой области, разыскав и опубликовав ряд новых документов, еще раз показавших, как высоко ценили Робеспьера, Сен-Жюста и возглавляемое ими революционное правительство Бабёф и его друзья. Но Матъез при этом допустил ошибку двоякого характера. Во-первых, он свел идейные истоки бабувизма если не исключительно, то преимущественно к робеспьеризму и в этом сделал шаг назад по сравнению с Буонарроти и даже с Адвиелем²⁶, который не грешил такой односторонностью. Во-вторых, в соответствии с присущей ему склонностью к модернизации и поискам социализма там, где его не было и быть не могло, Матъез пытался сблизить позиции Робеспьера и Бабёфа, наделив Робеспьера чертами социалистического борца или даже коммуниста²⁷.

В советской исторической литературе, в первом, начальном ее периоде, образ коммуниста-утописта конца XVIII столетия привлек, естественно, большой интерес и внимание. Изучение этой темы закономерно привело и к выяснению вопроса об идейном генезисе бабувизма.

Поэтому поводу в свое время разгорелись жаркие споры, в ходе которых наряду с верными мыслями было высказано и немало путаных и ошибочных утверждений. На этих спорах сегодня нет смысла останавливаться хотя бы потому, что авторы наиболее сомнительных или прямо ошибочных положений (Я. М. Захер, П. П. Щеголев) позже сами от них отказались, а главное, за прошедшие с тех пор десятилетия эти споры были так основательно забыты, что уже не могли оказать никакого влияния на последующее развитие советской историографии²⁸.

Однако от споров этих осталась идея, согласно которой генетическая связь бабувизма сводилась исключительно к «Социальному кружку» и «бешеным».

Правда, в советской исторической литературе на протяжении ряда лет отстаивалась более широкая и несравненно более соответствующая исторической правде точка зрения на идейные истоки бабувизма. «Пройдя школу революционных лет, считая себя продолжателями дела якобинцев, бабувисты прочно усвоили идею революционной диктатуры...» — писал академик В. П. Волгин²⁹. Эта формулировка была лишь вариацией старой точки зрения автора по данному вопросу. Конечно, и в цитируемой работе, как и в прежних, В. П. Волгин отнюдь не склонен был сводить идейные истоки бабувизма только к якобинизму. Он подчеркивал и доказывал влияние на бабувистов французских предреволюционных мыслителей — авторов коммунистической теории Мабли и Морелли, особенно последнего. Но, справедливо указывая на то, что бабувисты были их учениками, В. П. Волгин в то же время напоминал, что это не должно быть понимаемо узко; должен быть учтен и последующий исторический опыт, оказавший влияние на формирование взглядов Бабёфа и его друзей. «Французская революция многому научила; теоретизировать в стиле Морелли было в 1795 году для бабувистов совершенно невозможно»³⁰.

К сожалению, эти верные суждения не были должным образом учтены рядом авторов, касавшихся данного вопроса. Исторический конкретный анализ предмета был заменен повторными ссылками на известную полемическую фразу Маркса против Бруно Бауэра из «Святого семейства», заслонившую невольно ряд других суждений Маркса и Энгельса по тому же вопросу. В частности, не уделялось должного внимания иному опре-

делению идейных истоков бабувизма, данному Энгельсом почти в то же время, в 1845 году: «...Бабёф и участники его заговора сделали в отношении равенства самые далеко идущие выводы из идей демократии 1793 г., какие только были возможны в то время»³¹. Несомненно, что как и известное суждение Маркса в «Святом семействе», так и это требует вдумчивого отношения, но отнюдь не сталкивания цитат.

Бабувисты вовсе не были духовными сыновьями Жака Ру и Варле и внуками Клода Фоме и Никола де Бонвилля, как получается по полюбившейся схеме прямолинейного родства. Их идейная генеалогия была и сложнее, и разветвленнее.

Подробное рассмотрение этого вопроса увело бы нас в сторону от основной темы. Представляется, однако, бесспорным на основании всего сказанного ранее считать Робеспьера и вообще якобинцев робеспьеристского направления в числе идейных предшественников Бабёфа.

Впрочем, яснее и определеннее, чем любые исторические исследования, этот вопрос осветил наиболее авторитетный в данном вопросе автор — сам Гракх Бабёф. В цитированном ранее письме к Бодсону 1796 года Бабёф писал: «Я не нахожу, как ты, неполитичным и излишним восстановление в памяти праха и принципов Робеспьера и Сен-Жюста для укрепления нашей доктрины. Прежде всего мы этим лишь воздаем должное великой истине... Эта истина в том, что мы лишь вторые Гракхи Французской революции... что мы лишь следуем за первыми благородными защитниками народа, которые еще до нас поставили ту же цель справедливости и счастья, воодушевлявшую народ»³².

* * *

Итак, Робеспьер, убитый и оклеветанный термидорианцами, все-таки не был окончательно умерщвлен.

Через два года после гибели его тень встала за плечами Бабёфа и Дарте, и в новом слове, сказанном «равными», представлявшем сплав голосов прошлого и будущего, был явственно различим и глухой голос Максимилиана Робеспьера.

Но весной 1797 года Бабёф и Дарте, как и ранее Робеспьер, были казнены теми же термидорианцами. Реакция усиливалась. Со времени 9 термидора на протяжении тридцати пяти лет политическая история

Франции круто поворачивала в одном направлении — вправо: термидорианский Конвент, Директория, Консульство, империя, реставрированная монархия Бурбонов. Эти этапы отмечали эволюцию от буржуазной контрреволюции республиканцев-термидорианцев до феодальной контрреволюции роялистов Людовика XVIII.

В эти годы все нараставшей политической реакции не говорили вовсе о революции, а следовательно, и о ее героях или говорили только дурное. В период Директории цинично глумились над революцией (я имею в виду ее высший, якобинский этап); во времена Наполеона она была вычеркнута из истории Франции полицейским циркуляром, о ней не смели вспоминать даже шепотом, даже в узком кругу; во времена Людовика XVIII и Карла X, братьев казненного короля, на революцию обрушивались с высоты реставрированного престола проклятия и ее поносили на всех перекрестках.

Робеспьер — самый замечательный представитель героической эпохи революции в полной мере разделял ее судьбу. Могло казаться, что стараниями его посмертных врагов — врагов революции имя его будет вычеркнуто из памяти народа.

Первые мемуаристы и историографы революции вроде Сиейеса³³, взявшиеся в годы Директории за перо, чтобы отомстить за страх и унижение, испытанные ими в дни террора, видели свою главную задачу в том, чтобы чернить того, кого они считали чуть ли не единственным виновником всех «преступлений», — так в дни контрреволюционного террора стали именовать революционный террор.

В годы консульства и империи кончилось даже и это. Робеспьера нельзя было даже ругать. Бывший артиллерийский капитан, покровительствуемый комиссарами Конвента Огюстеном Робеспьером и Саличетти, став императором Наполеоном, приказал предать забвению тех, с кем были связаны его первые решающие успехи на жизненном пути.

Реставрация нарушила это кладбищенское молчание, но только затем, чтобы забросать комьями грязи и клеветы революцию и ее действующих лиц. Писания Бональда, Шатобриана³⁴ и других дворянско-клерикальных историков и публицистов были лишь яростной инвективой против революции и ее вождей. Ненависть так слепила этих писателей, что вся яркая, многокра-

сочная картина революции оказывалась в их изображении залитой сплошным черным цветом. Поэтому-то среди множества дворянских идеологов и публицистов периода Реставрации — а некоторым из них, хотя бы тому же Шатобриану, нельзя было отказать в таланте — не оказалось ни одного крупного историка минувшей эпохи.

Но в ту пору, когда политическая эволюция вправо дошла до своего логического конца — до господства ультрароялистов и закона о вознаграждении эмигрантов, в ту пору, а для проницательных умов и раньше стало очевидным, что, как ни свирепствовала дворянско-клерикальная реакция, она была не в силах повернуть историю вспять и остановить то поступательное развитие страны по новому, капиталистическому пути, который проложила первая французская революция.

Частично работа «Рассуждения о французской революции» де Сталь, а затем уже вполне определенно исторические сочинения Минье и Тьера³⁵, реабилитировавшие в целом революцию, представляли точку зрения выросшей, окрепшей и претендующей на полноту власти либеральной буржуазии.

Общее значение работ буржуазных историков периода Реставрации, и в частности их отношение к революции, настолько выяснено в марксистской литературе, что нет нужды на этом останавливаться. Но следует отметить, что как и для Сталь, так и позже для Минье и для Тьера, произнесших, каждый в своей манере, защитительную речь в пользу революции, Робеспьер был, конечно, не в числе подзащитных, а на скамье обвиняемых.

Де Сталь, примешивая к своим «рассуждениям» смутные воспоминания о годах своей молодости, преобразенных ее творческим воображением, создала один из наиболее искаженных портретов Робеспьера^{36*}. Минье был готов довести свои демократические симпатии до признания заслуг Дантона, который рисовался ему «исполином среди революционеров». Но к Робес-

* Кажется, она была первой, кто создал легенду о зеленом цвете (она писала о зеленого цвета веках Робеспьера), так раздутую потом и обыгранную Карлейлем (*Carlyle T. The French Revolution. L., 1838*). Но следует отметить, что, открыто высказывая ненависть к Робеспьеру, она признавала, что из всех имен, рожденных революцией, единственное, которое сохранится, — это имя Робеспьера.

пьеру он питал отвращение и ненависть: он считал его человеком, в полной мере обладавшим всем, что нужно для тирании, сыгравшим ужасную роль в революции³⁷. Тьер, с молодых лет инстинктивно испытывавший почтительность ко всякому авторитарному представителю исполнительной власти (вспомним замечание Маркса о том, как он «чистил сапоги» Наполеону в своей «Истории консульства и империи»), проявил к Робеспьеру бóльшую сдержанность, чем его собрат той поры Минье. Однако и он, конечно, оставался безусловно враждебен Робеспьеру.

Здесь пролегла демаркационная линия, отделявшая либеральную буржуазию от демократической буржуазии, от классов, стоявших левее ее.

«Признав» французскую революцию и, более того, в годы своего «левения» подняв трехцветный флаг революции как свое боевое знамя, либеральная буржуазия принимала не всю революцию целиком, а лишь до известных пределов — до Жиронды включительно, а некоторые авторы — до Дантона. Робеспьер оставался на противоположной стороне, там, где мир зла отделялся от мира добра.

Линия размежевания была очерчена резко и определено: фракции и группировки в революции от жирондистов и до Дантона включительно — это политическое наследство, приемлемое для либерализма; группировки, начиная от Робеспьера и левее его, — это политические предшественники лагеря демократии.

Если так непримиримо-враждебно определяли свое отношение к Робеспьеру представители либеральной буржуазии в пору ее «левения», в годы Реставрации, когда буржуазия еще мечтала о завоевании господства, то после буржуазной революции 1830 года, приобщившей часть ее — денежную аристократию к власти, и после опыта революции 1848 года и Второй республики эти настроения еще более укрепились.

Альфонс де Ламартин в «Histoire de girondins» — многотомном стихотворении в прозе, поэтизировавшем Жиронду³⁸, был, конечно, враждебен Робеспьеру. Но при всех своих политических пороках Ламартин был поэтом, не лишенным таланта и дара художественного восприятия. Он не мог поэтому не почувствовать исторического величия Робеспьера. Рисуя его роль в революции как зловещую и губительную, хотя и чистую по личным побуждениям, Ламартин все же при-

навал, что с «Робеспьером и Сен-Жюстом закончился великий период Республики. Начиналось второе поколение революционеров. Республика пала с высоты трагедии до интриги...»³⁹.

Но пятнадцать лет спустя, после испытаний революции 1848 года, в которой он играл столь бесславную роль, после уроков классовой борьбы в годы Второй республики, умудренный опытом, Ламартин в 1861 году выступил с критикой своей же «Histoire de girondins». И возвращаясь к оценке Робеспьера в этом сочинении, Ламартин, уже не поэт, а бывший министр Временного правительства, вносил в нее существенные поправки: «Я был бы сегодня, может быть, более строг (в оценке Робеспьера. — А. М.), так как я видел его тень на улицах в 1848-м...»⁴⁰ В этих словах, вырвавшихся из-под пера Ламартина, и раскрыт секрет усиливавшейся враждебности его, и не только его, а всей буржуазии, к Робеспьеру после 1848 года.

Странное дело, естественно было предполагать, что, чем дальше уходили десятилетия от грозного 93 года, тем тише должны были становиться страсти, должна была остывать злоба, личная приязнь или вражда; все умеряющее время должно было, казалось, потушить последние огоньки волнений, пристрастий, оставшихся от этой бурной эпохи.

Но в действительности все было не так. Не только историки, представлявшие крупную буржуазию, но и ряд авторов явно мелкобуржуазных по политическим взглядам, по характеру мышления, по общественным идеалам, как, например, Мишле или Эдгар Кинэ или из нефранцузских авторов Томас Карлейль, писали о Робеспьере с трудно объяснимым раздражением и злобой⁴¹. И для них линия размежевания добра и зла в истории великой революции XVIII века оставалась строго в границах, начертанных впервые Минье: все приемлемое заканчивалось на жирондистах и Дантоне; дальше, от Робеспьера, начинался страшный мир социального зла.

А если обратиться к такому историку, как Ипполит Тэн, писавшему о революции спустя почти сто лет после ее начала⁴² и прошедшему, таким образом, уже через опыт Парижской Коммуны, то у него явственно обнаруживалась какая-то иная мера вражды к революции вообще и к Робеспьеру в частности. Это была уже не антипатия, не злоба, а какое-то исступление, неистовст-

во ненависти, облеченное в литературные формы, которым накал ярости придал даже внешний блеск.

Так в чем же было дело? Что было источником неутихающей ненависти буржуазии и ее историков к Робеспьеру? Почему она принимала жирондистов и Дантона и с негодованием отвергала Неподкупного?

Если вдуматься в те доводы, которыми обосновывалась отрицательная оценка Робеспьера, то они у большинства буржуазных авторов были весьма сходны.

Огонь по Робеспьеру вели главным образом с моральных и этических позиций: его обвиняли в том, что он был жесток, тщеславен, кровожаден, властолюбив, что он погубил много людей, был деспотом и тираном. Некоторые присоединяли к этому элементы эстетического разоблачения: он был невысок ростом, у него был глухой голос, зеленый — по легенде, созданной мадам де Сталь, — цвет лица и т. д.

Но фальшь и несостоятельность всех этих аргументов становятся вполне очевидными, как только речь пойдет о другом выдающемся деятеле той эпохи — о Наполеоне Бонапарте. Все обвинения морального и этического порядка, выдвигаемые против Робеспьера, с гораздо большим основанием могли быть адресованы ему. Бонапарт был в действительности и тщеславен, и жесток, и властолюбив, и погубил великое множество людей, и был деспотическим повелителем Франции и половины Европы. Наконец, он был также невысок ростом, и у него был нездоровый цвет лица, как находили многие очевидцы. Но Бонапарт, как известно, вызывал у буржуазии и ее историков не злобу и ненависть, а восхищение. Следовательно, осуждение Робеспьера в морально-этическом плане было лишь лицемерием, маскировкой, скрывавшей подлинные причины вражды к нему буржуазии.

Разгадка источника этой возраставшей вражды содержалась уже в приведенных выше словах Ламартина из его автокритики 1861 года.

Робеспьер был и оставался в глазах буржуазии олицетворением революционной демократии. Его имя всегда связывалось в ее представлении с народом, поднявшимся на борьбу, властно вмешавшимся в жизнь, полным неукротимой энергии революционным народом.

Мирабо, фельяны, жирондисты были представителями разных групп, собственно буржуазии, и их политика на всех этапах революции всегда оставалась политикой

буржуазных верхов общества. Дантон представлял политику компромисса, соглашения с этими группами; его популярность как народного трибуна придавала ему лишь еще большую цену.

Робеспьер, хотя, как это признают все буржуазные авторы, был человеком не из народа, а из буржуазии, и тем не менее никогда не проводил и не защищал интересов буржуазных верхов, а вел против них борьбу, опираясь на народ и во имя интересов народа. Кинэ так прямо и писал, что Робеспьер, после падения Жиронды, стал ссорить народ с буржуазией⁴³.

Этого было вполне достаточно, чтобы пробудить неугасающую ненависть к Неподкупному.

Но по мере того как буржуазия, овладев властью, вступала во все более острую борьбу с народом и его авангардом — пролетариатом, ее враждебность к Робеспьеру, естественно, возрастала.

В 1848 году после июньского восстания парижского пролетариата — гражданской войны в своем самом страшном облики — войны труда и капитала⁴⁴ так называемая либеральная буржуазия сделала еще один шаг в своей эволюции вправо. И Ламартин, один из непосредственных виновников июньской трагедии (вспомним слова Маркса: «...фейерверк Ламартина превратился в зажигательные ракеты Кавеньяка»⁴⁵, которые выразили новую контрреволюционную ипостась буржуазии), признавался, что, после того как он увидел тень Робеспьера на парижских улицах 48-го года, он бы судил его более строго. Это был не личный суд Ламартина — поэта, историка, министра, это был классовый суд буржуазии.

Но за июньским восстанием 1848 года последовала Парижская Коммуна 1871 года и за академическими поправками Ламартина — написанный желчью, стоящий на грани площадной брани пасквиль против революции академика Ипполита Тэна.

* * *

В течение столетия дворянская и буржуазная историография хулила Робеспьера и чернила его память, исключив его имя из истории французской славы. Она хотела навсегда отвратить от него народ...

Что же было противопоставлено этим усилиям?

Продолжал ли жить в сознании народа и оказывать влияние на его борьбу давно казненный и оклеветанный

Робеспьер? В. И. Ленин писал: «...французская революция, хотя ее и разбили, все-таки победила, потому что она всему миру дала такие устои буржуазной демократии, буржуазной свободы, которые были уже неустранимы»⁴⁶. Эти замечательные ленинские мысли, столь важные для понимания всей истории нового времени, дают очень многое и для частного вопроса — понимания посмертной судьбы Максимилиана Робеспьера.

Всякий раз, когда требования исторического развития заставляли «осуществлять по частям» задачи, выдвинутые Великой французской революцией, в памяти народов закономерно оживал образ одного из самых выдающихся ее деятелей — Максимилиана Робеспьера.

Об этом можно было судить не только по разным формам практической деятельности — возрождению революционно-республиканского движения, созданию подпольных революционных групп и т. п. Об этом свидетельствовали исторические сочинения, прямо или косвенно посвященные Неподкупному, само появление которых было также глубоко закономерным.

Во Франции накануне второй революции — буржуазной революции 1830 года вышли одни за другими мемуары Буонарроти и Левассера⁴⁷.

Знаменитая книга Буонарроти о «заговоре равных», как уже говорилось, впервые после казни Бабёфа открыто провозглашала Робеспьера величайшим деятелем революции; Левассер, якобинец железной закалки 93-го года, которого ни скитания, ни гонения не заставили склонить головы, в годы безвременья с гордостью вспоминал о великих людях великой эпохи и о первом среди них — о Неподкупном^{48*}.

Накануне третьей революции — революции 1848 года и Второй республики Робеспьер был прославлен в работах, различных по характеру и значению, Бюше и Луи Блана.

Бюше, своеобразный христианский социалист сенсимонистской школы, в годы июльской монархии вместе с Ру предпринял обширное издание документальных материалов — почти исключительно политического содержания — эпохи французской революции⁴⁹. Эта публикация сохраняет определенную научную ценность

* Следует напомнить в этой связи, что Маркс с большим вниманием штудировал и даже конспектировал мемуары Левассера.

и в наши дни. Но для того времени ее выход был крупным событием. В годы мещанского царства короля-буржуа, ничтожных и низменных интриг, копеечного скопидомства и мелких корыстных расчетов со страниц публикуемых Бюше и Ру томов вдруг заговорили совершенно иные голоса — молодые и могучие, перекликавшиеся с громами революционной бури, предстали совершенно иные образы, как бы отлитые из бронзы, образы «гигантов цивизма», как говорил в свое время А. И. Герцен.

Самыми замечательными творцами революции Бюше считал якобинцев, а самым замечательным из якобинцев — Робеспьера. И он щедро распахнул перед ним двери своего издания. Впервые — прошло сорок лет после термидора — голос Робеспьера снова зазвучал для нового поколения французов, которое должно было вскоре создавать Вторую республику. И конечно, для этой новой поросли республиканцев гораздо красноречивее были речи самого Робеспьера, чем восторженные, но крайне сумбурные комментарии редактора Бюше.

Луи Блан, который начал издавать свою двенадцатитомную «Историю французской революции» за два года до февральской революции, выступил в своем сочинении восторженным апологетом Робеспьера. Но Луи Блан главную часть своей работы писал уже после революции 1848 года⁵⁰.

Надо признать, что сочувственная оценка Робеспьера Луи Бланом, как и само его сочинение в целом, была для своего времени небесполезна. Полемизируя с Мишле, Тьером, Ламартином и другими историками, Луи Блан защищал от их измышлений Робеспьера и в этом в большинстве случаев был прав.

Конечно, это не значило, что автор «Организации труда», мелкобуржуазный реформист, праотец «соглашательства», как определял в 1917 году В. И. Ленин его политику⁵¹, стал настоящим якобинцем эпохи революционного террора. Отнюдь нет! Луи Блан, как он ни вытягивался на носках, как ни старался, не мог дотянуться до плеча Неподкупного. В политике, в революции 1848 года Луи Блан и его сотоварищи из мелкобуржуазных соглашателей, охвостье которых позже провозгласило себя «Новой горой», заимствовало от подлинных якобинцев 93-го года только внешние черты их ораторского стиля. Но у тех сильные, но скупые слова

сопровождали еще более сильные действия. У Луи Блана, Ледрю-Роллена, у героев «Новой горы» звонкая фразеология лишь прикрывала отсутствие действий; они подменяли фразой отказ от политики революционной, классовой борьбы. Это была лишь жалкая пародия на роль настоящей Горы, один из эпизодов фарсового дублирования в 1848 году трагедии 1789—1794 годов, как это блестяще показал Маркс в своем знаменитом «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта»⁵².

Луи Блан начал свою «Историю французской революции» до февраля 1848 года, а закончил ее в лондонской эмиграции в 1862 году. Его занятия политикой, когда он в действительной жизни Второй республики играл жалкую, фарсовую роль, пародируя Робеспьера, и его занятия историей, когда он эмигрировал из действительности в подлинно трагедийный мир Первой республики, описывая героическую жизнь Робеспьера, так тесно переплелись между собой, что первое не могло не влиять на второе.

Та «слабость, шаткость, доверчивость к буржуазии», которыми В. И. Ленин определял Луи Блана как мелкобуржуазного политика⁵³, были в известной мере присущи ему и как историку, хотя как историк он был многим сильнее, чем политик. Все его сочинение было внутренне глубоко противоречиво. Прославляя Робеспьера и оправдывая его действия, Луи Блан в то же время преуменьшал глубину расхождений между Горой и Жирондой и, хотя и со множеством оговорок, внушал мысль о том, как полезно было бы их примирение. Далее Луи Блан на протяжении всего своего сочинения безоговорочно одобрял политику и действия Робеспьера; он выступал его панегиристом.

А между тем отнюдь не все в политике Робеспьера заслуживало одобрения. Робеспьер сохранил в силе антирабочий закон Ле Шапелье; он поддерживал распространение максимума и на заработную плату рабочих; он проявлял непонимание интересов и нужд рабочих, равнодушие к их требованиям; он обнаруживал такое же равнодушие к интересам сельской бедноты; он ничего не сделал для улучшения их положения; он наносил удары не только по врагам республики, но и по представителям левых группировок в революции — «бешеным», затем Шометту.

Я перечисляю здесь лишь некоторые факты и черты политической биографии Робеспьера, в которых ясно

проступали противоречивость и слабость его как буржуазного — великого, но все же буржуазного — революционера. Следовать примеру Робеспьера, следовать традиции якобинизма в новых исторических условиях, когда на арену классовой борьбы вышел пролетариат, по меньшей мере означало некритическое повторение всего опыта якобинизма, идеализацию якобинизма и его вождей.

Луи Блан безоговорочно одобрял Робеспьера целиком, всю его политику от начала до конца. Политические ошибки и слабости вождя якобинцев Луи Блан отнюдь не воспринимал как ошибки, напротив, он возводил их в гражданскую добродетель. Это было тоже извращением исторического образа Робеспьера, хотя и с другой стороны.

Эта линия была продолжена во французской историографии Амелем, шедшим за Луи Бланом в безоговорочном одобрении всей политики Робеспьера, и другими, менее значительными писателями. Но направление, основоположником которого можно считать Луи Блана, оказалось весьма живучим и позже и, хотя и с большими модификациями, давало о себе знать в трудах даже столь различных историков, как Олар и Матъез.

Накануне четвертой революции — буржуазно-демократической революции 1870 года и Третьей республики, в годы кризиса бонапартистского режима, вновь появилось множество книг, связанных с историей Великой французской революции, и среди них первые исторические сочинения, глубоко сочувственные по направлению, специально посвященные левым деятелям революции, якобинским вождям Робеспьеру, Марату, Сен-Жюсту⁵⁴. Само это явление было весьма симптоматичным: оно показывало, как по мере развития и обострения классовой борьбы между пролетариатом и буржуазией оживали, казалось, забытые тени прошлого — вожаки первых революционных битв — и неожиданно какими-то своими чертами оказывались близкими, понятными и нужными народу в иную историческую эпоху.

Правда, здесь следует сказать, что в это же примерно время в рядах демократии раздались и открыто враждебные голоса. С осуждением, резким, непримиримым, всей деятельности Робеспьера выступил Огюст Бланки. Знаменитый революционер XIX века критиковал Робеспьера, так сказать, слева. Он считал Робеспье-

ра «преждевременно созревшим Наполеоном», диктатором и тираном и особенно ставил ему в вину его борьбу против сторонников дехристианизации и «идей верховного существа»⁵⁵. Откуда взялась у Бланки такая крайняя враждебность к Робеспьеру? Матъез, впервые в 1928 году опубликовавший переданные ему Молинье заметки Бланки, объясняет ее прежде всего неосведомленностью «заключенного» в истории французской революции и тем, что сведения о ней он черпал из «Истории жирондистов» Ламартина. Матъез так и пишет: «Это заметки политического деятеля, который не знал историю, кроме как по скороспелой и полной ошибок работе другого политического деятеля», т. е. Ламартина.

С этим мнением Матъеза нельзя согласиться. Ссылки на «Историю жирондистов» Ламартина, которые действительно имеются в рукописи Бланки, можно объяснить, на мой взгляд, лишь тем, что в Дуланской тюрьме, где Бланки в 1850 году писал свои заметки, в его распоряжении не было иных книг, кроме Ламартина. Но считать, что Бланки, сын депутата Конвента, ученик Филиппа Буонарроти, член «Общества друзей народа», от самих собраний которого, по образному выражению Гейне, «веяло как от зачитанного, замусоленного экземпляра «Moniteur» 1793 года»⁵⁶, сподвижник Годафруа Кавеньяка и других «молодых якобинцев» 30-х годов, считать, что Бланки знал французскую революцию только по сочинениям Ламартина, — это значило поддаться ослеплению мгновенного чувства досады или раздражения.

По ряду косвенных доказательств можно предположить, что Бланки в этом вопросе находился под влиянием не Ламартина, конечно, а исторической литературы «левых термидорианцев», о которой шла речь в начале главы.

Как бы то ни было, но эти заметки Бланки сыграли известную роль в спорах о Робеспьере. Хотя при жизни их автора они остались неопубликованными, но они распространялись в рукописных копиях среди его приверженцев. Под непосредственным влиянием исторических взглядов Бланки появились сочинение его ближайшего ученика Гюстава Тридона, выступившего с открытой апологией эбертистов и нападками на Робеспьера, и в некоторых отношениях близкая к ним работа Авенеля об Анахарсисе Клоотсе⁵⁷.

Так в историографии робеспьеризма на демократическом ее фланге наряду с сочувственным Робеспьеру направлением сохранялось, вступая в споры с первым, и антиробеспьеристское направление, атаковавшее Робеспьера, так сказать, «слева». Это направление шло от «левых термидорианцев» — безбожников, атеистов Барера, Вадье к Бланки, от него — к Тридону и далее соприкасалось какими-то сторонами с анархистской концепцией французской революции П. А. Кропоткина⁵⁸.

Но это враждебное Робеспьеру течение и в лучшие свои дни, когда оно было представлено славным именем Бланки, не приобрело в демократической литературе большого значения. Даже огромный авторитет и моральный престиж Бланки не смогли обеспечить поддержки его антиробеспьеристских взглядов рядом ближайших его сторонников. Так, его старейший сподвижник Мартен Бернар выступал самым горячим поклонником Неподкупного^{59*}.

Преобладающим направлением в демократической историографии была тенденция горячей защиты Робеспьера. В те же 60-е годы XIX века появилось первое сочинение, написанное французским историком, пытавшимся на протяжении полутора тысяч страниц восстановить день за днем жизнь великого деятеля революции. Эрнест Амель, автор этого труда, всячески подчеркивавший свое беспристрастие, свою «внепартийность», в то же время не скрывал глубокого восхищения героем своего повествования⁶⁰.

В историографии первой французской революции к трудам Амеля сохранилось сдержанное или даже пренебрежительное отношение, в чем повинен в известной мере Матъез. На мой взгляд, оно незаслуженно. Для своего времени Амель сделал много. В создании научной биографии Робеспьера его работа имела такое же крупное значение, как труд Бужара о Марате. Исследование Амеля было трудом реставратора, соскребавшего со старого портрета наслоившиеся за долгие десятиле-

* Матъез, справедливо обративший внимание на глубокое расхождение в оценке Робеспьера между Бланки и Мартен Бернаром, высказал не лишнюю оснований догадку, что Бланки не опубликовал своих заметок о Робеспьере, опасаясь породить разногласия в рядах собственной партии (*Annales historiques de la Révolution française*. 1928. И 28. Р. 306—307).

тия сгустки черной краски и восстанавливавшего по частям его первоначальные линии и цвет.

Но если работа Амеля по своему идейному содержанию и заслуживает критики, то это прежде всего за его, если так можно сказать, позицию «круговой обороны» всей деятельности Робеспьера. Амель брал под защиту и пытался представить политической добродетелью все действия Робеспьера, в том числе и те, которые были ошибочными. Короче говоря, Амель нуждается в критике за то, что он недостаточно критикует Робеспьера.

Итак, всякий раз, когда развитие исторического процесса во Франции ставило задачи «доделывания», как говорил В. И. Ленин, начатого первой французской революцией, из далекого прошлого выплывал, и раз от разу все явственнее, все зримее, как бы все увеличиваясь и вырастая, представал и приближался к новым поколениям образ великого революционера XVIII века Максимилиана Робеспьера.

Но XIX век был веком буржуазно-демократических революционных движений, начатых первой французской революцией, не только для Франции, но и для других стран Европы. В каждой стране развитие этих исторических процессов имело, понятно, очень большое своеобразие. Но тем примечательнее, что в своей второй, посмертной судьбе ославленный Робеспьер, перешагнув границы своей родины, смог быть понятым и признанным передовыми людьми в близких и далеких от Франции странах.

Через полвека после смерти Робеспьера, в начале 40-х годов, в далекой России, скованной мертвящей властью Николая I, нашлись в обеих столицах русские молодые люди, объявившие себя приверженцами Робеспьера. Правда, эти молодые люди не обладали ни высокими чинами, ни званиями, но зато у них было иное: они представляли будущее своего народа.

Из воспоминаний И. И. Панаева⁶¹, подтвержденных и его двоюродным братом В. А. Панаевым⁶², известно, что зимой 1841—1842 годов по субботам Иван Панаев у себя на квартире в кругу друзей Белинского читал историю французской революции. Источником для Панаева служили упомянутая «Парламентская история французской революции» Бюше и Ру, «Moniteur» (очень полно воспроизводившие, как известно, речи Ро-

беспьера) и литература^{63*}. После чтения возникли споры. Как свидетельствует Панаев, Маслов и «некоторые другие сделались отчаянными жирондистами. Мы с Белинским отстаивали монтаньяров»⁶⁴.

Но не только Белинский и Панаев были приверженцами Робеспьера. В ту пору такой же молодой Александр Герцен писал: «Максимилиан один истинно великий человек революции, все прочие необходимые блестящие явления ее и только»⁶⁵. В «Былом и думах» Герцен признавался, что в ту пору, в начале 40-х годов, он завидовал силе Робеспьера. Его друг Николай Кетчер «вместо молитвы на сон грядущий читал речи Марата и Робеспьера»⁶⁶. Так молодые люди, представлявшие в то время цвет России, ее надежду, определяя своими симпатиями свои политические позиции, объединялись вокруг Горы и ее вождя — Робеспьера.

Но первые споры 41-го года, разделившие кружок Белинского на сторонников жирондистов и приверженцев монтаньяров, имели свое продолжение в острых и принявших принципиальный характер разногласиях между Белинским и Герценом, с одной стороны, и Т. Н. Грановским — с другой⁶⁷. Предмет этих споров был по-прежнему связан в значительной мере с личностью Робеспьера, но сущность их была и глубже, и шире. Здесь начиналась линия межевания, здесь расходились две дороги: путь революционной демократии и путь либерализма.

Споры о Робеспьере в кругах передовой русской общественности середины XIX века были спорами о завтрашнем дне России, о путях ее развития, о будущей русской революции.

Что привлекало в Непокупном таких людей, как Белинский, молодой Герцен и их друзья? Глубокий демократизм Робеспьера, его непоколебимая вера в народ, его бесстрашие, решимость, непреклонность революционера — все то, что внушало страх и отталкивало от него передового, просвещенного, но всегда остававшегося барином Т. Н. Грановского.

Русские революционные демократы открыли в Робеспьере своего предшественника. Перед ними стоял

* И. Ямпольский в весьма обстоятельном комментарии справедливо указывает, что Белинский и ранее был хорошо знаком с французской революцией и имел вполне определенное суждение о ней (см.: Панаев И. И. Указ. соч. С. 414—415).

грозный враг — самодержавно-крепостнический строй, душивший все живые силы русского народа. И победить его можно было, в этом они убедились, «не сладенькими и восторженными фразами» либералов, к чему на деле сводилась позиция Грановского, а «обоюдоострым мечом слова и дела Робеспьеров и Сен-Жюстов», как справедливо писал в полемике против него Белинский.

Так протягивались незримые нити преемственной связи между французскими революционерами XVIII столетия — якобинцами и русскими революционными демократами середины XIX века, прокладываявшими путь к великой будущности своего народа.

На противоположном конце Европы, на самом ее Западе, на Британских островах, в это же примерно время имя Робеспьера стало боевым паролем иных социальных сил, ведших напряженную классовую борьбу. Английский пролетариат, после долгого пути исканий и поражений поднявшийся до политической борьбы за решение социальных вопросов, но не дойдя еще до научного коммунизма, увидел в якобинизме воодушевляющие и поучительные для себя примеры. Речь идет, понятно, о славном периоде английского рабочего движения — чартизме.

В ту пору один из лучших представителей чартизма, вождь его левого крыла, позднее друг Маркса и Энгельса, Джордж Джулиан Гарни, поклонник французской революции, подписывавшийся, как и Марат, *Ami du peuple* («Друг народа»), на митинге международной демократии в Лондоне в сентябре 1845 года говорил: «Я знаю, что все еще считается дурным тоном смотреть на Робеспьера иначе, как на чудовище, но я думаю, что недалек тот день, когда будут придерживать совсем иного мнения о характере этого необыкновенного человека»⁶⁸.

Гарни не был единственным приверженцем Робеспьера и якобинцев в рядах английских чартистов. Еще более горячим и убежденным почитателем Неподкупного был Бронтер О'Брайен. В 30-е годы он стал серьезно изучать французскую революцию, и особенно деятельность и идейно-политические взгляды Максимилиана Робеспьера. Образ вождя якобинской диктатуры произвел на него огромное впечатление: в Робеспьере он увидел представителя истинной демократии. В годы нарастания чартистского движения О'Брайен работал над

биографией Робеспьера. Первый том ее вышел в 1837 году — в год прилива первой волны чартизма⁶⁹.

Не представляется возможным, да и нет, пожалуй, необходимости прослеживать и подтверждать на примерах влияние исторического опыта Великой французской революции, ее освободительных идей, ее выдающихся деятелей на революционную и национально-освободительную борьбу самого широкого спектра социальных оттенков почти во всех странах Европы и Америки первой половины XIX века.

Придется ли говорить о самом близком по времени к французской революции литературно-политическом движении так называемых «венгерских якобинцев», создавших тайное революционное общество «Свобода и равноправие» во главе с Мартиновичем, или, позднее, об идейных истоках творчества величайшего поэта Венгрии Шандора Петефи⁷⁰, или же о движении итальянского народа, выражавшего в 1801 году в Милане свое негодование возгласами «Да здравствует Робеспьер!»⁷¹, или о драматургии Георга Бюхнера⁷², или о юношеских увлечениях талантов «молодой Германии»⁷³, или о многих иных общественных движениях, революционных и прогрессивных, — всегда за ними был различим видимый то ближе, то дальше силуэт великого якобинца XVIII века Максимилиана Робеспьера.

Ни феодально-дворянская, ни буржуазная реакция не оказалась в силах вычеркнуть из истории имя Робеспьера. Народ, творивший историю, двигавший ее вперед, в жестоких боях завершивший начатое французской революцией дело, не мог забыть ее героев.

Само собой понятно, что революционное движение на этом новом этапе не могло быть и не было простым повторением французской революции. Оно приобретало, в особенности в странах передового капиталистического развития, где быстро развивался пролетариат, новое содержание. Но революционная демократия 40-х годов XIX века, уже ощущавшая приближение нового революционного вала, действительно прокатившегося в 1848 году, очень остро чувствовала преемственную связь с французской революцией и открыто ее провозглашала. «...Все современное европейское социальное движение представляет собой лишь второй акт революции, лишь подготовку к развязке той драмы, которая началась в 1789 г. в Париже, а теперь охватила своим

действием всю Европу...»⁷⁴ — писал в 1845 году Энгельс.

Естественно, что и главные герои первого действия этой драмы, и среди них, естественно, тот, кто играл едва ли не самую важную и трагедийную роль — Робеспьер, снова овладели умами и сердцами миллионов людей, ходом вещей вовлекаемых в новый акт революции.

И здесь мы обрываем это затянувшееся вступление к основной теме. Поневоле оно приобрело черты историографического введения. А это не входило в намерения автора, да и практически было бы неосуществимо. Ведь если проследживать продолжавшиеся столкновения мнений по поводу Неподкупного в исторической литературе и общественной мысли за последние сто пятьдесят лет, пришлось бы в 2—3 раза увеличивать объем работы. Да и нужно ли это?

Задача вступления была иная. Я полагал, что надо с самого начала показать для более правильного понимания всего последующего, что казнь без суда, насильственная смерть, посмертное поругание Робеспьера вопреки стараниям его врагов — все это оказалось напрасным. И поверженный, убитый, оклеветанный Робеспьер продолжал жить в памяти народа.

И не забывая об этом, вернемся теперь к тому, с чего и надо было, вероятно, начинать.

II

Каждая великая историческая эпоха рождает великие дарования. Они появляются обычно во всех областях человеческой деятельности: в политике, общественной мысли, науке, литературе, искусстве.

Целое созвездие ярких талантов породило и восемнадцатое столетие — эпоха Великой французской революции и ее исторического подготавливания. Правда, их значение для последующих поколений не было одинаковым; вклад, внесенный каждым из этих талантов в сокровищницу духовных ценностей человечества, мог быть определен лишь испытанием времени.

Иные из имен, так ослепительно блиставшие в годы революции и казавшиеся многим современникам звездами первой величины, не выдержали этой проверки. Сначала они поблекли, затем стали тускнеть, затем сов-

сем погасли, и от них сохранился едва заметный в истории след.

Другие оставили более прочную память, но внимание и интерес к ним поддерживались лишь у ученых-специалистов — историков, философов, филологов, оставляя новые поколения людей равнодушными к их былой славе, былой судьбе.

И лишь совсем немногие — их имена наперечет, — преодолевая напор все уносящего потока времени, на каждом новом историческом повороте какими-то не познанными ранее чертами приковывая к себе внимание вступающей в жизнь новой людской поросли, навсегда запечатлелись в памяти человечества. К числу этих немногих принадлежит, как мы пытались только что доказать, и Максимилиан Робеспьер.

Максимилиан де Робеспьер родился 6 мая 1758 года в городе Аррасе в провинции Артуа на севере Франции. Его полное имя — Максимилиан-Мари-Изидор, но он почти никогда не подписывался всеми тремя своими именами, а ставил перед своей фамилией только первое — Максимилиан. Это имя он должен был всегда соединять со своей фамилией, чтобы его не смешивали с его младшим братом Огюстеном-Жозефом Робеспьером, ставшим позднее также политическим деятелем.

1758 год — год рождения будущего вождя якобинцев остался памятным в истории Франции. Это был один из самых бесславных годов в долголетнем царствовании Людовика XV, год глубоких внутренних и внешних потрясений для французского королевства. Поражения французской армии в Семилетней войне при Росбахе в 1757 году и при Кревельте в 1758 году нанесли тяжелый удар престижу монархии. Власть Людовика XV, претендовавшего на славу и величие своего предшественника — «короля-солнца», предстала в своем истинном виде: она раскрыла перед страной, перед всем миром свою слабость, бездарность, ничтожество. «В сущности нам не хватает правительства... у нас нет ни генералов, ни министров...» — писал один из видных правительственных чиновников, аббат де Берни, государственный секретарь департамента иностранных дел⁷⁵.

Но это правительство, ничтожность которого признавали даже его высшие служащие, не хотело добровольно сойти со сцены, напротив, оно усиливало репрессии против всех «вольнодумцев». В сентябре 1758

года в Париже, на Гревской площади, был публично повешен один из служащих палаты прошений за непочтительные слова о короле и его министрах. Однако суровые кары не могли сломить общественное недовольство. Осенью 1758 года в Театре французской комедии, в Лувре и других посещаемых местах Парижа расклеивались и разбрасывались листовки с мятежными призывами.

Правительство, а затем парижский архиепископ запретили и осудили в 1758 году только что вышедшую книгу Гельвеция «Об уме», но после запрещения книга выдающегося философа-материалиста стала одним из самых популярных литературных произведений. «Мы приходим к последнему периоду упадка», — писал 6 июня 1758 года уже упоминавшийся аббат де Берни, и то ли с его легкой руки, то ли из других уст, но это слово «упадок» (*décadence*) стало самым распространенным обозначением обреченного на гибель режима.

С чего это началось? С каких пор обозначилось это скольжение по наклонной вниз? Это уже было трудно установить. Свыше сорока лет правил Францией король Людовик XV, но, чем дальше шло время, тем явственнее становилась не только слабость и бездарность ничтожного монарха, но и гнилость всего феодально-абсолютистского режима. Версальский дворец блистал таким же великолепием, как и в дни «короля-солнца» Людовика XIV, но выставленная напоказ роскошь и непрерывные празднества и развлечения, подсказанные изобретательной фантазией всемогущей госпожи де Помпадур, уже не создавали впечатления могущества и благоденствия королевства.

В Версальском дворце, в особняках родовой аристократии, стремившейся следовать за двором, торопливо, грубо и жадно прожигали жизнь. «После нас — хоть потоп!» — эти циничные слова, приписываемые Людовику XV, стали как бы девизом господствующего класса феодалов середины XVIII столетия. Они жили сегодняшним днем, не задумываясь над будущим. Для удовлетворения алчных и необузданных потребностей королевского двора, придворной камарильи, казны, огромного налогового аппарата, армии, церкви, родовой аристократии, помещного дворянства оставались одни и те же источники дохода: возрастающая эксплуатация крестьян и прогрессирующее налоговое обложение буржуазии.

Крестьянство, составлявшее подавляющее большинство населения королевства, было обездоленным, бесправным, нищим. Но это забитое, изнуренное непосильным трудом крестьянство все же отвечало на чудовищную эксплуатацию возрастающим сопротивлением. Крестьянские волнения, доходящие нередко до открытых вооруженных восстаний, усиливались на протяжении XVIII столетия. К середине века, и особенно во второй его половине, подспудное сопротивление крестьянства беспощадной феодальной эксплуатации все чаще переходило в открытое возмущение.

Расцвет просветительской мысли во Франции, успехи «партии философов», завоевывавшей все новых приверженцев в рядах третьего сословия, даже среди либерального дворянства, были внешним отражением возрастающей борьбы народных масс и сильной молодой буржуазии против отживающего свой век феодально-абсолютистского строя.

Эта борьба нового со старым шла уже давно. Время феодализма кончалось. В двери стучались новая эпоха, новые общественные отношения, новый общественный строй. Их истинное содержание — а таковым, по законам общественного развития, могло быть только установление господства буржуазии — еще оставалось даже для самых сильных умов неясным и неразгаданным. Новая эпоха представлялась им — понятно, со множеством разных оттенков — как время торжества разума и свободы, как лучший, более справедливый и гармоничный общественный порядок, построенный в соответствии с «естественными правами человека».

Каким будет будущее? Этого никто не знал достоверно. Но уже многие чувствовали приближение больших перемен, крутую ломку социально-политического уклада всей жизни, и будущее, которое должно было наступить за этой ломкой, представлялось им прекрасным.

Но волнующие надежды, будоражившие умы молодых людей, вступавших в жизнь в середине XVIII века и искавших ответа в сочинениях Вольтера, Монтескье, Ламетри, Гельвеция, Руссо, в статьях «Энциклопедии» Дидро и Д'Аламбера, — эти «мятежные настроения», этот «дух вольнодумия» не только ни в малой мере не разделялись правительством, но, напротив, преследовались как опасная «крамола» и «ересь»⁷⁶.

Разрыв между третьим сословием, составлявшим де-

вять десятых населения королевства, и существовавшей властью — феодально-абсолютистским режимом достиг крайней степени. Это были два мира, разных и враждебных друг другу, но вынужденных уживаться в рамках одного государственного организма. Старый, феодально-абсолютистский мир господствовал, угнетал и повелевал. А народ и шедшая с ним вместе, точнее возглавлявшая его, буржуазия стремились сломить этот мертвящий покой реакционного рутинного строя, сорвать его оковы. С середины века эти непреодолимые противоречия стали все чаще прорываться наружу.

В 1748—1749 годах в разных провинциях французского королевства, да и в самом Париже вспыхивали народные волнения. Правительство подавило их жестокими репрессиями, однако народное недовольство, загнанное в подполье, но не искорененное, продолжало тлеть.

Итак, тысячелетняя французская монархия вступила в полосу упадка; это было наконец осознано и высказано вслух. Вольнодумные настроения, дух «критицизма», стремления к переменам день ото дня все более усиливались. Но этот «мятежный дух», охвативший страну с такой силой, что заставлял даже Гримма опасаться революции⁷⁷, этот ветер вольности, круживший головы молодым людям в Париже, слабел, стихал, с трудом проникая сквозь окна добротного дома именитого горожанина города Арраса адвоката королевского суда Франсуа Робеспьера.

И отец, и дед, и прадед, и все предки малолетнего Максимилиана по отцовской линии принадлежали к судейскому сословию. Это была зажиточная патрицианская семья, пользовавшаяся известностью и почетом в родном городе, семья с давними прочными традициями. Казалось, в этом доме труднее всего было поддаться соблазнам или сомнениям, порождаемым веяниями нового времени.

До семилетнего возраста детство Максимилиана было безоблачным. Но затем все изменилось. Умерла мать, а через три года глава семьи Франсуа Робеспьер по причинам, недостаточно выясненным, покинул Аррас, а позже и Францию. Он переехал в Германию, жил некоторое время в Мангейме, потом еще где-то и умер в Мюнхене в 1777 году⁷⁸.

Четверо детей остались сиротами. Заботу о них взял на себя дед. Старший из них, Максимилиан, острее дру-

гих ощутил эту семейную катастрофу, все изменившую в детском мире. Достаток сменился бедностью, материнская ласка — одиночеством. Этот резкий поворот судьбы не мог не сказаться на характере Максимилиана; он наложил отпечаток на всю его последующую жизнь⁷⁹.

Дед определил Максимилиана в местный коллеж, а затем выхлопотал для него стипендию в коллеже Людовика Великого в Париже, готовившем к поступлению на юридический факультет Сорбонны. Осенью 1769 года, одиннадцати лет, Максимилиан оставил город, в котором вырос, и конный экипаж повез его долгими дорогами в неведомый Париж.

В столице королевства Максимилиан пробыл двенадцать лет — до 1781 года. Он учился сначала в коллеже Людовика Великого, а затем на юридическом факультете Сорбонны, который закончил в 1780 году и получил звание бакалавра прав. После года практики в Париже ему было присвоено звание лиценциата прав.

В коллеже, а затем и в Сорбонне он посвящал свое время учению. Он был всецело поглощен чтением. Позднейшие выступления Робеспьера показывают, что он знал античных авторов, как и историю Греции и Рима, в совершенстве. Как ни замкнута, как ни уединенна была жизнь воспитанников коллежа Людовика Великого, зорко охраняемых бдительными церковнослужителями, свежий ветер предгрозового времени проникал и за его плотные стены. Воспитанники коллежа Людовика Великого и студенты Парижского университета были самыми ревностными читателями и почитателями запретных произведений властителей дум молодежи — великих писателей Просвещения. Юный Максимилиан Робеспьер поглощал эти произведения с особой жадностью.

По единодушному свидетельству ровесников и преподавателей, arrasский стипендиат вел в стенах парижских учебных заведений замкнутый образ жизни. Он был беден. Стипендия, установленная для него в Аррасе, составляла 450 ливров в год; для столичной жизни это было ничтожно мало. Он был бедно одет, ходил в стоптанных башмаках. Он был молчалив, не искал товарищей, предпочитал в уединении читать книгу за книгой.

Из выступлений Робеспьера поры его зрелости можно с полной достоверностью установить, что он был зна-

ком со всеми важнейшими произведениями общественно-политической мысли своего времени. Он превосходно знал литературу Просвещения. Как и Марат, он высоко ценил Монтескье, но его любимым автором — автором, оказавшим на него громадное влияние, был Жан-Жак Руссо.

Руссо был для Робеспьера не только любимым писателем, который какими-то сторонами своего творчества отвечал его внутреннему, душевному складу. Больше того, он стал учителем Робеспьера. Двадцати лет Робеспьер направился в Эрменонвиль, где, уединившись, доживал свои последние дни автор «Новой Элоизы» и «Общественного договора». Там он видел знаменитого писателя, о чем сам позднее поведал⁸⁰. В исторической литературе по поводу этой встречи было создано много вымыслов⁸¹, но, видимо, следует согласиться с Амелем, что все приводимые подробности нельзя считать достоверными⁸². Нельзя также переоценивать значение этой встречи. Длительное или, вернее сказать, постоянное увлечение Робеспьера Руссо не может быть объяснено влиянием этой недолгой встречи.

Идейное формирование Робеспьера шло, конечно, не столько под воздействием сухих дисциплин, преподаваемых с кафедры коллежа, а затем Сорбонны, и даже не столько под воздействием поглощаемой им запретной литературы, осужденных властью и церковью авторов, сколько под непосредственным влиянием всей бурной предгрозовой эпохи.

Робеспьер рос, созревал, формировался в годы кризиса абсолютистского режима и приближения революционной грозы. И он, как и его сверстники, пережил полосу почти не скрываемого осуждения Людовика XV и надежд, связанных с воцарением Людовика XVI и реформами Тюрго. И он испытал крушение этих кратковременных иллюзий и воодушевление, охватившее молодежь от известий о мужественной борьбе «парней свободы», как называли в то время американских колонистов, поднявших освободительную войну против британской короны. Одаренный от природы, Максимилиан Робеспьер жадно вслушивался в шум времени и различал в нем, быть может явственнее, чем многие его сверстники, ведущие ноты, возвещавшие приближение грозы.

Жан-Жак Руссо смог оказать такое значительное и устойчивое влияние на юного студента Сорбонны, затем

на бакалавра прав, на адвоката и политического деятеля, думается, потому прежде всего, что в его произведениях, при всей их противоречивости, Робеспьер, как и неведомый ему в ту пору Марат или позже Сен-Жюст, почувствовал сильнее всего мятежный дух предреволюционного времени и нашел наиболее яркое выражение смутных, не осознанных до конца чаяний народных масс. Максимилиан Робеспьер уже на школьной, а затем университетской скамье становится руссоистом. Он им останется и позже. Но это не следует понимать как нечто застывшее и неизменное. Пройдет время, и ученик во многом пойдет дальше своего учителя.

В конце 1781 года двадцатитрехлетний лицензиат прав Максимилиан де Робеспьер (он продолжал так, видимо из тщеславия, подписываться еще некоторые годы), полностью и с успехом закончив в Париже курс юридических наук, вернулся в свой родной город Аррас. Как и его отец и дед и как его прадед и прапрадед, он остался верен судейской профессии. Он занял место адвоката в королевском суде Арраса. Могло казаться, что все повторяется сызнова: возобновление еще одного традиционного в семье Робеспьеров круга:

Молодой адвокат поселился со своей сестрой Шарлоттой в добротном доме на улице Сомон. От умерших деда и теток ему досталась какая-то доля наследства. Он стал хорошо, даже тщательно одеваться. Его сдержанность, степенные манеры, строгая, правильная речь произвели на сограждан превосходное впечатление. Господин Либорел, старейший и самый уважаемый адвокат Арраса, оказывал покровительство своему младшему коллеге. Клиенты охотно обращались к этому молодому, но серьезному адвокату — достойному преемнику дела своих предков. Можно было ожидать, что вольнодумные увлечения парижской юности будут вскоре забыты (кому не свойственно увлекаться в семнадцать лет?), томики Руссо на книжной полке покроются пылью, молодой адвокат обретет солидность, женится на одной из самых богатых невест города и станет таким же добропорядочным и почетным аррасским горожанином, как и его отец, и его дед, и его прадед.

Но все оказалось не так.

Правда, молодой адвокат действительно быстро добился успеха и известности в своей провинции. Он легко и без заметных усилий опередил своих несколько старомодных коллег. Его выступления в суде обратили

на себя внимание, и он вскоре стал одним из самых уважаемых граждан Арраса. Но в профессию своих отцов молодой Робеспьер внес нечто новое. Его не прельщали ни крупные заработки, ни выгодные дела, расширявшие связи с богатыми и влиятельными людьми края. Он разошелся со своим старшим коллегой, покровительствовавшим ему Либорелем, и безбоязненно шел на конфликты с сильными людьми провинции Артуа, когда этого требовали его убеждения. Свою профессию адвоката он стремился на практике осуществить в соответствии с ее высшим назначением — быть защитником слабых и невинных. Он взялся за трудное дело — помочь крестьянам, ведущим долгую тяжбу с епископом. Он не побоялся также вступить в борьбу с местными церковными властями ради реабилитации невинно оклеветанного ремесленника и сумел добиться в этом трудном процессе победы.

Наибольшую известность принес ему громкий и имевший политический характер процесс некоего Виссери из города Сент-Омера. Виссери, увлекавшийся физикой, установил над своим домом громоотвод, изобретенный Франклином. Этого было достаточно, чтобы местные власти обвинили его в преступных намерениях. Громоотвод было постановлено снести как «опасный для общественного порядка».

Виссери обратился за помощью к Робеспьеру. Молодой адвокат охотно взялся за это дело. Здесь сталкивались два противоположных мира — мракобесия и просвещения, вчерашний и завтрашний день, и он был рад сразиться с противниками «партии философов». Процесс этот привлек к себе большое общественное внимание. Робеспьер выступил с двумя яркими речами в Аррасском суде, изданными затем отдельной брошюрой в Париже⁸³. Дело было выиграно, и оно сразу принесло Робеспьеру популярность во всей провинции Артуа.

Но Робеспьер был молод, и, как бы ревностно он ни относился к своему долгу защитника угнетенных и невинных, его обязанности адвоката не поглощали ни всей его энергии, ни всех его стремлений. Он пишет на досуге стихи — гладкие и изящные строфы о красоте природы, об аромате роз — поэтическое чистописание, не отмеченное ни особым талантом, ни яркостью чувств или мысли. Это дань моде, и он сам не придает значения своим поэтическим опытам. Он пишет философско-литературные трактаты на темы морали: о наказа-

ниях в семье или о популярном в то время поэте Грессе и его поэме «Вер-Вер»⁸⁴. Его литературные опыты имеют успех. Сочинение о морали, посланное им на конкурс, объявленный Королевским обществом науки и искусства в Меце, было удостоено медали и награды, и польщенный автор поспешил издать свое сочинение отдельной брошюрой в Париже.

В ту пору в некоторых провинциальных городах Франции существовали местные академии, являвшиеся средоточием выдающихся или мнящих себя выдающимися деятелей края. Эти академии были своеобразными центрами если не научной, то во всяком случае умственной жизни провинции. Уже около полувека существовала академия и в Аррасе. В восьмидесятых годах она переживала полосу расцвета, и среди ее членов было несколько лиц, придерживавшихся передовых для того времени взглядов: Дюбуа де Фоссе, ведший оживленную переписку с молодым Бабёфом, Лазар Карно, чье имя позднее крупными буквами войдет в историю Франции, адвокат Бюиссар, близкий друг Максимилиана Робеспьера, и др.

Осенью 1783 года, видимо по инициативе Бюиссара, Робеспьер был избран членом академии. Тремя годами позже, в 1786 году, он был избран ее президентом. Это избрание свидетельствовало не только об авторитете, который он сумел завоевать среди своих собратьев по академии, оно отражало и рост популярности Робеспьера в передовых кругах провинциального города.

Но молодой адвокат не ограничивается только стенами официальных или полуофициальных учреждений. Он часто бывает в доме своего друга Бюиссара и в доме госпожи Маршан, где собирается «бомонд» Арраса. Он не чуждается общества молодых красивых женщин, и сплетники (а кто в маленьком городе не сплетник?) рассказывают о его увлечении мадемуазель Деэ, подругой его сестры, а позже вполголоса передают друг другу, что молодой адвокат уже почти жених своей кузины Анаис Дезортис.

Что здесь правда, что вымысел — судить трудно, да в конце концов это и не так важно. В переписке Робеспьера ранних лет сохранился ряд писем к молодой девушке, которые написаны с тщательностью литературной шлифовки, свойственной восемнадцатому веку, веку эпистолярного искусства, но в которых не трудно было прочесть и нечто большее.

Робеспьер был деятельным участником местного литературно-артистического общества «Розати» («Друзей роз»). Он вступил в это общество в 1787 году. На торжественно-шутливой церемонии приема его приветствовал бокалом вина и пропетыми в его честь стихами молодой артиллерийский офицер, слывший элегантным кавалером и самым искусным стихотворцем в этом собрании молодых талантов Арраса. Обычай требовал, чтобы вступающий новый член «Друзей роз» тут же, немедленно, ответил стихами. Молодой президент аррасской академии оказался на высоте. На тот же мотив, слегка фальшивя, Робеспьер пропел симпровизированное им тут же шуточное стихотворение.

С этим молодым офицером, с таким беспечным и искренним весельем приветствовавшим нового собрата в обществе «Друзей роз», Робеспьеру придется еще не раз встречаться. Это был Лазар Карно — будущий знаменитый организатор обороны Республики и прославленный математик. Пройдут годы, всего лишь несколько лет, и недавние друзья, дружеским звоном бокалов беззаботно праздновавшие чью-либо удачную поэтическую выдумку или острое словцо, снова встретятся — на этот раз строгими, скупыми на слова — на скрытых от посторонних глаз заседаниях Комитета общественного спасения в критические дни Республики, а затем навсегда разойдутся, разделенные непримиримой враждой. Но это будет потом.

III

Гроза, давно ожидаемая, всеми предвиденная и все-таки неожиданная, надвинулась в 1788—1789 годах. В ту пору, когда в провинциальном, далеком от столицы и ее треволнений Аррасе жизнь текла, казалось, особенно тихо, в Париже, а вслед за ним и во всей стране политическая атмосфера уже накалилась до крайности. В стране складывалась революционная ситуация.

Крестьянские мятежи во многих провинциях королевства, выступления в городах доведенного нуждой до отчаяния плебейства, громившего продовольственные лавки, склады, дома богачей, общественное возбуждение в Париже, тайнственные сборища в Пале-Рояле, антиправительственные листовки в самых неожиданных местах. Дело дошло до того, что в Итальянской опере к бархату королевской ложи кем-то был приколот лист

бумаги, на котором крупными буквами было выведено: «Трепещите, тираны, вашему царству наступает конец!»⁸⁵

Это ощущение приближающегося конца дошло наконец и до тихого Арраса. И здесь, в провинции Артуа, как и во всем королевстве, все пришло в движение. Веселые шутки, беспечные развлечения в кругу молодых «Друзей роз», сентиментальные стихи — все сразу отброшено и перечеркнуто. Робеспьер с головой уходит в политическую борьбу.

В начале августа 1788 года было официально объявлено о предстоящем созыве Генеральных штатов. Уже двести лет не собирались Генеральные штаты, и это вынужденное необходимостью решение короля производит громадное впечатление в стране.

Молодой адвокат включается в избирательную борьбу. Он быстро пишет и столь же быстро издает брошюру о необходимости коренной реформы штатов Артуа⁸⁶. Это сочинение обращено к жителям провинции Артуа и на первый взгляд разбирает вопросы узко-местного характера, не выходящие за границы провинции. Но это первое впечатление обманчиво. Хотя предметом сочинения действительно являются вопросы переустройства провинции Артуа, автор трактует их столь широко, что они теряют свое локальное значение. В этом произведении Робеспьер резко обличает произвол и беззаконие действий губернатора и правительственных властей, критикует налоговую систему, направленную своим острием против третьего сословия. Автор рисует картину полного бесправия и жестокой нужды крестьянства, доведенного до крайней нищеты. Робеспьер говорит о бедствиях крестьян Артуа. Но разве нарисованная им картина страданий народа не отражает в такой же мере и положение в Шампани, Турени и других частях королевства? Резкая критика существующих порядков в Артуа перерастает в критику и осуждение всего существующего во Франции режима.

Брошюра имела огромный успех. Она создала ее автору немало врагов из числа правителей провинции и задетых его критикой. Но еще больше она принесла ему новых друзей. Через короткое время брошюра вышла вторым изданием.

Теперь молодого адвоката хорошо знают и в Аррасе, и в провинции Артуа. Передовые люди Арраса видят в нем многообещающего защитника интересов третьего

сословия. Его избирают сначала одним из двадцати четырех выборщиков от третьего сословия города Арраса, а затем, в апреле 1789 года, одним из двенадцати депутатов в Генеральные штаты.

Популярность Робеспьера в родном городе растет. Не удивительно, что ему поручают составление сводного наказа от избирателей Аррасского округа. С присущей ему энергией он берется за почетное и ответственное дело. Оно дает ему возможность, кстати сказать, систематизировать и свою собственную программу политических требований.

Наказ аррасских избирателей, составленный Робеспьером, не является каким-либо исключительным документом среди других наказов того времени. Он не поражает ни крайним радикализмом требований, ни формой изложения. Но зато в этом документе последовательно и логично изложены главные демократические требования того времени: уничтожение сословных привилегий, обеспечение свободы личности, свободы печати, свободы совести, справедливое распределение налогов, ограничение прав исполнительной власти и т. д.

Конечно, этот документ не может рассматриваться как политическое кредо Робеспьера накануне революции. Как составитель и редактор сводного наказа, Робеспьер был связан тем материалом, который он обобщал и систематизировал. Но все же этот документ, конечно, соответствовал и собственным взглядам Робеспьера и в значительной мере их отражал.

Как это явствует и из брошюры «К народу Артуа», и из других выступлений Робеспьера 1788—1789 годов, он еще сохранял в то время много иллюзий. Он полон доверия и благожелательности к королю Людовику XVI, к его добрым намерениям, к его желанию устранить существующие несправедливости. Он полагает, что от воли короля зависит «создать на земле счастливый народ» и соединить навсегда монарха со свободой и счастьем народов. С таким же доверием он относится и к Неккеру, вновь назначенному в 1788 году государственным контролером финансов. Он видит в нем великого реформатора и надеется, что женеvский банкир способен спасти страну.

Эти наивные иллюзии не могут быть рассматриваемы как доказательство политической близорукости или отсталости политических взглядов Робеспьера накануне революции. Эти иллюзии были присущи в то время

всем представителям третьего сословия. От них не был свободен даже такой зрелый и проницательный политический деятель, как Марат, хотя, конечно, в целом его позиции в то время были левее позиций Робеспьера.

Робеспьер на пороге революции был уже искренним и убежденным демократом. Он сражается против абсолютистского режима и его прислужников, он страстно защищает интересы народа, он осуждает не только сословно-феодальный иерархический строй, но гневно обличает и своекорыстие богатства. Не случайно в эти переломные дни своей жизни он пишет восторженное «Посвящение Жан-Жаку Руссо», в котором славит своего учителя.

Но тщетно было бы искать в выступлениях Робеспьера дореволюционного времени обращений к народу с призывом добиться с оружием в руках осуществления своих прав. Робеспьер аррасского периода не поднимается еще до понимания необходимости вооруженной борьбы народа за свои права, которое проявил Марат в «Цепях рабства», написанных еще в начале 70-х годов.

При всей искренности демократических чувств и убеждений Робеспьера, при действенности его натуры и стремлении претворить слово в дело (это была одна из самых сильных его черт как политического деятеля) в аррасский период он еще не стал демократом-революционером. По-видимому, правильнее будет сказать, что до революции он был искренним и убежденным демократом, старавшимся претворить свои убеждения в действие, но еще остававшимся во власти конституционно-монархических иллюзий.

IV

Максимилиан Робеспьер, депутат третьего сословия Арраса, адвокат, тридцати лет, в апреле 1789 года приехал в Версаль и поселился в маленьком отеле на улице Святой Елизаветы.

У него были все основания смотреть в будущее с надеждой. Миновало лишь восемь лет с тех пор, как бедным, никому не ведомым лицензиатом прав он оставил Париж. И вот он снова вернулся в резиденцию короля и Генеральных штатов полноправным представителем французского народа, призванным вместе с другими коллегами найти спасительные для судеб Франции решения.

Но, очутившись в огромном здании дворца «Малых забав» в Версале, где заседали Генеральные штаты, он оказался лишь одним из шестисот депутатов третьего сословия. Его успехи в родном городе остались не замеченными в стране. Ни в Версале, ни в Париже никто не знал скромного адвоката из Арраса. Среди депутатов Генеральных штатов было немало громких имен, известных всей Франции, всей Европе. Граф Оноре Мирабо, «герой Старого и Нового света» маркиз Лафайет, прославившийся своей знаменитой брошюрой «Что такое третье сословие?» аббат Сиейес, храбрый участник войны за свободу американской республики Шарль Ламет, ученый-астроном Байи... Их появление на трибуне встречали бурными продолжительными аплодисментами. Их известность заранее предопределяла успех выступлений.

В этом ярком созвездии знаменитостей и талантов молодой депутат от Арраса остался незамеченным. А между тем Робеспьер с первых дней работы Генеральных штатов принял деятельное участие в развернувшейся борьбе. Во время острых прений между сословиями он внес на заседании коммун⁸⁷ политически мудрое и оправдавшее себя предложение обратиться к духовенству с приглашением присоединиться к третьему сословию. Он прозорливо предполагал, что низшее духовенство — приходские священники «отделятся от той части своего сословия, которая поддерживает раскол, и присоединятся к Коммунам»⁸⁸.

Вместе с тремя другими депутатами от Артуа Робеспьер был инициатором предложения принять клятву — не расходиться, пока не будет выработана конституция, — на знаменитом собрании в Зале для игры в мяч 23 июня 1789 года. В исторической литературе высказывалось мнение, что ему же принадлежала идея названия Национального собрания, которое, как известно, было принято на заседании коммун 17 июня⁸⁹.

Что побуждало депутата Арраса столь деятельно вмешиваться в работу Генеральных штатов? Честолюбие? Желание выдвинуться? Обратит на себя внимание?

Вряд ли. В единственном полноценном источнике, которым мы располагаем, об этих первых неделях пребывания Робеспьера в Версале — его письмах к своему другу Бюиссару нельзя найти ничего, что свидетельствовало бы о честолюбивых или даже просто личных

мотивах в действиях Робеспьера. Он вообще почти ничего не пишет о себе. Достаточно сопоставить эти письма с письмами Мирабо или Камилла Демулена того же времени, с их самоупоеанием, с их гиперболизацией собственной роли в событиях, чтобы сразу же почувствовать, как далеки чувства, мысли, психологическая основа поведения Робеспьера от мотивов, вдохновлявших знаменитого трибуна и «генерального прокурора фонаря».

Робеспьер столь энергично ввязался в политическую борьбу потому, что его к этому подталкивали его убеждения, чувство ответственности перед народом, доверившим ему представлять его интересы, действительность его натуры, стремившейся всегда претворить принципы в практику, слово в дело. Даже в первые недели работы Национального собрания — в мае — июне 1789 года — Робеспьер сделал немало. Во всяком случае он был активнее, деятельнее многих других, даже большинства депутатов Национального собрания.

И все-таки депутат от Арраса по-прежнему продолжает оставаться незамеченным. К нему не проявляют ни интереса, ни внимания. В газетных отчетах его выступления передаются весьма сжато и к тому же неточно. Журналисты и газетные хроникеры не дают себе труда запомнить его имя. В Национальном собрании даже его собратья по третьему сословию относятся равнодушно-пренебрежительно к этому-настоятивому депутату из Арраса, который кажется им провинциальным и старомодным. Во время его выступлений в зале не утихал шум, а его голоса не хватало, чтобы перекричать и заставить смолкнуть бушевавший зал. Но ни равнодушие, ни враждебное пренебрежение не смогли сбить Робеспьера с избранной им дороги. Он шел своим путем, убежденный в его правильности, он делал и говорил то, что считал нужным для блага народа.

Его письма мая — июля 1789 года к Бюиссару, не рассчитанные на постороннего слушателя, поражают независимостью и зрелостью суждений, удивительной прозорливостью. В мае 1789 года, когда слава Мирабо была в зените, Робеспьер пишет, что «граф Мирабо играет пичтожную роль, его дурная нравственность лишила его всякого к нему доверия». Позже, в июле, он смягчает свои непримиримые суждения о Мирабо, но очень скоро снова вернется к ним. Он отрицательно отзывался о Мунье, Тарже, Малуэ — депутатах, пользо-

вавшихся тогда большим авторитетом среди либерально-буржуазного большинства Собрания. Он крайне сдержанно пишет о Лафайете⁹⁰, который в то время был кумиром большинства депутатов и толпы.

Для молодого депутата от Арраса чужие мнения, по-видимому, не имеют никакой цены. Он ими просто пренебрегает и руководствуется в своих действиях, в своих выступлениях только собственными суждениями.

Эта непоколебимая убежденность в истинности, т. е. соответствии интересам народа, отстаиваемой им политической линии и придавала Робеспьеру такую твердость, такую настойчивость в его выступлениях. М. Булуазо подсчитал: в 1789 году газеты отметили шестьдесят девять выступлений Робеспьера в Учредительном собрании, в 1790 году — сто двадцать пять, в 1791 году — триста двадцать восемь выступлений за девять месяцев его деятельности⁹¹. Эти сухие цифры поразительны. За ними скрываются непрерывно усиливающийся нажим, громадное напряжение воли, преодолевающей сопротивление.

Проницательные люди сумели раньше других оценить силу этого неизвестного ранее в Париже депутата от Арраса. Умный, ловкий, обладавший тонким чутьем Барер де Вьезак, будущий фельян, будущий жирондист, будущий якобинец и, наконец, термидорианец, Барер был, пожалуй, одним из первых, кто разгадал и на страницах своей газеты «Point du jour» отметил появление нового таланта. Известно и прозорливое суждение Мирабо: «Он пойдет далеко, потому что он верит в то, что говорит».

Прошло еще немного времени, и этот всегда сдержанный, неторопливый, невозмутимо уверенный в себе депутат от Арраса, которого нельзя было ни сбить с толку, ни смутить, ни запугать, заставил это многоголосое, кипящее страстями собрание выслушивать его речи. Он не привлек его на свою сторону, он не завоевал и его симпатий; оно в своем большинстве оставалось к нему враждебным. Иначе и быть не могло, ибо здесь было расхождение политических интересов. Но постепенно, шаг за шагом, от выступления к выступлению он смирял, укрощал этот враждебный ему зал. Он приучил этих «представителей французской нации», из которых почти каждый претендовал на первенствующую роль, считаться с ним как с силой и с настороженной внимательностью прислушиваться к его речам.

Конечно, и сам Робеспьер на протяжении этих трудных месяцев тоже менялся; он учился у жизни, учился у народа, учился у революции. Громадное, можно даже сказать, решающее влияние на него оказало народное восстание 14 июля, положившее начало Великой французской революции. В письме Бюиссару от 23 июля 1789 года сдержанный Робеспьер пишет о взятии Бастилии с восторженностью. В отличие от многих своих современников он сразу же правильно оценил события 13—14 июля как начавшуюся великую революцию.

«Настоящая революция, мой дорогой друг, на протяжении короткого времени сделала нас свидетелями величайших событий, какие когда-либо знала история человечества...» — пишет он Бюиссару. Главным в этой революции он считает решающую роль народа, необычайную энергию, которую тот проявляет.

«...Трехсоттысячная армия патриотов, состоящая из граждан всех классов, к которым присоединились Французская гвардия, швейцарцы и другие солдаты, казалось, выросла из-под земли каким-то чудом. Вторым чудом была быстрота, с какой парижский народ взял Бастилию... Ужас, который внушает эта национальная армия (т. е. вооруженный народ. — А. М.), готовая двинуться на Версаль, решил судьбу Революции»⁹².

Это признание решающей роли народа в революции не было случайно обмолвленными словами. Тремя днями раньше, в речи в Национальном собрании 20 июля, Робеспьер, с негодованием отвергая внесенное одним из реакционных депутатов предложение применять силу для подавления народных движений, указал на спасительную роль народного восстания 14 июля. «Не забывайте, господа, — говорил Робеспьер, — что только благодаря этому мятежу нация обрела свою свободу»⁹³.

Робеспьер в это время еще сохраняет иллюзии в отношении короля и монархии; он от них не так скоро освободится. Но именно с 14 июля и под прямым влиянием этого решающего дня Робеспьер становится революционером. В народе, а не в парламентариях — депутатах Собрания он увидел главную силу революции. Он уверовал в его неисчерпаемые силы, в его энергию, в его дееспособность. Если до сих пор, до 14 июля, общественный прогресс, движение вперед ему мыслились только в легальных формах, то после взятия Бастилии он сразу же понял, что основная сила революции — во

внезаконных, во внепарламентских действиях народа, в революционной активности масс.

Юрист, вооруженный знанием всех тонкостей законности, он сразу же и безоговорочно принимает революционное насилие как справедливое и необходимое средство борьбы народа. В том же, уже цитированном, письме Бюиссару он с явным одобрением пишет о казни парижским народом (без суда, конечно!) коменданта Бастилии и купеческого старшины за их враждебные народу действия. Он коротко и деловито информирует: «Г-н Фулон был вчера повешен по приговору народа»⁹⁴.

Позднее он одобряет и поддерживает народное выступление 5—6 октября — поход на Версаль, крестьянские выступления в деревнях, сожжение усадеб ненавистных помещиков и т. п.⁹⁵ «Если в Бретани гнев народа сжег несколько замков, то они принадлежали должностным лицам, которые отказывали народу в справедливости, не подчинялись вашим законам и продолжают восставать против конституции. Пусть же эти факты не внушают никакого страха отцам народа и отчизны!» — говорил Робеспьер в Учредительном собрании⁹⁶. И он заключал: «Не будем следовать ропоту тех, кто предпочитает спокойное рабство свободе, обретенной ценою некоторых жертв, и кто непрестанно указывает нам на пламя нескольких горящих замков. Что же, неужели, подобно спутникам Одиссея, вы хотите вернуться в пещеру Циклопа ради шлема и пояса, которые вы там оставили?»⁹⁷ Эта мысль: насилие, жертвы оправданны, если они необходимы революции, необходимы для утверждения свободы, — неоднократно развивается Робеспьером во многих его выступлениях.

Из конституционного демократа Робеспьер после взятия Бастилии превращается в революционного демократа, демократа-революционера. Конечно, это не следует понимать упрощенно. Робеспьер не становится противником конституции или конституционного режима. Как и все революционные демократы того времени, он считает необходимым выработку конституции. Вопрос заключается лишь в том, какой будет эта конституция. Народной? Или антинародной?

Ему полностью чуждо то фетишизирование конституции, как таковой, ради нее самой, которое было свойственно буржуазно-либеральным депутатам Национального собрания. «...Пусть нам не говорят о конституции.

Это слово слишком долго нас усыпляло, слишком долго держало нас погруженными в летаргию. Эта конституция будет лишь бесполезной книгой, и что толку в создании такой книги, если у нас похитят нашу свободу в колыбели»⁹⁸.

Вот замечательный образец революционного мышления. Действительную свободу Робеспьер ставит выше формальной конституции. Заслуживает внимания, что это великолепное, подлинно революционное отношение к конституции было сформулировано Робеспьером в речи 21 октября 1789 года, т. е. всего три месяца спустя после начала революции.

Главной своей задачей и при обсуждении статей будущей конституции, и в оценке текущих событий, и при определении задач революции Робеспьер считает защиту интересов народа.

Он последовательно борется в Учредительном собрании против всех антидемократических проектов, против всех предложений, покушающихся на права народа. Идея суверенитета народа, верховенства народа во всей политической жизни, приоритета интересов и прав народа над всеми остальными интересами и правами становится ведущей темой во всех выступлениях Робеспьера в Учредительном собрании и за его пределами. «Следует помнить, что правительства, какие бы они ни были, установлены народом и для народа, что все, кто правит, следовательно и короли, являются лишь уполномоченными и представителями народа...»⁹⁹ В этих словах очень четко сформулировано принципиальное отношение Робеспьера к конституции и ее назначению. Конституция должна выработать основные законы, обеспечивающие суверенитет народа.

С этих позиций Робеспьер последовательно выступал в Учредительном собрании против всех антидемократических проектов, которые постепенно, статья за статьей, буржуазно-либеральное большинство Собрания принимало как части будущей конституции. Робеспьер сражается против предложений о прямом или задерживающем вето короля, против предложений о введении имущественного ценза для избирателей и избираемых, против разделения граждан на активных и пассивных и т. д.

В своих выступлениях в Учредительном собрании Робеспьер разоблачал истинный смысл политики большинства Национального собрания. Он прямо говорил об

антинародном характере этого законодательства, он раскрывал своекорыстные, узкоэгоистические мотивы, которыми руководствовалось большинство Собрания.

«Если одна часть нации самодержавна, а другую ее часть составляют ее подданные, то такой политический строй означает создание режима аристократии. И что же это за аристократия! Самая невыносимая из всех — аристократия богатых, гнету которых вы хотите подчинить народ, только что освободившийся от гнета феодальной аристократии»¹⁰⁰.

Это суждение Робеспьера замечательно тем, что здесь он дает классовую оценку сущности политики либерального большинства Национального собрания. Из сферы политических или этических споров он переносит вопрос в область классовой борьбы. Реальный смысл всех антидемократических предложений большинства Собрания заключается в том, устанавливает Робеспьер, что оно стремится юридически, конституционно увековечить господство «аристократии богатых». Робеспьер сражается против этих тенденций, против этой политики, отстаивая интересы народа, которому угрожает новая опасность.

Был ли Робеспьер единственным в стране политическим деятелем, который осознал опасность увековечивания власти в руках «аристократии богатых», т. е. крупной буржуазии, как мы говорим сейчас? Нет, конечно.

Мы знаем, что Марат на страницах «L'Ami du peuple», почти буквально в тех же самых выражениях, что и Робеспьер, выступал против попыток укрепить господство крупной буржуазии. «Что же мы выиграем от того, что уничтожили аристократию дворянства, если ее заменит аристократия богачей?» — негодуя спрашивал Марат в одной из своих статей июня 1790 года¹⁰¹.

Мы видим здесь не только сближение политических позиций Робеспьера и Марата, но и точное совпадение политических формулировок. Стоит ли производить изыскания, кто первый ввел в словарь революции термин «аристократия богатых» или кто первый выступил с призывом бороться против нее? Марат — он сам об этом писал — внимательно следил за выступлениями Робеспьера в Национальном собрании. Робеспьер, несомненно, должен был читать боевую газету Марата. Для более позднего времени это неоспоримо, так как

Робеспьер об этом сам говорил. Но следует согласиться с М. Булазо, который полагает, что Робеспьер и ранее регулярно читал «L'Ami du peuple»¹⁰².

Но едва ли нужно доискиваться, кому из этих двух политических деятелей должна быть отдана в этом вопросе пальма первенства. Их позиции по многим (хотя и не по всем) политическим вопросам в это время были весьма близки. Но и кроме Марата тогда уже — в 1789—1790 годах — против антидемократической политики Учредительного собрания выступали, хотя и менее последовательно, и Камилл Демулен, и Жорж Дантон, некоторые кордельеры, газета «Révolutions de Paris» и др.

Здесь важно иное. Если не в стране, то в Национальном собрании Робеспьер был все-таки почти единственным депутатом, кто вел систематическую и последовательную борьбу против этой политики. В Собрании его поддерживало не более четырех-пяти депутатов: к нему были близки Петيون, Грегуар; они тоже были ораторами крайне левой. Все остальные — подавляющее большинство — были по отношению к нему либо открыто враждебны, либо недоброжелательно нейтральны.

Каким замечательным мужеством, твердостью характера, какой убежденностью в своей правоте надо было обладать, чтобы изо дня в день идти против течения, выступать в атмосфере настороженно враждебного внимания, одному против всех или почти всех!

Конечно, были и такие решения Учредительного собрания, которые Робеспьер поддерживал и одобрял. Учредительное собрание, как известно, приняло ряд декретов, имевших антифеодальный и, следовательно, безусловно прогрессивный характер. Такова была знаменитая Декларация прав человека и гражданина — документ большого революционного значения, сильнее, чем какой-либо другой, отразивший могучий революционный порыв народных масс, поднявшихся на борьбу против феодализма. Таковы были декреты об уничтожении сословий, наследственных титулов, о ликвидации старого феодального административного деления Франции, расчленявшего ее на ряд чужеродных провинций, и создании нового единообразного департаментского административного деления, о секуляризации церковной собственности, о гражданском устройстве духовенства, об отмене регламентации, цеховых ограничений и других

преград, тормозивших развитие промышленности и торговли, о свободе печати, свободе вероисповедания и т. п.

Однако, одобряя это прогрессивное законодательство, Робеспьер рассматривал его только как начало: одних этих законов было явно недостаточно. Либеральное же большинство Собрания считало, что этим законодательством исчерпаны задачи революции и что дальнейшая политика должна быть направлена не на развязывание и расширение революции, а, напротив, на сужение ее размаха, на торможение, ограничение инициативы масс.

В этой неравной борьбе, когда надо было использовать малейшую возможность, укреплявшую позиции, Робеспьер нередко опирался на прогрессивное начальное законодательство Учредительного собрания, чтобы противопоставить его реакционному законодательству позднейшего времени. Так, во время длительного обсуждения в Учредительном собрании вопроса о введении имущественного ценза для избирательного права, на чем настаивали и настояли буржуазно-либеральные депутаты Собрания, Робеспьер многократно противопоставлял этим реакционным предложениям принципы Декларации прав человека и гражданина, которые он называл «незыблемыми и священными».

«Вам говорят, что в общем одобряют принципы Декларации прав. Но добавляют, что эти принципы допускают различное применение. Это еще одно великое заблуждение. Речь идет о принципах справедливости, о принципах естественного права, и никакой человеческий закон не может их изменить... Как же мы могли бы их применить ложно?»¹⁰³

Тактически этот метод борьбы был очень силен. Разоблачая антинародные, своекорыстные мотивы политики либералов-конституционалистов, навязывающих стране цензовую избирательную систему — конституцию для богатых, Робеспьер показывал, что этим самым они не только посягают на основные права народа, но и перечеркивают, кощунственно уничтожают те самые принципы Декларации прав человека и гражданина, которые тем же Учредительным собранием были провозглашены священными¹⁰⁴.

Робеспьер не ограничивается только негативными выступлениями, критическим отрицанием политики большинства. Одна из замечательных черт его выступлений в Учредительном собрании в 1789—1791 годах

состоит в том, что он с той же последовательностью и настойчивостью пропагандирует положительную программу демократических преобразований.

«Все люди рождаются и пребывают свободными и равными перед законом», — гласила Декларация. Цензовая конституция, разделение граждан на «активных» и «пассивных» являются прямым опровержением этого первого и важнейшего права, записанного в Декларации.

Но как осуществить это непререкаемое право на практике? Первым и необходимым условием для этого является всеобщее избирательное право. (Здесь нет надобности разъяснять, что Робеспьер, как и иные политические деятели того времени, не предусматривал распространение всеобщего избирательного права на женщин. В XVIII веке этот вопрос почти не стоял.) Во множестве выступлений — устных и печатных — Робеспьер отстаивал принцип всеобщего избирательного права. Народ — труженики, крестьяне, ремесленники — это самая ценная часть нации, тогда как богатые несут с собою порок и преступления. В критике проектов цензовой избирательной системы Робеспьер развертывает руссоистскую аргументацию: бедность — добродетельна, богатство — преступно. «...Где, собственно, источник крайнего неравенства имуществ, сосредоточивающего все богатства в немногих руках? Не находится ли он в дурных законах, в дурных правительствах, наконец, во всех пороках испорченных обществ?»¹⁰⁵

Соперничество двух программ — цензовой избирательной системы и всеобщего избирательного права — Робеспьер раскрывает как столкновение двух разных линий: не в юридическом или даже политическом аспекте, а в самом глубоком, социальном:

В чем сущность спора? Он проникает в самую суть его. «...Богатые претендуют на все, они хотят все захватить и над всем господствовать. Злоупотребление — дело и область богатых, они — бедствия для народа. Интерес народа есть общий интерес. Интерес богатых есть частный интерес. А вы хотите свести народ к ничтожеству, а богатых сделать всемогущими»¹⁰⁶. Так снова Робеспьер разоблачает классовую сущность политических споров.

Не только в дебатах Учредительного собрания, но и во всей политической литературе первых лет Великой

французской революции это была самая глубокая критика цензовой избирательной системы и самое глубокое обоснование законных прав народа на всеобщее избирательное право.

Отправляясь от тех же исходных позиций, Робеспьер требует последовательного применения этого принципа — приоритета, примата народа на практике. Он ясно видит опасность: богатые хотят захватить и увековечить свою власть и подчинить себе народ. Этой цели служит и установление имущественного ценза для вступления в национальную гвардию. Робеспьер со всей решительностью возражает против этого. Национальная гвардия создана для защиты родины, для защиты свободы. «Быть вооруженным для защиты Родины — это право каждого гражданина». И бедные имеют на это не меньшее, а большее право, чем богатые. Национальная гвардия выполнит свою роль, свое назначение, если только она станет тем, чем она должна быть: организацией вооруженного народа¹⁰⁷.

Демократическая программа Робеспьера предусматривает меры, создающие некоторые гарантии от опасного усиления исполнительной власти. В сентябре 1789 года он выдвигает предложение об ежегодном переизбрании депутатов. Позже он предлагает увеличить число депутатов Законодательного собрания до тысячи человек¹⁰⁸. Он требует введения отчетности должностных лиц перед избирателями.

Почти все предложения демократического характера, вносимые Робеспьером в 1789—1791 годах, позднее были реализованы во второй республиканской конституции 1793 года.

Но имели ли эти предложения какой-либо успех в те годы, когда они впервые вносились в Учредительное собрание депутатом от Арраса? Никакого. Ни одно или почти ни одно из предложений, внесенных Робеспьером, не было принято Учредительным собранием.

Его выслушивали: он заставил, он приучил себя слушать. Уже давно миновало время, когда самоуверенные, жаждущие острых ощущений депутаты бросали кожные реплики по адресу представителя города Арраса. Теперь они уже побаивались этого всегда тщательно одетого, в напудренном парике молодого человека, негромким, но твердым голосом высказывавшего свои убеждения, которого нельзя было ни подкупить, ни утратить. Его слушали, слушали внимательно: надо

было знать, чего он хочет, а затем единодушно голосовали против его предложений.

Но Робеспьера практическая безрезультатность его выступлений в Национальном собрании ничуть не смущала. На следующий день после того, как буржуазно-либеральное большинство Собрания отвергло его предложения, он готов был вновь выступать и новыми аргументами обосновывать отстаиваемые им принципы демократии.

Так что же, это был фанатик, слепой упрямец, не считавшийся с фактами, одержимый, находящийся во власти навязчивых идей?

Нет, конечно. Ни в характере, ни в душевном складе, ни в мышлении Робеспьера не было ничего от Дон-Кихота.

Этот молодой человек, непоколебимо уверенный в истинности своих убеждений и в необходимости, не щадя своих сил, отдавать все, до последнего дыхания, на благо своего народа, на благо революции, казалось, неожиданно совмещал в себе возвышенность мыслей и чувств с зоркостью орлиного взгляда, непреклонностью воли, трезвым расчетом острого и проницательного ума.

У этого ученика и последователя Руссо, восхищавшегося всеми добродетелями «апостола равенства и свободы», не было ни внутренней противоречивости, ни сомнений, ни мечтательности, которые были так свойственны «великому жсневскому гражданину». Он всегда знал, чего он хочет и как достичь желаемого. Он был человеком действия.

Все то, что этим практичным буржуазным политикам, депутатам-дельцам казалось в речах депутата Арраса «отвлеченностями», «мудростью книжника» или опасными химерами, в действительности было точным выражением требований широчайших народных масс. Идея народного суверенитета, идея политического равенства, идея социального равенства — эгалитаризма — эти основные идеи, лежавшие в основе почти всех выступлений Робеспьера в Учредительном собрании и Якобинском клубе в 1789—1791 годах, и были опосредствованным выражением главных требований народа, т. е. прежде всего крестьянства, ремесленников, пролетариата, демократической — мелкой и части средней буржуазии. В той же опосредствованной форме эти идеи в главном отражали основные объективные задачи революции.

Речи Робеспьера не могли переубедить депутатов большинства Национального собрания, представлявшего крупную буржуазию, откровенно стремившуюся к власти и наживе. Он это знал. Но через головы депутатов Собрания он обращался к народу.

Его голос был услышан. Уже с 1790 года начинает быстро расти его популярность в народе. Депутат от Арраса, речи которого вынуждены перепечатывать газеты, выражал мысли, стремления, чаяния, бродившие в умах и сердцах многих в стране.

Юный Сен-Жюст писал ему в августе 1790 года из Блеранкура: «Я не знаю вас, но вы — большой человек, вы не только депутат одной провинции, вы депутат всего человечества...»¹⁰⁹

Скупой на похвалу Марат, не знавший еще лично Робеспьера, но читавший его речи, уже в октябре 1789 года писал, что «его имя всегда будет дорого для честных граждан», а год спустя, в октябре 1790 года, называл Робеспьера единственным депутатом, вдохновляемым великими принципами, «может быть, единственным истинным патриотом в Сенате»*.

Не только передовые политические деятели, но и рядовые участники революции в провинции и Париже прислушивались к голосу Робеспьера и выражали ему свое горячее одобрение. Члены муниципалитета Авиньона в декабре 1790 года, принося Робеспьеру особую благодарность за его «прекрасную речь», не без восторженных преувеличений писали: «Если бы принципы, которые вы столь победоносно обосновали, были известны всем народам земли, скоро не существовало бы более тиранов»¹¹⁰. Муниципалитет Марселя в письме от 27 мая 1791 года назвал Робеспьера «человеком, гений и сердце которого преданы общественному делу, которого мы все больше и больше научаемся любить по мере того, как читаем его прекрасные речи, произносимые с трибуны». Ему шлют заверения в солидарности и одобрении его политических выступлений Клуб кордельеров в Париже, клубы в Марселе, Версале, Тулоне и других городах, политические деятели и частные лица¹¹¹.

Слава Робеспьера в стране быстро росла. Но в

* В интересах точности надо добавить, что Марату случалось высказывать и критические суждения о Робеспьере (см.: *Марат Ж.-П. Избранные произведения*. Т. 2. С. 292; Т. 3. С. 79).

Национальном собрании его речи по-прежнему встречали холодно-враждебную настороженность зала или глухой гул неодобрения. У Робеспьера голос был резкий, но негромкий. Он не мог перекрычать шум. Он был близорук и щурился, порой даже надевал очки. Вероятно, он не видел дальше третьего-четвертого ряда скамей. Он не мог увлечь за собой аудиторию Учредительного собрания. Но он говорил не для этих нарядно одетых господ, всегда занятых честолюбивыми помыслами или корыстными расчетами. Его прищуренный взгляд скользил поверх голов депутатов, поверх этих напудренных париков — он смотрел в будущее.

V

Вареннский кризис, возникший в июне — июле 1791 года в связи с попыткой бегства и пленением королевской семьи*, вскрыл глубокие внутренние противоречия революции.

Грозное негодование народа, требовавшего предания суду короля, быстрый успех идеи республики были лишь внешним выражением глубокой неудовлетворенности народных масс. За два года революции народ не добился осуществления своих основных требований, и прежде всего разрешения аграрного вопроса: уничтожения феодализма, феодальных повинностей, феодального землевладения в деревне. Неудовлетворенность крестьянства, городского плебейства и части средней буржуазии практическими результатами революции, еще мало что изменившей в их социальном положении, подогревалась крайним раздражением против захватившей власть крупной буржуазии и ее своекорыстной и антидемократической политики, осуществляемой законодательством Учредительного собрания.

Но хотя корни этого широкого народного недовольства были очень глубоки и были связаны со всеми коренными и оставшимися нерешенными вопросами революции, на поверхность в дни вареннского кризиса

* Варенским кризис стали называть по местечку Варенн, недалеко от границы, где были задержаны беглецы, возвращенные затем пародом в Париж. С 21 июня в Париже и стране начались антимонархические выступления. Кризис закончился расстрелом народной демонстрации 17 июля 1791 года в Париже.

всплыли лишь тогда, когда...
нархии и республики¹¹².

Максимилиан Робеспьер — политический деятель, шедший до сих пор впереди своего времени, в дни вареннского кризиса оказался позади хода событий. Позиция, которую он занял, была крайне противоречива.

21 июня, в день, когда Париж был потрясен вестью о бегстве короля, когда на улицах и в общественных зданиях разбивали бюсты Людовика XVI, Робеспьер выступил с речью на заседании Якобинского клуба. С присущим ему бесстрашием он обрушился против тогда еще могущественного большинства Национального собрания. Робеспьер обвинял «Национальное собрание в том, что оно предало интересы нации», всей своей политикой подготовив совершившееся. Его речь потрясла якобинцев. Когда он сказал, что принял бы «как благодеяние смерть, которая помешала бы ему быть свидетелем неотвратимых бедствий», восемьсот человек, присутствовавших в зале, окружили его плотной стеной. «Мы умрем вместе с тобой!» — раздавались возгласы¹¹³.

Но когда, в ближайшие дни, освободившиеся от монархических иллюзий демократические организации Парижа — Клуб кордельеров, Социальный клуб, часть якобинцев, народные общества — высказались за уничтожение монархии и провозглашение республики, Робеспьер отказался присоединиться к их требованиям.

Когда в Национальном собрании буржуазные конституционалисты, возглавляемые «триумвиратом» («триумвиратом» называли депутатов А. Барнава, А. Дюпора и А. Ламета, игравших после смерти Мирабо роль руководителей фракции «конституционалистов»), больше всего страшась дальнейшего углубления революции, выдвинули лживую версию о «похищении короля», Робеспьер был единственным депутатом, боровшимся против этого решения. Такую же твердость и непримиримость к своим политическим противникам он проявил при первом расколе Якобинского клуба*.

* Раскол Якобинского клуба произошел 16 июля 1791 года. Правая его часть, представлявшая крупную буржуазию, вставшую на путь противодействия дальнейшему развитию революции, порвала с Якобинским клубом и основала новый клуб — Клуб фельянов. С этого времени «конституционалистов» стали чаще называть «фельянами».

Но даже после расстрела народной демонстрации 17 июля 1791 года, знаменовавшего превращение «конституционалистов» — группировки монархической крупной буржуазии в открыто контрреволюционную силу, Робеспьер все еще продолжал колебаться в вопросе о форме власти, не решаясь поддержать требование республики.

Противоречивость позиции Робеспьера в дни вареннского кризиса очевидна. Следует ли признать ее также ошибочной? Конечно.

Робеспьер в своих колебаниях в отношении республики исходил из давних, не раз им высказанных опасений, что республика может стать формой господства буржуазной аристократии. Но если раньше, когда были сильны монархические иллюзии масс, недооценка Робеспьером республики не имела практического значения, то в дни вареннского кризиса, поставившего вопрос о республике в порядок дня, его отрицательное или скептическое отношение к требованию республики становилось ошибкой. Сходную и также ошибочную позицию в данном вопросе занял в эти дни и Марат¹¹⁴.

Правильно, прозорливо понимая основные задачи революции и выступая глашатаем требований народа, Робеспьер в эти первые годы революции уделял преимущественное внимание вопросам политическим и меньше — социальным. Конечно, это можно понять и объяснить. Его выступления в значительной мере определялись теперь вопросами, которые стояли на повестке дня Учредительного собрания, а они в основном были политическими.

Следует также признать, что из всех депутатов Собрания Робеспьер занимал наиболее радикальную позицию по главному социальному вопросу — крестьянскому.

Он выступал несколько раз в защиту интересов крестьян, он оправдывал применение крестьянством силы против ненавистных ему сеньоров, он требовал отмены права триажа и возвращения крестьянам земель, которые со времени ордонанса 1669 года были грабительски захвачены феодалами¹¹⁵.

Нельзя, однако, не заметить, что внимание, уделяемое Робеспьером крестьянскому вопросу, не соответствовало его действительному значению в революции. Он, видимо, еще не сознавал в ту пору, сколь жизненно

важным для революции было первоочередное разрешение основных требований крестьянства.

Робеспьер хранил молчание при обсуждении в Учредительном собрании в июне 1791 года закона Ле Шапелье. Закон этот предусматривал запрещение рабочим организовываться в союзы и проводить забастовки¹¹⁶. Как убежденный поборник демократии, он должен был бы решительно восстать против этого откровенно антирабочего закона. Но этого не произошло. Ни в 1791 году, ни позже Робеспьер не выступал против закона Ле Шапелье и его применения на практике.

Из сказанного следует, что и лучшему из вождей Великой буржуазной революции XVIII века были свойственны ошибки, слабости, просчеты. Некоторые из них так и остались непреодоленными. Например, не только в период принятия закона Ле Шапелье, но и позже, во время якобинской диктатуры, Робеспьер сохранял все то же равнодушие к интересам рабочих.

Но от ряда ошибочных взглядов Робеспьер отказался. Робеспьера учила революция, он шел вперед вместе с нею. Вместе с развитием революционного процесса становилось шире, глубже, правильнее понимание Робеспьером задач революции. Его сила была в том, что он умел прислушиваться к голосу народа и считаться с ним. В отличие от Марата, который привык наставлять массы, гласно обращаться к ним со словами порицания, Робеспьер никогда не осуждал народ. Он видел в нем «главную опору свободы» и считал, что народ всегда прав.

Одним из последствий вареннского кризиса в области внешней политики было нарастание угрозы интервенции со стороны европейских монархий. 27 августа 1791 года в замке Пильниц в Саксонии император Леопольд II и прусский король Фридрих-Вильгельм II подписали декларацию о совместных действиях в поддержку французского монарха. Позже, 7 февраля 1792 года, между Австрией и Пруссией был заключен союзный договор, направленный против революционной Франции.

Бриссо и другие лидеры жирондистов с октября 1791 года стали выступать с зажигательными речами, призывая революционную Францию, не дожидаясь интервенции, начать освободительную войну против тиранов. Пропаганда революционной войны встречала сочувствие патриотически настроенных масс¹¹⁷.

Но призыв к войне получил тайную поддержку и с

другой стороны. Для Людовика XVI и Марии-Антуанетты с тех пор, как после неудавшейся попытки бегства они стали фактически коронованными пленниками народа, все надежды на будущее были связаны с войной. Только штыки иностранных интервентов могли вернуть королевскому двору во Франции утраченную им неограниченную власть.

В сентябре закончило свою работу Учредительное собрание, и 1 октября открылось избранное по цензовой избирательной системе Законодательное собрание.

После трех лет огромного напряжения и труда Робеспьер наконец получил возможность перевести дыхание. По решению Учредительного собрания ни один из его депутатов не мог быть депутатом Законодательного собрания. Это, естественно, распространялось и на Робеспьера. На полтора месяца он уехал в родной Аррас. Когда Робеспьер возвратился в Париж, он застал столицу в большом возбуждении. Везде только и говорили о близкой войне. Бриссо и его сторонников, призывавших к «войне народов против тиранов», в Якобинском клубе, в народных обществах принимали бурными аплодисментами.

Робеспьер некоторое время приглядывался. Ему нужно было разобраться в обстановке. Но уже в речи 12 декабря в Якобинском клубе осторожно, а затем во второй, большой блестящей речи 18 декабря в той же аудитории он выступил с убийственной критикой авантюристической и гибельной программы Бриссо. С замечательной проницательностью Робеспьер предсказывал, что при сложившемся во Франции положении война будет на руку двору и контрреволюции. Ораторы, играющие на патриотических чувствах народа, лишь помогают тайным коварным планам двора, стремящегося затянуть Францию в ловушку. Главный враг находится не вне страны, а внутри ее.

«На Кобленц, говорите вы, на Кобленц! — полемизировал с Бриссо Робеспьер. — Как будто представители народа могли бы выполнить все свои обязательства, подарив народу войну. Разве опасность в Кобленце? Нет, Кобленц отнюдь не второй Карфаген, очаг зла не в Кобленце, он среди нас, он в вашем лоне»¹¹⁸.

В третьей и четвертой речах, посвященных вопросам войны (25 января и 10 февраля 1792 года), Робеспьер вновь и вновь блестящей аргументацией обосновывал эту мысль: главная задача — борьба с вну-

тренней контрреволюцией, и, до тех пор пока эта задача не выполнена, нет шансов на победу над внешней контрреволюцией¹¹⁹.

Робеспьер разоблачал опасный для революции характер революционной фразы, воинственной бравады жирондистских вождей, которым «не терпится начать войну, представлявшуюся им, видимо, источником всех благ». Он отвергал легкомысленную или преступную игру с войной. «Нация не отказывается от войны, если она необходима, чтобы обрести свободу, но она хочет свободы и мира, если это возможно, и она отвергает всякий план войны, направленный к уничтожению свободы и конституции, хотя бы и под предлогом их защиты»¹²⁰.

Проявляя глубокое понимание принципов революционной внешней политики, Робеспьер полностью отвергал «ультрареволюционные» жирондистские идеи и планы «освободительной войны», т. е. «экспорта революции», выражаясь современным языком.

«А если иностранные народы, если солдаты европейских государств окажутся не такими философскими, не такими зрелыми, как вы полагаете, для революции, подобной той, которую вам самим так трудно довести до конца? Если они вздумают, что их первой заботой должно быть отражение непредвиденного нападения, не разбирая, на какой ступени демократии находятся пришедшие извне генералы и солдаты?» — иронически спрашивал сторонников «низвержения тиранов» Робеспьер.

Он высказывал обоснованное опасение, что «вооруженное вторжение может оттолкнуть от нас народы, вместо того чтобы склонить их устремления навстречу нашим законам». Он решительно отвергал мысль, столь охотно пропагандируемую жирондистами, будто свободу народам можно принести на острие штыка¹²¹.

Мудрые предостережения Робеспьера не могли переубедить даже якобинцев. В феврале 1792 года Якобинский клуб принял обращение к своим членам, в котором говорилось, что «нация желает войны», что она ждет лишь, когда наступит желанный момент и великий спор народов и королей будет решен на поле битвы¹²². Из влиятельных политических деятелей Робеспьера поддержал лишь Марат, занявший близкую к нему позицию¹²³. Но Марат вернулся из Англии, где он вынужден был скрываться, лишь в апреле 1792 года,

когда уже было создано жирондистское правительство и вопрос о войне был предрешен. Ни Робеспьеру, ни Марату не удалось повлиять на ход событий. 20 апреля 1792 года Франция объявила войну «королю Венгрии и Богемии» — австрийскому императору.

Война началась, и прежние споры потеряли свое значение. Теперь вставала иная задача. Раз война уже идет — война объективно оборонительная, справедливая — против реакционно-абсолютистских монархий, эту войну надо вести как революционную, народную войну.

Такова была политическая программа, с которой выступал теперь Робеспьер. Он отстаивал эти взгляды с трибуны Якобинского клуба. Но Робеспьер говорил всегда для народа, и ему нужна была еще и иная трибуна: менее случайная, чем та, которую он время от времени получал в Якобинском клубе. С марта 1792 года он стал издавать еженедельный журнал «Le défenseur de la Constitution» («Защитник конституции») ¹²⁴.

Как и предвидел Робеспьер, война очень скоро стала для Франции цепью неудач и поражений. Вопреки хвастливым обещаниям жирондистских лидеров французские войска отступали под натиском интервентов. И это происходило не потому, что французским солдатам не хватало мужества и храбрости, а потому, что руководство армии было в руках генералов и офицеров, не хотевших драться за революцию. Измена прокладывала дорогу врагу. Она коренилась прежде всего в королевском дворце, ставшем осиным гнездом контрреволюции, она протягивала отсюда тонкие нити в штабы армии интервентов ¹²⁵.

Ни Законодательное собрание, ни «партия государственных людей» — так иронически называл Марат жирондистов, с тех пор как они сели в министерские кресла ¹²⁶, — не умели и не хотели вести войну по-революционному. Преследуя отступающие французские войска, армии интервентов шли на Париж.

Огромное общественное возбуждение охватило в час опасности страну. К глубокой неудовлетворенности народа социальными и политическими результатами революции теперь присоединились оскорбленные национальные чувства, страх за судьбу родины. В монархии, в кознях лживого, обманывающего страну короля и ненавистной «австриячки» — королевы народ видел теперь главный источник бедствий, обрушившихся на

Францию. С конца июня — начала июля в Париже и одновременно в провинции началась уже почти нескрываемая подготовка к свержению монархии.

Робеспьер еще весной 1792 года обнаруживал колебания в этом вопросе. Он еще не освободился от старой предубежденности против республиканской формы власти, которая ему все еще представлялась как «хлыст аристократического сената и диктатора». Но, хотя и с опозданием, он все-таки внял требованиям народа; он сумел у него переучиться¹²⁷.

На страницах своего журнала «Защитник конституции» он печатает обращение прибывших в Париж федератов, полное боевой решимости: «В Париже мы должны победить или умереть»¹²⁸. В июле 1792 года Робеспьер, отбросив все прежние сомнения и предубеждения, ратует за немедленное уничтожение монархии и провозглашение республики. Но одного лишь сокрушения старой исполнительной власти недостаточно. А законодательная власть? Заслуживает ли она доверия?

В сильной речи в Якобинском клубе 29 июля Робеспьер рисует программу смелой и решительной ломки всего государственно-политического организма страны. «Надо спасти государство каким бы то ни было образом; антиконституционно лишь то, что ведет к его гибели»¹²⁹.

Это речь истинного революционера. Никакие конституционные, никакие формальные преграды не смущают бывшего лицензиата прав. Законодательное собрание доказало свое бессилие; оно показало себя соучастником преступных посягательств двора. Оно должно сойти со сцены; оно оставляет Францию беззащитной перед военным деспотизмом, перед посягательствами мятежников. Конвент! «Национальный конвент абсолютно необходим». Он должен быть создан на иной основе, чем не оправдавшее себя Законодательное собрание. «Где же еще найти любовь к родине и верность общей воле, если не у самого народа?» — спрашивал Робеспьер. И он требовал полного восстановления в правах того «трудолюбивого и великодушного класса», который был лишен прав гражданства. Отмена всех ограничений, связанных с имущественным цензом, введение всеобщего избирательного права для выборов в законодательные и все другие органы; Конвент, выражающий волю всех французов¹³⁰.

Робеспьер не ограничился в эти решающие дни речами. Он установил прямую связь с отрядами федератов-добровольцев из провинции, вступавших в Париж; он их подталкивал на прямые революционные действия.

В Париже сорок семь из сорока восьми секций требовали отрешения короля от власти. Вся страна поднималась против монархии. Тщетно жирондисты двуличными маневрами и тайным сообщничеством с двором пытались предотвратить народное восстание. 10 августа народ Парижа в тесном единении с отрядами федератов поднял восстание против ненавистой всем монархии. Народ победил. Людовик XVI был заключен в башню Тампль. Тысячелетняя монархия рухнула. Революция вступала в новый этап.

VI

Восстание 10 августа не только сокрушило и уничтожило монархию; но и подорвало политическое господство крупной буржуазии. Руководство победоносным восстанием принадлежало Коммуне и ее политическим вдохновителям — якобинцам. Жирондисты не только не поддерживали восстание, но и противились ему. И тем не менее им удалось воспользоваться плодами народной победы; в их руки фактически перешло руководство властью: и в Исполнительном совете, и в Законодательном собрании они заняли руководящее положение.

Но рядом с этими, так сказать, «законными» органами власти после 10 августа возник новый орган — Парижская коммуна, опиравшаяся не на букву закона, не на легальный источник власти, а на вооруженное восстание. С первых же дней свержения монархии между Законодательным собранием и Парижской коммуной начались трения, вскоре переросшие в открытую, непримиримую борьбу.

Эта борьба по своему содержанию была шире и глубже конфликта между Коммуной и Собранием. Это была борьба Горы и Жиронды и стоявших за ними классовых сил. Гора, якобинцы представляли блок мелкой и средней буржуазии, крестьянства и городского плебейства — классовых сил, не добившихся еще осуществления своих требований в революции и поэтому стремившихся ее продолжить и углубить. Жиронда представляла торгово-промышленную и земледельче-

скую (преимущественно провинциальную) буржуазию, которая, добившись наконец власти и относясь со страхом и враждою к народу, старалась остановить революцию, не допустить ее дальнейшего развития. В условиях ожесточенной войны и тяжелого экономического положения страны борьба Горы и Жиронды неизбежно должна была принять крайне острый характер.

Роль Робеспьера в этой борьбе была велика. Его участие в событиях 10 августа еще нельзя считать полностью выясненным исторической наукой. Несомненно, однако, что он оказывал немалое политическое влияние на подготовку выступления народа. Он связывал свою личную судьбу с надвигавшимся сражением. В письме к Бюиссару, без даты, но которое Мишон с должным основанием относит ко времени до 10-августа, Робеспьер писал другу своей молодости: «Если они (федераты. — А. М.) удалятся отсюда, не успев спасти отечество, все погибло. Пусть нам всем придется погибнуть в столице, но прежде мы испытаем самые отчаянные средства»¹³¹. Слова «нам всем» показывают, что он рассматривал и себя как одного из участников предстоящего восстания.

10 августа он выступал в Якобинском клубе. В кратком изложении его речи перечисляются практические предложения, которые он вносил: требовать созыва Национального конвента, добиться декрета, объявляющего Лафайета изменником, освободить заключенных патриотов из тюрем, открыть доступ на заседание секций всем гражданам; секциям установить связи с народными обществами и доводить волю народа до сведения Национального собрания; Коммуне — разослать своих комиссаров во все восемьдесят три департамента. Он доказывал также, как гласит отчет, «что было бы крайне неблагоприятно, если бы народ сложил оружие, не обеспечив предварительно своей свободы»¹³².

Как ни скуп этот отчет, но и на основании того, что он содержит, можно все же определить эту речь как выступление одного из политических руководителей народного восстания. Советы Робеспьера звучат как директивы. Они адресованы якобинцам, а это значит, что через короткое время из узких стен клуба они распространятся в самой гуще народа.

Тогда же, 10 августа, во второй половине дня Робеспьер был избран членом Коммуны, а затем членом ее Генерального совета.

И хотя надо считать несомненным, что он не участвовал в уличных сражениях, не штурмовал с оружием в руках Тюильрийский дворец, его роль в подготовке и в самих событиях исторического дня 10 августа была в действительности значительнее: он был одним из политических руководителей восстания.

Руководящее участие в народном восстании, а затем в Коммуне имело большое значение в идейно-политическом развитии Робеспьера. Конечно, он уже с 14 июля 1789 года восхищался народным восстанием и одобрял все смелые проявления революционной инициативы масс. Он стал революционером. Но все же ему самому приходилось участвовать лишь в борьбе, проходившей в легальных формах — в стенах респектабельного Учредительного собрания, где каждый из борцов опирался на безупречно законный, доверенный избирателями депутатский мандат.

10 августа Робеспьер оказался впервые вовлеченным в борьбу, представлявшую собственно революционное творчество масс. Первым опытом этого творчества было ниспровержение всех прежних законов и замена формальной законности высшим для народа законом — революционной необходимостью.

Робеспьер, учившийся у революции, обладавший особым даром — вернее и быстрее других усваивать ее уроки, сразу же сумел уловить эту важнейшую сторону событий 10 августа.

В замечательной статье «О событиях 10 августа 1792 года», написанной в ближайшие дни после народного восстания, Робеспьер писал: «Народы, до сих пор плуты говорили вам о законах лишь для того, чтобы вас поработать и истреблять. В действительности у вас не было законов. У вас были только преступные капризы некоторых тиранов, прорвавшихся к власти путем интриги и опирающихся на силу... их преступления заставили вас еще раз взять в свои руки осуществление ваших прав»¹³³.

Бывший юрист-законник выступает в этих суждениях как великий революционер. Он ни в грош не ставит формальную законность, он ее полностью отрицает и противопоставляет этой развенчанной им законности высший закон — осуществление народом своих прав.

В той же статье Робеспьер еще не раз возвращается к этой важнейшей стороне минувших событий — осуществлению народом своих суверенных прав путем ре-

волюционного восстания. «Весь французский народ, издавна униженный и угнетенный, чувствовал, что проби́л час выполнения священной обязанности, возлагаемой самой природой на все живые существа и тем более на все нации, а именно обязанности позаботиться о своей собственной безопасности путем мужественного сопротивления угнетению».

В восстании 10 августа народ «осуществил свой признанный суверенитет и развернул свою власть и свое правосудие, чтобы обеспечить свое спасение и свое счастье... Он действовал как суверен, слишком сильно презирающий тиранов, чтобы бояться их, слишком глубоко уверенный в своей силе и в святости своего дела, чтобы снисходить до сокрытия своих намерений»¹³⁴.

На опыте 10 августа Робеспьер еще глубже сумел понять спасительное значение, в определенных исторических обстоятельствах, революционного насилия масс. Он увидел воочию, какие неисчерпаемые возможности таятся в недрах народа.

Робеспьер стал одним из самых влиятельных руководителей Коммуны Парижа. Но он не только сам оказывал воздействие на работу Коммуны, но и учился у нее, постигал то, с чем ранее ему не приходилось соприкасаться. Коммуна была властью, действовавшей не на основе конституционных или каких-либо иных законных норм; это была власть, опиравшаяся на восстание и руководствовавшаяся в своих действиях революционной необходимостью или целесообразностью.

Товарищами Робеспьера в Коммуне были не прославленные ораторы, не выдающиеся литераторы, не именитые буржуа, как это было в Учредительном собрании, а безвестные простые люди, люди труда, руководители местных секций и низовых народных обществ, имена которых знали лишь в границах нескольких кварталов или даже одной-двух улиц. Каменотесы, ювелиры, наборщики, плотники, мелкие торговцы, начинающие журналисты, художники, маляры, клерки, пивовары — весь этот пестрый, шумный, боевой люд Коммуны, обладавший здравым смыслом, практической смелкой, ни перед чем не пасующей отвагой, — это и был тот народ Франции, который до сих пор в устах депутата Учредительного собрания представал как некое собирательное понятие. Теперь в непосредственном общении с санкюлотами Парижа, в повседневной совместной борьбе против общих врагов Робеспьер проходил

последнюю ступень своего идейно-политического развития*.

20 сентября 1792 года в Париже собрался Конвент, избранный, как предлагали Робеспьер и его единомышленники, на основе всеобщего избирательного права. Соотношение сил в Конвенте как будто складывалось благоприятно для жирондистов. Опираясь на голоса провинции, они получили сто шестьдесят пять мандатов; у якобинцев было примерно сто. Подавляющее же большинство депутатов — около четырехсот восьмидесяти, не примкнувших ни к одной из группировок, — прозванное иронически «болотом», шло за теми, кто в данный момент был сильнее. Первоначально они поддерживали Жиронду, что, естественно, усиливало ее позиции в Конвенте.

Робеспьер, выдвинувший свою кандидатуру в Париже, прошел первым по числу голосов среди депутатов столицы. Его популярность в стране к этому времени была уже огромной. Идеи, которые он так твердо и настойчиво отстаивал во враждебном ему Учредительном собрании, теперь разделялись миллионами французов. В спорах со своими политическими противниками он оказался прав. Многие из его предсказаний сбылись. Уже в 1791 году, к концу работы Учредительного собрания, депутат от Арраса, служивший мишенью для остроумных монархических борзописцев типа Ривароля, стал самым знаменитым и самым любимым в стране народным представителем.

Со всех концов страны к нему шли письма со словами восхищения и благодарности за его мужество, патриотизм, защиту интересов народа. 30 сентября 1791 года, когда закрывалось последнее заседание Учредительного собрания, народ Парижа устроил ему оvation. В Якобинском клубе он пользовался непререкаемым авторитетом. Вся демократическая печать высказывалась о нем в тоне глубокого уважения. Марат писал о «славе, которой он покрыл себя, неизменно защищая интересы народа», о «народной привязанности, ставшей справедливой наградой за его гражданские добродетели»¹³⁵.

Эбер на страницах своего «Père Duchesne» в присутствии ему развязном тоне восклицал: «На мой взгляд,

* Робеспьер гласно заявлял, что он высоко ценит, гордится своим участием в Коммуне (Oeuvres complètes. T. IX. P. 86—95).

Робеспьер сто́ит больше, чем все сокровища Перу»¹³⁶. В витринах стали выставлять его портреты.

В его внешнем облике, в его поведении ничто не изменилось. Со времени переезда из Версаля в Париж он жил в двух небольших комнатах на третьем этаже в доме № 8 по улице Сентонж. В августе 1791 года он переехал в дом к столяру Морису Дюпле на улице Сент-Оноре. Здесь в одной комнате деревянного флигеля он жил до последнего своего дня. Не только чистосердечное радушие Мориса Дюпле и его сына Симона привязывало Робеспьера к этой тихой, скромной обители. Он полюбил Элеонору Дюпле, дочь Мориса, и это чувство было взаимным. Но они все откладывали брак до близкой, как им казалось, поры торжества свободы над ее врагами — поры, которая для них так и не пришла.

Робеспьер оставался все так же беден, как и прежде. Он отказался от должностей, суливших ему высокие оклады. Его потребности были очень скромны. Деньги не имели для него никакой цены.

Простые люди, оценившие мужественную борьбу Робеспьера в защиту их интересов, его бескорыстие, чистоту его помыслов и дел, полюбили его и стали называть почетным прозвищем Неподкупный.

Конвент собрался при добрых предзнаменованиях. 20 сентября 1792 года в сражении при Вальми армия революционной Франции одержала первую победу над интервентами. Это было началом перелома в ходе военных действий. Под натиском окрыленных успехом революционных батальонов австрийцы и пруссаки стали откатываться на восток.

Первые заседания Конвента, озаренного лучами победы при Вальми, прошли при огромном патриотическом подъеме всех собравшихся в большом зале. Торжественно был принят декрет об уничтожении королевской власти. День 21 сентября был провозглашен началом «новой эры» — первым днем первого года Республики, четвертого года Свободы.

Считаясь с патриотическим воодушевлением, охватившим Конвент и страну, стремясь к консолидации всех революционных сил для достижения победы над врагом, якобинцы предложили примирение жирондистам. Марат на страницах своей новой газеты — «Газеты Французской республики» выступил 22 сентября с программной статьей, в которой заявлял, что он перехо-

дит к новой тактике — сплочения и объединения всех патриотических сил.

Но жирондисты, опьяненные своим успехом в провинции, поддержкой со стороны депутатов «болота», прочность которой они переоценивали, не приняли протянутой им руки. Они отвергли примирение и перешли в яростное наступление на Гору. Ряд ораторов Жиронды — Верньо, Ласурс, Ребекки, Барбару, Луве выступили с обвинениями Робеспьера и Марата в разных злодеяниях и стремлении к диктатуре. Гора подняла брошенную ей перчатку. Сражение между двумя группировками возобновилось с еще большим ожесточением.

Робеспьер отвечал своим обвинителям в ряде выступлений¹³⁷. Он опроверг все личные обвинения и перенес полемику в плоскость политических вопросов. Он довел спор до самой сути разногласий. «Граждане, неужели вам нужна была революция без революции!.. Кто может точно указать, где должен остановиться поток народного восстания после того, как события развернулись?» — спрашивал Робеспьер депутатов в речи в Конвенте 5 ноября 1792 года¹³⁸. Всей логикой своей блестящей аргументации он доказывал, что его противники — жирондисты являются противниками революции, стремящимися урвать у народа плоды его замечательной победы 10 августа.

Не в характере Робеспьера было ограничиваться обороной — он перешел в наступление. Он обвинял жирондистов в заговоре против Парижа, в попытке противопоставить страну революционной столице. С замечательной проницательностью он вскрывал их двоядушие, намеренную уклончивость их речей, скрывающую за собой тайную враждебность революции, их коварные замыслы: под предлогом борьбы со смутьянами скрутить руки народу и поработить его вновь.

Когда в Конвенте встал вопрос о судьбе бывшего короля, Робеспьер, как и Марат, и Сен-Жюст, настаивал на самых суровых решениях. Он превосходно понимал — и последующий ход событий это полностью подтвердил, — что жирондисты всеми способами будут искать спасения жизни Людовика XVI. Спор о судьбе бывшего монарха меньше всего касался лично Людовика. Это был спор о судьбе революции: идти ли ей вперед или остановиться.

В речи в Конвенте 3 декабря 1792 года Робеспьер требовал смертного приговора бывшему королю. Его

следует не судить, а покарать. Народ, свергнув его с престола, тем самым решил, что Людовик XVI — мятежник. Он не может быть судим потому, что он уже осужден. На смену старым конституционным законам пришел новый, высший закон, который является «основой самого общества, — это благо народа. Право покарать тирана и право свергнуть его с престола — одно и то же... Восстание — вот суд над тираном: крушение его власти — его приговор; мера наказания та, которую требует свобода народа. Народы судят не как судебные палаты; не приговоры выносят они. Они мечут молнию; они не осуждают королей, они погружают их в небытие»¹³⁹.

Так мог говорить лишь истинно великий революционер. И замечательно, что эти проникнутые революционным бесстрашием слова принадлежали политическому деятелю, еще недавно в Учредительном собрании требовавшему упразднения навсегда смертной казни и так долго возражавшему против отмены института монархии во Франции. Робеспьер шел во главе революции, и, может быть, прежде всего потому, что он умел слушать ее голоса и, переучиваясь у нее сам, учил ее урокам других.

Вопреки требованию Робеспьера по настоянию жирондистов бывший король Людовик Капет был предан суду Конвента. Робеспьер, Марат, Сен-Жюст добивались его казни¹⁴⁰. Жирондисты всякого рода двуличными маневрами старались спасти ему жизнь. Но когда по предложению Марата Конвент перешел к поименному голосованию, жирондистские лидеры проявили малодушие, и большинство голосовало за его казнь. 387 голосами против 334 Конвент приговорил Людовика Капета к смертной казни. 21 января 1793 года он был гильотинирован на площади Революции в Париже.

Исход борьбы в Конвенте по вопросу о судьбе короля показал, что влияние жирондистов начало падать. И это было не случайно. Революция шла вперед, и соотношение классовых сил менялось.

Война затягивалась. Контрреволюционная коалиция европейских монархий расширялась. Помимо Австрии и Пруссии в ее состав входили теперь Англия, Голландия, Испания, Неаполитанское королевство, Сардиния, ряд мелких германских и итальянских государств. В марте 1793 года вспыхнул контрреволюционный мятеж в Вандее, перекинувшийся в Нормандию и Бретань.

Ставленник жирондистов, тесно связанный с ними, генерал Дюмурье в марте вступил в переговоры с австрийцами и пытался повернуть армию на Париж. Измена Дюмурье открыла полосу военных неудач революционной армии. Войска Республики под натиском превосходящих сил интервентов отступали на всех фронтах.

Продовольственное положение страны становилось угрожающим. Быстрый рост дороговизны привел к жестокой нужде ремесленников, рабочих, бедный люд. В Париже и других городах начались волнения. Выдвигавшееся так называемыми бешеными¹⁴¹ требование об установлении твердых цен на продукты питания («максимум») встречало поддержку городского плебейства¹⁴². Главный вопрос революции — аграрный — оставался по-прежнему нерешенным, и потерявшее терпение крестьянство открыто выражало свое недовольство. С осени 1792 года вновь усилились крестьянские волнения.

Перед лицом этого углубляющегося кризиса Республики жирондисты обнаружили неумение и нежелание преодолевать его смелыми и решительными мерами. Вместо того чтобы бороться против возрастающего нажима внешней и внутренней контрреволюции, они были озабочены только борьбой против Горы. В час смертельной опасности, нависшей над родиной, они думали лишь о себе. Ненависть слепила им глаза. Классовый инстинкт подсказывал им верное понимание истинного смысла происходившей в стране борьбы. Один из самых проницательных жирондистов — Верньо в начале мая 1793 года говорил: «Я замечаю, к несчастью, что идет жестокая война между теми, кого называют санкюлотами, и теми, кого по-прежнему именуют господами»¹⁴³. Это соответствовало истине. Жиронда была фракцией господ, и потому все ее силы были направлены против санкюлотов, против народа. Но антинародные позиции с неизбежностью вели к антинациональным. От борьбы против народа лишь один шаг к открытой контрреволюции и национальной измене.

3 апреля 1793 года Робеспьер выступил в Конвенте с речью о сообщниках Дюмурье. Он начал ее простыми и суровыми словами: «Необходимо серьезно заняться исцелением от наших недугов. Решительные меры, диктуемые угрожающими родине опасностями, должны покончить с этой комедией... Надо спасти родину при по-

мощи подлинно революционных мер. Надо обратиться к силе нации...»

Но это было только вступление. За ним последовало прямое и неотразимое обвинение Жиронды в предательстве. Оно было персонифицировано. Робеспьер говорил не о всех депутатах, примкнувших к Жиронде, а о ее вожде. «Я заявляю, — сказал Робеспьер, — что никогда Дюмурье, никогда враги свободы не имели более верного друга и более полезного защитника, чем Бриссо». И он развернул цепь доказательств, обосновывающих это утверждение. «Я заявляю, — повторил он, — что истинная причина наших бед заключается в преступной связи между людьми, находящимися в нашей среде, и именно между указанным мною человеком и всеми теми, кто с ним водится». И он предложил декрет о привлечении к ответственности Бриссо по обвинению в соучастии с Дюмурье¹⁴⁴.

Робеспьер, как и Марат, уже давно вел борьбу против Жиронды. Здесь не место выяснять (да в том и нет особой нужды), кто из двух знаменитых революционных вождей сделал больше для развенчания фракции «государственных людей». Они не действовали согласованно: и Робеспьер, и Марат шли каждый своей особой дорогой. Им случалось выражать недовольство друг другом. Но оба они были беззаветно преданы революции и народу, ее творившему, и логика борьбы вела к все большему сближению их позиций. К 1793 году ход событий привел к тому, что Робеспьер и Марат (тогда еще также и Дантон, хотя уже с известными оговорками) стали самыми популярными вождями якобинцев, и им приходилось возглавлять борьбу против общего врага — Жиронды.

Эта борьба началась еще в 1791 году. После второго раскола Якобинского клуба (в октябре 1792 года) она стала гораздо острее. Робеспьер наносил теперь разящие удары своим противникам¹⁴⁵. Но лишь в речи 3 апреля он довел свои действия до логического конца, обвинив вождя Жиронды и его сподвижников в предательстве и измене революции.

Отныне наступал заключительный этап борьбы. Примирение было уже невозможно. Жирондисты ответили на обвинение Робеспьера чудовищными нападениями на якобинцев, на революционный Париж и добились, нарушив депутатскую неприкосновенность, предания Марата суду Революционного трибунала.

В условиях надвигающейся катастрофы, когда армии интервентов шли на Париж, а контрреволюционный мятеж внутри страны разгорался все шире, жирондисты, ослепленные ненавистью к Горе, становились на путь развязывания гражданской войны.

Выступая в Якобинском клубе 8 мая, Робеспьер говорил: «Во Франции остались лишь две партии: народ и его враги... Кто не за народ, тот против народа, кто ходит в шитых золотом штанах, тот враг всех санкюлотов»¹⁴⁶. В этих словах было глубокое понимание смысла развертывавшейся в стране классовой борьбы.

Сила Робеспьера, сила якобинцев была в том, что они были всегда с народом, умели прислушиваться к голосу народа, понимать его нужды и требования. Робеспьер, как и другие руководители якобинцев, относился сперва недоверчиво, более того, отрицательно к «бешеным» и их политическим и социальным требованиям. Но, считаясь с желанием народа и сложившейся в стране обстановкой, он изменил свое отношение к их предложениям о «максимуме». После того как за «максимум» высказалась также Парижская коммуна, Робеспьер и якобинцы поддержали это требование и, несмотря на сопротивление жирондистов, провели в Конвенте 4 мая 1793 года декрет об установлении твердых цен на зерно.

Якобинцам удалось добиться некоторых иных, необходимых для спасения республики мер. По их инициативе в Париже были созданы народные комитеты бдительности. 20 мая Конвент принял декрет о принудительном займе у богачей одного миллиарда франков и т. п. Но самой необходимой для спасения Республики мерой было свержение власти Жиронды. Робеспьер уже с апреля 1793 года в выступлениях в Якобинском клубе требовал проведения практических решений революционного характера: создания революционной, составленной из санкюлотов армии, ареста подозрительных. Теперь пришла пора перейти к главному.

26 мая, выступая в Якобинском клубе, Робеспьер сказал: «Когда все законы нарушаются, когда деспотизм дошел до своего предела, когда попирают ногами честность и стыдливость — тогда народ должен восстать. Этот момент настал». 29 мая он вновь повторил в Якобинском клубе: «Я говорю, что, если не поднимется весь народ, свобода погибнет»¹⁴⁷.

31 мая 1793 года в Париже началось народное вос-

стание; оно было завершено 2 июня. Народное восстание свергло власть Жиронды и передало ее в руки якобинцев.

VII

В дни восстания 31 мая — 2 июня Робеспьер внес в свою записную книжку краткие заметки: «Нужна единая воля. Она должна быть или республиканской, или роялистской... Внутренние опасности исходят от буржуазии: чтобы победить буржуазию, нужно объединить народ...» И дальше: «Надо, чтобы народ присоединился к Конвенту и чтобы Конвент воспользовался помощью народа»¹⁴⁸.

Эта запись говорит о многом. Робеспьер отчетливо видел ту классовую силу, против которой следовало бороться. Восстание было направлено против Жиронды, и Робеспьер говорил об опасности, исходящей от буржуазии. Это значит, что он хорошо понимал, какой класс стоит за противниками монтаньяров. Он понимал также и то, что победить Жиронду и буржуазию можно было, лишь сплотив вокруг Конвента народ.

Значит ли это, что Робеспьера 1793 года следует считать представителем плебейства, или «четвертого сословия», или даже социалистом, как его некогда изображал Матьез?

Нет, конечно. Якобинцы — повторим еще раз — представляли собой блок демократической (средней и мелкой) буржуазии, крестьянства и плебейства. Эти классово разнородные силы шли вместе, поскольку их объединяла общность интересов. Будучи связаны кровными интересами с совершавшейся буржуазной революцией, они все еще не добились удовлетворения своих главных требований и потому двигали развитие революции вперед. Понятно, требования эти не могли быть тождественны; поэтому позже внутри блока возникнут разногласия, но до определенного времени у входивших в якобинский блок сил были общие задачи и общие враги, и, выступая сплоченно, они достигали победы.

Было бы ошибочным, как мне думается, искать для Робеспьера точный социальный эквивалент. Якобинцы выступали как представители этого классово неоднородного блока, а этот блок ведь и был собственно французский народ. Иными словами, Робеспьер представлял

и защищал интересы французского народа, творившего революцию.

Приведенные записи показывают, как отчетливо сознавал Робеспьер задачи революции в решающие дни восстания 31 мая — 2 июня. Для того чтобы «объединить народ», сплотить его вокруг Конвента, очищенного от жирондистских лидеров, нужны были быстрые и подлинно революционные меры.

И якобинский Конвент их находит. Аграрные законы 3 и 10 июня и 17 июля* дали крестьянам за шесть недель то, что революция не дала им за четыре года. Сокрушительный удар по феодализму в деревне и земля, хотя и не полностью, но в существенной части полученная крестьянством, обеспечили переход основных масс крестьянства на сторону якобинцев.

Матъез утверждал, что меры Горы, давшие крестьянству существенное удовлетворение, были проведены по проекту Робеспьера. В этом есть, конечно, доля преувеличения. Известно, что подготовка и проведение этих мер осуществлялись при участии множества лиц: членов комитетов по сельскому хозяйству и торговле, по феодальным правам, депутатов Конвента и т. д.¹⁴⁹. Но надо согласиться с Матъезом в том, что Робеспьер не только нес за все эти меры ответственность, но и был, по-видимому, их вдохновителем.

С такой же поразительной быстротой, в течение трех недель, якобинцы выработали, приняли в Конвенте и поставили на утверждение народа новую конституцию. Эта республиканская, проникнутая духом последовательного демократизма конституция должна была служить идейно-политической платформой, призванной сплотить вокруг нее всю нацию.

Проблемы конституционно-демократического строя принадлежали к числу наиболее разработанных якобинцами вопросов. Робеспьер здесь мог опираться не только на теоретическое наследие Руссо, но и на свой собственный опыт борьбы за принципы демократии в Учредительном собрании. Обобщая живой опыт рево-

* Напомним, что декретом 3 июня конфискованные земли эмигрантов дробились на маленькие участки, и для приобретения их бедным крестьянам предоставлялась рассрочка платежа на 10 лет. Декрет 10 июня делил общинные земли (свыше 8 млн десятин) между крестьянами поровну на каждую душу. Декрет 17 июля уничтожил, без выкупа, все феодальные права, повинности, подати и привилегии.

люции, в частности первый опыт республиканского режима, Робеспьер еще в период борьбы против Жиронды создал стройную систему взглядов по вопросам политической демократии¹⁵⁰. Новое, что здесь было по сравнению с его конституционной программой периода Учредительного собрания, — это усиление гарантии сохранения народного суверенитета: выборность, отчетность и право отзыва государственных служащих, усиление контроля народа над работой законодательных органов; установление предельных сроков (два года) для избираемых государственных служащих и т. п. Новым было также и ограничительное толкование права собственности, внесенное в проект Декларации прав человека и гражданина, написанное Робеспьером «право на труд», что свидетельствовало о желании Робеспьера включить в будущую конституцию и некоторые элементы своих эгалитаристских взглядов¹⁵¹.

Не удивительно, что эта конституция, в некоторых своих частях самая демократическая из всех действовавших в истории Франции до наших дней, будучи поставлена на утверждение первичных собраний, была единодушно одобрена народом.

Но истинное величие якобинцев и их вождя Максимилиана Робеспьера как подлинных революционеров проявилось в том, что, покинув почву изведанного, они бесстрашно пошли вперед по непроторенным путям. Их величие было в том, что, приняв самую демократическую конституцию и получив полное ее одобрение народом, они правильно оценили требования войны насмерть с внешней и внутренней контрреволюцией — отказались от применения на практике конституционного режима и заменили его другой, более высокой формой организации власти — революционно-демократической диктатурой.

В отличие от вопросов конституционно-демократического строя, еще ранее теоретически разработанных якобинцами, проблема революционно-демократической диктатуры ни в якобинской, ни в какой-либо иной литературе не обсуждалась, да и не ставилась вообще. Исключением из этого общего правила и в этом, как и во многом другом, был Жан-Жак Руссо. В знаменитом «Общественном договоре» Руссо с гениальной прозорливостью предусмотрел возможность возникновения такого положения, когда станет необходимым отступление от обычных законодательных норм. В главе VI

трактата, так и озаглавленной: «О диктатуре», Руссо писал: «Негибкость законов, препятствующая им применяться к событиям, может в некоторых случаях сделать их вредными и привести через них к гибели государство, когда оно переживает кризис... Не нужно поэтому стремиться к укреплению политических установлений до такой степени, чтобы отнять у себя возможность приостановить их действие...» Опираясь на исторический опыт Римской республики и в какой-то мере Спарты, автор «Общественного договора» считал, что при определенных условиях в качестве временной, даже кратковременной, меры может быть установлена диктатура одного или нескольких лиц, облеченных широкими правами.

Все сочинения Жан-Жака Руссо, и особенно «Общественный договор» с его программно-политическими вопросами, воспринимались Робеспьером как своего рода завещание Учителя, Учителя с большой буквы. Робеспьер через всю свою жизнь пронес не поколебленный ни на мгновение, безграничный пиетет к великому творцу учения о равенстве. Он многократно перечитывал Руссо; он как бы советовался с ним; раздумывал, как поступил бы в тех или иных обстоятельствах Жан-Жак.

Но ни в манере мышления, ни в натуре обоих Робеспьеров — ни Максимилиана, ни Огюстена — не было ничего ни от сухого педантичного догматизма, ни от склонности к схемам. То были люди творческого, даже азартного склада, смело шедшие в страну неизведанного; действие у них, как и у большинства других якобинцев, всегда первенствовало над словом.

Конечно, Робеспьер прочитал и обратил внимание на VI главу «Общественного договора» Руссо. Но ведь в трактовке Жан-Жака проблема диктатуры ставилась в самой общей, абстрактно-гипотетической форме. Практически эта глава не давала никаких ответов на вопросы, неумолимо выдвигаемые жизнью в 1793 году. Она и не могла дать ни ответов, ни советов, ни рекомендаций: ведь она была написана почти за двадцать лет до начала революции.

В ходе революции у Марата более отчетливо, у Робеспьера как бы стихийно порою появлялось понимание необходимости диктаторских действий народа, но это были лишь случайно мелькнувшие мысли, не получившие развития.

Якобинская революционно-демократическая диктатура возникла и сложилась не в результате сознательного ее приготовления — ранее разработанного плана или теоретического обоснования ее необходимости. Она была рождена и создана самой жизнью, революционным творчеством масс. И только после того, как она установилась, стала действительностью жизни, ее опыт был осознан, а затем теоретически обобщен якобинскими вождями, и прежде всего Робеспьером.

Собственно начало революционно-демократической диктатуры надо видеть в самом акте народного восстания 31 мая — 2 июня 1793 года и в установленном восстанием новом соотношении классовых сил в стране. Но якобинцы, придя к власти, не замечали или не осознавали этого. Положение республики было столь критическим, опасности, подстерегавшие ее со всех сторон, так быстро росли, что якобинцам в эти дни некогда было задумываться, осмысливать происходящее. Надо было действовать — надо было молниеносно отвечать ударом на удар, более того — опережать в ударах противников. Но в главном усилия якобинцев летом 1793 года были направлены на развязывание инициативы масс, всемерную демократизацию политического строя, расширение участия народа в революции.

Усилиями якобинцев в стране в короткий срок была расширена, а частью вновь создана сеть низовых выборных революционных органов — революционных комитетов. Вместе с «народными обществами», широко разветвленным по всей стране Якобинским клубом с его филиалами и другими демократическими клубами, собраниями секций в Париже и некоторых других городах эти созданные революцией новые, демократические организации стали формой непосредственного участия народа в государственном строительстве и политической жизни страны.

Через эти многообразные демократические организации выявлялась народная инициатива, осуществлялось революционное творчество масс и их воздействие снизу на высшие органы власти.

В борьбе против Жиронды, ставшей после 31 мая — 2 июня знаменем и объединяющим центром всех сил внутренней контрреволюции, Гора опиралась на силы народа и на его авангард — санкюлотов. Формула Робеспьера: «Кто ходит в шитых золотом штанах, тот враг всех санкюлотов» — раскрывала социальный, классовый

вый смысл этой борьбы. Война против Жиронды была борьбой бедных против богатых. Еще до восстания 31 мая Робеспьер в уже упоминавшейся программной речи в Якобинском клубе 8 мая говорил: «Есть только два класса людей: друзья свободы и равенства, защитники угнетенных, друзья бедных, с одной стороны, и деятели несправедливо приобретенного богатства и тиранической аристократии — с другой»¹⁵². Якобинцы — это были «друзья бедных». Сам Робеспьер подчеркивал свою принципиальную приверженность бедности. «Я тоже мог бы продать свою душу за богатство, — говорил он в той же речи. — Но я в богатстве вижу не только плату за преступление, но и кару за преступление, и я хочу быть бедным, чтобы не быть несчастным»¹⁵³. В этих словах в сжатом виде сформулирована вся система взглядов якобинизма и его вождя Робеспьера в отношении богатства и бедности со всеми вытекающими отсюда выводами.

Ведя войну «против богатых и тиранов», против Жиронды и армий европейских монархий, якобинская республика могла и должна была вести ее как народную войну, т. е. действовать народными, санкюлотскими средствами.

В начале сентября по требованию народных масс Парижа Конвент декретировал: «Поставить террор в порядок дня». Деятельность Революционного трибунала была расширена. Революционный террор был направлен теперь не только против врагов революции и подозрительных, но и против спекулянтов, скупщиков, нарушителей закона о максимуме.

В условиях жестокого продовольственного кризиса Конвент в интересах плебейства и по его требованию, правда не без борьбы, принял декрет о введении всеобщего максимума. Логика этого социального законодательства потребовала затем от государства жесткого регулирования распределения и торговли и все более властного вмешательства в важнейшие сферы экономической деятельности. Этому же требовали задачи снабжения быстро растущей армии, обеспечения ее оружием, боеприпасами и т. п.

Но и политические функции власти должны были быть усилены и укреплены. Ожесточенность гражданской войны, необходимость преодолевать и подавлять яростные атаки и скрытые диверсии неисчислимых врагов, намного превосходящих Республику своими сила-

ми, требовали совершенно иной организации государственной власти. Для спасения Республики надо было не только отражать удары, сыпавшиеся со всех сторон, надо было суметь ответными сокрушающими ударами подавлять по частям, один за другим всех врагов. Для этого нужен был не конституционный режим, а сильная централизованная власть, опирающаяся на широчайшую поддержку народных масс снизу и возглавляемая государственным органом, обладающим непререкаемым авторитетом и неограниченными полномочиями. Для этого нужна была революционно-демократическая диктатура.

Сама жизнь создала систему якобинской революционно-демократической диктатуры с ее широкими разветвлениями снизу — революционными комитетами, народными обществами и т. д. и самым авторитетным и авторитарным высшим органом — Комитетом общественного спасения.

Эта новая революционная власть, созданная творчеством народных масс в ходе гражданской войны, естественно, требовала своего теоретического осмысления и обоснования. Этому были посвящены усилия ряда деятелей якобинского правительства: Сен-Жюста, Барера, Билло-Варенна и др. Но наиболее целостное и стройное обоснование проблемы революционной власти дал Максимилиан Робеспьер.

«Теория революционного правления, — говорил он в речи 25 декабря 1793 года, — так же нова, как и революция, создавшая этот порядок правления. Напрасно было бы искать эту теорию в книгах тех политических писателей, которые не предвидели революции»¹⁵⁴.

Уже в этих словах, в самом подходе к вопросу чувствуется революционер, не страшщийся нового и готовый черпать уроки для народа не из книжной мудрости, не из «опыта отцов», а из живой практики революционной борьбы.

В чем же сущность революционного правления? В каком соотношении оно находится с конституционно-демократическим строем, за который ратовали вчера якобинцы?

Робеспьер понимает, что этот вопрос возникает перед каждым участником революции, и он дает на него совершенно ясный ответ: «Революция — это война между свободой и ее врагами; конституция — это режим уже достигшей победы и мира свободы». Ту же

мысль он выражает еще лапидарнее: «Цель конституционного правления — в сохранении республики, цель революционного правления — создание республики»¹⁵⁵.

Таким образом, по мысли Робеспьера, режим революционного правления — это переходный период.

В программном докладе «О принципах политической морали», прочитанном в Конвенте 5 февраля 1794 года, он еще раз уточняет, в чем существо «революционного правления» как переходного периода. «Для того, чтобы создать и упрочить среди нас демократию, чтобы прийти к мирному господству конституционных законов, надо довести до конца войну свободы против тирании и пройти с честью сквозь бури революции»¹⁵⁶.

«Война свободы против тирании» — вот в чем сущность «революционного правления». Но, чтобы довести эту справедливую войну до победного конца, режим революционного правления должен действовать иными методами, чем конституционный: он должен быть активен, деятелен, мобилен; он не может быть стеснен никакими ограничениями } формально-правового характера. «Режим революционного правления, — говорил Робеспьер, — действует в грозных и постоянно меняющихся условиях, поэтому он вынужден сам применять против них новые и быстро действующие средства борьбы»¹⁵⁷.

Робеспьер, обладавший замечательной силой революционного мышления, сумел понять и, обобщив, показать народу величие этого нового переходного режима как формы революционно-демократической диктатуры. «Революционное правительство *опирается в своих действиях, — говорил он, — на священнейший закон общественного спасения и на самое бесспорное из всех оснований — необходимость*» (курсив мой. — А. М.)¹⁵⁸.

Бывший воспитанник юридического факультета Сорбонны, готовый пожертвовать формально-юридической основой законодательства, он был великим революционером и потому, не колеблясь, ставил интересы революции выше формального права.

Он учился непосредственно у революции и с поразительной глубиной понимания и быстротой восприятия теоретически обобщал уроки революционной борьбы. Он понял, что в самой природе революционно-демократической диктатуры должно быть диалектическое единство двух важнейших задач: забота о благе народа и не-

примиримость, беспощадность в борьбе с врагами революции. В той же речи в Конвенте 5 февраля 1794 года, обращаясь к депутатам, Робеспьер говорил: «В создавшемся положении первым правилом вашей политики должно быть управление народом — при помощи разума и врагами народа — при помощи террора»¹⁵⁹.

Реакционная историография не одно десятилетие клеветала на Робеспьера, изображая его кровожадным тираном, озлобленным существом, наслаждавшимся жестокостями террора, главным вдохновителем политики кровавых репрессий. Нет более низкой клеветы на Робеспьера, чем эта. Робеспьер был искренним и убежденным гуманистом, выступавшим уже в зрелом возрасте против применения смертной казни вообще. Он встал на путь поддержки революционного террора только тогда, когда тот стал необходимостью, средством самозащиты Республики от контрреволюционного террора внутренних и внешних врагов революции.

Как уже отмечалось, требование революционного террора было выдвинуто снизу, народными массами как необходимая мера самообороны. Народное движение 4—5 сентября 1793 года заставило Конвент «поставить в порядок дня террор».

Робеспьер не был бы великим революционером, если бы он не смог сразу же оценить спасительное значение для Республики в сложившихся условиях этого требования. Революционный террор для него не стал ни особым принципом, ни тем более самоцелью; он его рассматривал как временную, крайнюю меру, к которой во имя спасения революции, а следовательно, во имя спасения человечества должно прибегать революционное правительство.

«Террор есть не что иное, как быстрая, строгая и непреклонная справедливость; тем самым он является проявлением добродетели», — говорил Робеспьер в той же речи 5 февраля 1794 года. И он добавлял, что террор следует рассматривать не как особый принцип, а как «вывод из общего принципа демократии, применимого при самой крайней нужде отечества»¹⁶⁰.

Это и было то самое, доведенное до крайних логических выводов, применение идей Руссо о народном суверенитете, которое Энгельс определил сжатой блестящей формулировкой: «Общественный договор Руссо нашел свое осуществление во время террора»¹⁶¹.

Но был ли Максимилиан Робеспьер, был ли Жан-

Поль Марат, Сен-Жюст, Кутон и другие якобинские деятели, столько раз повторявшие имя Руссо, только ревностными учениками великого женеvского гражданина?

На первый взгляд сама постановка такого вопроса может показаться неправомерной. Разве Руссо когда-либо призывал к террору? Разве автор «Прогулок одинокого мечтателя» когда-либо предвидел суровое время беспощадной революционной диктатуры, которая была установлена его последователями во Франции в 1793—1794 годах?

Нет, у Руссо нельзя, конечно, найти призывов к установлению режима революционного террора. Он и о революции, как известно, никогда не говорил в полный голос. И все-таки только что приведенное суждение Энгельса было глубоко верным. Режим революционно-демократической якобинской диктатуры во Франции был первой в истории попыткой осуществления на практике идей Руссо о народовластии, о равенстве, о справедливом общественном строе.

Но для того чтобы идеи Руссо, остававшиеся в течение многих лет «книжной мудростью», перевоплотились в суровую и грозную политику Комитета общественного спасения, для этого надо было, чтобы его ученики были не только ортодоксальными последователями его учения, но обладали и иными качествами.

Робеспьер до конца своих дней оставался искренним почитателем таланта Руссо и считал его истинным наставником революции. Он принимал великого Жан-Жака всего, целиком: не только «Общественный договор» и другие политические сочинения, но и «Новую Элоизу», и «Эмиля», и «Исповедь». Он стал убежденным последователем эгалитаристских концепций Руссо. Его литературный стиль — и читателю в этом нетрудно убедиться — также носит явственный отпечаток влияния Руссо¹⁶². Проницательный Пушкин, обладавший поразительным историческим чутьем, сумел заметить и большее. Он назвал Робеспьера «сентиментальным тигром»¹⁶³. И в этом парадоксальном определении, улавливающем нечто противоречивое в облике Робеспьера, метко схвачено: сентиментализм «тигра» — это то, что было в Робеспьере от Руссо.

Итак, Робеспьер принимал всего Руссо, вплоть до его сентиментализма. Но историческое величие Робеспьера в том и состояло, что он не остался робким подра-

жателем автора «Общественного договора». Абстрактные политические гипотезы Руссо Робеспьер перевел на суровый язык революционного действия. Там, где мысль Руссо в нерешительности останавливалась, Робеспьер безбоязненно шел дальше. Он проверял истинность идей своего учителя практикой, и эта жестокая практика давала ему, конечно, неизмеримо больше, чем книжные советы Жан-Жака. С каждым днем он уходил все дальше вперед по сравнению с тем, кого продолжал называть своим учителем.

Робеспьер, как, впрочем, и Марат, и Сен-Жюст, и Кутон, как вся эта плеяда людей железной закалки — якобинцев, освободил руссоизм от присущей ему созерцательности и мечтательности. Это были люди дела, великие мастера революционной практики. Не мечтать, не грезить, не ждать; надо самому ввязываться в самую гущу сечи, разить мечом направо и налево, увлекать за собою других, идти смело навстречу опасности, рисковать, дерзать и побеждать.

Якобинцы, и среди них снова первым должен быть назван Робеспьер, освободили руссоизм и от его неясно-сумеречной, пессимистической окраски. Они видели перед собой не заход солнца, не закат, а зарю, пробуждение нового дня, утро, озаренное яркими лучами восходящего солнца.

У Робеспьера не было той грубой жадности к жизни, того необузданного кипения страстей, которые были так присущи мощной натуре Дантона. Он был строже и сосредоточеннее своих товарищей якобинцев.

В литературе существует версия, согласно которой при посещении юным Робеспьером в 1778 году Эрменонвиля, где в последние дни жизни уединился «одиноким мечтатель», на Руссо в беседе с этим молодым студентом Сорбонны наибольшее впечатление произвели не исключительная начитанность собеседника, не поразившее его знание, порою наизусть, сочинений Жан-Жака, в том числе и тех, которые он сам давно забыл, а нечто иное: твердый, непроницаемый, как бы стальной взгляд его чуть прищуренных глаз.

Трудно сказать, насколько верна эта получившая распространение версия; во всяком случае в ней нет ничего неправдоподобного. О внушавшем ужас людям с нечистой совестью прищуре неумолимых, стальных глаз Максимилиана писалось нередко.

Стальным, бестрепетным взглядом Максимилиан

Робеспьер смотрел на приближавшихся врагов, на подстерегавшие его со всех сторон неисчислимые опасности: обходные маневры, подкопы, то здесь, то там расставленные западни. Он все видел, все замечал, ничто не ускользало от его казавшегося неподвижным, окаменевшим, но пристального взгляда, и бесстрастность его непроницаемого лица скрывала мысли и чувства, его волновавшие.

Но и для Робеспьера жизнь начиналась с утра. Воспитанный на литературе XVIII столетия, он был также романтиком, и его романтизм питался реминисценциями античности. Но он, как и его сверстники якобинцы, был чужд созерцательной мечтательности. Мир открывался для него не в своих красотах — он завоевывался в боях. Якобинцы прошли слишком суровую школу борьбы, чтобы хоть в малой мере предаваться элегическим настроениям.

«Прекрасно то, чего нет», — говорил Руссо. Робеспьер отверг эту пессимистическую формулу. К прекрасному путь лежит через подвиг, через борьбу, через сражения — так можно было бы определить мировосприятие Робеспьера.

«Пусть Франция, — говорил Робеспьер в 1794 году, — некогда прославленная среди рабских стран, ныне затмевая славу всех когда-то существовавших свободных народов, станет образцом для всех наций, ужасом для угнетателей, утешением для угнетенных, украшением Вселенной, и пусть, скрепив наш труд своею кровью, мы сможем увидеть, по крайней мере, сияние зари всеобщего высшего счастья»¹⁶⁴.

Это «сияние зари всеобщего высшего счастья», «золотой век» человечества были, по убеждению Робеспьера, совсем близки, находились где-то рядом. Нужно было только напрячь последние усилия народа — объединиться, сплотиться и, ударив всей мощью, сокрушить врагов. Это было вполне достижимо; можно было по пальцам перечесть то, что оставалось доделать: изгнать интервентов, подавить внутреннюю контрреволюцию, отправить на гильотину последних заговорщиков и предателей. Вот в сущности и все. И тогда одержавший победу народ обретет этот вожденный мир свободы, равенства, справедливости, счастья.

Таков был путь к прекрасному, путь к счастью в представлении Робеспьера, и эта перспектива, которую

он открывал для своих соотечественников, была исполнена величайшего социального оптимизма.

Революция непобедима. Никто и ничто не могут ей противостоять; ее силы неистощимы, и она в состоянии сокрушить любых своих врагов.

Таково было непоколебимое убеждение Робеспьера, почерпнутое им из опыта революции, и отсюда шли его неустрашимость, уверенность в правоте своего дела, непреклонная решимость в действиях.

VIII

То, что казалось чудом современникам и особенно врагам революции, то, что поражало позднее всех, кто пытался постичь загадочную историю Первой республики, — невероятная, ошеломляющая, почти необъяснимая победа якобинской Франции над ее неисчислимыми внешними и внутренними врагами — все это совершилось в ничтожно короткий срок — за двенадцать-тринадцать месяцев.

Якобинская республика, которая летом 1793 года, казалось, вот-вот падет под ударами теснивших ее со всех сторон врагов, сжатая кольцом блокады, интервенции, контрреволюционных мятежей, задыхавшаяся от голода, от нехватки оружия, пороха, всего самого необходимого, — эта Республика, уже хоронимая ее недругами, не только отбила яростные атаки и подавила мятежи, но и перешла в наступление и, к ужасу консервативно-реакционного мира, разгромила своих противников и стала сильнейшей державой Европы.

Более того, в исторически кратчайший срок — за один лишь год — якобинская диктатура разрешила все основные задачи революции. Она разгромила феодализм так полно, насколько это было возможно в рамках буржуазно-демократической революции. Она создала четырнадцать армий, выросших как из-под земли, оснащенных современным оружием, возглавляемых талантливыми полководцами, вышедшими из низов народа и смело применявшими новую, революционную тактику ведения войны. В битве при Флерюсе 26 июня 1794 года армия Республики разгромила войска интервентов, изгнала их из пределов Франции и устранила опасность реставрации феодальной монархии. Территориальная целостность Республики была повсеместно восстановлена, и внутренняя контрреволюция — жирондистская,

вандейская, роялистская — была разгромлена и загнана в глубокое подполье.

Все самые смелые обещания Робеспьера и других якобинских вождей были выполнены. Республика, казалось, подходила к последнему рубежу; за ним наступало возмещенное вождями революции царство свободы, равенства, братства.

Но, странное дело, чем выше поднималась революция в своем развитии, чем больше падало врагов, сокрушенных ее смертельными ударами, тем внутренне слабее становилась эта казавшаяся столь могущественной внешне якобинская республика.

Через неделю после блестящей победы при Флерюсе, потрясшей всю Европу, Максимилиан Робеспьер в речи в Якобинском клубе 1 июля 1794 года говорил: «О процветании государства судят не столько по его внешним успехам, сколько по его счастливому внутреннему положению. Если клики наглы, если невинность трепещет, это значит, что республика не установлена на прочных основах»¹⁶⁵.

Откуда же этот горестный тон у руководителя революционного правительства, которое, казалось бы, должно было только радоваться замечательным победам Республики?

Этот голос скорби, эти нотки обреченности, горести, разочарования, которые все явственнее звучат в выступлениях Робеспьера летом 1794 года, понятны и объяснимы: Робеспьер уже чувствовал, что победа, завоеванная огромными жертвами народа, ускользает из рук, уходит от якобинцев.

Так что же произошло?

В представлении Робеспьера, как и в сознании его соратников, да и всех активных участников революции, великая титаническая битва, которую они вели в течение пяти лет, была сражением за свободу и справедливость, за равенство и братство, за «естественные права человека», за всеобщее счастье на земле, как прямо и говорилось в Декларации прав 1793 года¹⁶⁶.

Робеспьер отнюдь не был похож на бедного рыцаря Ламанчского, жившего в мире выдуманных образов и грез. Напротив, можно было скорее поражаться удивительной проницательности, своего рода дару ясновидения, которыми был наделен этот человек в тридцать пять лет. Его орлиный взор охватывал все гигантское поле сражения; он распознавал враждебные действия

противника в самом начале, и вслед за тем карающая рука Комитета общественного спасения настигала врага с быстротой, которую тот не предвидел.

И если Робеспьер при всей своей проницательности продолжал верить в наступление счастливого времени торжества добродетели, то это объяснялось не наивностью или незрелой мечтательностью. Он был политическим деятелем, находившимся на уровне передовой общественной мысли своего времени. Так думал не только он, так думали все лучшие умы конца XVIII столетия. Возглавляя революцию, представлявшуюся великой освободительной войной во имя возрождения всего человечества, они не знали, не понимали и не могли понять того, что в действительности они руководят революцией, которая по своим объективным задачам является буржуазной и не может быть иной.

Мы говорили до сих пор о сильных сторонах якобинской диктатуры и ее вождя Робеспьера. Но те противоречия и ошибки, которые проявлялись у Робеспьера в первые годы революции, стали больше и пагубнее по своим последствиям во время якобинской диктатуры. Эти ошибки, противоречия, просчеты не были личными недостатками Робеспьера: они вытекали из классового характера самой революции. Робеспьер был великим революционером XVIII века, но он был, сам того не сознавая, вождем Великой буржуазной революции, и этим были обусловлены его просчеты и ошибки, в этом была его трагедия.

С некоторых пор, а именно с того времени, когда революция сокрушила всех своих главных противников, когда она доказала миру рядом блистательных побед несокрушимость своих сил, Робеспьер явственно ощутил, что руль государственной власти, который так послушно поддавался его сильной руке, перестает ей повиноваться. Управлять им становилось все труднее.

В чем же было дело? Что же случилось?

Якобинская диктатура обеспечила решение задач буржуазно-демократической революции, действуя плебейскими методами. Но как только главные задачи революции были разрешены, враги ее повержены, непосредственная опасность реставрации устранена, все внутренние противоречия, заложенные в самой природе якобинской власти, немедленно всплыли на поверхность.

Уже говорилось о том, что якобинство представляло

собой не однородную, не гомогенную в классовом и политическом смысле силу, а блок разнородных классовых сил, действовавших, пока шла смертельная война против феодальной контрреволюции, сплоченно и солидарно. В год ожесточенной борьбы против объединенной внутренней и внешней контрреволюции якобинское революционное правительство, опираясь преимущественно на силы народа, влияние которого в это время резко возросло, должно было проводить жесткую ограничительную политику по отношению к буржуазии.

Эта ограничительная и во многом репрессивная политика была подсказана самой жизнью. Законы о максимуме не нужно было обсуждать, принимать и проводить в жизнь, если бы продовольственное положение Республики не было столь плохим. Законы о максимуме были рождены прежде всего необходимостью. То же самое должно быть сказано о режиме революционного террора: он также являлся подсказанным самой жизнью, необходимым средством самозащиты. Можно было бы привести и другие примеры. Однако было бы неверным считать, что революционное правительство действовало, сообразуясь только с повелительным требованием жизни, что оно было правительством прагматиков, приспособлявшимся к задачам, диктуемым сегодняшним днем.

Оно имело и положительные идеалы и в соответствии с ними позитивную программу; оно ставило перед собой цель, к которой шло сознательно, преодолевая все трудности и заботы текущего дня. Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон, их товарищи и единомышленники — все они были последователями Руссо, а значит, и сторонниками его эгалитаристских идей.

В политике Робеспьера, в политике революционного правительства нетрудно заметить ту линию, которую они проводили вполне сознательно. Это эгалитаристская политика якобинского правительства.

Робеспьер отвергал установление полного имущественного равенства; он считал его неосуществимым, а пропаганду его вредной. По этим же мотивам он осуждал так называемые аграрные законы, под которыми понимали передел на разных долях всей земли, осуждал и выдвинутый Жаком Ру нашумевший тезис: «Необходимо, чтобы серп равенства прошелся по головам богатых!»

Но, не веря, вслед за Руссо, в возможность устано-

вления полного имущественного равенства, Робеспьер был искренне убежден в необходимости и благодетельности устранения крайностей имущественного неравенства. Он стремился к относительному уравниванию состояний.

Когда в его руках и в руках его единомышленников оказались рычаги государственного управления, они пытались сделать все возможное, чтобы осуществить свою эгалитаристскую программу.

Политика принудительных займов у богатых, прогрессивно-подоходный налог, подушный раздел общинных земель, дробление земельных участков, подлежащих продаже, ограничение права наследования, применение террора против спекулянтов и нарушителей максимума, наконец, знаменитые вантозские декреты — все это служило доказательством того, что возглавляемое Робеспьером революционное правительство стремилось к осуществлению своей эгалитаристской программы, призванной установить «царство вечной справедливости».

Обратившая на себя внимание фраза Сен-Жюста в его первой речи о вантозских декретах: «Те, кто совершают революцию наполовину, тем самым лишь роют себе могилу»¹⁶⁷ — раскрывала все принципиальное значение вантозского законодательства. Сен-Жюст сформировался как политический деятель под идейным влиянием Робеспьера; он был его самым верным сподвижником; его взгляды о будущем Республики, несомненно, отражали и взгляды Неподкупного.

Но политика эгалитаризма, энергично проводимая якобинским революционным правительством, вела Республику отнюдь не к «счастью добродетели и скромного довольства», о чем мечтали ее вдохновители¹⁶⁸. «...Идея равенства есть самое полное, последовательное и решительное выражение буржуазно-демократических задач... — писал В. И. Ленин. — Равенство не только идейно выражает наиболее полное осуществление условий свободного капитализма и товарного производства. И материально, в области экономических отношений земледелия, вырастающего из крепостничества, равенство мелких производителей является условием самого широкого, полного, свободного и быстрого развития капиталистического сельского хозяйства»¹⁶⁹.

Якобинцам и их вождю Робеспьеру не удалось полностью осуществить свою эгалитаристскую програм-

му — создать республику «равенства мелких производителей». Но даже то, что они успели сделать — а сделано было немало: был сокрушен и уничтожен феодализм, — дало результаты, подтверждающие глубокую истинность приведенного высказывания В. И. Ленина.

Политика якобинцев объективно, независимо от их воли, расчистила почву Франции, освободила ее от всех помех для роста буржуазии и капиталистических отношений. И как бы жестоко ни карала якобинская диктатура отдельных крупных буржуа, спекулянтов, наживал, как бы властно ни вмешивалась она в сферу распределения (сохраняя в то же время частный способ производства), вся ее суровая карательная и ограничительная политика была не в силах ни остановить, ни задержать рост экономической мощи крупной буржуазии. Более того, несмотря на искоренение ножом гильотины спекулянтов, несмотря на жесткую запретительную политику, за это время выросла новая, спекулятивная буржуазия, нажившая огромные состояния на поставках в армию, на перепродаже земельных участков, игре на двойном курсе денег, спекуляции продуктами и т. п.

До тех пор пока над страной нависала опасность победы армий интервентов и восстановления старых, феодально-абсолютистских порядков, эта новая буржуазия, кровными, материальными интересами связавшая себя с произведенным революцией перераспределением собственности, должна была покорно терпеть карающую руку якобинской диктатуры. Она должна была мириться и с возросшей ролью народа, и с ограничительным режимом, она должна была клясться в верности великим идеалам справедливости и добродетели, ибо только железная рука якобинских «апостолов равенства» могла ее защитить от штыков интервентов и возврата к прошлому.

Но как только опасность реставрации миновала, буржуазия, а вместе с нею и все собственнические элементы, тяготившиеся ограничительным режимом якобинской диктатуры, стали искать средства избавления от него.

Вслед за буржуазией тот же поворот вправо совершило и зажиточное, а затем и среднее крестьянство. Революция избавила его от феодального гнета, феодальных повинностей, дала ему землю, открыла пути к обогащению. Но воспользоваться плодами приобретенного якобинская диктатура не давала. Система твердых цен,

политика реквизиций зерна, проводимая якобинской властью, вызывала в деревне крайнее раздражение.

Поворот буржуазии и основных масс собственнического крестьянства против якобинской диктатуры означал складывание сил буржуазной контрреволюции в стране.

Робеспьер и революционное правительство сражались против неодолимой силы, против гидры, у которой на месте одной отрубленной головы сразу вырастало десять новых.

Революционный трибунал усиливал свою карательную деятельность. Процессы против спекулянтов, против нарушителей закона о максимуме шли с возрастающей быстротой; их исход в большинстве случаев был предрешен: смерть на эшафоте. Но сопротивление революционному правительству день ото дня становилось все ощутимее. Более того, это сопротивление чувствовалось теперь не только за пределами революционного правительства; оно давало о себе знать, пока еще в подспудной форме, и в стенах Конвента и даже в Комитете общественного спасения, а еще сильнее в Комитете общественной безопасности.

На кого могло опереться возглавляемое Робеспьером революционное правительство? На городское плебейство? Сельскую бедноту? На те общественные низы, которые теперь называют левыми силами? В. И. Ленин ответил на эти вопросы замечательной характеристикой: «...Конвент размахивался широкими мероприятиями, а для проведения их не имел должной опоры, не знал даже, на какой класс надо опираться для проведения той или иной меры»¹⁷⁰.

Вернее не скажешь. Робеспьер, признанный вождь якобинцев, вождь революции, действительно на этом последнем ее этапе не знал, на какой класс революция должна опираться. Робеспьер и якобинцы были велики и могучи, когда они сплачивали и объединяли народ, поднимали его на борьбу против грозных сил феодальной контрреволюции и буржуазной аристократии. Их удары сохраняли ту же страшную мощь, и они шли во главе народа вместе с революцией вперед, сражаясь против крупной буржуазии, против Жиронды. Теперь они снова поднимали руку, наносили со всею силой удары, но не достигали врага: рука слабела и бессильно опускалась.

Политика, проводимая якобинским правительством,

и в частности его социально-экономическая политика, вызывавшая теперь, с весны 1794 года, недовольство собственнических элементов, не удовлетворяла в некоторой степени и плебейство, и демократические низы вообще. Максимум был мерой, проводимой в интересах санкюлотов, неимущих городских низов в первую очередь. Но распространив максимум и на заработную плату рабочих, сохранив в силе антирабочий закон Ле Шапелье, якобинское правительство обнаружило непонимание нужд рабочих. Они выражали недовольство этим законодательством. По мере роста дороговизны жизни это недовольство усиливалось. В равной мере в своей аграрной политике якобинское правительство ничего не делало для улучшения тяжелого положения сельской бедноты, не защищало ее интересов. Проводимые же так называемые реквизиции рабочих рук, т. е. мобилизации, также вызывали ее недовольство.

Так раскалывались, расходились в центробежном движении классовые силы, составлявшие до сих пор единый якобинский блок. И это обострение противоречий в якобинском блоке неизбежно вело к внутренней борьбе в его рядах и к кризису якобинской диктатуры.

Но то, что теперь, без малого двести лет спустя, может спокойно проанализировать историк-марксист, располагающий всеми данными, накопленными исторической наукой, людям, находившимся в самой гуще событий, мыслившим понятиями и категориями того далекого XVIII века, представлялось, конечно, совершенно иначе.

Робеспьер чувствовал; он не мог не чувствовать, как вместе с победами, одерживаемыми революцией, растут препятствия на ее пути. Чем ближе он подходил к желанной цели, тем дальше она отодвигалась.

Революция, казалось, сделала все возможное, все мыслимое, чтобы восстановить «естественные права» человека; она сокрушила всех, кто посягал на эти «естественные права», кто попирали своими преступными действиями добродетель. Но Робеспьер убеждался в том, что по мере продвижения революции вперед люди не становятся лучше и число врагов Республики не убывает. Напротив, их становится день ото дня все больше.

Раньше, когда борьба шла против аристократов, против фельянов, против жирондистов, когда весь якобинский блок в братской сплоченности сражался с мо-

гущественными противниками, все было ясно. Но теперь борьба развернулась в рядах самого якобинского блока; теперь приходилось сражаться с людьми, которые еще вчера были товарищами по оружию, а некоторые, как Камилл Демулен, — личными друзьями.

Для Робеспьера, с его непреклонной волей, с цельностью его натуры, эти видения прошлого не могли стать непреодолимой преградой. Он вглядывался трезвыми, внимательными глазами в сегодняшний облик его вчерашнего собрата по оружию.

В его черновых «Заметках против дантонистов», заметках, столь непохожих на формальное обвинение, предъявленное Революционным трибуналом, обращают на себя внимание его попытки разобраться в сути Дантона. Может показаться даже странным, что Робеспьер в этих заметках сравнительно мало говорит о делах, о действиях Дантона и останавливается на каких-то незначительных на первый взгляд деталях. Так, он записывает: «Слово «добродетель» вызывало смех Дантона; нет более прочной добродетели, говорил он шутливо, чем добродетель, которую он проявляет каждую ночь со своей женой». И Робеспьер, для которого слово «добродетель» было священным, вслед за этим с ясно чувствуемым негодованием пишет: «Как мог человек, которому чужда всякая идея морали, быть защитником свободы»¹⁷¹.

И ниже он снова отмечает: «Секрет своей политики он, Дантон, сам раскрыл следующими примечательными словами: «То, что делает наше дело слабым, — говорил он истинному патриоту, чувства которого будто бы разделял, — это суровость наших принципов, пугающая многих людей»...»¹⁷²

Робеспьер, мысливший категориями XVIII века, не давал и не мог дать классового определения политике Дантона, но он инстинктивно приближался к истине, считая главным в ней его недовольство «суровостью наших принципов». Недовольство принципами якобинизма — это и было то общее, что объединяло всех тяготившихся революционно-демократической диктатурой, всех торопившихся покончить с этими «высокими принципами» и скорее наброситься на земные блага.

Проникнутый сознанием своей обреченности, неустрашимый при своем презрительном равнодушии к смерти, Робеспьер был способен ценить чужую жизнь не больше, чем свою. Он послал на эшафот, или скажем

осторожнее и точнее: вместе со всеми членами Комитета общественного спасения и Комитета безопасности он предрешил казнь Дантона, Демулена и других, шедших по «амальгамированному» процессу 4—5 апреля.

Но поражая Дантона и Демулена (которого он, видимо, по-прежнему любил), Робеспьер надеялся, что вместе с ними будет поражена вся «фракция», как говорили в XVIII веке, все поднявшие руку на добродетель, на священные принципы Горы.

Его трагедия была в том, что он не сумел сразу же разглядеть, вернее сказать, правильно оценить стоявшую за их тенями силу. Ему казалось вначале, что речь идет об одном или даже двух-трех десятках отщепенцев и интриганов, изменивших принципам политической морали, а на деле оказалось, что против революции движутся бескрайние ряды вражеских сил, что они напирают со всех сторон неодолимо, как катящаяся лавина. Крепкая, алчная, жадная буржуазия росла, поднималась из всех щелей и пор расчищенной якобинским плугом почвы Франции, и не было тогда силы, которая могла бы ее остановить.

Здесь не место излагать историю внутренней борьбы в рядах якобинского блока. Но следует напомнить, что удары революционного правительства были направлены не только направо, но и налево.

Еще в конце лета — начале осени 1793 года все якобинцы, выступая совместно, разгромили «бешеных» — самое левое течение во французской революции. В марте 1794 года, вступив в решающую борьбу с дантонистами, революционное правительство разгромило выделившуюся из рядов левых якобинцев группу эбертистов. В рядах эбертистов были люди разного толка, и предпринятая ими попытка поднять восстание не встретила поддержки санкюлотов. Но удар против эбертистов был распространен и на кордельеров. Через несколько дней после казни Дантона был предан Революционному трибуналу и затем казнен лучший представитель левых якобинцев Шометт, хотя он не поддержал выступление эбертистов. Вслед за тем была подвергнута «очищению» от приверженцев Шометта Парижская коммуна*.

* Здесь нельзя не отметить, что изменение персонального состава Коммуны ни в малой мере не повлияло на ее социальный состав. Он в основном остался тем же, и то, что называлось «робеспьеристской Коммуной», в классовом отношении почти не отличалось от «шометтистской Коммуны» (*Eude M. Études sur la Commune robespierriste*. P., 1973).

Робеспьер в своих выступлениях той поры представлял и дантонистов и левых якобинцев двумя разветвлениями одной, враждебной революции группировки: «...одна из этих двух факций толкает нас к слабости, другая ко всяким крайностям... Одним дали прозвище умеренных; другим — более остроумное, чем правильное, наименование ультрареволюционеров... Это все слуги одного хозяина, или, если хотите, сообщники, изображающие, будто они ссорятся, чтобы лучше скрыть свои преступления. Составьте мнение о них не по различию их речей, но по сходству результатов»¹⁷³.

Робеспьер проявлял свойственную ему проницательность, угадывая замаскированное ярко революционными цветами тайное родство лживого и коварного Фуше, мздоимцев и казнокрадов Тальена, Барраса, Фрерона и им подобных с «умеренными». Это были прикрывавшиеся разными защитными цветами лазутчики наступающей армии новой буржуазии. Робеспьер был прав и, несомненно, действовал в интересах революции, выступая против крайних террористов, своими бессмысленными жестокостями наносивших большой вред революции. Он проявил государственную мудрость, осудив политику дехристианизации, проводимую насильственными мерами Эбером, Шометтом и другими якобинцами и вызвавшую еще ранее опасное недовольство крестьянства.

Вместе с тем Робеспьер допускал ошибку, отказываясь видеть за пределами революционного правительства иные левые политические силы. А между тем такие силы были и играли значительную роль в революции. И Шометт, и шометтисты, и люди типа Моморо, и рядовые члены Коммуны — все они стояли левее руководимого Робеспьером якобинского правительства и являлись опорой якобинской диктатуры слева.

Та же противоречивость, те же ошибки проявлялись и в социальной политике якобинского правительства. Как уже говорилось, в марте 1794 года были приняты вантозские декреты, предусматривавшие бесплатный раздел собственности врагов революции среди неимущих. Конечно, вантозские декреты не были ни «программой новой революции», как их изображал в свое время Матъез¹⁷⁴, ни тактическим маневром, что усматривал в них прежде всего Жорж Лефевр¹⁷⁵. В вантозских декретах нашли свое воплощение эгалитаристские устремления Робеспьера, Сен-Жюста и других якобин-

ских последователей Руссо, а их устами формулировались уравнилельские чаяния народных масс.

Вантозские декреты, будь они проведены в жизнь, означали бы увеличение числа собственников из рядов неимущих и, следовательно, расширение демократической базы революции. Их осуществление способствовало бы в известной мере экономическому и политическому разоружению какой-то части контрреволюционной буржуазии. Понятно, сегодня мы можем с уверенностью сказать, что реализация вантозских декретов не изменила бы в конечном счете общего хода вещей. Но ведь это не было ясно участникам событий 1794 года, и само вантозское законодательство все же имело большое политическое значение.

Но, странное дело, прошел месяц, другой, а вантозское законодательство не реализовалось. Оно встретило отрицательное, вернее, враждебное отношение широких слоев буржуазии и зажиточного крестьянства. Оно натолкнулось на молчаливое сопротивление большинства членов Конвента, правительственного аппарата в центре и на местах.

Почему же грозная сила революционной диктатуры не была приведена в действие для осуществления принятых Конвентом декретов? Почему Робеспьер, проявивший непреклонную твердость в достижении цели, обнаружил в этом вопросе колебания и слабость, не решился сломить сопротивление вантозскому законодательству?

Куда идти? Какую программу предложить Конвенту, Горе, патриотам? Какой найти путь, который бы сохранил и упрочил единство народа с революционным правительством? Робеспьер, как и другие руководители якобинского правительства, искал ответа на эти вопросы, но не мог найти верного решения.

Путь дальнейшего углубления социального содержания революции, открывшийся вантозским законодательством, был оставлен. Он был не осужден, не отвергнут, никто даже вслух не высказал сомнения в его правильности, но с этого пути безмолвно сошли.

Робеспьер пытался найти иной путь. 7 мая 1794 года он выступил в Конвенте с большой речью в пользу культа «верховного существа»¹⁷⁶. Идея «верховного существа» — это идея социальная и республиканская», — говорил Робеспьер. Культ «верховного суще-

ства» был попыткой объединения и сплочения нации на почве новой государственной республиканской религии.

Жерар Вальтер в своем исследовании о Робеспьере высказывает мнение, что эта речь наиболее полно и глубоко выражала мысли Неподкупного¹⁷⁷. Может быть, это близко к истине. Во всяком случае, речь была написана или произнесена с несомненным воодушевлением. Робеспьер был еще полон надежд; эта речь еще дышала горячей верой в близкое достижение победы. «И вы, основатели Французской республики, — говорил он, обращаясь к членам Конвента, — остерегайтесь терять надежду на человечество или усомниться хотя на миг в успехе вашего великого начинания!

Мир изменился. Он должен измениться еще больше!»¹⁷⁸

Робеспьер рисовал картину огромных преобразований, совершенных французской революцией, французским народом. Он апеллировал к чувствам патриотической гордости: «Французский народ как будто опередил на две тысячи лет остальной род человеческий». Он говорил с восторженностью, почти в исступлении, о Франции — об этой чудесной земле, ласкаемой солнцем и созданной для того, чтобы быть страной свободы и счастья. Он напоминал депутатам Конвента о той великой миссии, которую история возложила на Францию, о славной и почетной ответственности каждого французского патриота. Он предостерегал против опасности, которую влечет за собою порок, оспаривающий судьбу земли у добродетели. Он призывал бороться против его развращающего влияния, он требовал от членов Конвента гражданской доблести¹⁷⁹.

«Считайтесь только с благом общества и интересами человечества!» — восклицал Робеспьер¹⁸⁰.

Но к кому были обращены эти слова? К собранию этих депутатов Конвента, намеренно громко и выставляя руки напоказ аплодировавших оратору и прятавших от него глаза? К Тальёну, Баррасу — проконсулам в Бордо и Тулоне, мздоимцам и ворам, искоренявшим контрреволюцию потоками крови, превращаемой ими в золото? К вероломному Фуше — политическому хамелеону, вчерашнему эбертисту, будущему министру полиции Наполеона? К маркизу Роверу де Фонвьелю — продажному перебежчику из лагеря аристократии, циничному, чуждому какой бы то ни было морали, стремящемуся заставить забыть его прошлое

заискивающим панибратством с вожаками санкюлотов, беспощадному в неистовом терроризме, окрашенном в крайние революционные цвета и позволявшем ему под горячую руку мародерствовать, обворовывая свои жертвы? К Мари-Франсуа Лапарту, прикидывавшемуся верным служакой, рядовым якобинского блока, бесхитростным исполнителем воли Конвента, а позже, в 1796—1797 годах, обличенному в том, что он нагребил свыше двадцати миллионов франков? К Фрерону — казнокраду и убийце, будущему главарю банд «золотой молодежи»? К Мерлену из Тионвилля, мечтавшему о княжеском особняке? К не раскрывавшему клюва, пока не придет его час, старому ворону Сиейесу?

«Благо отечества», «человечность», «добродетель» — это были пустые слова для всех этих завтрашних термидорианцев, тайных нуворишей, набивших себе карманы за годы революции и спешивших насладиться так легко доставшимся им добром.

Они уже сознавали свою силу; им уже надоела эта героика, эти призывы к доблести и добродетели; они перебрасывались быстрыми взглядами, но они понимали, что их время еще не пришло, и они, стоя, аплодировали Робеспьеру и единодушно голосовали за внесенный им проект декрета о культе «верховного существа».

8 июня в Париже в Тюильрийском саду, а затем на Марсовом поле состоялись торжества в честь «верховного существа». Зеленый парк Тюильри был украшен аллегорическими фигурами, созданными по проекту знаменитого Давида. Робеспьер, накануне единогласно избранный председателем Конвента, в новом голубом фраке, с колосьями ржи в руках, взошел на трибуну. От имени революционного правительства он произнес краткую речь.

«Французы, республиканцы, вам надо очистить землю, которую загрязнили тираны, и призвать вновь справедливость, которую они изгнали»¹⁸¹, — говорил он.

Народ устроил Неподкупному горячую овадию. Простые люди, верившие Робеспьеру, хлопали в ладоши и кричали: «Да здравствует Республика!» Могло казаться, что революционное правительство сильнее, чем когда-либо, что его позиции незыблемы.

Но это было иллюзией.

От якобинских клубов провинции и столицы в Конвент поступали приветственные адреса. В них одобрял-

ся благодетельный культ «верховного существа». Но верить этому было нельзя. Бюро полиции Комитета общественного спасения, возглавляемое Сен-Жюстом, через своих осведомителей и агентов получало иные сведения: в народе культ «верховного существа» был встречен холодно, а большей частью враждебно.

Иначе и быть не могло. Попытки подменить решение больших социальных вопросов речами, декретами и манифестациями религиозного или полурелигиозного характера были заранее обречены на провал. Личный успех Робеспьера в Конвенте и на торжествах 8 июня в Париже не мог, конечно, ни заслонить, ни тем более изменить то крайне неблагоприятное для якобинской диктатуры соотношение классовых сил в стране, которое сложилось к лету 1794 года.

К тому же и личный успех Неподкупного был также иллюзорен. Санкюлоты, простой люд Парижа по-прежнему верили ему. Его жизнь была у всех на виду: став вершителем судеб Франции, он продолжал жить все там же, на улице Сент-Оноре, у столяра Дюпле. Он вел такой же простой образ жизни, ходил пешком, был так же беден, как и в дни своей безвестности. Трудовой народ это ценил: «Этот не продаст». Но в стенах Конвента уже не народ был хозяином. В день торжества 8 июня среди возгласов одобрения Робеспьер явственно различал враждебный шепот: то были знакомые голоса депутатов Конвента. Затем последовали попытки его убийства Амиралем и Сесиль Рено. И сам Робеспьер мог заметить злонамеренное усердие его мнимых друзей: все дела, связанные с его именем, сознательно раздувались. Так было не только с покушениями против него. Для того чтобы его скомпрометировать, изолировать от остальных членов Конвента, представить народу в смешном и невыгодном свете, было создано и раздуто дело полусумасшедшей старухи Екатерины Тео.

Успехи республиканской армии, блестящая победа при Флерюсе 26 июня, создавшие прочные гарантии от угрозы реставрации, усилили стремление буржуазии, объединившей все собственнические элементы, покончить с режимом революционно-демократической диктатуры. «Апостолы равенства» — якобинцы железной рукой убрали всех стоявших на пути революции. Тем самым они расчистили дорогу для буржуазии. Они сделали свое дело, и теперь буржуазия сама спешила убрать этих людей со слишком тяжелой рукой.

Робеспьер явно чувствовал это, так странно сочетавшееся с внешними успехами нарастание угрозы изнутри. В речи в Конвенте 22 прериала (10 июня 1794 года) он признавался: «В тот момент, когда свобода добивается, по-видимому, блестящего триумфа, враги отечества составляют еще более дерзкие заговоры»¹⁸².

Но как пресечь эти заговоры? Как укрепить Республику? По какому пути ее повести? Эти вопросы снова и снова вставали перед руководителями революционного правительства.

Юрист, лицензиат прав, адвокат, всегда стремившийся использовать все процессуальные нормы в интересах защиты, Робеспьер сознательно пошел на их усеменение, на сужение гарантий обвиняемого в судебном процессе ради ускорения работы Революционного трибунала, усиления революционного террора. Он энергично поддержал внесенный Кутоном 10 июня законопроект, предусматривавший реорганизацию Революционного трибунала и упрощение судебного процесса в целях быстрейшего наказания врагов революции¹⁸³.

Впервые со времени падения Жиронды Конвент встретил предложение Комитета общественного спасения молчаливым неодобрением. Рюамп, Барер и некоторые другие депутаты неуверенно внесли предложение об отсрочке принятия закона. Но Робеспьер в резкой форме высказался за его немедленное утверждение. Конвент единодушно проголосовал, и проект 22 прериала стал законом.

Террор усилился. Приговоры Революционного трибунала выносились быстро и большей частью повторяли одно и то же решение: смертная казнь. За полтора месяца, с 23 прериала по 8 термидора, Революционный трибунал вынес тысячу пятьсот шестьдесят три приговора; из них тысяча двести восемьдесят пять произнесли — смерть и лишь двести семьдесят восемь — оправдание. За предыдущие сорок пять дней было вынесено пятьсот семьдесят семь смертных и сто восемьдесят два оправдательных приговора¹⁸⁴.

Был ли Робеспьер ответствен за этот достигший крайних размеров террор?

Он, несомненно, сыграл немалую роль в принятии закона 22 прериала. Но этим его причастность к террору лета 1794 года исчерпывалась. Применение закона 22 прериала на практике шло уже не под его контролем и не по его желанию. Снова, как и в вантозском законо-

дательстве, он ощутил, что руль государственной власти подчиняется не его руке, а иным силам. Он уже не мог что-либо изменить, что-либо исправить. Кто-то намеренно раздувал пламя террора в расчете, что его зловещий отблеск падет на лицо Робеспьера. Те, на кого должна была опуститься карающая рука революционного правосудия, сумели захватить инструменты правительственной политики и использовать террор в своих целях.

Впрочем, во всем этом следует разобраться подробнее.

IX

Сама логика борьбы толкала якобинцев на террор. «Богатые и тираны», жирондисты и фельяны, сторонники монархии и старого режима менее всего были склонны сдавать свои позиции без боя. Они оказывали не только яростное сопротивление победившей 2 июня новой, якобинской власти; они переходили в контрнаступление, устанавливая прямые связи с правительствами европейских монархий и армиями интервентов, создавая могущественную коалицию всех сил внутренней и внешней контрреволюции.

Обороняясь от наступавших со всех сторон враждебных сил, якобинское правительство должно было прибегнуть к чрезвычайным мерам и, в частности, ответить на контрреволюционный террор революционным террором.

По поводу революционного террора было создано много версий, исторических конструкций, легенд. Пожалуй, ни один другой вопрос истории революции не был так запутан, произвольно или злонамеренно искажен, как вопрос о революционном терроре. Пора, давно пришла пора внести необходимую ясность в освещение этого вопроса.

Прежде всего, как это и соответствует требованиям исторической науки, рассмотрение терроризма 1793 — 1794 годов должно быть полностью свободно от всяких сантиментов, от всякого морализирования; вещи надо видеть такими, какими они были, раскрывая их историческую детерминированность.

Прежде всего — и это должно быть сказано со всей определенностью, не допускающей никаких кривотолков, — революционный террор был начат не по инициа-

тиве якобинцев; он был ответной, вынужденной мерой против контрреволюционного террора, развязанного первоначально жирондистами и их сообщниками по антиякобинскому подполью.

Напомним общеизвестные факты. После победы народного восстания 31 мая — 2 июня 1793 года якобинцы ограничились такими мягкими мерами, как домашний арест (т. е. фактически сохранение личной свободы) жирондистских лидеров и близких к ним депутатов — всего двадцать девять человек. Жирондисты бежали из-под домашнего ареста в Бордо и другие города юга и юго-запада и поднимали там контрреволюционный мятеж. 13 июля 1793 года у себя дома в ванне был убит Шарлоттой Корде, вдохновленной на этот акт жирондистами, Друг народа Жан-Поль Марат. 16 июля после контрреволюционного переворота в Лионе был убит вождь лионских якобинцев Шалье. Еще ранее был убит в возмездие голосовавший за казнь Людовика XVI один из самых преданных идеям революции якобинских депутатов Конвента — Мишель Лепелетье де Сен-Фаржо.

Терроризм как средство политической борьбы был, следовательно, впервые применен жирондистами и другими контрреволюционными группировками в июле — августе 1793 года. Индивидуальный терроризм, т. е. физическое уничтожение якобинских вождей, сочетавшийся с массовыми убийствами рядовых патриотов, как это было в Лионе, Бордо, Тулоне, всюду, где мятежники одерживали победу, был средством устрашения сторонников новой власти; террором Жиронда, фельяны, роялисты рассчитывали ускорить казавшееся им близким падение власти Горы.

Чтобы понять историю возникновения революционного террора (кстати сказать, неотделимого от других мер по укреплению революционной диктатуры), надо припомнить обстановку, сложившуюся в июле — августе 1793 года.

Положение Республики было катастрофическим. Казалось, что дни ее сочтены и нет и не может быть найдено средств, позволяющих якобинцам удержать власть в своих руках. Их падение представлялось большинству современников неотвратимым.

С того времени, как Республика швырнула к подножию европейских тронов голову казненного Луи Капета, силы контрреволюционной коалиции приумножились. В войну против революционной Франции вступи-

ли Англия, Испания, Голландия, ряд итальянских и германских государств. Россия, хотя формально и не примкнула к коалиции интервентов, поддерживала ее морально и политически. Почти вся монархическая, контрреволюционная Европа шла походом против мятежной Франции. С севера, северо-востока, востока, юго-востока, юга армии интервентов вторглись в пределы Франции. Республиканские армии повсеместно отступали перед превосходящими силами противников. Тулон был захвачен объединенными действиями иностранных интервентов и внутренней контрреволюции. Роялистский мятеж в Вандее, вспыхнувший еще в марте 1793 года, быстро распространялся по северо-западным департаментам. На юге и юго-западе власть перешла преимущественно в руки мятежных жирондистов. Впрочем, перед лицом общего врага различия между вчера жестоко спорившими между собой группировками — жирондистами, фельянами, роялистами — стирались. Отныне всех их объединяла непримиримая ненависть к якобинцам. Старые разногласия были отброшены в сторону: к чему о них вспоминать?! Главная задача, объединявшая всех противников Горы в единый контрреволюционный блок, была ясна и определена: надо свергнуть правительство якобинцев. Вслед за Маратом та же участь была уготовлена Робеспьеру, Сен-Жюсту, Кутону. Гора должна быть сокрушена; то было первое, предварительное условие, открывавшее путь к иному будущему.

Летом 1793 года из восьмидесяти трех департаментов шестьдесят были во власти мятежников. Вышколенные, хорошо экипированные и превосходно вооруженные армии самых могущественных монархий Европы по всем дорогам двигались на Париж. Отрезанная от всей страны, сдавленная сжимающимся кольцом мятежей, интервенции, блокады, столица голодала. С раннего утра перед закрытыми дверями мясных лавок и булочных выстраивались длинные очереди.

Что могло спасти обреченный на гибель Париж якобинцев? Его падение, казалось, было предрешено. Но произошло чудо. Якобинский Париж устоял. В час смертельной опасности монтаньяры и в особенности их политические руководители проявили столько твердости духа, мужества, энергии, революционной инициативы, веры в силы народа, что смогли совершить казавшееся невероятным.

Аграрное законодательство июня — июля 1793 года якобинского Конвента, полностью сокрушившее феодализм (или «сеньориальный режим», как предпочитают говорить французские историки) и все его правовые пережитки и осуществившее перераспределение земельной собственности, отвечавшее в главном интересам крестьянства, имело своим следствием переход большинства крестьянства на сторону якобинского правительства¹⁸⁵. К этой цели якобинцы и стремились. Можно упрекать с большим или меньшим основанием Робеспьера в том, что в его выступлениях уделялось мало внимания аграрным проблемам, но невозможно отрицать тот неоспоримый факт, что, как политический лидер якобинцев, он превосходно понял необходимость безотлагательного социального законодательства в интересах крестьянства и способствовал его проведению в жизнь.

Безвозмездное освобождение от всех феодальных тягот, повинностей, пережитков крестьянство получило из рук якобинского правительства; оно получило от него же и общинные земли, и значительную часть эмигрантских земель, и часть национальных имуществ. Короче говоря, только якобинская власть сделала крестьянина полновластным, свободным от всякой сеньориальной зависимости собственником своего земельного участка. И ради этого, ради ставшей его полноправным владением земли он готов был драться со всеми покушающимися на эти его приобретения, о которых он мечтал столетиями.

Якобинская власть и ее политический вдохновитель Максимилиан Робеспьер в первую очередь стремились обеспечить народу, т. е. тому же крестьянству и большинству горожан — людям труда, бедноте, «средним слоям», наибольшую полноту политических прав. Они подготовили и предложили народу на утверждение самую демократическую из всех известных в истории буржуазных революций конституцию. Об этом уже говорилось ранее, но в данном контексте об этом следует еще раз напомнить, ибо только якобинская власть сумела обеспечить самую широкую в рамках буржуазной демократии свободу и реальную возможность творческой инициативы, творческого участия масс в созидании нового, освобожденного от всяких феодальных пут и пережитков общества.

Никто не был так внутренне далек, так психологи-

чески не подготовлен к кровавым мерам революционного насилия, как Максимилиан Робеспьер, Сен-Жюст или кто-либо другой из якобинских руководителей в ближайшие недели после победы народного восстания. 31 мая — 2 июня 1793 года.

Но после того как Луи Давид создал бессмертное скорбное полотно — изображение поникшей головы и беспомощно повисшей, безжизненной руки убитого Марата, после похорон Друга народа, ставших днем всенародного траура, после того, как пришли известия о жестоком убийстве Шалье в Лионе, якобинские лидеры поняли, что медлить далее нельзя.

У якобинцев могли быть какие угодно недостатки, но они не были сдюнтями или резонерами. То были люди действия, не останавливавшиеся на полпути. На удар надо было отвечать ударом.

В вопросе о происхождении революционного террора, в вопросе о политической ответственности за революционный террор нет ничего неясного, сомнительного; здесь нет почвы для колебаний и различного рода толкований. Все однозначно и определено. Ответственность за практику терроризма лежит на жирондистах и других участниках феодально-буржуазной контрреволюции. Они первыми встали на путь террора и принудили якобинцев на контрреволюционный террор ответить революционным террором.

Когда иные из политиков или историков молитвенно складывают руки, или возносят очи к небу, или иными жестами безмолвного отчаяния выражают свою скорбь по невинно погибшим душам, когда они клянут в кровавой жестокости Робеспьера или Сен-Жюста, изображая их ненасытными демонами смерти, — все это должно быть отброшено как сознательное, насквозь лживое лицемерие, как попытка переложить на других вину за преступления, к которым были причастны их предки или они сами.

За возникновение терроризма как средства политики, политической практики ответственность несут не якобинцы, а их противники. Для якобинцев революционный террор был, повторим в последний раз, лишь ответной мерой. Именно в этом смысле и Маркс, и Энгельс, и Ленин его безоговорочно одобряли.

Но здесь возникают иные проблемы, и обойти их молчанием нельзя. Когда ныне наши современники — английский историк Коббен, или изменивший

своим прежним убеждениям и перешедший к хуле и поношению якобинской диктатуры профессор Оксфордского университета Ричард Кобб, или французские историки Франсуа Фюре и Дени Рише — ведут фронтальную атаку против якобинской власти и якобинизма вообще, то вдохновляющие их политические мотивы вполне очевидны. Но столь же очевидна слабость их научных позиций. Ограничусь лишь одним примером. Фюре и Рише стяжали себе известность не столько необычайной роскошью и внешним богатством первого издания выпущенного ими двухтомного сочинения, сколько вызвавшим некоторый шум и законные возражения толкованием места и роли якобинского этапа в революции. Пользуясь жаргоном автомобилистов, Фюре и Рише утверждают, что в период якобинской власти Францию, как это порою бывает на больших скоростях, «занесло», отбросило в сторону¹⁸⁶.

Эта вульгарная конструкция антинаучна прежде всего потому, что она игнорирует ожесточенность, беспощадность непримиримой войны между революционной Францией и превосходящими силами контрреволюции — внешней и внутренней. Фюре и Рише не видят или не хотят видеть, что в сложившихся реальных условиях — войны насмерть — между рождающимся новым, в конечном счете буржуазным обществом и старым, феодально-абсолютистским миром, еще полностью господствовавшим в Центральной и Восточной Европе, жесткая, сильная централизованная якобинская диктатура была исторической необходимостью. Без твердой революционной власти были бы невозможны ни сохранение основных социальных и политических завоеваний революции, ни обеспечение национального суверенитета, целостности и независимости Франции.

Такой же исторической необходимостью, рожденной непримиримостью смертельной войны, был и революционный террор. Здесь спорить не о чем.

Споры возникают с того момента в истории революции, когда применение революционного террора вышло за пределы исторической необходимости.

Ожесточенность, непримиримость, беспощадность с обеих сторон войны привели к обесценению, своего рода девальвации человеческой жизни. Революцию творили молодые. Напомним еще раз, Максимилиану Робеспьеру, фактическому главе революционного правительства, было в 1793—1794 годах тридцать пять лет, Жор-

жу Дантону — столько же. Луи Антуану Сен-Жюсту, члену Комитета общественного спасения, представителю Конвента в армиях, решавших судьбы Республики, второму лицу по своему весу, значению и авторитету в правительстве, было двадцать пять — двадцать шесть. Ближайшим сподвижникам Робеспьера и Сен-Жюста было примерно столько же: Филиппу Леба, пользовавшемуся их неограниченным доверием и платившему им такой же преданностью, было двадцать девять лет; младшему Робеспьеру — Огюстену — двадцать девять — тридцать лет; руководителю Парижской коммуны Шометту — тридцать лет. Камилл Демулен на своем судебном процессе, предрешившем его смерть, в ответ на вопрос председателя о возрасте дерзко ответил: «Я в возрасте Иисуса Христа, мне тридцать три года». Анрио, командующему Национальной гвардией, было также тридцать три года в период решающих событий.

Молодыми людьми были не только руководители революционного правительства, но и их противники. Те, кто повел против них борьбу насмерть, принадлежали к тому же поколению молодых: Жозефу Фуше, который в нашем представлении всегда рисуется старым закоренелым преступником, в годы революции исполнилось тридцать лет; Тальену, смертельному врагу Максимилиана Робеспьера, едва лишь минуло в решающее время двадцать пять лет. Все они были в том возрасте, когда жизненная энергия бьет через край. Их возможности казались столь неисчерпаемыми и беспредельными, что жизнь не имела для них цены. Перечитайте речи якобинских вождей 93—94-х годов: все они полны презрения к смерти. И это не фраза и не поза, которые привлекали бы симпатии слушателей. Это выражение самой сути.

Без такого объяснения трудно понять, как все эти люди, в чьих руках находились рычаги политической власти, так легко пошли на расширение революционного террора, как терроризм незаметно, может быть для них самих, из чрезвычайной меры устрашения политических противников, меры воздействия перерос в повседневную, почти будничную практику. Если первоначально революционный террор применялся лишь как ответная мера на террористические действия контрреволюции, то после народного выступления 3—5 сентября 1793 года, после принятия 17 сентября так называемого закона о подозрительных он получил иную напра-

вленность. После сентябрьских событий 93-го года революционный террор стал применяться и по отношению к нарушителям законодательства революции. Спекулянты, взяточники, казнокрады, нарушители закона о максимуме предавались суду Революционного трибунала. Соответствующие документы были в свое время опубликованы, и по этим вопросам написано много книг и статей, может быть, даже больше, чем они того заслуживают. Ведь напоминал же когда-то Мишле, что все погибшие от революционного террора в Париже составляли едва лишь сороковую часть павших в бою солдат в сражении под Бородином.

Революционный террор приобрел иное значение, иное содержание с того момента, когда он был перенесен из сферы борьбы против врагов революции в область борьбы внутри якобинского блока. В ту пору, когда отправляли на гильотину Шарлотту Корде, или бывшую королеву Марию-Антуанетту, или пойманных с оружием жирондистских депутатов, революционный террор был средством политической борьбы.

Ответственность за эти акты возлагалась преимущественно на Робеспьера как на фактического главу революционного правительства, и Робеспьер не уклонялся от этой ответственности, считая, что в создавшихся условиях революционный террор представляет собой необходимость, ответную меру на действия контрреволюции. В речи 14 июля 1793 года в Якобинском клубе, на другой день после убийства Марата, Робеспьер говорил: «Надо, чтобы убийцы Марата и Пелетье искупили на площади Революции свое ужасное преступление. Надо, чтобы пособники тирании, вероломные депутаты, развернувшие знамя мятежа, те, кто постоянно точит ножи над головой народа, кто погубил родину и, в частности, некоторых сынов ее, надо, говорю я, чтобы эти чудовища ответили нам своей кровью, чтобы мы отомстили им за кровь наших братьев, погибших во имя свободы, и которую они с такой жестокостью пролили... Надо, чтобы каждый из нас, забывая себя, хотя бы на время отдался республике и посвятил бы себя без остатка ее интересам»¹⁸⁷.

В этом выступлении вполне ясно определены политические мотивы террористической практики, которую предлагал Робеспьер: «надо отомстить за погибших». Террор ограничивается здесь рамками ответной политической акции. И во всех своих выступлениях в Якобин-

ском клубе, в Конвенте Робеспьер подчеркивает ту же мысль, не уклоняясь от личной ответственности за эти репрессивные меры.

Но с некоторых пор террору стали придавать расширительное толкование. Прежде всего жестокая угроза террора была предъявлена генералам. Перед армией Республики, перед ее командующими была поставлена простая дилемма: победа или смерть. Если присмотреться к документам революции, хранящимся в Национальном архиве Парижа, нетрудно увидеть, что почти во всех гербах, эмблемах Республики повторяется это категорическое, лаконичное требование: свобода, равенство, братство или смерть. Смерть стала альтернативой, ей можно было противопоставить только победу. И генералы, которые не могли обеспечить победу, должны были взойти на эшафот. Такова была судьба генерала Кюстина, генерала Ушара, генерала Вестермана и др.

Самое трудное в толковании революционного террора наступает после того, как он был перенесен на почву борьбы в самом якобинском блоке. Якобинская группировка никогда не была единой и сплоченной. Она и не могла быть такой, поскольку представляла интересы не какого-то одного класса, а блока различных классов. Об этом уже шла речь, но, может быть, для ясности надо еще раз повторить сказанное. Якобинцы представляли собой блок демократической средней и мелкой буржуазии, крестьянства и плебейских элементов города, городской бедноты, тех, кого французские историки обычно называют санкюлотами. Естественно, что при классовой неоднородности якобинцев и революционное правительство выражало также различные классовые интересы. Если в критический период революции, когда надо было спасти революционную Францию от армий интервентов, наступавших со всех сторон, от внутренней контрреволюции, от заговорщиков, убийц, шпионов, проникавших во все поры общества, — если в этот период якобинцы и соответственно революционное правительство в силу необходимости выступали единым и сплоченным фронтом, подчиняясь твердой руке Комитета общественного спасения, сосредоточившего всю полноту власти, то после того, когда самые трудные дни миновали, когда обозначился перелом, когда стало очевидно, что Республика побеждает своих противников, внутренние противоречия, заложенные в самой

природе якобинцев и якобинской власти, начали поступать наружу.

Наивны рассуждения тех историков, которые объясняют обострение внутренней борьбы в рядах якобинского блока весной 1794 года особенностями характера Максимилиана Робеспьера или Сен-Жюста или же противопоставляемым им темпераментом Жоржа Дантона. Не это определяло развитие событий. Личные особенности играют, не могут не играть какой-то роли, но эта роль большей частью и в данном случае также была второстепенной. В самой природе якобинской власти были заключены противоречия. Эти противоречия выступали яснее всего между имущей частью, собственниками, разбогатевшими или приобретшими добро за эти трудные годы борьбы, и неимущими, которые по-прежнему испытывали социальную нужду.

Эти противоречия имели и другие, более глубокие основания. Перечитайте выступления Максимилиана Робеспьера, собранные ныне в 9-м и 10-м томах его произведений, дающие наиболее полную картину политического мышления вождя якобинцев¹⁸⁸. Робеспьер в своей аргументации исходит из морально-этических категорий. Он говорит о торжестве добродетели над пороком, о борьбе добра и зла, о справедливости, побеждающей преступление. И в этих своих морально-этических суждениях он остается всегда искренним. Ему так и представлялся смысл развертывавшейся борьбы как борьбы между добром и злом, справедливостью и несправедливостью. Не следует забывать, что он всегда остается верным последователем Жан-Жака Руссо, завещавшего, что в политической практике надо стремиться обеспечить торжество «естественных прав» человека. Робеспьер говорит с горячей и нескрываемой враждой о противниках революции, ибо в его представлении дело, начатое французскими революционерами, отвечает интересам не одних только французов, оно имеет и более общее значение: революция — это великое гуманистическое обновление человеческого рода. Элементы гуманизма, гуманистический подход, как это ни покажется парадоксальным недругам Робеспьера, всегда оставались преобладающими в его интерпретации происходивших событий.

Верно и то, что Робеспьер никогда не приближался ни к Дон-Кихоту, ни к Гамлету, если в данном случае допустимо сопоставление с этими знаменитыми образа-

ми классики. Он стоял обеими ногами на грешной земле и смотрел противникам прямо в лицо. У него можно найти определения, которые подтверждают, что и он в ту пору ощупью, как бы инстинктивно приближался к пониманию классовой подоплеки происходившей борьбы. Он постоянно называл себя другом бедности: «Я горжусь, что я бедный». Он не хочет богатства, и в этом смысле он остается всегда последовательным руссоистом, отвергающим богатство как нечто преступное и позорное. Его осуждения Шабо, Базира, казнокрадов, замешанных в деле Ост-Индской компании, не содержат в себе ничего ни фарисейского, ни спекулятивного. Он убежден в том, что эти люди, погнавшиеся за грязным золотом, преступили границу запрета, отказались от подлинных задач революции.

Но было бы нелепым требовать от Робеспьера, или от Сен-Жюста, или от Кутона, Леба, от простого и преданного своему постояльцу столяра Мориса Дюпле понимания объективного содержания революционных процессов. Иными словами, от них нельзя требовать понимания того, что понимаем мы, историки-марксисты, почти двести лет спустя после драматических событий, о которых идет речь в нашем повествовании.

Трагедия Максимилиана Робеспьера и его друзей, трагедия якобинцев была в том, что они при тогдашнем уровне общественного сознания не могли оценить тех вещей, которые нам очевидны сегодня.

Великая французская революция была буржуазной революцией по своему объективному содержанию, и иной она быть не могла потому прежде всего, что не было материальных предпосылок для любого другого решения. История поставила в порядок дня переход от феодализма к буржуазному строю, и, что бы ни говорили, чем бы ни обольщали себя деятели той эпохи, ничего иного, кроме утверждения буржуазного, прогрессивного для того времени общественного строя, тогда не могло быть. Эгалитаристские мечтания Робеспьера и Сен-Жюста, их надежды на то, что они создадут идеальное, справедливое общество равенства, были неосуществимы.

Объективным содержанием исторического процесса той эпохи была расчистка почвы Франции от всех феодальных пут, препятствовавших росту капитализма. Якобинское правительство за один год своей деятельности решило главные задачи, стоявшие перед француз-

ской революцией. Оно сломало и выкорчевало феодальные пережитки. Оно решило национальные задачи революции, отбросив армии интервентов и обеспечив национальную целостность, независимость и единство Французской республики, ставшей самой сильной державой Европы. Оно уничтожило или загнало в глубь подполья всех сторонников старого режима или противников нового порядка, нового перераспределения собственности, происшедшего за годы революции.

Якобинская власть беспощадно применяла революционный террор против нарушителей законов о максимуме, законов о продовольственной политике, в условиях голода жестко проводимой правительством. Многим спекулянтам пришлось поплатиться своей головой, неосторожные угодили на эшафот.

Но нельзя терять из виду, что, регулируя распределение продовольствия, властно вмешиваясь в различные области экономической жизни, революционное правительство оставляло неприкосновенным частный способ производства. Устранив всех противников нового, буржуазного строя, оно тем самым обеспечило новым, буржуазным отношениям необходимый простор. Бытописатели эпохи революции отмечали, что в это удивительное время наряду с картинами жестокой нужды, голода, испытываемых простыми людьми, можно было видеть и сцены разгула, бесшабашного прожигания жизни, кутежей, оргий, совершаемых какими-то неведомыми людьми. Незаметно из всех пор буржуазного общества выростала новая, хищническая, спекулятивная буржуазия.

Революция ввела в обиход не только изобретение доктора Гильотена — безостановочно работающий эшафот, она создала и благоприятные условия для стремительного обогащения. Как можно было составить состояние в короткое время? Впоследствии знаменитый богач Франции Уврар откровенно рассказывал в своих воспоминаниях, как он создал свое состояние. Когда в 1789 году вспыхнула революция, Уврар, неглупый малый, с практической смекалкой и крепкой хваткой, сообразил, что после появления первых газет в Париже началось широкое распространение новой, еще невиданной во Франции литературы, массовой прессы — газет, листовок, брошюр. Создание массовой прессы, выход многих новых газет должны были резко увеличить спрос на бумагу. У Уврара имелись свободные

деньги, и весь свой капитал он истратил на то, чтобы скупить бумагу по ценам, которые в начале 1789 года были еще невысокими. А затем, став если не монополистом, то одним из самых крупных обладателей бумажных запасов, он на перепродаже бумаги нажил миллионное состояние. За короткое время Уввар превратился в миллионера.

То, о чем рассказывал Уввар, делали, не рассказывая об этом ни в литературной, ни в иной форме, десятки и сотни других предприимчивых дельцов. На чем можно было заработать? На чем угодно: на перепродаже земельных участков, купленных по низким ценам и проданных по более высоким; на меняющемся курсе денег, а курс менялся непрерывно вследствие обесценения бумажных ассигнаций, и спекуляция на меняющемся курсе приносила миллионные барыши; на поставках в армию: республика создала за короткое время 14 армий, солдат надо было одеть и обуть, и ловкие люди, взяв на себя роль подрядчиков, составляли миллионное состояние. Наконец — мы к этому позже вернемся — на прямом воровстве. В годы великих социальных потрясений немало ценностей плохо лежало, и ловчи-лы, иной раз произносившие пылкие речи о великом долге Республики, в то же время незаметно прибирали к рукам все, что было возможно унести.

Буржуазия есть буржуазия. Для нее главным стимулом оставались прибыль, доходы, и Республика, как это ни парадоксально, с ее ожесточенными войнами, смертельной борьбой с внутренними и внешними врагами создавала такие благоприятные возможности для обогащения, каких никогда не было ни раньше, ни позже.

Должно быть принято во внимание и другое. За годы революции произошло крупное перераспределение собственности. Эмигранты, бежавшие за пределы Франции, бросали на произвол судьбы свои замки и земли, они тем самым отдали свои владения в распоряжение нации. Началась конфискация земель, эмигрантских замков, и тот, кто был более ловким, умелым, в короткий период аккумулировал огромное состояние.

Проникали ли эти процессы в ряды якобинцев? Под своды Конвента? В том нет никаких сомнений. Сама якобинская группировка расслаивалась и в какой-то своей части перерождалась. Те люди, которые еще вчера заявляли о своей верности великим принци-

пам справедливости, о готовности служить человечеству, как только представлялась возможность, запускали руки в государственный карман и тащили из него то, что было можно. Процесс Ост-Индской компании, который так подробно был изложен Альбером Матъезом, показал это превращение части якобинцев в хищников, спекулянтов, казнокрадов, мародеров: Шабо, Базир, Фабр д'Эглантин, Эро де Сешель и другие депутаты Конвента оказались попросту либо ворами, либо соучастниками жульнических операций.

С какого-то времени стали распространяться слухи, что Жорж Дантон, до сих пор считавшийся одним из самых популярных вождей революции, уединившись в своем поместье Арси сюр Об, ведет образ жизни, труднoсовместимый с представлениями о добродетельном и скромном человеке. Здесь нет ни возможности, ни необходимости вдаваться в рассмотрение по существу вопроса о продажности Дантона, который был в свое время поднят Альбером Матъезом. С моей точки зрения, Матъез был все-таки слишком пристрастен к Дантону и в конечном счете несправедлив к знаменитому деятелю революции.

Дантон во всем оставался противоположностью Робеспьера, его прельщала не столько будущность человечества, сколько наслаждения сегодняшнего дня. Это был человек, живший жизнью напряженной, бурной и по возможности более легкой. Он любил материальные блага этого мира и не лицемерил, не пытался предстать в роли героя, прокладывающего пути будущим поколениям. Весьма возможно, что некоторые из конкретных обвинений, предъявленных Дантону сто пятьдесят лет спустя после его смерти Матъезом, имели под собой реальную почву. Дантон действительно последний год жил на широкую ногу. Откуда брались деньги для этой легкой, беспечной жизни — это остается и до сих пор недостаточно ясным. Но вместе с тем нельзя забывать и той большой роли, которую Дантон сыграл в критическое для Республики время, в сентябре 1792 года, когда он стал человеком, наиболее полно воплотившим все национальные силы Республики. Его с должным основанием и Маркс и Ленин называют великим мастером революционной тактики. Дантон остался французским патриотом и в последние дни своей жизни. Теперь вполне доказано, что у Дантона, осведомленного о подготавливаемом против него ударе, были реальные возмож-

ности бежать из Франции. Знамениты вошедшие в историю слова Дантона: «Разве можно унести отечество на подошвах башмаков!» Это не было красивой фразой, эти слова выражали сущность Дантона. Дантон отказался от предоставленной ему возможности бежать. Он шел навстречу опасности с высоко поднятой головой.

Мы уклонились несколько в сторону и отошли от основного предмета. Хотел того Дантон или нет, но в силу своего политического и государственного авторитета он невольно становился тем центром, вокруг которого объединились все недовольные справа революционным правительством. Все те, кто нажил огромные деньги, но был вынужден прятать их в кубышки и ходить в скромном бедном костюме, чтобы не привлекать к себе внимания, все те, кто имел основания опасаться тяжелой руки Комитета общественного спасения, кто с тревогой оглядывался на Робеспьера, не замечает ли он тайных проделок, к которым они прибегают, — все они искали покровительства и защиты. Хотел того или нет, повторяем еще раз, Дантон, но он невольно становился вождем, защитником этой группы разбогатевших людей.

Растущая, быстро набиравшая мощь новая, спекулятивная буржуазия и стала той главной силой, которая потенциально была направлена против революционного правительства. До поры до времени она должна была с ним мириться, хотя и была занята только наживой, одной лишь наживой, ничем иным. Но кто-то должен был защищать Францию от армий интервентов, кто-то должен был обеспечить победу на фронтах. Это могли сделать люди железной закалки, люди калибра Робеспьера, Сен-Жюста, Кутона, Леба, а не все эти дельцы, стяжатели, озабоченные наполнением своих карманов. И дельцы аплодировали Робеспьеру, объявляли себя верными сторонниками Горы, революционерами и защитниками революционного правительства. Они знали, что если интервенты победят, если осуществится реставрация старого строя, то надо будет все отдавать, не только награбленное богатство, но и поместья и замки, которые они сумели купить за бесценок, всем придется за все поплатиться. Поэтому до поры до времени они поддерживали революционное правительство, возглавляемое Робеспьером.

Но когда к весне 1794 года стало уже вполне очевидным, что революция побеждает, что армии Республики переходят в контрнаступление против армий интервен-

тов, когда постепенно один департамент Франции за другим переходил под власть Республики, тогда в их среде зародилась мысль, что надо искать пути освобождения от этой жесткой и требовательной власти.

Поворот вправо новой, спекулятивной буржуазии, ставшей ведущей классовой силой, повлек за собой и поворот крупного, собственнического крестьянства. Не следует забывать, что на продаже национальных имуществ, как и на дележе общинных земель, на распродаже эмигрантских владений разбогатела не только городская буржуазия, но и крестьянская верхушка деревни. За годы революции возник новый класс, многочисленный класс крестьян-собственников, держащихся за каждый участок приобретенной земли. Эти крестьяне-собственники также мирились с якобинской властью до тех пор, пока угрожала опасность возвращения сеньоров, возвращения помещиков, пока крестьянин боялся, что у него отберут землю и заставят снова работать на бар. Французская армия была в основном крестьянской армией. И крестьяне дрались не на жизнь, а на смерть с вражескими войсками, потому что они защищали в этой войне приобретенные ими владения, дрались за свои кровные интересы.

Но когда победа стала склоняться на сторону Республики, в особенности после решающего сражения под Флерюсом в июне 1794 года, когда опасность реставрации перестала быть реальной угрозой, крестьянство, зажиточное крестьянство прежде всего, стало открыто выражать свое недовольство якобинской диктатурой. У крестьянства были для этого и вполне реальные материальные основания. Якобинская власть действовала жестко. 14 армий нужно было накормить, солдатам надо было каждый день давать хлеб. И революционное правительство не очень-то церемонилось, дабы обеспечить снабжение армии. Не колеблясь, Комитет общественного спасения принял ряд законов о реквизиции зерна, реквизиции хлеба, реквизиции продовольствия, об обязательных поставках, которыми крестьяне должны были обеспечить армию. В свое время академик Н. М. Лукин убедительно показал, как велико было недовольство зажиточных слоев деревни политикой реквизиций и конфискаций, которую проводило революционное правительство¹⁸⁹.

Итак, вслед за буржуазией против якобинского правительства повернуло и зажиточное и в значительной

мере среднее крестьянство. Социальная база якобинской диктатуры быстро размывалась.

Эти подспудные процессы, столь ясные и очевидные для нас, людей конца XX века, были менее видны непосредственным участникам революционной борьбы.

Х

С начала 1794 года уже более или менее определенно, отчетливо стали обозначаться противоречия в самой якобинской группировке. В марте 1794 года Робеспьер, Сен-Жюст и Кутон не могли уже обманываться в том, что против революционного правительства возникает нажим с двух сторон. На первый план как будто выдвигалась опасность, шедшая со стороны левых группировок в рядах якобинского блока, которых часто неточно называют эбертистами. Группа эбертистов была лишь частью левого крыла и сама не представляла собой чего-либо однородного. Сам Эбер, редактор весьма популярной газеты «Пер Дюшен», газеты в псевдонародном, полулубочном стиле, был человеком без отчетливых политических воззрений*. Его газета, претендующая на роль политического рупора санкюлотов, с осени 1793 года и по март 1794 года занимала по большинству вопросов крайне левые, чтобы не сказать «левацкие», позиции. Эбер представлял экстремистское крыло якобинского блока. Эбер вместе с Фуше и Шометтом в свое время выступил пропагандистом и организатором так называемой политики дехристианизации. Воздействуя грубыми методами, сторонники этой политики требовали, чтобы священники отказывались от своего сана, закрывали церкви, вели открыто антицерковную политику. Дехристианизаторская политика с ее гонениями на церковнослужителей вызвала недовольство крестьянства: оно осуждало эту политику. Робеспьер с его широким кругозором и ясным пониманием государственных задач вмешался и пресек деятельность дехристианизаторов. Он публично осудил принудительное закрытие церквей и гонения против священников как меры, не отвечающие политике революционного правительства. Авторитет Комитета общественного спасения был так велик, что Эбер, Шометт и Фуше поспешили пока-

* В библиотеке ИМЛ при ЦК КПСС имеется полный комплект «Père Duchesne» Эбера.

яться в своих прегрешениях, и дехристианизаторская политика была всеми ими осуждена.

Но Эбер под флагом служения санкюлотам, простым людям предлагал и меры, непосредственно затрагивавшие интересы революционной власти. Он призывал к войне, беспощадной, жестокой войне против всех категорий торговцев, не только крупных, но и мелких, против зеленщиков, против женщин, торгующих редиской. В его глазах все они превращались во врагов революции. Это было уже опасным; такое «левачество», говоря терминами наших дней, грозило восстановить против революционной власти мелкую буржуазию, бедный люд.

Критические стрелы газеты Эбера были направлены против Дантона и дантонистов, так называемых снисходительных. Но направляя удары против Дантона, он целил одновременно и в революционное правительство Робеспьера и Сен-Жюста, хотя у Эбера не хватало храбрости сказать это вслух.

В марте 1794 года Эбер и его сторонники предприняли попытку поднять восстание против революционного правительства. В Клубе кордельеров, где выступал Эбер, они, завесив траурным покровом Декларацию прав человека и гражданина, призывали к восстанию, хотя и без должной решимости и твердости в голосе. Призывая к восстанию против революционного правительства, к повторению дней 31 мая — 2 июня, Эбер рассчитывал на то, что этот призыв будет поддержан Парижской коммуной. Но Коммуна Парижа во главе с Шометтом отмежеввалась от эбертистов и выступила против авантюристического плана. Большинство секций также не поддержало призыв Эбера. Почувствовав, что дело его идет к проигрышу, Эбер стал доказывать, что он не имел в виду восстание против правительства. Тем не менее судьба его была уже решена. 24 марта Эбер, Ронсен, Венсан, Моморо и другие близкие к эбертистам политические вожди, большей частью левые якобинцы, были арестованы и преданы Революционному трибуналу.

Процесс эбертистов представлял собой новую главу в практике применения революционного террора. До сих пор гильотина действовала только против врагов революции. Процесс эбертистов был первым политическим процессом, в котором террор стал инструментом решения разногласий внутри якобинского блока.

Лично Эбер предстал на процессе в крайне неприглядном виде. Он был малодушен, труслив, перекладывал вину на других, пытался сам уйти от ответственности и оставил у присутствующих крайне тяжелое впечатление. Но каким бы ни было поведение Эбера, процесс этот принципиально был важен, потому что здесь острое революционного террора было повернуто против членов одной и той же группировки.

Нес ли Робеспьер за это политическую ответственность? Да, конечно. Он знал, на что шел, и сам этот процесс с точки зрения правовой представлял собой явное отклонение от общепринятых норм судопроизводства.

Процесс эбертистов проходил в форме так называемой амальгамы. Суть этого приема, изобретение которого приписывается чаще всего Фукье-Тенвилю, прокурору Революционного трибунала, заключалась в следующем. Лица, действительно виновные в тех или иных политических акциях, соединялись механически с группой других лиц, с которыми в реальной жизни не были связаны. Например, к процессу эбертистов была присоединена группа иностранных шпионов — так они по крайней мере были представлены публике — Проли, Перейра, Дефие и другие. Это и было амальгамой: люди, не имевшие ничего общего с эбертистами, были с ними соединены воедино. В процессе участвовал и прямой полицейский агент, который был разоблачен тем, что в конце остался единственным живым из всех участников процесса¹⁹⁰.

Знал ли обо всех этих деталях, всех этих правовых нарушениях Робеспьер? Об этом трудно судить, он не был, конечно, вездесущ, и собственно аппарат репрессивных органов не был в его руках — он подчинялся Комитету общественной безопасности, но политическую ответственность за процесс эбертистов он нес. Казнь Эбера, Моморо, Ронсена, Венсана была предрешена Комитетом общественного спасения еще до того, как Революционный трибунал вынес им смертный приговор.

Борьба внутри якобинского блока толкала Робеспьера и дальше. Поражение эбертистов, открытых противников дантонистов, привело к резкому усилению группы «снисходительных». Главным противником были все-таки правые силы, а не левые, и удары по группировкам (обоснованные или нет — это дело особое), чи-

слящимся левыми, объективно усиливали правых. Внешним выражением этой возросшей роли правого крыла, атакующего революционное правительство, было издание газеты «Старый кордельер» Камилла Демулена. Из номера в номер Камилл Демулен, талантливый журналист, острый полемист, все несдержаннее, все резче нападал на Комитет общественного спасения.

Для Робеспьера психологически вопрос о борьбе против дантонистов осложнялся тем, что он был связан личной дружбой с Камиллом Демуленом. Они были когда-то школьными товарищами, сидели чуть ли не за одной партой и сохраняли добрые отношения до последних дней. В черновых записях Робеспьера, получивших после его смерти известность под названием «Заметки против дантонистов», Максимилиан Робеспьер писал: «Камилл Демулен по причине изменчивости его воображения и по причине его тщеславия был способен стать слепо преданным приверженцем Фабра и Дантона. Таким путем они толкнули его к преступлению; но они привязали его к себе только ложным патриотизмом, который они напустили на себя. Демулен проявил прямоту и республиканизм, пылко порицая в своей газете Мирабо, Лафайета, Барнава и Ламета в то время, когда они были могущественными и известными, и после того, как он раньше искренне хвалил их»¹⁹¹. Эти примечательные строки показывают, что накануне решающих действий Робеспьер сохранял еще прежнее расположение к Демулену.

Процесс против Дантона и дантонистов, хотя и не имел такой подробной и полной протокольной записи, как процесс эбертистов, освещен достаточно полно в специальной литературе, и о нем можно составить вполне отчетливое представление. Здесь добавлять к известному почти нечего. Но психологически для историка, быть может, более важны, чем сам процесс (исход которого был заранее предрешен), его prelimинарии, конечно не в сфере формальной, юридической. Я имею в виду иное. Как постичь трудно поддающийся точным определениям духовный процесс нисхождения вчерашних друзей — молодых людей, полных жизненной силы, оптимизма, идущей от молодости беспричинной радости, — перехода в ущербный мир отлучения, отчуждения, за которым следует недолгий, все убыстряющийся, неостановимый спуск в подземное царство смерти? Из протоколов Якобинского клуба, изданных

Альфонсом Оларом, известно, хотя бы в краткой несовершенной записи, как происходило в клубе обсуждение вопроса о последних номерах «Старого кордельера» Камилла Демулена (напомним, что последний номер газеты был конфискован постановлением революционного правительства) и о его редакторе. Следует ли добавлять, что весной 1794 года все участвовавшие в обсуждении Демулена уже вполне отчетливо понимали, что исключение из Якобинского клуба почти автоматически влечет за собой предание Революционному трибуналу?

Пусть простят меня строгие судьи — мои собраты по цеху историков-специалистов и взыскательные читатели, не любящие каких-либо отклонений от установленных норм, за то, что вместо изложения подтверждаемых точными документами подробностей решающего для судьбы Демулена заседания я пошел несколько иным путем.

Я попытался, опираясь на предоставленное историку право дивинации, нарисовать ту же картину исключения Демулена из Якобинского клуба, но несколько иначе: через восприятие его женой Камилла — Люсиль Демулен.

И вот что у меня получилось.

Когда начало темнеть, Люсиль подошла к окну. Заседание якобинцев могло уже кончиться, и по тому, как он возвращается — по его походке, посадке головы — держал ли он ее высоко поднятой или низко опущенной, по многим другим приметам — она сразу бы поняла, чем же завершился этот решающий день.

Но время шло, сумерки быстро сгущались; на улице становилось все меньше прохожих. Когда стало совсем темно, она прошла к креслу, с ногами свернулась в мягком сиденье и стала прислушиваться.

Как медленно, мучительно шло время. Стояла такая тишина, что можно было расслышать приглушенные шаги редких прохожих по тротуару. Потом опять долгая, ничем не нарушаемая тишина.

Но вот внизу хлопнула дверь, — и она услышала его шаги. По этим нетвердым, неровным шагам, медленно поднимающимся по скрипучей лестнице, она поняла: все пропало.

Не надо было ни о чем спрашивать; слова были не нужны. Некоторое время они сидели молча, друг против друга. Потом Камилл не выдержал: сбивчиво, не-

ясно, заикаясь сильнее, чем обычно, он стал рассказывать, как все это произошло.

Его терзали запоздалые, бесполезные самоугрызения: надо было выступать совсем иначе, не так; надо было самому переходить в наступление, раскрыть глаза на чудовищность совершаемого. Надо было им крикнуть: «Опомнитесь! Очнитесь! Великий боже! Кого вы хотите исключить? Саму революцию? Самих себя? «Генерального прокурора фонаря», человека, первым бросившего в горячие дни июля 89-го года в Пале-Рояле призыв к штурму Бастилии, редактора «Революций Франции и Брабанта», Камилла Демулена, пять лет воплощавшего революцию? Демулена нельзя исключать, не поднимая руку на саму революцию, не перечеркивая все совершенное ею...»

Вот если бы он так сказал, они бы остановились. И Максимилиан, Максимилиан, столько раз бросавший на него быстрые, косые, как бы внутренне смятенные взгляды, Максимилиан призвал бы их к порядку: он бы понял, что здесь проходит грань, непреодолимый рубеж. Переступи через эту грань, через пропасть раз, и завтра могущественная и всевозрастающая сила лавины всех увлечет, всех затянет вниз, в бездонную пучину.

Но эти неотразимые в своей суровой правдивости слова не были произнесены. И теперь ничто не могло изменить неотвратимого, заранее предрешенного хода событий.

И Камилл заплакал — силы его оставили, он больше не мог ни на что надеяться.

И он плакал, плакал громко, всхлипывая, как ребенок, уткнувшись лицом в колени Люсиль. А Люсиль, нежная Люсиль гладила мягкой теплой рукой его взлохмаченные волосы, его мокрое от слез лицо и тихо успокаивала: «Ничего, мой маленький, ничего, все обойдется. Наступит утро, будет светло, все станет на свое место, и мы снова будем счастливы».

Ей и вправду, наверно, казалось, что, когда кончится эта мучительная ночь, когда рассеются ночные тени и вновь наступит ясный, озаренный солнечными лучами день, все само собой вернется к прежнему, и она будет снова слышать не всхлипывания Камилла, а его задорный, поддразнивающий смех.

Могла ли тогда знать Люсиль, что уже брезжащий рассвет будет еще беспощаднее, чем эта ночь, что в один из ближайших дней скатится под ножом гильоти-

ны голова Камилла, а еще позже, через месяц, и она сама в белом, нарядном, почти подвенечном платье поднимется на эшафот, чтобы, закрыв глаза, ждать, как избавления от мук, когда на нее опустится нож палача.

Политический процесс против дантонистов был в чем-то существенном отличен от так легко проведенного разгрома группировки эбертистов. Различий было много. Прежде всего группа «снисходительных», как чаще всего именовали группировку Дантона, была в действительности самой влиятельной силой в стране. Независимо от того, какую роль в революционном правительстве или в Конвенте играли единомышленники и сторонники Дантона, они представляли объективно ту классовую силу, мощь которой день ото дня возрастала. Хотел того Дантон или нет, но он становился руководителем тех кругов буржуазии, может быть, даже шире — зажиточных слоев собственников вообще, которые считали, что пора переходить от революционных деклараций, от режима чрезвычайных мер к будничной республике буржуазии, открывающей возможности для реализации практических завоеваний революции. Эта сила возрастала день ото дня, час от часа, она стала богатой, экономически влиятельной и она не хотела больше слушать речи о добродетели, долге перед отечеством, о героизме, священных принципах равенства, о всем том, что противоречило простой и грубой потребности воспользоваться поскорее и полностью, в свое удовольствие материальными благами, приобретенными за это время.

Повторяю еще раз, что в этих строках дано схематическое, если угодно, упрощенное изображение социальных процессов, совершавшихся в то время. Дантон — человек большой личной одаренности, разносторонне талантливый, и не подлежит сомнению, что он представлял себе свои задачи на данном этапе революции отнюдь не так просто, как только что говорилось. Принято считать — и здесь нельзя не согласиться с теми авторами, которые создали немало трудов о знаменитом французском политическом деятеле, — что политическая программа Дантона весной 1794 года требовала смягчения революционного режима, учреждения Комитета милосердия, прекращения террора или значительного ослабления его и постепенного перехода к конституционному республиканскому режиму. Эта характеристика, конечно, слишком прямолинейна, но в задачи дан-

ного повествования не входит рассмотрение образа Дантона во всей его сложности и противоречивости. Речь идет об ином.

Робеспьер, начиная борьбу против Дантона, отдавал, не мог не отдавать себе отчета в том, что его противником выступает политический деятель, обладающий почти равным с Робеспьером авторитетом. Робеспьер отдавал себе отчет в том, что борьба против Дантона будет труднее, чем против Эбера или какого-нибудь Проли. Робеспьер должен был задуматься и над тем, насколько допустимо применение по отношению к политическим деятелям, имеющим крупнейшие заслуги перед революцией, тех же средств революционного террора, которые применялись против эбертистов. Здесь вновь возникал вопрос о границах допустимости революционного террора. Что значило предать Жоржа Дантона или Камилла Демулена Революционному трибуналу? Это означало отправить их на гильотину. Комитет общественного спасения не для того затевал политический процесс, чтобы открывать дебаты, допускающие любое возможное решение. Приговор был известен раньше, чем начался судебный процесс. Судебный процесс для того и проводился, чтобы повергнуть противника в небытие.

Чтобы психологически объяснить, как человек несомненно честный, в политических помыслах старавшийся всегда оставаться честным перед самим собой, как мог Робеспьер решиться на предание казни Жоржа Дантона и Камилла Демулена или Филиппо и других их друзей, нужно понять систему взглядов Неподкупного.

Робеспьер был убежден в том, что после огромных усилий народа, после ожесточенных сражений и наконец обозначившегося перелома в борьбе с контрреволюцией Республика подходит все ближе к осуществлению своих идеалов. Тот «золотой век», то царство равенства и справедливости, то слияние человеческого общества с великой, всегда цветущей зеленой природой, о котором мечтал много лет последователь Жан-Жака Руссо и которое пытался претворить в жизнь глава революционного правительства Максимилиан Робеспьер, этот идеальный мир, казалось Робеспьеру, был уже недалек. Что было препятствием к достижению этой цели? Раньше этим препятствием были роялисты, аристократы. Вторым эшелонem противников на пути приближения к идеальному строю были фельяны, Лафайеты,

Байи, Мунье и иные приверженцы конституционной монархии. Революция их также отбросила и смела со своего пути. Третьим эшелоном были жирондисты — Бриссо, Верньо, Бюзо, Ролан и другие. Народное восстание 31 мая — 2 июня 1793 года сломило власть Жиронды и жирондистов.

После победы над Жирондой существовала недолгое время иллюзия, будто теперь можно сразу же перейти к этому справедливому обществу равенства. Написанный Робеспьером проект конституции 93-го года и принятый Конвентом текст новой конституции Республики доказывали, что у руководителей Горы, у якобинцев, была почти полная уверенность в том, что они близки к достижению этого справедливого, высшего общественного строя.

Жизненная практика разбила эти надежды, опровергла их. Для того чтобы достичь этого общества лучшего мира, нужно было преодолеть еще натиск столь могущественных противников, как феодальная Европа, вся коалиция европейских держав, опиравшаяся на силы внутренней контрреволюции. Противники, обозначившиеся после 2 июня, были во много раз сильнее предшествовавших. Но тот же опыт показал, что и эта, казалось бы, невероятно трудная задача была по плечу якобинцам. Они осуществили невероятное. Нищая, голодная, изолированная Французская республика, сражаясь против всей или почти всей феодальной контрреволюционной Европы, сумела одержать над ней победу. Это было чудом, но к весне 94-го года это чудо стало действительностью, реальностью. В него все поверили, поверили друзья Республики и ее противники. На всех фронтах армии Республики перешли в контрнаступление. Значит, после того как были сломлены эти самые могущественные силы, стоявшие на пути к достижению цели, ничто больше этому не препятствовало. Так логично, так можно было бы думать.

И теперь, когда в представлении Робеспьера уже как бы обозначились контуры близкого лучшего мира, перед ним встали новые препятствия: группа эбертистов, группа дантонистов, новые эшелоны противников революционного движения вперед, всех тех, кто мешает достижению «царства добродетели» — последнего предела к его установлению.

Робеспьер был революционером в самом точном значении этого слова. Он стремился к достижению цели,

которой посвятил всю свою жизнь. И когда он пришел к убеждению, что этот справедливый, лучший мир не может быть достигнут без сокрушения эбертистов и дантонистов, вопрос для него был решен.

Перечитывая еще раз «Заметки против дантонистов», мы нигде не обнаруживаем следов его душевных колебаний или каких-либо внутренних сомнений. Выше отмечалось, что в этих заметках нельзя найти ничего враждебного лично к Камиллу Демулену, но к Дантону Робеспьер подходит пристрастно. Он подчеркивает прежде всего его отрицательные черты. Он считает его интриганом, он ищет в его политической биографии преимущественно недостатки. Стоит вспомнить, что было время, когда Робеспьер выступал в защиту Дантона. Еще сравнительно недавно во время встречи с Дантоном он старался найти пути примирения с тем, кто мог бы стать его политическим противником. Эти примирительные ноты по отношению к Дантону полностью исчезают со страниц черновых заметок, заметок, написанных для самого себя. Что же, это лишний раз подтверждает ту версию, которая только что была предложена: Робеспьер для себя самого решил, что необходимо сломить, опрокинуть эту последнюю силу, вставшую на пути к достижению лучшего, справедливого строя.

Непосредственное осуществление разгрома группы дантонистов оказалось труднее, чем предполагал Робеспьер. Дантон отказался — об этом было уже выше сказано — от предоставленной ему возможности бежать. Это было не в его правилах, это противоречило его натуре борца, идущего навстречу опасности. И в этом поведении Дантона, доказывающем его историческое величие, были, вопреки расчетам Робеспьера, и реальные шансы на успех.

Дантон на судебном процессе в Революционном трибунале избрал своей тактикой нападение. На первый чисто формальный вопрос о месте жительства и об имени он отвечал: «Местом моего жительства вскоре будет нирвана, а мое имя вы найдете в пантеоне истории». Он перешел в первой же, практически возможной связной речи к нападкам на своих врагов. Не он должен был защищаться, утверждал Дантон; но его противники. «Пусть покажутся мои обвинители, и я ввергну их в ничтожество, — гремящим голосом возглашал он в переполненном до отказа зале. — Люди моего закала неопенимы, у них на лбу неизгладимые знаки, отмеченные

печатью свободы, республиканский гений». Конечно, это фразеология XVIII века, эпохи революции, но всем стилем своих ответов Дантон показывал, как намерен он вести свою защиту на судебном процессе. Дантон обладал голосом поразительной мощи, в этом он уступал разве лишь Мирабо. Гремящий голос Дантона, доносившийся сквозь распахнутые окна судебного помещения, собрал на улице огромную толпу. Он с таким искусством, с такой силой напора, с такой убежденностью в своей правоте контратаковал своих обвинителей, что симпатии присутствующих в зале и собравшейся на улице толпы народа явно склонялись в его сторону.

Камилл Демулен под влиянием смелой атаки Дантона также перешел в контрнаступление, и обвиняемые по существу превратились в обвинителей. Исход процесса становился совершенно неясным, и Фукье-Тенвиль, убедившись в том, что он не может достичь не только морального, но и юридического превосходства над своими противниками, прервал судебное заседание. Но когда процесс возобновился, исход его по-прежнему оставался неясным. Потребовалось личное вмешательство Сен-Жюста, приехавшего в здание Революционного трибунала и изменившего процедуру судебного следствия. Грубо попирая формальные законы, Фукье-Тенвиль упростил судебную процедуру: после того как обвиняемые были фактически лишены слова, Камилл Демулен свернул в комок приготовленный им ранее текст речи и швырнул в лицо обвинителя. Он отказался продолжать в условиях грубого попрания законности защиту.

Революционный трибунал, как и можно было ожидать, лишь на третий день заседания сумел вынести решение. 3 апреля 1794 года Революционный трибунал приговорил всех обвиняемых (а обвиняемые были соединены также по принципу пресловутой амальгамы) к смертной казни. Власти поторопились привести приговор в исполнение. 4 апреля был вынесен смертный приговор, 5 апреля утром Дантон, Камилл Демулен и другие обвиняемые были в тележке отвезены на Гревскую площадь. Тележка с приговоренными проезжала по улице Сент-Оноре, мимо дома столяра Дюпле, в котором жил Робеспьер. Дантон, который всю дорогу ругался площадными словами, проезжая мимо дома Робеспьера, громко крикнул: «Максимилиан, ты скоро последуешь за мной!»

Перед казнью Дантон продолжал ругаться, а Камилл Демулен плакал. Перед тем как взойти на эшафот, Дантон подошел к Камиллу Демулену и поцеловал его. Палач заявил, что это противоречит закону. «Дурак, — ответил ему Дантон, — ты же не помешаешь нашим головам через минуту поцеловаться в корзине». Известны слова, которые он произнес, поднимаясь на эшафот. Он обратился к палачу и сказал ему: «Подними мою голову и покажи ее народу, она это заслужила».

XI

И вот все противники республики сокрушены. В Комитете общественного спасения был заслушан доклад Революционного трибунала о прошедших процессах, о вынесенных приговорах и об их исполнении. Все враги, стоявшие на пути республики, которых считали главными ее противниками, были повергнуты в прах. Кажется, теперь уже ничто не могло помешать достижению этого близкого и все ускользающего в последний миг, все отодвигающегося куда-то дальше золотого, счастливого века.

10 и 12 июня 1794 года Робеспьер последний раз выступил в Конвенте с политическими речами¹⁹². Накануне 10 июня Жорж Огюст Кутон, ближайший друг, единомышленник и товарищ Робеспьера по Комитету общественного спасения, был перевезен в своей коротенькой коляске к трибуне Конвента. У Кутона были парализованы ноги, он не мог сам передвигаться. Кутон выступил с трибуны Конвента с предложением от имени Комитета общественного спасения принять новый закон, развивающий дальнейшие возможности применения революционного террора. Процедура судопроизводства по закону упрощалась. Революционный трибунал приобретал новые, практически неограниченные возможности осуществлять свою карательную деятельность. В соответствии с этим законом предварительный допрос обвиняемых отменялся. Институт защитников обвиняемых подлежал упразднению, а само понятие «враг народа» получило весьма расширительное толкование: при желании его могли направить против лиц неугодных.

Впервые в практике — и это было доказательством возникших в правительстве разногласий — Комитет об-

щественного спасения представил проект решения Конвенту без предварительного согласования его с Комитетом общественной безопасности, тем Комитетом, на который, собственно, и была возложена задача применения революционного террора. Сам этот факт был косвенным подтверждением того, что Комитет общественного спасения, т. е. Комитет, непосредственно возглавляемый Робеспьером и являвшийся высшим звеном в системе революционного правительства, не питал большого доверия к Комитету общественной безопасности.

Впервые в практике деятельности революционного правительства предложение, внесенное Кутоном, которого считали столь же всемогущим или почти столь же всемогущим, как и Робеспьера, встретило возражения. Некоторые члены Конвента стали высказывать в осторожной, сдержанной форме, возражения против этого декрета. Бурдон из Уазы предложил, не решаясь выступить с открытыми обвинениями, отсрочку окончательного обсуждения этого декрета.

На трибуну взошел Максимилиан Робеспьер. Он настаивал на том, чтобы Конвент не отсрочивал обсуждение внесенного предложения, принял его. Робеспьер был по-прежнему убежден, что этот декрет благодетелен, отвечает интересам революции. В этом же выступлении он говорил: «Изучите этот закон, и с первого взгляда вы увидите, что он не содержит какого-либо постановления, которое заранее не было бы принято всеми друзьями свободы, что в нём нет ни одной статьи, которая не была бы основана на справедливости и разуме, и что каждая из его частей составлена на благо патриотов и на страх аристократии, организующей заговоры против свободы».

Эта речь Робеспьера показывает, что он еще сохранял веру в необходимость применения революционного террора для сокрушения последних противников. Но эта речь не обеспечила еще полного успеха, принятия закона, и 12 июня Робеспьер вторично должен был выступить в поддержку этого закона, встретившего решительные возражения Бурдона из Уазы. Бурдон из Уазы прервал Робеспьера, утверждая, что Робеспьер пытается его обвинить. Робеспьер отвечал: «Я не называл Бурдона по имени. Горе тому, кто сам себя называет!»

Робеспьер настоял на том, чтобы этот декрет был во-тирован и утвержден Конвентом. Но с этого времени он практически отказался от поддержки политики револю-

ционного террора. Человек действия, а не слов, он должен был понять, что осуществление террора на практике выходит за пределы контроля Комитета общественного спасения. Он послал в провинции человека, внушавшего ему полное личное доверие, — Марка Антуана Жюльена. Ему минуло в то время едва лишь девятнадцать лет. Честный, чистый, бесконечно преданный революции, он был облечен чрезвычайными полномочиями Комитета общественного спасения для проверки того, как осуществляется на практике политика революционного террора.

В Национальном архиве Парижа сохранились письма Жюльена Максимилиану Робеспьеру, Сен-Жюсту, Кутону, Комитету общественного спасения. То, что увидел Жюльен, было ужасающим. Террор превратился в инструмент расправы с неугодными лицами, грабежа, личного обогащения и бесчестных злоупотреблений.

Жюльен был в Бордо и там наблюдал за деятельностью Тальена, проконсула, комиссара Конвента этого богатейшего города Франции. Что там происходило, что делал Тальен? Было нетрудно вскоре узнать, что Тальен, арестовавший и казнивший первоначально много людей, затем дал понять, что за очень крупную сумму можно избежать перемещения в иной мир. И сотни тысяч золотых монет потекли в карманы Тальена. Вместе со своей возлюбленной Терезой Кабарюс, женой маркиза Фонтене, первоначально участвовавшей в театрализованных представлениях в честь свободы почти обнаженной или прикрытой легкой туникой, с фригийским колпачком на голове, а затем умело прибравшей к рукам не чуждого мирских интересов грозного комиссара Конвента, Тальен установил прямые связи с крупнейшими богачами Бордо, и многие из ранее заключенных вскоре обрели свободу.

По приказу Комитета общественного спасения Тальен был отозван из Бордо и должен был отчитаться перед ним.

Почти то же самое происходило в Марселе. Здесь действовали комиссары Конвента Баррас и Фрерон. Когда-то, год назад, Фрерон ходил в учениках Друга народа Жан-Поля Марата. Но с тех пор утекло много воды, и Фрерон давно пришел к убеждению, что реальный чистоган ценнее звонких фраз о справедливости. Баррас и Фрерон осуществляли свою миссию в Марселе с таким бесстыдством и цинизмом, которые трудно бы-

ло найти в иных больших городах Республики. Они са-жали сотни, тысячи людей в тюрьмы, а затем за огром-ные взятки освобождали заключенных. Фрерон и Бар-рас занимались прямым казнокрадством.

Жозеф Фуше в Лионе действовал такими же свире-пыми методами. Он полагал, что тем больше укрепит свою репутацию преданного революционера, чем беспощаднее будет применять революционный террор. Да и был ли он революционером? Вот в чем вопрос.

Жюльен, проверявший деятельность Фуше в Лионе, увидел в ней лишь цепь преступлений. Фуше был спешно отозван в Париж, чтобы отчитаться перед Комитетом общественного спасения. Изворотливый, гибкий, лживый, он искал прежде всего путей, как достичь расположения Максимилиана Робеспьера. Дабы снискать симпатии Неподкупного, он даже решился на крайние меры — стал ухаживать за сестрой Максимилиана Шарлоттой Робеспьер, надеясь, что, предложив ей брак, он сможет породниться с могущественным Максимилианом и тем самым смягчит его гнев. Максимилиан с презрением отверг все попытки Фуше и, не опускаясь до личного участия, потребовал, чтобы Якобинский клуб исключил Фуше и Тальена из числа своих членов. В ту пору все знали, что исключение из членов Якобинского клуба влечет за собой почти автоматически предание Революционному трибуналу и в конечном счете приводит к гильотине.

Можно предположить с определенностью, что в эти два последних месяца перед своим концом Робеспьер был уверен в пагубности и опасности искажения революционного террора. По злой иронии судьбы все преступления, все действия, осуществляемые его врагами и недругами, записывались на его счет. В ответе в конечном счете был Максимилиан Робеспьер. Во время своих ночных прогулок по безлюдному Парижу, в разговорах со случайными собеседниками он убеждался в том, как проклянут Максимилиана Робеспьера за те преступления, те насилия, убийства, произвол, которые совершались именем революции его врагами. Видимо, в эту пору и начался тот душевный кризис, который все нарастал, становился все сильнее в сознании Робеспьера в последние недели перед его концом.

В речи в Якобинском клубе 5 июля 1794 года Робеспьер говорил: «То, что мы видим каждый день, то, что нельзя скрыть от себя, — это желание унижить и

уничтожить Конвент системой террора»¹⁹³. Он, следовательно, не только отмежевывался, но и прямо осуждал то применение террора, которое, вопреки ему, было сделано из закона 10 июня.

После трудного, таящего дурные предзнаменования обсуждения в Конвенте закона 10 июня Робеспьер вплоть до 8 термидора уже не выступал на заседаниях этого высшего органа Республики. С начала июля он перестал посещать заседания Комитета общественного спасения вследствие выявившихся разногласий с его большинством. Немногие бумаги, подписанные им в это время, видимо, приносили ему домой, на улицу Сент-Оноре. Имя Робеспьера еще оставалось на фронтоне Республики; его враги намеренно выписывали это имя преувеличенно крупными буквами и всюду, где только можно, подчеркивали его первенство, а Робеспьер уже на деле был в стороне, уже не направлял хода государственной машины и все больше отстранялся даже от участия в повседневных практических делах.

Значит ли это, что Робеспьер уже до термидора потерял всякое влияние, лишился какой-либо поддержки, стал живым анахронизмом?

Нет, конечно.

Народ своим верным инстинктом угадывал чистоту и благородство помыслов Неподкупного. Его бескорыстие, его бедность, его убежденность в своей правоте привлекали к нему простых людей. Что бы ни шептали злопыхатели, его популярность в народе была очень велика.

В глазах французского народа, в глазах всей страны, всей Европы Робеспьер был воплощением самой революции. Камбон, один из его непримиримых противников, с горечью признавался в том, что те, кто хотел лишь свергнуть Робеспьера, на деле «убили республику»¹⁹⁴.

Якобинская революционно-демократическая диктатура и ее вождь Робеспьер пользовались поддержкой санкюлотов, плебейства. Правда, политика якобинского правительства в силу присущей ей противоречивости нередко задевала экономические и политические интересы беднейших слоев трудящихся. Это порождало недовольство части беднейших слоев. Колебания некоторых демократических секций Парижа в ночь 9 термидора были причиной временного одобрения термидорианского переворота такими передовыми людьми своего

времени, как Гракх Бабёф. Но ведь не случайно Парижская коммуна (представлявшая в классовом отношении те же плебейские слои, что и до весны 1794 года) и ряд секций столицы поднялись против «законного» Конвента, в защиту Робеспьера и его друзей. Не случайно и Гракх Бабёф, очень скоро раскаявшийся в своей ошибочной позиции в дни термидора, позднее, в 1796 году, признавал допущенную им ошибку и называл Робеспьера и Сен-Жюста своими предшественниками¹⁹⁵.

Трагедия Робеспьера была в том, что бедные люди и он сам, их предводитель, вопреки своим помыслам и желаниям, трудились и сражались на деле не ради общего счастья и блага людей, как они надеялись, а на пользу богатых и что настал час, когда богатые решили взять власть в свои руки.

Примерно в конце июня — в июле для Робеспьера пришла пора прозрения. Он стал понимать, что та перспектива быстрого достижения гармонического строя общего счастья, республики добродетели и справедливости, которую он столько раз рисовал своим соотечественникам, что эта пленительная, воодушевлявшая на подвиги перспектива отодвигается все дальше. Враги, силы зла оказались гораздо могущественнее, чем он ожидал. Уже сражено столько врагов, но и сраженные, как злые духи, оживают и смешиваются с живущими и жалят своими смертоносными жалами Республику.

Максимилиан день ото дня отчетливее, яснее понимал: все идет не так, как ожидали, как хотели, рассчитывали. Его называли диктатором, вершителем судеб Республики, человеком, одним движением бровей решающим будущее страны, городов, тысяч людей. Сен-Жюст показывал ему бумаги, поступающие в бюро полиции Комитета общественного спасения. Боже! Чего только не говорили о всевластии диктатора! Вадье и Амар, почти все члены Комитета общественной безопасности широко распространяли донесения секретных агентов, содержащие брань, клевету, ложь, хулу — все что угодно, против господствующих в Республике «триумвиров».

«Триумвиры»? «Диктаторы»? Это злая насмешка. Робеспьер теперь все явственнее сознавал свое бессилие; он ничего, решительно ничего не мог изменить в ходе событий. Его называют «диктатором», «тираном», «самодержцем», а он лишь щепка, бросаемая

из стороны в сторону могучими волнами океана. Незримые, скрытые в тени более могущественные силы направляют ход вещей. Где они? Кто они? Их нигде не видно, но они повсюду. Все приказы, все распоряжения Комитета общественного спасения не достигают цели; их опутывает густая тина косности, тайного саботажа, скрытого сопротивления. Никто не возражает, никто не оспаривает; на словах все согласны, поддакивают, одобряют. А на деле? В реальной действительности, на практике все идет по-иному...

Когда это началось? Впервые ощущение, что рычаги не подчиняются больше движениям руки, пришло весной, тогда, когда они, Комитет, Робеспьер, Сен-Жюст, столкнулись с тайным саботажем, с мелкими возражениями, искусственно создаваемыми затруднениями, проволочкой, нагромождаемыми одно на другое препятствиями осуществлению на практике вантозских декретов. Но тогда это можно было объяснить. То было сопротивление определенной политике — эгалитарной политике революционного правительства, и он, Максимилиан, и Сен-Жюст это отчетливо понимали. Крупные буржуа, собственники, богатые люди не хотели передачи земли неимущим. Они были вообще против уравнительной политики. Почему не прибрать самим богатство к рукам? Почему не умножить свои доходы?

Конечно, тогда уже стало очевидно, что многие в Конвенте, в правительственном аппарате, в Якобинском клубе тоже — увы! — противятся практической реализации вантозских декретов. Это делалось тогда еще с тысячами предосторожностей, с оглядкой по сторонам, незаметно, тихой сапой; все тогда еще боялись железной руки Комитета общественного спасения.

Борьба с эбертистами и дантонистами, политические процессы весны 1794 года заслонили все остальное. О вантозском законодательстве постепенно стали забывать.

А затем, уже летом, когда все противники были повержены, все враги уничтожены, все голоса «против» смолкли, все — в Конвенте, в Коммуне Парижа, в Якобинском клубе — голосовали «за», поддерживали и одобряли политику Комитета, тогда снова напомнила о себе эта незримая, скрытая сила тайного сопротивления.

Сомнений быть не могло. Хуже всего — это обманывать самого себя, закрывать глаза на окружающее, не замечать происходящего рядом. Колло д'Эрбуа — тот

может утешать себя и других громогласным бахвальством, повторяемыми сотни раз утверждениями, что революция одерживает победу за победой. С тех пор как он избежал кинжала Амирала и стал почти мучеником за свободу, все представлялось ему в розовом свете.

Пусть. На фронтах солдаты Республики действительно одерживают победы; кто решится это оспорить? Разве армии интервентов не отступают? После Флерюса весь мир должен был признать силу, могущество армий Республики. Теперь военная инициатива прочно перехвачена вооруженными силами революции, и не интервенты, а армии патриотов повсеместно определяют будущий ход военных операций.

Но разве в свете этих побед на фронтах не горестнее сознать ухудшение положения внутри страны. «О процветании государства судят не столько по его внешним успехам, сколько по его счастливому внутреннему положению. Если клики наглы, если невинность трепещет, это значит, что республика не установлена на прочных основах». Робеспьер это говорил в речи в Якобинском клубе 1 июля 1794 года.

Великая победа под Флерюсом не ослепила его. Не подлежит сомнению — и это, вероятно, самое главное, — что врагов республиканской добродетели, противников революционного правительства становится не меньше, а больше. Они растут как грибы после дождя; они появляются везде, повсюду. Откуда они берутся?

Кто они, эти могущественные враги, преградившие патриотам путь к республике общего счастья, возведенной конституцией 93-го года? Робеспьер этого времени часто говорит о них, пользуясь абстрактно-этическими терминами. Он говорит о силах зла, о пороке, о преступлении, о коварстве, он говорит об «опасной коалиции из всех пагубных страстей, из всех уязвленных самолюбий, из всех интересов, противоположных общественному интересу»¹⁹⁶. Это широкое использование морально-этических категорий вполне в духе общественного мышления XVIII века. Но оно не должно ни заслонить, ни тем более скрыть глубины проникновения мысли Робеспьера в сущность той борьбы, которая потрясла Республику летом 1794 года.

Конечно, Робеспьер не мог мыслить понятиями наших дней. Но нельзя не поражаться тому, как верно, как близко к истине он подошел, определяя характер

тех сил, которые выступали главными противниками революции. Кто они, эти опасные враги патриотов? Робеспьер отвечает: это блок всех враждебных революционной сил. У него нет этого термина более позднего времени — «блок». Но он с успехом заменяет его иным, превосходным определением: «лига всех клик». В речи в Якобинском клубе 5 июля он говорит: «Лига всех клик повсюду проводит одну и ту же систему»¹⁹⁷. Это система обмана и лжи, лицемерных заверений в своей преданности революции, скрывающих за громкими фразами низкую клевету, грязную интригу, вероломные инсинуации, разжигание братоубийственных страстей.

Слуги тиранов, преемники Бриссо, Эберов, Дантонов, они не останавливаются ни перед какими преступлениями. «Они стремились распустить Национальный конвент, уничтожить его путем коррупции... Они пытались развратить общественную нравственность и заглушить благородные чувства любви к свободе и родине, изгнав из Республики здравый смысл, доблесть и гуманность... Наконец, наветы, предательства, пожары, отравления, атеизм, коррупция, голод, убийства — они расточали все преступления. Им остается еще раз убийство, вновь убийство и потом опять убийство!»

И этот великолепный по своей концентрированной энергии обвинительный перечень преступлений врагов Робеспьер завершает неожиданным, исполненным революционной гордости заключением: «Порадуемся же и поблагодарим небо, мы достаточно хорошо послужили отечеству, чтобы нас сочли достойными кинжалов тирании!»¹⁹⁸

Но мы уклонились несколько в сторону. В этой объединенной лиге всех клик есть ведущая, направляющая сила. Робеспьер ее отчетливо различал и прямо на нее указывал.

В речи в Якобинском клубе 1 июля, проникнутой горестью и тревогой, в речи, в полный голос возвестившей грозную опасность, нависшую над революцией, Робеспьер назвал ту мятежную группировку, которая объединяет и сплачивает все враждебные Республике силы. Это — «клика снисходительных». «Клика снисходительных смешалась с другими кликами, она является их оплотом, их поддержкой... Эта клика, увеличившаяся за счет остатков всех других клик, соединяет одним звеном всех, кто составлял заговоры с начала революции... она теперь пускает в ход те же средства, кото-

рые когда-то употребляли Бриссо, Дантоны, Эберы, Шабо и столько других злодеев»¹⁹⁹.

«Снисходительные», или «умеренные», — это, как известно, прозвище, данное дантонистам. Робеспьер проявил большую проницательность, разглядев в пестром и разнородном блоке охвостье дантонистов как ведущую силу. Это было для него тем труднее, что на первом плане его врагами выступали отнюдь не дантонисты, а противники дантонистов — будущие «левые термидорианцы»: Билло-Варенн, Колло д'Эрбуа, Вадье и другие. У «снисходительных», у дантонистов в это время — после казни Дантона и Демулена — уже не было выдающихся вождей. Но их значение и вес определялись тем, что они были политическим представителем новой, спекулятивной буржуазии, возглавившей буржуазную контрреволюцию.

Робеспьеру в его анализе наступающих на якобинскую диктатуру сил не хватает только классовых определений. Но он так правильно, так точно выявляет в этом пестром конгломерате ведущий ударный отряд, что кажется, эти классовые определения вот-вот сорвутся с его пера. Он называет эту клику «снисходительных» контрреволюционной и подчеркивает, что ее мощь стала уже угрожающей для революции. «Я бы сегодня не выступил против этой клики, если бы она не стала столь могущественной, что пытается ставить помехи действиям правительства»²⁰⁰.

Итак, после стольких жертв и усилий, после стольких блистательных побед, после того, как сокрушены и ввергнуты в небытие все могущественные противники, пытавшиеся остановить революцию, — Дантон, Камилл Демулен, Делакруа, — после всего этого напоенная кровью почва Франции зарастает чертополохом, и всякая нечисть, воры и убийцы, Фуше и Тальены заносят отравленный кинжал над якобинской Республикой.

В характере Робеспьера не было ничего от Гамлета: ни ослабляющих волю сомнений, ни мучительных колебаний. Он не воскликнул бы: «Ах, бедный Йорик! Я знал его, Горацио...» Он проходил мимо могил друзей и врагов, не оборачиваясь. Он был человеком действия. Правда, с юных лет и до последних дней своей удивительной судьбы Робеспьер оставался верен главной мечте — мечте о золотом веке, о мире добродетели, равенства, справедливости.

Он оставался до конца верным последователем и

учеником Жан-Жака и вслед за великим философом разделял его почти наивную, полудетскую неугасимую веру в более справедливый, лучший общественный строй, который близок, возможен, достижим в той же мере, в какой человек близок к окружающей его со всех сторон вечной, прекрасной, зеленой природе. Но в отличие от своего учителя, остававшегося до последних дней мечтателем, Максимилиан, представлявший иное, новое поколение, уже не довольствовался мечтаниями; мечты он претворял в действия — стремительные, напористые, полные неукротимой энергии.

Терроризм Комитета общественного спасения, возглавляемого Максимилианом Робеспьером, и был стремлением якобинских руководителей достичь кратчайшим путем лежащий где-то совсем рядом вечно зеленый, перекликающийся с голосами природы, основанный на «естественных правах» человека мир равенства и справедливости, мир счастья.

Надо лишь проложить к этому лучшему миру дорогу, железной рукой убрать всех стоявших на пути к счастью. Ставшие широко известными, внушавшими такой страх всем, кто имел причины опасаться, слова Робеспьера: «Надо, чтобы наказание было на быстроте преступления» — и выражали динамическую суть этого неукротимого желания проложить народу путь к счастью.

Робеспьер остался таким же и в последние недели своей недолгой жизни. Его по-прежнему нельзя было ни запугать, ни сбить с пути. Выступая 7 прериаля в Конвенте с гневным обличением «сброда честолюбцев, интриганов, болтунов, шарлатанов, плутов... мошенников, иностранных агентов, контрреволюционеров, лицемеров, вставших между французским народом и его представителями с тем, чтобы обмануть одного и оклеветать других...», Робеспьер спокойно добавил: «Говоря эти слова, я оттачиваю против себя кинжалы, но я для этого их и говорю».

К смерти он относился теперь с еще большим пренебрежительным равнодушием, чем раньше; он давно уже свыкся с мыслью о неизбежности насильственного конца. «В наши расчеты и не входило преимущество долгой жизни», — с горькой иронией говорил он 7 прериаля²⁰¹. Отсюда шла его поразительная неустрашимость, вселявшая леденящий страх в души его противников. «Не во власти тиранов и их слуг лишить меня смело-

сти»²⁰², — презрительно бросил он своим противникам в одном из своих последних выступлений.

Робеспьер был не из тех людей, которых какой-нибудь Фуше, или Баррас, или кто-либо еще из алчущих крови шакалов мог бы захватить врасплох. Его зоркий взгляд внимательно следил за обходными маневрами и подземными подкопами противников. Он без труда разгадал нечистую игру Фуше, льстиво искавшего примирения с Неподкупным, и добился его исключения из Якобинского клуба. В распоряжении Робеспьера и Сен-Жюста были сведения о все шире разраставшемся заговоре, о его участниках, вожаках, об их тайных действиях и планах.. Он знал, что в этот заговор постепенно втягивалось «охвостье» дантонистов и эбертистов, чем-то обиженные или опасавшиеся заслуженной кары депутаты Конвента, всегда молчавшие депутаты «болота», прямо или косвенно связанные с нуворишами, тайными спекулянтами и торгашами, что нити заговора уходили в подполье — к жирондистам.

XII

Лето 1794 года, как утверждают почти все современники и мемуаристы, было душным и жарким. С раннего утра парило, небо было безоблачным, и только к полудню собирались тучи. Казалось, что скоро разразится гроза, но постепенно тучи рассеивались, небо светлело, освежающий благостный дождь, которого ждали природа и люди, так и не приходил.

Все эти последние месяцы Робеспьер плохо спал. Днем какие-то дела не давали ему возможности задуматься, сосредоточиться. К вечеру он чувствовал себя крайне утомленным. Едва темнело, он быстро засыпал. Но сон был недолгим, и к полуночи он просыпался. В это время к нему и приходили мысли, для которых днем не оставалось свободного времени. Он одевался, как всегда, тщательно, несколько старомодно. Во внешнем облике он неизменно оставался человеком старого мира: напудренный парик, чулки, хорошо отутюженный бант — господин де Робеспьер. Со своим огромным псом Броуном, к которому он как-то особенно привязался в эти последние месяцы, он совершал ночные прогулки по Парижу.

Подражал ли он своему учителю Жан-Жаку Руссо? Повторял ли он в столь неподходящих условиях

«прогулки одинокого мечтателя»? Об этом трудно сказать. Ночной Париж был безлюден, но лишь брезжил рассвет, как перед закрытыми дверями мясных лавок и булочных выстраивались длинные очереди, каждый старался прийти как можно раньше, потому что продовольствия не хватало, и оно доставалось только тем, кто ближе всех стоял к закрытым дверям. В 8 утра мясник открывал дверь, он отпускал мясо по установленным ограниченными нормам. Проходил час, и мясная пустела. Никакие законы правительства о твердых ценах, об обязательных нормах продажи продовольствия не могли обеспечить в необходимых размерах Париж. Людям жилось плохо.

Робеспьер, прогуливаясь со своей собакой, подходил иногда к этим очередям, вставал где-нибудь в конце «хвоста» (этот термин уже тогда появился и был известен обитателям столицы) и начинал разговор с окружающими. Все кляли революционное правительство, которое не могло обеспечить население необходимым количеством продовольствия, жаловались на тяжелую судьбу, ругали «этого Максимилиана Робеспьера», приписывая ему все несчастья, выпавшие на их долю. Максимилиан слушал их со вниманием, иногда задавал вопросы, но в споры не вступал.

Он проходил с Броуном, ни на шаг не отстававшим от хозяина, по пустынным набережным, переходил через Новый мост на правую сторону, иногда присаживался где-нибудь в безлюдном парке Тюильри, где, просыпаясь, начинали щебетать птицы и изредка прохаживались влюбленные. На скамейке в безлюдном парке, ежась от предутренней свежести, благодатной, но недолгой, он размышлял о том, что ждет страну впереди.

Историк не имеет права сочинять, придумывать те мысли, о которых не осталось ни записей, ни памятников. О чем размышлял Максимилиан Робеспьер в этот последний месяц своей жизни во время долгих прогулок по безлюдному ночному или просыпающемуся Парижу? То, о чем он думал, тот диалог, безмолвный, внутренний диалог, который он вел сам с собой, остался неизвестным потомству.

В доме столяра Дюпле отсутствие Максимилиана сразу замечали. Его возлюбленная Элизабет Дюпле, которую все еще называли его невестой, беспокоилась о своем суженом. То была странная любовь, любовь, для которой не оставалось времени. Когда Элизабет спра-

шивала Максимилиана, когда же наконец они будут жить вместе, когда будет создан домашний очаг, то, о чем мечтает женщина, стремящаяся к установленному веками, традиционному, рассчитанному на долгие годы браку, Максимилиан отвечал: «Подожди немного, совсем недолго, революция скоро победит». И она ждала, ждала хотя бы потому, что у нее не было никакого иного решения, она не могла предложить ничего другого тому, кого она обожала. Она лишь постоянно беспокоилась и издали, стараясь оставаться незамеченной, следила за ним.

Под утро Максимилиан возвращался. Он был утомлен этой долгой ночной прогулкой и на короткое время снова засыпал. Броун лежал у его ног, прислушиваясь к звукам, доносившимся извне.

В исторической литературе с давних пор идет спор о том, чем же определялось это странное поведение Робеспьера в последние два месяца его жизни и особенно в роковые дни и ночи термидора? Почему он медлил, почему не вынимал шпаги из ножен, не наносил разящего удара? Эта медлительность, эти колебания, эта труднообъяснимая скованность действий — что стояло за ними? К сожалению, споры шли главным образом о действиях Робеспьера 8 — 9 термидора, оставались нерассмотренными тесно связанные с ними предшествующие шесть недель.

Альфонс Олар и вслед за ним Париже склонны были видеть главную причину нерешительности Робеспьера в дни 9 термидора в его пиетете к легальности, в преклонении перед законностью. Оказавшись в конфликте с большинством Конвента и с комитетами, Робеспьер потерял правовую опору, конституционные основы для продолжения борьбы²⁰³.

Матъез возражал против этого объяснения. Он легко разрушал эту логическую конструкцию простым напоминанием об отношении Робеспьера к народным восстаниям, к 14 июля 1789 года, 10 августа 1792 года, 31 мая — 2 июня 1793 года. Ему нетрудно было этими примерами доказать, что Робеспьер вовсе не был законником, рабом легальности. Он опровергал версию Олара и Париже и весьма убедительным исправлением фактической истории поведения Робеспьера в решающие часы, в ночь с 9 на 10 термидора²⁰⁴. Матъез доказал, что и в последние часы своей жизни Робеспьер остался тем же, кем был, — революционером с головы до ног.

Но блестяще опровергнув версию Олара о Робеспьере как законнике, приверженце легальности, Матъез неожиданно приходит к той же опровергнутой им концепции. Просчеты и промахи, допущенные Робеспьером 8 — 9 термидора, он объяснял тем, что Неподкупный ошибался в оценке политического положения. Он не считал возможной коалицию между своими противниками — террористами Горы и умеренными «болота», шедшими до сих пор за ним. Робеспьер, по мнению Матъеза, «сохранил веру в Конвент, и ему не приходило в голову, что он уже не сможет взойти на эту трибуну, где его красноречие столько раз приносило блистательный успех, он не представлял, что его голос может быть заглушен звонком председателя...»²⁰⁵.

Но с этим мнением выдающегося знатока французской революции невозможно согласиться. С 24 прерияля по 8 термидора, т. е. в течение полутора месяцев, Робеспьер ни разу не выступал в Конвенте. Почему? Он был болен? Он нигде не выступал вообще? Факты это опровергают. За это же время Робеспьер неоднократно выступал в Якобинском клубе. Следовательно, он вполне сознательно и намеренно избегал одну аудиторию и обращался к другой. Если припомнить колебания и неодобрительное молчание Конвента во время его выступлений 10 и 12 июня, то ответ напрашивается сам собой. Робеспьер не питал больше доверия к большинству Конвента. Он не заблуждался в оценке складывавшегося против него заговора.

Он слышал предостерегающие голоса врагов. Анонимный автор, называвший себя депутатом Конвента, в письме без даты угрожающе спрашивал Робеспьера: «Но сумеешь ли ты предусмотреть, сумеешь ли ты избежать удара моей руки или двадцати двух других таких же, как я, решительных Брутов и Сцевол?»

До него доходили и предупреждения друзей. Из родного Арраса Бюиссар, друг его юности, писал: «В течение месяца, с тех пор как я писал тебе, мне кажется, что ты спишь, Максимилиан, и допускаешь, чтобы убивали патриотов»²⁰⁶.

Максимилиан не спал. Он все видел и слышал. Но он не действовал.

Этот человек действия, человек железной воли и неукротимой энергии потерял присущий ему дух действительности. Он не действовал потому, что понял: революция, с которой он связал свою судьбу, не повинуетя

больше голосу справедливости, совести, заботе о народном благе. Вождь партии равенства, как называл его Буонарроти²⁰⁷, начал убеждаться в том, что после стольких жертв торжествуют не равенство и добродетель, а преступления, пороки, богатство. А ведь он записал в первые дни победы якобинцев: «Наши враги — порочные люди и богачи»²⁰⁸. И вот теперь, год спустя после славного народного восстания 2 июня, эти враги готовятся торжествовать.

То состояние оцепенения, в котором находился в последние недели своей жизни Робеспьер, было порождено глубоким, неизлечимым кризисом революции; оно было своеобразным отражением того оцепенения, которое переживала перед своей гибелью сама революция.

В речи в Якобинском клубе 5 июля Робеспьер говорил: «Если трибуна якобинцев с некоторого времени умолкла — это не потому, что им ничего не осталось сказать; глубокое молчание, царящее у них, есть следствие летаргического сна, не позволяющего им открыть глаза на опасности, угрожающие родине»²⁰⁹.

Революция была в летаргии, говорил Робеспьер. То же ощущение испытывал его друг и единомышленник Сен-Жюст, когда он записывал примерно в это же время: «Революция оледенела, все ее принципы ослабели, остались лишь красные колпаки на головах интриги»²¹⁰.

Робеспьер еще иногда выражает веру в торжество принципов справедливости, но эта мысль приобретает уже совершенно иное значение, чем раньше. Прежде он с уверенностью говорил о близком триумфе великих идеалов революции. Теперь он допускает лишь конечную победу великих принципов революции либо рассматривает ее как альтернативную. «Объявить войну преступлению — это путь к могиле и бессмертию; благоприятствовать преступлению — это путь к трону и к эшафоту», — говорил он в начале прерияля²¹¹, когда еще не была потеряна надежда одолеть врагов.

Позже его мысли приняли открыто пессимистический характер: «Уж лучше было бы нам вернуться в леса, чем спорить из-за почестей, репутации, богатства; из этой борьбы выйдут лишь тираны и рабы»²¹².

8 термидора (26 июля) Робеспьер в переполненном до отказа зале Конвента поднялся на трибуну. Все чувствовали, более того, знали, что этим выступлением на-

чинается решающее сражение между якобинской Республикой и ее врагами.

Но не Робеспьеру принадлежала инициатива этой битвы. Не он выбирал место и время для своего выступления. Он должен был выступить, потому что Конвент, по протесту Дюбуа-Крансе, постановил, чтобы комитеты представили доклад о действиях Робеспьера²¹³. Его появление на трибуне Конвента, где его не видели в течение месяца, было до некоторой степени вынужденным.

Историки, анализируя события 8—9 термидора, уделяли большое внимание ошибкам, допущенным Робеспьером в ходе сражения: его обвинения не были персонифицированы, он никого не назвал по именам и тем самым заставил всех депутатов Конвента объединиться против него, он был нерешителен, он не вел наступательной тактики, он не согласовал своего доклада с Сен-Жюстом и Кутоном, он не следил за действиями своих противников и т. д. и т. п.²¹⁴

Возможно, что в этих соображениях и есть доля истины. Однако внимательное изучение последних выступлений Робеспьера убеждает в ином: он не намеревался 8—9 термидора дать решающее сражение противникам.

«Не думайте, что я пришел сюда, чтобы предъявить какое-либо обвинение; меня поглощает более важная забота, и я не беру на себя обязанностей других. Существует столько непосредственно угрожающих опасностей, что этот вопрос имеет лишь второстепенное значение»²¹⁵. Так говорил Робеспьер в начале своей речи.

Было ли это лишь тактическим приемом, рассчитанным на то, чтобы усыпить бдительность своих противников и завоевать доверие членов Конвента? Вряд ли.

Достаточно сопоставить речь Робеспьера 8 термидора с его выступлениями 22 и 24 прериала в Конвенте, чтобы увидеть, как резко они отличаются друг от друга. Речи в прериале конкретны, целеустремленны; все их содержание подчинено совершенно ясным задачам, которые ставил перед собой их автор. В речи 8 термидора эта целеустремленность отсутствует; порою становится даже неясно, что, собственно, хочет оратор. Здесь нужны догадки. И по-видимому, когда он говорит, что есть более важные вопросы, чем обвинения виновных, он

имеет в виду главный вопрос — о будущем Республики, о судьбах революции.

Если уж с чем сравнивать речь 8 термидора, так это с выступлениями Робеспьера 1789 года. Та же глубокая уверенность в своей правоте, то же равнодушие к тому, как речь будет встречена слушателями. Подобно выступлениям 89 года Робеспьер 8 термидора через головы своих слушателей обращался к иной аудитории. К кому? К французскому народу? К потомству? К будущим поколениям?

Может быть.

Это была речь о величайшей опасности, нависшей над революцией. «Какое значение имеет отступление вооруженных сателлитов королей перед нашими армиями, если мы отступаем перед пороками, разрушающими общественную свободу! Какое значение имеет для нас победа над королями, если мы побеждены пороками, которые приведут нас к тирании!»²¹⁶

Он был человеком со всеми присущими людям страстями и слабостями, и он не мог не сказать о себе: «Они называют меня тираном. Если бы я был им, то они ползали бы у моих ног; я осыпал бы их золотом, я бы обеспечил им право совершать всяческие преступления, и они были бы благодарны мне!» Его речь была проникнута воодушевлением, он говорил почти пророчески: «К тирании приходят с помощью мошенников; к чему приходят те, кто борется с ними? К могиле и к бессмертию»²¹⁷.

Робеспьер предупреждал об опасном заговоре, угрожавшем Республике. Его авторитет был еще так велик, он все еще сохранял такое решающее влияние, что эта грозная речь, вселившая смятение и страх в сердца многих присутствовавших в зале, была встречена громом аплодисментов.

Но не было вынесено никакого решения, кроме того, чтобы речь напечатать. Принятое Конвентом предложение разослать речь по коммунам после возражений Билло-Варенна, Бентоболя, Шарлье было отменено. Робеспьеру предложили назвать депутатов, которых он обвинял. Он отказался. Он не предлагал и никакого решения.

Вечером он прочитал эту же речь в Якобинском клубе. Не для якобинцев ли она первоначально предназначалась? Во всяком случае, как это видно из

текста речи, она была адресована в большей мере якобинцам, чем депутатам Конвента.

В отличие от Конвента, где речь вслед за аплодисментами встретила возражения, в Якобинском клубе она была принята восторженно. Есть версия, будто Робеспьер назвал ее своим предсмертным завещанием. Якобинцы стоя рукоплескали Неподкупному. «Я выпью с тобою до дна цикуту», — воскликнул знаменитый Давид. Билло-Варенна и Колло д'Эрбуа, пытавшихся возражать, прогнали с трибуны и вытолкали на улицу.

Готовился ли Робеспьер к борьбе, которая должна была завтра возобновиться? Ничто это не подтверждает.

Робеспьер вернулся на улицу Сент-Оноре, в дом Дюпле, где и спал до утра. «Этот сон стоил ему жизни»²¹⁸, — писал Луи Барту. Но это лишь одно из преувеличений историка. Весь образ действий Робеспьера и даже эта последняя деталь убеждают в том, что он в эти дни не искал решающего сражения, что он от него уклонялся, что его мысли были заняты иным.

О чем он думал? О будущности? О завтрашнем дне? О жизни и смерти? О смерти и бессмертии? Может быть, о неразличимых в сгустившихся сумерках душного июльского вечера красках, цветах кажущегося еще бесконечно далеким и все же неотвратимо грядущего утра?

Мы этого никогда не узнаем.

Робеспьер спал, не просыпаясь, последнюю ночь перед 9 термидором, и Броун дремал у его ног, шевеля во сне ушами, улавливая какие-то доходявшие только до него одного настораживающие звуки. А заговорщики всю ночь совещались и разрабатывали план действий. Как шакалы, поджавшие хвост, услышав голос льва, эти еще вчера храбрившиеся наглецы после речи Робеспьера потеряли головы от страха. Баррас, Фрерон, Тальен, Ровер и их сообщники — каждому из них надо было держать ответ за столько преступлений, что их бросало в дрожь от непреодолимого животного страха. Они уже видели нож, занесенный над их головами. Но у них оставалось время, голова с их плеч еще не скатилась. Даже черный список их чудовищных злодеяний и преступлений еще не был предан гласности. Это сделает завтра Сен-Жюст — в том не было сомнений, ведь он знал все, — и тогда их уже ничто не спасет...

Значит... Надо было действовать.

По-видимому, первое презрительное напоминание о трусости и бессилии пустых болтунов пришло со стороны, от женщины. Тереза Кабарюс из парижской женской тюрьмы сумела переслать Тальену записку. Она была краткой и иносказательной. «Мне снился сон» — так начиналась записка. Тереза излагала содержание этого странного сна. Ей снилось, что ее завтра казнят, но что если бы на свете были не плаксивые слюнтяи, а настоящие мужчины, то все еще можно было бы повернуть.

Таково было примерно содержание этой странной, намеренно оскорбительной записки*. Может быть, она первой побудила их к действию. Воры, убийцы, казнокрады, вымогатели, взяточники, грабители, мародееры, составившие состояние на ограблении своих жертв, — они ведь оставались еще (еще! быть может, последний день!) облеченными высоким званием представителей народа, депутатов Национального конвента. Не было в Республике более высокого звания. Как же не попытаться сыграть на этих козырных картах! Игра шла на головы. Проигравшие должны были расплачиваться своей головой.

Они сумели отбросить парализовавший их страх. Многоопытные убийцы, в час смертельной опасности они умели действовать. Неизвестно откуда вынырнувший неразговорчивый или уклончивый в ответах Фуше связывал узелки, соединял незримыми нитями, казалось бы, различные, самостоятельные, ничем друг с другом не соединенные действия.

Была установлена полная согласованность с теми, кого называли левыми, — с Колло д'Эрбуа, Билло-Варенном, Вадье, Амаром. Им льстили, перед ними заискивали, их с готовностью пропускали вперед — на первое место.

Сумели найти, соблюдая необходимую осторожность, общий язык или, скажем осторожнее, близость взаимопонимания с такими людьми, как Карно, Барер, Камбон — влиятельнейшими депутатами Конвента.

Теперь заговорщики искали продолжения сражения.

Оно возобновилось утром 9 термидора (27 июля) в переполненном до отказа зале заседаний Конвента. В

* Она была опубликована Увваром.

эти последние дни июля в Париже стояла очень жаркая погода. С утра парило, было душно. И все-таки, несмотря на гнетущую духоту, зал заседаний, хоры были заполнены молчаливо ожидавшими людьми.

На трибуну поднялся Сен-Жюст, спокойный, уверенный. Он начал доклад в холодно-сдержанном тоне: он взошел на эту трибуну, чтобы сорвать маски с заговорщиков, раскрыть все их преступления...

Председательствовал Колло д'Эрбуа. Он был соучастником ночных конспираций и сообщником тайно вызревавшего заговора. Бывший актер по профессии и автор многих трагедий и драм, так и не сохранившихся в театральном репертуаре, он не мог преодолеть тщеславной гордости за ту и в самом деле решающую роль, которую возложила на него в тот день история. Колло д'Эрбуа не знал еще тогда, чем обернется для него самого это запомнившееся на века утро июльского марева, и он старался, старался с неподдельным воодушевлением актера, опьяненного впервые доставшейся ему великой ролью.

Он не дал Сен-Жюсту произнести решающие слова. Заговорщики, действуя по заранее составленному, тщательно подготовленному плану, в обстановке невероятной сумятицы и шума, созданного ими в зале, сменяли один другого на трибуне. Колло д'Эрбуа, лишая Сен-Жюста возможности продолжать доклад, злоупотребляя правами председателя, предоставил трибуну Билло-Варенну, которого сменил Тальен. Забрызганный с ног до головы кровью погубленных им людей, изобличенный в казнокрадстве, взяточничестве, грабежах, этот преступник, уже исключенный из Якобинского клуба, стал говорить не о своих преступлениях, а с наигранным негодованием «возмущаться» тиранией Робеспьера и Сен-Жюста, их приверженностью к терроризму. Заговорщики торопились переложить свои преступления на руководителей революционного правительства. Тщетно Робеспьер добивался слова.

— В последний раз, председатель убийц, я требую слова, — воскликнул Робеспьер, обращаясь к Колло д'Эрбуа. Но тот заглушал его голос колокольчиком. Ночные сообщники ранее всего договорились ни при каких условиях не давать слова ни Сен-Жюсту, ни Робеспьеру.

Сен-Жюст оставался по-прежнему на трибуне. Ведь принадлежавшее ему по праву слово так и не было про-

изнесено; подготовленный им доклад так и не был прочитан; он теребил в руках исписанные им листки. Почему он так легко, без спора допустил, что этот презренный Тальен дерзко узурпировал его, Сен-Жюста, права? Может быть, он ждал, когда и до него дойдет черед? Но к чему такая терпимость?

Мы никогда не узнаем ответы на эти вопросы. С насмешливой, презрительной улыбкой, блуждавшей на его губах, Сен-Жюст следил за этим тщательно подготовленным представлением, за низкопробным фарсом, в котором можно было безошибочно предсказать каждое следующее действие. Сменявшие друг друга на трибуне Билло-Варенн, Вадье, Барер, блуждая вокруг и около, так и не решались произнести главного: у них не хватало для этого храбрости. И лишь когда какой-то ничтожный, никому не ведомый Луше откуда-то сверху, может быть с хоров, выкрикнул предложение об аресте Робеспьера, зал на мгновение оцепенел. Стало тихо. Затем заговорщики шумными выкриками, аплодисментами, в обстановке нарастающего хаоса и сумятицы бурно поддерживали Луше. Это ведь и была их главная цель.

Колло д'Эрбуа позднее утверждал, что Конвент проголосовал за это предложение. Может быть, это и было так, а может, и нет. Знаменитый № 311 «Монитера», передавший первым рассказ о событиях 9 термидора, не разъясняет эти подробности. Жерар Вальтер пытался позднее сопоставлять свидетельства «Монитера» со сведениями «Курье де л'Эгалите» и другими источниками²¹⁹, но он был далеко не первым, кто хотел наиболее полно восстановить картину знаменитых исторических событий. Однако в этих событиях и после него по-прежнему остается много неточного, противоречивого и неясного. Да и имеют ли эти подробности существенное значение?

К тому же следует признать как нечто вполне достоверное, что «болото», составлявшее значительное большинство членов Конвента и всегда шедшее за теми, кто был сильнее, «болото», еще вчера рукоплескавшее Робеспьеру, 9 термидора, после всего происшедшего, переметнулось на сторону его противников и, если надо было, с легким сердцем голосовало против него.

В этот день основным, определяющим поведение членов Конвента чувством было чувство страха; страх объединял и сплачивал все антиробеспьеристское большинство, так отчетливо определившееся в зале. В этой

игре на человеческие головы предложение какого-то Луше было столь единодушно одобрено прежде всего потому, что оно означало, что падут головы не их, не преступников, не их сообщников, не всей этой разбойничьей банды, дрожавшей за то, что придется держать ответ за все злодеяния и преступления, а головы их обвинителей.

Заговорщики хлопали в ладоши, что-то громко выкрикивали. Они не могли скрыть распиравшей их радости, что им удалась эта казавшаяся столь невероятно трудной, почти неосуществимой операция. Пираты, захватившие корабль и отправившие на эшафот тех, кто располагал неопровержимыми доказательствами их преступлений, они ликовали.

Робеспьер-младший, Огюстен, заявил, что, разделяя доблести брата, он хочет разделить и его судьбу. «Я требую обвинительного декрета». Это требование было сразу же удовлетворено. Было принято также решение об аресте Сен-Жюста, Кутона, Леба. Ранее был декретирован также арест Анрио и председателя Революционного трибунала Дюма.

«Республика погибла. Настало царство разбойников», — сказал Робеспьер, спускаясь к решетке Конвента.

Было шесть часов вечера. Председательствующий объявил перерыв заседания до семи часов.

Но в час, когда заговорщики превратились в вершителей судеб Республики, в ее руководителей, в истолкователей воли народа, когда, не скрывая своего ликования, за обильным ужином, за пьянящими бокалами вина они шумно праздновали свою победу, — в этот час их торжества и восторгов произошло непредвиденное.

Прежде всего арестованных, судьбой которых распоряжался Комитет общественной безопасности, оказалось совсем не просто упрятать в тюрьмы. Робеспьера направили в тюрьму Люксембург, но начальник ее, узнав, кого ему направляют в качестве узника, отказался его принять. Заключение Робеспьера в тюрьму? На это его согласия никогда не будет! Робеспьера пришлось отвозить в здание полицейской префектуры. Там его приняли, но со всеми знаками почтительности и величайшего уважения. Нечто сходное происходило и с Кутонем, и с Сен-Жюстом, и с Леба.

Но главное было не в этом. Народ Парижа, санкюлоты столицы, простые люди плебейских кварталов, сол-

даты, артиллеристы, когда до них дошли вести о происшедшем, поднялись на защиту Робеспьера и его друзей. Коммуна Парижа, Якобинский клуб, ряд секций объявили незаконными действия заговорщиков, прикрывавшихся именем Конвента, и призвали народ к восстанию. Народ освободил вождей революции, находившихся в разных местах заключения, и перевез их по одному в разное время в здание Ратуши — резиденцию Парижской коммуны.

То было народное восстание, возникшее стихийно, без руководителей, без какого-либо плана действий, да его и не могло быть, поскольку оно возникло спонтанно.

В самом ходе этих переломных событий остается много противоречивого, неясного, загадочного, хотя исследователи давно уже пытались восстановить картину по первоисточникам. В распоряжении автора этих строк находится великое множество фотокопий разнообразных документальных материалов, относящихся к событиям 9 термидора, почерпнутых из соответствующих досье Национального архива в Париже²²⁰. Однако изучение этих документов не уменьшает, а увеличивает число недоуменных, трудноразрешимых вопросов.

Чаша весов на протяжении всего вечера 9 термидора колебалась, склоняясь то в одну, то в другую сторону.

Было время, когда казалось, что перевес склоняется в пользу восставшего народа. Анрио, которого первоначально арестовали жандармы, был освобожден Коффингалем и начал быстро собирать вооруженные силы. Артиллеристы, Национальная гвардия выступили против мятежников в Конвенте. Военное превосходство было явно на стороне народа. Был момент, когда мятежники считали свое дело проигранным. Во время вечернего заседания Баррасу, получившему полноту полномочий, сообщили, что Коффингаль во главе крупных вооруженных сил движется на Конвент. Коффингаль действительно, опираясь на верные войска, не встречая сопротивления, быстро продвигался вперед. Но в последний момент, вместо того чтобы арестовать уже готовых разбежаться заговорщиков, он повернул в Комитет общественного спасения, занял его, но, не найдя там ни Амара, ни Вадье, стал их искать, а затем приказал войскам возвращаться к площади Ратуши.

Было допущено много ошибок, грубых просчетов, промахов, а главное — терялось время. Флерио-Леско и

Пейан в великолепных, с высокими лепными потолками хоромах здания Ратуши чувствовали себя уверенно и тратили время на составление воззваний к народу. Но в эти решающие часы истории нужны были не воззвания, не слова, а действия. Тысячи, может быть, десятки тысяч людей — солдат, артиллеристов с орудиями, национальных гвардейцев, санкюлотов, рабочих — стояли на площади перед Ратушей. Они ждали приказов к действию.

Заговорщики не теряли времени. Они отлично поняли, что на карту снова поставлены их головы. Прикрываясь именем Конвента, они провели решение, объявлявшее Робеспьера и его друзей вне закона. Этот разбойничий акт избавлял их от необходимости судить руководителей революционного правительства — от того, чего они боялись больше всего. Самым страшным для них было то, что Робеспьер и Сен-Жюст могут заговорить и расскажут о них правду.

Они разослали своих эмиссаров во все буржуазные секции Парижа, во все верные им воинские части.

Примерно часов в одиннадцать вечера в зале Ратуши собрались Максимилиан Робеспьер, его младший брат, Сен-Жюст, Леба, Анрио; позже других был приведен Кутон. Революционные вожди снова были на свободе, все вместе, среди друзей, и на площади их защищал народ.

Могло казаться, что чаши весов снова круто переместились и что мировая история готова совершить один из самых головокружительных виражей.

Робеспьер некоторое время, видимо, был в каком-то оцепенении. Но когда он увидел, что народ верным инстинктом понял, на чьей стороне правда, он ввязался в борьбу, он готов был все начинать сначала.

Писали, будто в последние часы Робеспьера томили сомнения по поводу легальности, законности его действий. Матьез неопровержимо доказал необоснованность этих утверждений²²¹. Несколько революционных вождей, объявленных вне закона Конвентом и освобожденных восставшим народом, они, а не «законный» Конвент представляли революцию в эти последние ее часы. Когда надо было подписать воззвание к армии, возник вопрос, от чьего имени его следует подписывать. «От имени Конвента, разве он не всегда там, где мы?» — воскликнул Кутон. «Нет, — ответил Робеспьер после короткого размышления, — лучше будет:

от имени французского народа». В последние часы своей жизни они остались теми же, кем были, — великими революционерами, свободными от всяких формально-правовых догм, ставящими имя французского народа выше самых авторитетных конституционных учреждений.

Но было уже поздно. Вследствие предательства одна из частей контрреволюционных войск проникла в здание Ратуши и ворвалась в зал, где заседали вожди революции. Жандарм Мерда выстрелом пистолета раздробил челюсть Робеспьеру. Можно ли было продолжать сопротивление? По-видимому, оно становилось бессмысленным. Так это и было понято присутствующими в зале. Леба застрелился. Робеспьер-младший выбросился из окна, но не погиб, а лишь разбился. Все было кончено.

Один лишь Сен-Жюст был задумчиво равнодушен, безразличен. Его взгляд случайно упал на украшавшую один из великолепных залов Ратуши мраморную доску с высеченным на ней золотыми буквами текстом Декларации прав человека. Прочитав ее первые строки (он знал наизусть и все следующие), он произнес так же задумчиво: «А ведь все-таки это создал я...»

Всех увели. Залы Ратуши опустели. Поздно ночью разразилась давно надвигавшаяся гроза.

На следующий день без суда Робеспьер и его товарищи, живые и мертвые, всего двадцать два человека, были гильотинированы на Гревской площади. 11 термидора, еще через день, также без суда и следствия были казнены еще семьдесят один человек — их обвиняли в том, что они составляли окружение Робеспьера.

Все было завершено. Республика была побеждена. Занавес опустился. Римская трагедия была закончена.

Теперь начиналось новое представление, начиналась новая пьеса — прозаическая, будничная история господства дельцов, спекулянтов, казнокрадов, воров, убийц, проституток, фальшивомонетчиков, охотников за чужими миллионами, превратившихся в важных сановных господ, возглавивших новое общество и даже пытавшихся преподнести порою какие-то уроки морали.

* * *

И вот наше повествование подходит к концу. Да простит меня читатель, если, вместо того чтобы дать за-

ключение, обоснованные и тщательно аргументированные выводы, суммирующие итоги тех исторических процессов, о которых шла речь в книге, я позволю себе сослаться на некоторые сугубо личные воспоминания.

Я родился и вырос в Ленинграде. Там похоронены моя мать, мой дед, мои прадеды. И хотя уже много десятков лет я не живу в городе, где родился, я продолжаю чувствовать свою кровную связь с ним и время от времени возвращаюсь «в свой знакомый до слез» город, где все напоминает мне о давно минувшей поре детства и юности.

Как и многие люди старшего поколения, ленинградцы, я, приезжая в этот город, живу в гостинице, и телефон в моем номере молчит: в этом городе не осталось никого из моих родных, из моих близких, не сохранились и кладбища, где были похоронены мои родители, мои предки. Всякий раз, когда я приезжаю в родные места, я еду на Пискаревское кладбище и подолгу простаиваю, глядя на длинные ряды безымянных могильных памятников, обозначенных лишь годами: 1941, 1942, 1943, 1944. Под этими надгробиями и лежат все те, с кем связаны были мои детские годы, моя судьба.

Бывая в Ленинграде, я брожу по улицам своего далекого детства и юности. И здесь, проходя мимо этих не меняющихся на протяжении десятилетий каменных, хорошо знакомых мне домов, я возвращаюсь мысленно к минувшим годам, к навсегда ушедшему времени.

Когда я нахожусь в Ленинграде, странное дело, — память возвращает меня к событиям первого года революции. В августе 1918 года, несколько месяцев спустя после победы Великого Октября, в Москве в Александровском саду, расположенном у стен Кремля, состоялось большое торжество. Во исполнение подписанного В. И. Лениным декрета Совета Народных Комиссаров об установлении памятников выдающимся революционным деятелям прошлого здесь был торжественно открыт памятник вождю Великой французской революции Максимилиану Робеспьеру.

Памятник деятелю Великой французской революции был одним из первых, поставленных в столице молодой Советской Республики. В те первые месяцы Советской власти, когда уже началась гражданская война, когда Республика испытывала острейшую нужду во всем: в хлебе, топливе, металле, оружии, у сражающегося с врагами народа не было ни бронзы, ни мрамора,

чтобы создать из этих благородных материалов памятник великому якобинцу. Не было и времени, чтобы соорудить монумент на века.

Прошло несколько лет, и скульптурное изображение Робеспьера, сделанное из непрочного материала, начало разрушаться. Прошло недолгое время, и памятник разрушился. Сегодня уже не найти ни памятника, ни того места, где он стоял.

Об этом первом столь недолговечном памятнике Робеспьеру в Александровском саду в Москве я вспоминаю каждый раз, когда бываю в Ленинграде. И вот почему.

Я уже говорил о том, что, приезжая в город моего детства и юности, я хожу по местам, которые мне особенно дороги. Если сегодня вы приедете в Ленинград — колыбель русской революции, если вы пройдете по Литейному проспекту до конца, до гранитных берегов Невы, и повернете направо, вы увидите на синей эмали большую, бросающуюся в глаза вывеску: «Набережная Робеспьера».

Набережная Робеспьера... Это название было дано ей в первые дни революции, вскоре после Октябрьского вооруженного восстания; оно сохранилось и в наши дни.

Каждый раз, когда я приезжаю в свой город, я хожу по набережной Робеспьера, вдоль гранитных берегов Невы. Этот путь можете проделать и Вы, читатель. Вы не пожалеете о том. И если с набережной Робеспьера Вы взглянете прямо на ширь Невы, то на противоположной ее стороне Вы увидите четко вырисовывающиеся очертания скульптурного изображения Владимира Ильича Ленина на броневике, простирающего руку вперед.

Взгляните на эту синюю эмаль вывески: «Набережная Робеспьера» — и на возвышающийся вдали, по ту сторону Невы, памятник Ленину.

И в этом поразительном сочетании имен, запечатленных в камне и металле революционного города, в молчаливой перекличке столь различных эпох Вы услышите голос истории, почувствуете живую связь времен, начала и концы, соединяющие незримыми нитями далекий XVIII век и его героев с новым миром, рожденным в XX столетии.

ПРИМЕЧАНИЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

¹ *Bernardin de Saint-Pierre*. La vie et les ouvrages de J. J. Rousseau. P., 1907.

² *Rousseau*. Oeuvres complètes/Présentations et notes par M. Lapponeraye (далее: *Rousseau*). Т. I. P., 1967. P. 499.

³ *Руссо Ж.-Ж.* Избр. соч.: В 3 т. М., 1961. Т. III. С. 571, 575.

⁴ *Meunier A.* Jean-Jacques Rousseau révolutionnaire. P., s. a. P. 18.

⁵ *Шиллер Фр.* Собр. соч. Т. I. М., 1955. С. 111/Пер. с нем. Л. Мея.

⁶ Сноски здесь и дальше на одно из лучших, на мой взгляд, изданий: *Rousseau J.-J.* Les confessions/Introduction par P. Van Tieghem (далее: *Conf.*). Т. I—II. P., 1956.

⁷ *Correspondance générale de J.-J. Rousseau/Collectionnée par T. Dufour* (далее: *Corr. Gén.*). Т. 1. P., 1924. P. 380—384.

⁸ *Верцман И. Е.* Жан-Жак Руссо. М., 1958. С. 22.

⁹ *Державин К. Н.* Руссо и руссоизм//История французской литературы. Т. I. М.; Л., 1946. С. 760.

¹⁰ *Corr. Gén.* Т. 3. P. 41—42.

¹¹ *Роллан Р.* Собр. соч. Т. 14. М., 1958. С. 609.

¹² *Руссо Ж.-Ж.* Избр. соч. Т. I. С. 310—311/Пер. с фр. В. В. Левика.

¹³ Там же. С. 311.

¹⁴ Там же. С. 315, 318/Пер. с фр. А. С. Голембы.

¹⁵ *Руссо Ж.-Ж.* Избр. соч. Т. III. С. 13.

¹⁶ *Fickert A.* Montesquieus und Rousseau Einfluß auf den vor-mälischen Liberalismus. Leipzig, 1914.

¹⁷ См.: *Поршнев Б. Ф.* Жан Мелье и народные истоки его мировоззрения. М., 1955; *Он же.* Мелье. М., 1964.

¹⁸ В обширной литературе, посвященной Руссо, его отношению к кальвинистской и католической церкви уделялось преувеличенно большое внимание (*Cordier L.* Jean-Jacques Rousseau und der Calvinismus. Jangesalza, 1915; *Gaberd J. P.* Calvin et Rousseau. Genève, 1878; *Grimsley A.* Rousseau and the Religions Quest. Oxford, 1968 etc.).

¹⁹ *Rousseau*. Т. I. P. 213.

²⁰ Ibid. P. 175.

²¹ *Руссо Ж.-Ж.* Избр. соч. Т. III. С. 103.

²² *De Saussure H.* Rousseau et ses manuscrits des Confessions. P., 1958.

²³ *Mémoires du marquis d'Argenson*. P., 1825. P. 203.

²⁴ *Gaxotte P.* Le siècle de Louis XV. P., 1953. P. 12.

²⁵ *Lafue P.* Louis XV ou la victoire de l'unité monarchique. P., 1952; *Levron J.* Louis le bien — aimé. P., 1965; *Mousnier R.* La France de Louis XV//Histoire de France. Т. 2. P., 1968. P. 3—70.

²⁶ *Levron J.* Op. cit. P. 95.

²⁷ Histoire économique et sociale de la France. Т. II. P., 1970. P. 55—84.

²⁸ Le prix du froment en France 1726—1815. P., 1970. P. 9—10.

²⁹ *Levron J.* Op. cit. P. 155.

³⁰ *Mémoires du marquis d'Argenson*. P. 322.

³¹ Ibid. P. 323.

³² Ibid. P. 92.

³³ См.: *Гордон Л. С.* Тема «благородного разбойника» Мандрена в идейной жизни предреволюционной Франции//Век Просвещения. С. 60—82.

³⁴ *Mémoires du marquis d'Argenson*. P. 83.

³⁵ Цит. по: *Рокен Ф.* Движение общественной мысли Франции в XVIII в./Пер. с фр. СПб., 1902. С. 123.

³⁶ *Corr. Gén.* Т. 1. N 85, 86, 89, 90.

³⁷ *Ibid.* N 92; подлинность этого письма бралась под сомнение.

³⁸ *Ibid.* N 98.

³⁹ См.: *Руссо Ж.-Ж.* Избр. соч. Т. I. С. 178—213.

⁴⁰ Она была впервые опубликована уже после смерти Руссо, в 1782 г. На русском языке была напечатана впервые в Избранных сочинениях Жан-Жака Руссо (Т. I. С. 415—434).

⁴¹ *Corr. Gén.* Т. 1. P. 266.

⁴² *Руссо Ж.-Ж.* Избр. соч. Т. II. С. 203.

⁴³ Там же. С. 334.

⁴⁴ *Corr. Gén.* Т. 1. N 55, 103; Т. II. N 173, 205.

⁴⁵ *Rousseau*. Т. I.

⁴⁶ *Руссо Ж.-Ж.* Избр. соч. Т. I. С. 326/Пер. с фр. М. М. Замаховской.

⁴⁷ Там же. С. 325.

⁴⁸ *Верцман И. Е.* Жан-Жак Руссо: Мыслитель и художник: Вступительная статья//*Руссо Ж.-Ж.* Избр. соч. Т. I. С. 29.

⁴⁹ *Руссо Ж.-Ж.* Избр. соч. Т. II. С. 188—189.

⁵⁰ Там же. С. 202—203.

⁵¹ *Карамзин Н. М.* Избр. соч. Т. I. М., 1964. С. 279.

ГЛАВА ВТОРАЯ

¹ *De Loménie L.* Les Mirabeau nouvelles études sur la société française au XVIII siècle. Т. I—III. P., 1878 (2 изд., дополненное Шарлем де Ломени, было издано в 5-ти томах в 1889—1891 гг. также в Париже). Почти столетней давности труды Ломени остаются лучшей классической работой о Мирабо.

² См.: *Волгин В. П.* Развитие общественной мысли во Франции в XVIII веке. М., 1958.

³ *Theorie des impôts* (1768); *Philosophie rurale* (1764); *Lettres sur le commerce de grains* (1768).

⁴ Цит. по: *Rousse Ed.* Mirabeau. P., 1908. P. 55.

⁵ *Ibid.* P. 57.

⁶ *De Loménie L.* Op. cit. Т. II. P. 435—501.

⁷ *Essai sur despotisme*. L., 1776.

⁸ *The Chains of Slavery...* L., 1774.

⁹ *De Loménie L.* Op. cit. Т. III.

¹⁰ *Essai sur le despotisme; Oeuvres de Mirabeau*. Т. 1.

¹¹ *Les chaines de l'eclavage...* par J. P. Marat, l'Ami du peuple. P., (1793). P. 192—209.

¹² *Soboul A.* La civilisation et la Révolution française. Vol. 1: La crise de l'ancien régime. P., 1972.

¹³ *De Loménie L.* Op. cit. Т. II. P. 558—658.

¹⁴ *Ibid.* Т. III. P. 139—160.

¹⁵ *Barthou L.* Mirabeau. P., 1913.

¹⁶ *Rousse Ed.* Mirabeau. The 2nd Ed. P., 1896.

¹⁷ *Valentin A.* Mirabeau avant la Révolution. P., 1946.

¹⁸ *Manceron A. et C.* Mirabeau, l'homme à la vie brûlée. P., 1969.

- ¹⁹ *Dauphin-Meunier*. La vie intime de Mirabeau. P., s. a.
- ²⁰ *De Loménie L.* Op. cit. T. III. P. 192—193.
- ²¹ Oeuvres de Mirabeau. P., 1821. T. 6—8: Lettres à Sophie; Oeuvres de Mirabeau, précédées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages par M. Mérilhou... T. 4—6: Lettres à Sophie. P., 1835 etc.
- ²² Oeuvres de Mirabeau. T. 6: Lettres écrites du Dongon de Vincennes... P., 1821; Lettres inédites de Mirabeau et extraits de mémoires.../Publ. par F. Vitry. P., 1806.
- ²³ Essai sur le despotisme; авторство анонимного сочинения установлено по: *Barbier*. Dictionnaire des ouvrages anonymes. T. 2. Col. 249. На вышедшем в 1792 году (посмертно) издании с именем автора указано, что это (Paris, 1792) третье издание.
- ²⁴ См.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 26. Ч. I. С. 38.
- ²⁵ *Valentin A.* Op. cit.
- ²⁶ *Faure E.* La disgrâce de Turgot. P., 1971.
- ²⁷ *De Lamartine A.* Histoire des girondins. T. I. P., 1884.
- ²⁸ Lettres d'amour de Mirabeau, précédées d'une étude sur Mirabeau par Mario Proth. P., s. a. P. 31.
- ²⁹ *De Montigni L.* Mémoires de Mirabeau. T. I—V.
- ³⁰ *Mirabeau H. G.* De la monarchie prussienne sous Frédéric le Grand. T. I—VI. L., 1788 (Маркс в «Капитале» многократно ссылается на труд Мирабо, оценивая его высоко).
- ³¹ *Jaurès J.* Histoire socialiste de la Révolution française. T. 1. P., 1969. P. 135—136.
- ³² Цит. по: *Soboul A.* 1789 — l'an I de la Liberté. P., 1973.
- ³³ *Роллан Р.* Собр. соч. Т. 13. М., 1958. С. 289.
- ³⁴ *Jaurès J.* Op. cit. T. 1. P. 136.
- ³⁵ *Робеспьер М.* Указ. соч. Т. I. С. 92.
- ³⁶ Oeuvres de Mirabeau. T. 1.
- ³⁷ Ibidem.
- ³⁸ *Робеспьер М.* Указ. соч. Т. I. С. 94.
- ³⁹ Oeuvres de Mirabeau. T. 1. P. 151—152.
- ⁴⁰ Ibid. P. 152—153.
- ⁴¹ См.: *Марат Ж.-П.* Избр. произв. Т. 3.
- ⁴² Oeuvres de Mirabeau. T. 1.
- ⁴³ Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 104.
- ⁴⁴ *Базанов В. Г.* Владимир Федосеевич Раевский. Л.; М., 1949. С. 91; *Орлов М. Ф.* Капитуляция Парижа: Политические сочинения: Письма. М., 1963. С. 292.
- ⁴⁵ Литературное наследие декабристов. С. 105, 106.
- ⁴⁶ *Штрассе М. М.* Русское общество и французская революция. М., 1956. С. 76.
- ⁴⁷ Литературное наследие декабристов. С. 96.
- ⁴⁸ *Герцен А. И.* Соч. Т. 9. М., 1958. С. 225.
- ⁴⁹ L'Ami du peuple. 1790. 46. VII. N 163.
- ⁵⁰ *Delsaux H.* Condorcet journaliste. P., 1931. P. 111.
- ⁵¹ Oeuvres de Mirabeau. T. 1.
- ⁵² Archives Nationales, 284 AP8, dr. 4 (переписка Мирабо с Снейесом. 1789, 1790).
- ⁵³ *Dumont E.* Souvenirs sur Mirabeau... P., 1951. P. 135—138.
- ⁵⁴ См.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 23. С. 756.
- ⁵⁵ *Байрон Дж.* Дневники. Письма. М., 1963. С. 58, 61.

- ¹ Герцен А. И. Соч. Т. 3. М., 1956. С. 330.
- ² Person. Chants républicains et poésies patriotiques. An III; об этом же специальная рукописная работа проф. К. П. Добролюбского.
- ³ Цит. по: Блан Л. История французской революции 1789 года. Т. XI. СПб., 1909. С. 225.
- ⁴ Courtois E. Rapport fait au nom de la commission chargée de l'examen des papiers trouvés chez Robespierre et ses complices. P., 1794.
- ⁵ Duperron L. Vie secrète, politique et curieuse de Maximilien Robespierre, suivi de plusieurs anecdotes sur cette conspiration sans pareille. P., an 2 de la République; Montjoie Ch. F. L. Histoire de la conjuration de Maximilien Robespierre. P., 1796; Merlin de Thionville à ses collègues. Portrait de Robespierre; Lecointre L. Robespierre peint par lui — même. P., s. a.
- ⁶ Буонарротти Ф. Заговор во имя равенства, именуемый заговором Бабёфа. Т. II. М., 1948. С. 72.
- ⁷ Billaud-Varenne J. N. Mémoire inédit sur 9 thermidor//Revue historique de la Révolution française. P., 1910. P. 57—74, 161—175, 321—336; Trois lettres inédites de Voulland sur le crise de thermidor//Annales historiques de la Révolution française. 1927. N 19. P. 67—77; Mémoires de B. Barère, membre de la Constituante, de la Convention, du Comité de Salut public et de la Chambre des Représentants, publiés par H. Camot et David (d'Anger) (далее: Mémoires de B. Barère). Т. 1—2. Bruxelles, 1842.
- ⁸ См.: Буонарротти Ф. Указ. соч. Т. II. С. 107.
- ⁹ Levasseur R. Mémoires. Т. 1—4. P., 1829—1831. Т. 4. P. 108.
- ¹⁰ Mémoires de B. Barère. Т. 2. P. 210, 211.
- ¹¹ Ibid. P. 219—220.
- ¹² Ibid. P. 178—214.
- ¹³ Mathiez A. Le rôle de Barère et de Vadier au 9 thermidor jugé par Buonarroti//Annales révolutionnaires. 1911. Т. IV. P. 96—102; перепечатана в сб.: Mathiez A. Autour de Robespierre. P., 1926. P. 235—242.
- ¹⁴ Mathiez A. Autour de Robespierre. P. 238.
- ¹⁵ Mathiez A. Babeuf et Robespierre//Annales révolutionnaires. 1917. V; см. также: Mathiez A. Etudes sur Robespierre. P., 1958. P. 237—250.
- ¹⁶ Mathiez A. Autour de Robespierre. P. 247.
- ¹⁷ Pages choisies de Babeuf recueillies, commentées, annotées par M. Dommanget. P., 1935: P. 161—224.
- ¹⁸ Le Tribun du peuple. N 40. 5 ventôse l'an IV (1796.24.II); N 29, 34.
- ¹⁹ См.: Буонарротти Ф. Указ. соч. Т. I. С. 84—87, 108—112, 137—140, 154—163, 216, 348—349; см. также: Далин В. М. Люди и идеи. М., 1970.
- ²⁰ Espinas A. La philosophie sociale du XVIII siècle et la Révolution. P., 1898. P. 257—258.
- ²¹ См.: Письмо Ф. Энгельса В. Адлеру//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 37. С. 267.
- ²² Буонарротти Ф. Указ. соч. Т. I. С. 141, 87.
- ²³ Robiquet P. Buonarroti et la secte des Egaux d'après les documents inédits. P., 1910. P. 178, 203.
- ²⁴ Буонарротти Ф. Указ. соч. Т. I. С. 141.

- ²⁵ Там же. С. 160.
- ²⁶ *Advielle V.* Histoire de Grachus Babeuf et du babouvisme. Т. 1—2. Р., 1884.
- ²⁷ *Mathiez A.* Etudes sur Robespierre. Р. 237.
- ²⁸ См.: *Щеголев П.* Заговор Бабёфа. Л., 1927; см. также: Труды первой Всесоюзной конференции историков-марксистов. Т. II. М., 1930. С. 158—201.
- ²⁹ *Волгин В. П.* Движение «равных» и их социальные идеи: Вступительная статья//*Буонарроти Ф.* Указ. соч. Т. I. С. 28.
- ³⁰ Там же. С. 22—23.
- ³¹ *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 2. С. 589.
- ³² *Espinas A.* Op. cit. Р. 257—258.
- ³³ *Sieyès E. S.* Oeuvres politiques. Т. 1—2. Р., 1796.
- ³⁴ *Bonald L. G.* Pensées sur divers sujets et discours politiques. Т. 1—2. Р., 1817; *Chateaubriand F. A.* Oeuvres complètes. Т. 2—3. Р., 1836—1837.
- ³⁵ *De Staël A. L. G.* Considérations sur les principaux événements de la Révolution française. Т. I—III. Р., 1818; *Mignet P.* Histoire de la Révolution française depuis 1789 jusqu'en 1814. Т. 1—2. Р., 1824; *Thiers A.* Histoire de la Révolution française. Т. 1—6. Р., 1823—1827.
- ³⁶ *De Staël A. L. G.* Op. cit. Т. II. Р. 140—142.
- ³⁷ *Минье Ф.* История французской революции: Пер. с фр. СПб., 1906. С. 187, 203.
- ³⁸ *De Lamartine A.* Histoire des girondins. Т. I—VIII. Р., 1848 (в дальнейшем цитируем по изданию 1884 г.).
- ³⁹ Ibid. Т. IV. Р. 353.
- ⁴⁰ *De Lamartine A.* Critique de l'histoire des girondins par l'auteur des girondins lui — même à quinze ans de distance (octobre 1861). Опубликовано в приложении к: *De Lamartine A.* Histoire des girondins. Т. IV. Р. 544.
- ⁴¹ *Michelet J.* Histoire de la Révolution française. Т. 1—7. Р., 1847—1853; *Quinet E.* La Révolution. Т. 1—3. Р., 1877; *Carlyle T.* Op. cit.
- ⁴² *Taine H.* Les origines de la France contemporaine. La Révolution. Т. 1—3. Р., 1878—1899.
- ⁴³ *Quinet E.* Op. cit. Т. 2. Р. 219—220.
- ⁴⁴ См.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 7. С. 29.
- ⁴⁵ Там же.
- ⁴⁶ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 38. С. 367.
- ⁴⁷ *Buonarroti Ph.* Conspiration pour l'Egalité dite de Babeuf, suivie du procès auquel elle donna lieu, et des pièces justificatives... 1828 (см. рус. изд. под ред. акад. В. П. Волгина. М., 1948); *Levasseur R.* Op. cit. Т. 1—4.
- ⁴⁸ См.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 40. С. 320—330.
- ⁴⁹ *Buchez Ph., Roux P. C.* Histoire parlementaire de la révolution française, ou journal des Assemblées nationales depuis 1789 jusqu'en 1815. Т. 1—35. Р., 1834—1838.
- ⁵⁰ *Blanc L.* Histoire de la Révolution française. Т. 1—12. Р., 1847—1862.
- ⁵¹ См. оценку Луи Блана В. И. Лениным в Полн. собр. соч. (Т. 31. С. 127—130, 312—313, 470, 472; Т. 32. С. 310—312, 343—346).
- ⁵² См.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 8. С. 119 и сл.
- ⁵³ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 32. С. 346.
- ⁵⁴ *Hamel E.* Histoire de Robespierre d'après papiers de famille,

des sources originales et des documents entièrement inédits. T. I—III. P., 1865—1867; *Bougeart A.* Jean Paul Marat, ami du peuple. T. 1—2. P., 1865; *Hamel E.* Histoire de Saint-Just député à la Convention nationale. T. 1—2. Bruxelles, 1860.

⁵⁵ *Mathiez A.* Notes inédites de Blanqui sur Robespierre//Annales historiques de la Révolution française. 1928. N 28. P. 307—318.

⁵⁶ *Гейне Г.* Полн. собр. соч. Т. 6. М.; Л., 1936. С. 49.

⁵⁷ *Tridon G.* La Commune de Paris en 1793. Les hébertistes. Bruxelles, 1871 (первое издание вышло в 1864 г.); *Avenel G.* Anacharsis Cloots, l'orateur de genre humain. T. 1—2. P., 1865.

⁵⁸ См.: *Кропоткин П.* Собр. соч. Т. II: Великая французская революция 1789—1793. М., 1919.

⁵⁹ *Bernard M.* Dix ans de prison au Mont-Saint-Michel et la citadelle de Doullens. P., 1851.

⁶⁰ *Hamel E.* Histoire de Robespierre. T. I. P. I—XV.

⁶¹ *Панаев И. И.* Литературные воспоминания. М., 1950. С. 242—243.

⁶² См.: Русская старина. 1901. № 9. С. 483—484.

⁶³ См.: *Панаев И. И.* Указ. соч. С. 414—415.

⁶⁴ Там же. С. 243.

⁶⁵ Литературное наследство. Т. 56. М., 1950. С. 80.

⁶⁶ *Герцен А. И.* Соч. Т. 9. С. 227.

⁶⁷ См.: Литературное наследство. Т. 56. С. 80; Т. Н. Грановский и его переписка. Т. II. М., 1897. С. 439—440.

⁶⁸ Цит. по: *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 2. С. 595.

⁶⁹ См.: *Ерофеев Н. А.* Исторические взгляды чартиста О'Брайена//Из истории социально-политических идей. С. 452—465; Статья О'Брайена в газете: National reformer. 1837. 11. III; *Dolléans E.* Le chartisme. T. I. P., 1912. P. 78; *O'Brien J. B.* The Life and Character of Maximilien Robespierre. L., 1837.

⁷⁰ См.: *Петерфи Ш.* Собр. соч. Т. I. М., 1952. С. 194—195; Т. IV. С. 183.

⁷¹ Lettres et documents pour servir à l'histoire de Joachim Murat. T. I. P., 1908. P. 458.

⁷² *Büchner G.* Werke und Briefe. Wiesbaden, 1958.

⁷³ См. произведения К. Гуцкова, Г. Ляубе и др.

⁷⁴ *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 2. С. 589.

⁷⁵ *Aubertin Ch.* L'Esprit public du dix-huitième siècle. 2 Ed. P., 1873. P. 340—341.

⁷⁶ См. подробнее об идейных движениях этого времени: *Волгин В. П.* Указ. соч.; *Bertaut J.* La vie littéraire en France au XVIII siècle. P., 1954; *Mornet D.* Les origines intellectuelles de la Révolution française. 4 Ed. P., 1947; *Sagnac Ph.* La formation de la société française moderne. T. 2. P., 1947.

⁷⁷ *Grimm Fr. M.* Correspondance littéraire, philosophique et critique de Grimm et de Diderot depuis 1753... T. II. P., 1829. P. 81.

⁷⁸ Annales historiques de la Révolution Française. 1958. N 2.

⁷⁹ О детстве и юности Максимилиана см.: *Robespierre Ch.* Mémoires sur ses deux frères. P., 1834 (требуется критическое отношения); *Paris J.-A.* La jeunesse de Robespierre. Arras, 1870.

⁸⁰ Oeuvres complètes de Robespierre (далее: Oeuvres complètes). T. I (Robespierre à Arras). P., 1912. P. 211—212.

⁸¹ Начало им положили апокрифические мемуары: Mémoires authentiques de Maximilien de Robespierre. T. 1—2. P., 1830.

⁸² *Hamel E.* Histoire de Robespierre... T. I. P. 22.

⁸³ *Robespierre M.* Plaidoyers pour le sieur de Visseroy de Bois — Va-

лѣ//Oeuvres complètes. T. II. P. 136—170, 171—202.

⁸⁴ Oeuvres complètes. T. I.

⁸⁵ *Roquain F.* L'esprit révolutionnaire avant la Révolution. P., 1878. Ch. XII.

⁸⁶ A la nation artésienne sur la nécessité de réformer les Etats d'Artois. Arras, 1789.

⁸⁷ Коммунами, или общинами, стали называть заседания депутатов третьего сословия, не желавших употреблять одиозный термин «третье сословие».

⁸⁸ Переписка Робеспьера. Л., 1929. С. 48.

⁸⁹ Это мнение Ж. Мишона (там же. С. 46).

⁹⁰ Там же. С. 50, 51.

⁹¹ *Bouloiseau M.* Robespierre. P., 1961. P. 18..

⁹² Переписка Робеспьера. С. 51—53.

⁹³ Oeuvres complètes. T. VI. P. 39—70.

⁹⁴ Переписка Робеспьера. С. 57.

⁹⁵ См. выступления Робеспьера в Национальном собрании 21 октября 1789 г., 9 февраля 1790 г., 22 февраля 1790 г. и др.

⁹⁶ Oeuvres complètes. T. VI. P. 238.

⁹⁷ Ibid. P. 240.

⁹⁸ Ibid. P. 126.

⁹⁹ Речь против вето короля (Ibid. P. 88).

¹⁰⁰ Ibid. P. 131.

¹⁰¹ L'Ami du peuple. 1790. 30.VI. N 149.

¹⁰² *Bouloiseau M.* Op. cit. P. 19.

¹⁰³ Речь в Национальном собрании 5 октября 1789 г. см.: *Mercur de France*. 1789. 17.X; Oeuvres complètes. T. VI. P. 181—182.

¹⁰⁴ *Robespierre M.* Discours à l'Assemblée nationale sur la nécessité de révoquer les decrets qui attachent l'exercice des droits du citoyen à la contribution du marc d'argent... P., 1791.

Враждебное Робеспьеру большинство Собрания не дало ему произнести эту речь. Робеспьер добился ее напечатания, и она произвела большое впечатление на современников.

¹⁰⁵ Oeuvres complètes. T. VII. P. 165.

¹⁰⁶ Ibid. P. 166.

¹⁰⁷ См. выступления Робеспьера в Учредительном собрании 5 декабря 1790 г. и 27 апреля 1791 г. (Oeuvres complètes. T. VI. P. 610; T. VII. P. 259, 261—267).

¹⁰⁸ Речь 12 сентября 1789 г. см.: Oeuvres complètes. T. VI. P. 79; речь 18 ноября 1789 г. см.: Ibid. P. 140.

¹⁰⁹ Переписка Робеспьера. С. 86; *Soboul A.* Saint-Just Introduction à Saint-Just. Discours et Rapports. P., 1957. P. 12.

¹¹⁰ Переписка Робеспьера. С. 92.

¹¹¹ Oeuvres complètes de Robespierre. T. III. Correspondance/Prep. par G. Michon. P., 1936; Supplement. P., 1941.

¹¹² См. подробнее: Французская буржуазная революция 1789—1794 гг./Под ред. В. П. Волгина и Е. В. Тарле. М.; Л., 1941; *Манфред А. З.* Великая французская буржуазная революция. Гл. VI; *Mathiez A.* Le club de cordeliers pendant la crise de Varenne. P., 1910; Supplement. P., 1913; *Sagnac Ph.* L'état des esprits en France à l'époque de la fuite à Varennes//Revue d'histoire moderne et contemporaine. 1909. T. 12.

¹¹³ Oeuvres complètes. T. VII. P. 518—523. Эта речь была напечатана в ряде левых газет: L'Ami du peuple. 1791. 9.VII. N 515; Les Révolutions de France et de Brabant. 1791. N 82. T. VII, etc.

¹¹⁴ L'Ami du peuple. 1791. 17.II. N 374; 22.VI. N 497; 25 et 26.VI. N 500 et 501.

¹¹⁵ Oeuvres complètes. T. VI. P. 228—240, 272 (речи 9, 22 февраля, 4 марта 1790 г.).

¹¹⁶ *Buchez Ph., Roux P. C.* Op. cit. Vol. 7. P. 193—195.

¹¹⁷ Petition présentée à L'Assemblée nationale, le 18 decembre 1791, par les citoyens du bataillon de la section du Faubourg-Montmartre. P., (1791).

¹¹⁸ Oeuvres complètes. T. VIII. Discours (3 partie). P., 1953. P. 39—42, 47—67 (речь 18 декабря 1791 г. Эта речь была издана отдельной брошюрой).

¹¹⁹ Ibid. P. 132—152, 157—184.

¹²⁰ Ibid. P. 47.

¹²¹ Ibid. P. 132—152 (речь в Якобинском клубе 25 января 1792 г.).

¹²² La Société des Jacobins, Recueil des documents.../Réd. et introd. par A. Aulard. T. II. P., 1889. P. 513.

¹²³ L'Ami du peuple. 1792. 12.IV. N 627; 13.IV. N 628.

¹²⁴ Oeuvres complètes. T. IV (содержит полный комплект этого издания).

¹²⁵ *Chuquet A.* Les guerres de la Révolution. T. I. P., 1934 (первое изд. 1886); *Mathiez A.* La victoire en l'an II. P., 1916.

¹²⁶ См.: *Марат Ж.-П.* Избр. произв. Т. 3. С. 263 и др.

¹²⁷ Oeuvres complètes. T. VIII. P. 378—383, 388—389, 427—428.

¹²⁸ Ibidem; Défenseur de la Constitution. N 10; Oeuvres complètes. T. IV. P. 307.

¹²⁹ Oeuvres complètes. T. VIII. P. 378—383, 388—389, 427—428.

¹³⁰ Ibid. T. IV. P. 317—334.

¹³¹ Переписка Робеспьера. С. 135.

¹³² Oeuvres complètes. T. VIII. P. 427—428.

¹³³ Ibid. T. IV. P. 357.

¹³⁴ Ibid. P. 350.

¹³⁵ L'Ami du peuple. 1792. 3.V. N 648.

¹³⁶ Цит. по: *Bouloiseau M.* Op. cit. P. 27.

¹³⁷ Oeuvres complètes. T. IX. P. 79—100.

¹³⁸ Ibid. P. 89.

¹³⁹ Ibid. P. 129.

¹⁴⁰ См. выступления Робеспьера в Конвенте 4 декабря 1792 г. (Oeuvres complètes. T. IX. P. 137—140); 19 декабря (Ibid. P. 172—175); 28 декабря (Ibid. P. 183—200); 15 января 1793 г. (Ibid. P. 227); 16 января (Ibid. P. 228—229); 17, 18 и 19 февраля (Ibid. P. 230—231, 237—240, 243—244). Выступление Марата см.: *Journal de la République française*. 1792. N 65, 66, 82, 85, 99, 100, 101; *Saint-Just. Discours et rapports*. P., 1957. P. 62—69.

¹⁴¹ О «бешеных» см.: *Захер Я. М.* Движение «бешеных». М., 1962, а также ряд статей этого автора; см. также: *Markov W.* Robespierrieten und Jacqueroutins//М. Robespierre. В., 1958.

¹⁴² *Mathiez A.* La vie chère et le mouvement social sous la terreur. P., 1927 (русский перевод 1928 г.); см. также: *Собуль А.* Первая республика: Пер. с фр. М., 1976.

¹⁴³ *Bouloiseau M.* Op. cit. P. 69.

¹⁴⁴ Oeuvres complètes. T. IX. P. 361, 363—366, 367. В речи в Конвенте 10 апреля Робеспьер наряду с Бриссо обвинил также Гаде, Верньо, Жансонне и других жирондистских лидеров (Ibid. P. 376—399).

¹⁴⁵ См. в особенности его речи против Бриссо и Гаде у яко-

бинцев 27 апреля 1792 г. (*Oeuvres complètes*. Т. VIII. Р. 304—318),
речь в Конвенте 29 октября 1792 г. (*Ibid.* Т. IX. Р. 62—67),
5 ноября 1792 г. (*Ibid.* Р. 79—100), 19 декабря 1792 г. (*Ibid.* Р. 172—
175); речь в Якобинском клубе 13 марта и 12 апреля 1793 г.
(*Ibid.* Р. 32—36, 419—421), речи в Конвенте 27 и 29 марта 1793 г.
(*Ibid.* Р. 333—338, 324—340).

¹⁴⁶ *Oeuvres complètes*. Т. IX. Р. 487—488.

¹⁴⁷ См. его выступления в Якобинском клубе 3 апреля 1793 г.
(*Ibid.* Р. 357—359, 526, 537).

¹⁴⁸ Цит. по: *Матъез А.* Французская революция. Т. III. М.,
1930. С. 13, 14.

¹⁴⁹ Там же. С. 18 (см. его речь в Конвенте 24 апреля и 10 мая
1793 г.).

¹⁵⁰ *Oeuvres complètes*. Т. IX. Р. 459—470; *Discours de M. Ro-
bespierre sur la Constitution*. Р., (1793).

¹⁵¹ *Oeuvres complètes*. Т. IX. Р. 454—472 (текст проекта Декла-
рации прав человека и гражданина); *Hamel E.* Histoire de Robespierre.
Т. II. Р. 685—688, где отмечены разночтения проекта.

¹⁵² *Oeuvres complètes*. Т. IX. Р. 488.

¹⁵³ *Ibidem*.

¹⁵⁴ *Robespierre M.* Sur les principes du Gouvernement révolu-
tionnaire//Textes choisis/Pref. et commentaire par J. Popereh. Т. III.
Р., 1958. Р. 99.

¹⁵⁵ *Ibidem* (текст всей речи С. 98—109).

¹⁵⁶ *Robespierre M.* Sur les principes de morale politique...//Textes
choisis. Т. III. Р. 111.

¹⁵⁷ *Robespierre M.* Sur les principes du Gouvernement révolu-
tionnaire//Textes choisis. Т. III. Р. 99.

¹⁵⁸ *Ibid.* Р. 108.

¹⁵⁹ *Ibid.* Р. 118.

¹⁶⁰ *Ibidem*.

¹⁶¹ *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 20. С. 267.

¹⁶² Это справедливо отмечали в свое время и Матъез (*Etudes
sur Robespierre*. Р. 45) и А. Олар (*Ораторы революции*. Т. I. С. 331).

— ¹⁶³ *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. VII. М., 1958. С. 356.

¹⁶⁴ *Robespierre M.* Sur les principes de morale politique. Р. 113.

¹⁶⁵ *Robespierre M.* Oeuvres... avec une notice historique des notes
et de commentaires par Laponneraye...Т. 3. Р., 1840. Р. 672.

¹⁶⁶ *Oeuvres complètes*. Т. IX. Р. 463—469. В окончательный текст
были внесены некоторые изменения, не поколебавшие, однако, ее
основные принципы.

¹⁶⁷ *Saint-Just.* Discours et rapports. Р. 145.

¹⁶⁸ *Soboul A.* Les Institutions républicaines de Saint-Just, d'après
les manuscrits de la Bibliothèque nationale//Annales historiques de la
Révolution française. 1948. Р. 193 et suite.

¹⁶⁹ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 15. С. 226.

¹⁷⁰ Там же. Т. 38. С. 195.

¹⁷¹ *Mathiez A.* Les notes contre les Dantonistes//*Mathiez A.*
Etudes sur Robespierre. Р. 138.

¹⁷² *Ibidem*.

¹⁷³ *Robespierre M.* Sur les principes de morale politique. Р. 122—
123.

¹⁷⁴ *Матъез А.* Указ. соч. Т. III. С. 142.

¹⁷⁵ *Lefebvre G.* Questions agraires autemps de la terreur. Р. 5.

¹⁷⁶ *Robespierre M.* Sur les rapports des idées religieuses et mo-
rales avec les principes républicains et sur les fêtes nationales. Р., an

II; *Buchez Ph., Roux P. S. Op. cit. T. 32. P. 353—381; Hamèl E Histoire de Robespierre. T. III. P. 540—541.*

¹⁷⁷ *Waiter G. Robespierre. T. I. P., 1961. P. 429.*

¹⁷⁸ *Robespierre M. Sur les rapports des idées religieuses et morales...//Textes choisis. T. III. P. 156.*

¹⁷⁹ *Ibid. P. 156—159.*

¹⁸⁰ *Ibid. P. 155—180.*

¹⁸¹ *Robespierre M. Oeuvres...par Larronerae. T. 3. P. 655.*

¹⁸² *Ibid. P. 661.*

¹⁸³ *Ibid. P. 660—672.*

¹⁸⁴ *Матвез А. Указ. соч. Т. III. С. 195.*

¹⁸⁵ См.: *Адо А. В. Крестьянское движение во Франции во время Великой буржуазной революции конца XVIII века. М., 1971.*

¹⁸⁶ *Furet F., Richet D. La Révolution. Vol. 1—2. P., 1965.*

¹⁸⁷ *Робеспьер М. Указ. соч. Т. 3. С. 36.*

¹⁸⁸ *Oeuvres complètes. T. IX—X.*

¹⁸⁹ См.: *Лукин Н. М. Избр. тр. Т. 1. М., 1960. С. 230—340.*

¹⁹⁰ *Procès instruit et jugé au Tribunal révolutionnaire contre Hébert et consorts ...P., an II; есть и другие печатные варианты судебного отчета процесса.*

¹⁹¹ *Робеспьер М. Указ. соч. Т. 3. С. 144—145.*

¹⁹² См. там же. С. 188—195.

¹⁹³ Там же. С. 203. Робеспьер к этому возвращался и в дальнейших частях своей речи 5 июля.

¹⁹⁴ Цит. по: *Bouloiseau M. Op. cit. P. 121.*

¹⁹⁵ См. уже цитированное письмо Бабёфа к Бодсону: *Espinas A. Op. cit. P. 257—288.*

¹⁹⁶ *Oeuvres complètes. T. X.*

¹⁹⁷ *Робеспьер М. Указ. соч. Т. 3. С. 200.*

¹⁹⁸ Там же. С. 183.

¹⁹⁹ Там же. С. 196—197.

²⁰⁰ Там же. С. 196.

²⁰¹ См. там же. С. 183.

²⁰² Там же. С. 199 (речь в Якобинском клубе 1 июня 1794 г.).

²⁰³ См.: *Олар А. Политическая история французской революции: Пер. с фр. М., 1938. С. 601—605; Pariset G. La Révolution. P. 242.*

²⁰⁴ *Mathiez A. Robespierre à la Commune le 9 thermidor//Etudes sur Robespierre. P. 185—213.*

²⁰⁵ *Ibid. P. 210.*

²⁰⁶ Цит. по: *Mathiez A. La politique de Robespierre et le 9 thermidor expliqués par Buonarroti//Mathiez A. Etudes sur Robespierre. P. 268, 279.*

²⁰⁷ *Буонарротти Ф. Указ. соч. Т. I. С. 87, 160.*

²⁰⁸ Цит. по: *Mathiez A. Etudes sur Robespierre. P. 270.*

²⁰⁹ *Робеспьер М. Указ. соч. Т. 3. С. 202.*

²¹⁰ *Saint-Just. Oeuvres complètes. T. II. P., 1908. P. 508.*

²¹¹ *Робеспьер М. Указ. соч. Т. 3. С. 184.*

²¹² Там же.

²¹³ *Discours prononcé par M. Robespierre à la Convention nationale dans la séance du 8 thermidor de l'an II.*

²¹⁴ См., например: *Матвез А. Указ. соч. Т. III. С. 194 и след.*

²¹⁵ *Robespierre M. Discours et rapports/Publ. par Ch. Vellay. P. 384.*

²¹⁶ *Ibid. P. 422.*

²¹⁷ *Ibid. P. 396—397.*

²¹⁸ *Barthou L.* Le Neuf thermidor. P., 1926. P. 81.

²¹⁹ *Moniteur*. N 311; *Walter G.* Robespierre. Vol. 1. P., 1961. P. 462—463.

²²⁰ Archives Nationales, F⁷.

²²¹ *Mathiez A.* Robespierre à la Commune le 9 thermidor. P. 184—213. Совпадающие показания Мюрона, Жавуа и Дюлака приведены Матьезом (*Ibid.* P. 207—208).

ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
ЖАН-ЖАКА РУССО*

I

Медленно прохаживаясь по дорожкам старого парка, он все думал, думал о том, почему, ради чего они ведут против него такую жестокую, непримиримую войну. Чего же они хотят?

Когда он думал о своих недругах, о своих противниках, он всегда произносил мысленно «они». Но кто «они»? Из кого складывались эти враждебные, злые «они»?

Наверно, он считал, что «они» — это весь мир знатных и чванлых господ, все эти приближенные королевского двора, савановые и богатые люди, погрязшие в мелочном соперничестве, тайной злобной вражде, скрытых кознях, мстительных планах, весь этот муравейник, нет, даже не муравейник, — муравьи те трудятся — просто грязная куча пожирающих друг друга маленьких, злых существ.

Почему-то он чаще при этом вспоминал эту важничавшую, глупую госпожу де ла Поплиньер, супругу генерального откупщика, миллионера и любовницу герцога Ришелье. Эти воспоминания давно прошедших лет неожиданно приходили на память. Боже, до чего же бывают глупы и ничтожны женщины! Для того, чтобы лишиться женщину — это прекрасное творение природы — всего ее очарования и превратить в глупую гусыню, для этого ее надо сделать госпожой де ла Поплиньер. А ведь эта дама считала себя ценительницей искусства, любимой ученицей маэстро Рамо; безапелляционным тоном — тоном, перенятым от своего учителя, — она высказывала категорические суждения о той или иной музыкальной фразе. Да что она в этом понимала? Что она вообще понимала в музыке? Единственное, что она умела делать, — это подсчитывать барыши своего жуликоватого мужа.

Да, но почему же она все-таки так неистово, так нетерпимо не любила его, Жан-Жака? Ведь он ей никогда ничего не сказал невежливого, грубого, чего-либо такого, что могло бы ее обидеть.

Нет, Жан-Жак знал, конечно, в чем дело. Эта столь само-

* Глава из подготовлявшейся книги А. З. Манфреда «Жан-Жак Руссо».

уверенная госпожа, самоуверенная потому, что ее муж был бес-
счетно богат, любовник знатен и влиятелен, а ее учитель был
самым знаменитым музыкантом, читала в его, Жан-Жака, гла-
зах, в его взгляде безмерность презрения к ней: он не умел это
скрыть, и она ему этого не прощала. Ведь гусыни тоже, не по-
нимая слов, умеют шипеть.

Впрочем, бог с ней, с мадам де ла Поплиньер. Ведь придет
же такая неожиданная причуда вспомнить об этой глупой жен-
щине, которую он не видел около тридцати лет.

«Они» — это были не только богачи, аристократы, придвор-
ная знать. «Они» — это были и его вчерашние друзья, бывшие
единомышленники. «Они» — это был старый Вольтер, питаю-
щий к нему неугасимую злобу, нет, не злобу, а ненависть.
«Они» — это был и Дени Дидро — давний добрый товарищ,
любимый друг, Дидро, к которому через весь Париж он ходил
на свидание в Венсенский замок, радуясь предстоящей встрече
как самому счастливому дню жизни. «Они» — это был и ма-
ленький, завистливый и злой Медьхнор Гримм, в прошлом то-
же близкий товарищ, и госпожа д'Эпине, и барон Гольбах, и
Борд, в которого он когда-то так верил, и сколько-сколько еще
других.

Все, все друзья превратились во врагов.

Так что же произошло? Как это случилось? Как друзья ста-
ли врагами?

Может быть, Жан-Жак один во всем виноват? Может быть,
он был в чем-то неправ? Чем-то обидел их? Не прислушался к
их справедливым и добрым советам?

Нет, все это было сотни раз передумано и проверено. Ему не
в чем себя упрекнуть. Он не чувствует перед бывшими друзья-
ми никакой вины. Да у него и злобы к ним нет. Вот Вольтер пи-
тает к нему черную, неистребимую злобу, а у Жан-Жака нет
такого чувства к нему. Хороший писатель, хороший поэт; Жан-
Жак у него когда-то сам учился; он никогда не забывал, что
Вольтер старше его на 18 лет, и у него нет к нему ни злости, ни
даже вражды. Жалко только, что этот умный человек разменял
свой талант на какие-то побрякушки, на мишуру. Впрочем, бог
с ним; ему уже больше 80 лет, скоро придет смерть, смерть
придет ко всем — к Вольтеру, к нему, Жан-Жаку, к Дидро, да-
же к этому глупому Гримму; смерть всех уравнивает.

Он присаживался часто на скамейки; ему теперь станови-
лось трудно долго ходить; нет, не сердце болело — просто он
уставал.

Он прислушивался к тому, как шелестят листья и как птич-
ка, чей голос он затрудняется точно определить, невидимая,
где-то в кустах, настойчиво, неумолимо что-то щебечет:
чик-пти, чик-пти, чик-пти, чик-пти.

Боже, как прекрасна, как величественна вечная, неумираю-
щая природа!

Он мог сидеть на скамейке парка долго-долго. Кто считает
время? Может быть, час, может быть, три — не все ли равно?

Он прислушивался к этим знакомым и всегда новым звукам: симфонии шелестящей листвы, разноголосому пению птиц. Может быть, ему даже казалось — нет, наверно, он сам это придумал — он слышал даже, как тихо-тихо, почти бесшумно, словно окутанная ватой или, верно, мохом, растет трава.

Наедине с поющей листвой вязов и лип, веселыми, разноголосыми песнями птиц, наедине с зелеными соками земли он чувствовал себя лучше, спокойнее, даже увереннее — он был у себя дома.

Иногда, чертя что-то палочкой по песку, этот старый человек начинал вдруг тихо посмеиваться.

Нет, нет, Жан-Жак, ты поступил правильно, ты оказался мудрее их всех! Им не удалось затянуть тебя в расставленные капканы, ты от них ускользнул.

Вот он сидит и слушает, как верещит пересмешник и что-то настойчиво, как бы кого-то убеждая, повторяет одну и ту же короткую фразу дрозд, а вот там, где-то дальше, стучит по старой, уже трухлявой коре дятел. Он различал голоса птиц; он их знал все — это ведь были его друзья.

И он хорошо знал, когда у больших голубых елей, недалеко от мостика через озеро, начнут слетать тоненькие светло-желтые пленки и сразу вылупятся, как птенцы из гнезда, лапки-пучки мягких светло-светло-зеленых иголочек. Потом они превратятся в обычные твердые темно-зеленые иглы, но все это будет позже, потом... Сейчас идет весна — май, и листья, иголки ели, так быстро поднимающаяся трава — все обновляется.

Нет, он сумел обойти эти расставленные против него западни. И он сумел остаться со своими самыми верными друзьями: с травинками, тянущимися на солнце кверху, с этими простенькими полевыми цветками — мать-и-мачеха, курослеп, одуванчик, с пением птиц, с неровным шумом листвы.

Он тихо посмеивался. Наверно, маркиз де Жирарден, издавна незаметно подглядывавший за знаменитым гостем, перед гением которого он преклонялся, видя, как учитель чему-то улыбается, был счастлив.

А Жан-Жак и вправду радостно посмеивался. Жизнь осталась позади; ему уже 66 лет; много это или мало? Наверно, много. Правда, Вольтеру 84 года, и он все еще воет, петушится.

Руссо не обманывался, — нет, надо смотреть правде в глаза — жизнь шла к концу. В промелькнувших годах было много всего — и хорошего, и плохого. Плохого, наверно, было больше, и Жан-Жак мог сказать, как начальник преторианцев императора Веспасиана: «Семьдесят лет провел я на земле, а жил только семь». Но, может быть, и это тоже неверно. Возможны ли количественные измерения, чтобы определить суть счастья?

В предпоследней, девятой «прогулке одинокого мечтателя» Жан-Жак записал: «Счастье — это неизменное состояние, не созданное для человека в этом мире. Все на земле — в непре-

рывном течении, которое не позволяет ничему принять постоянную форму. Все изменяется вокруг нас. Мы изменяемся сами, и никто не может быть уверен, что завтра будет любить то же, что любит сегодня. Поэтому все наши мысли о счастье в этой жизни оказываются химерами»¹.

Но в том же сочинении, в последней, оставшейся незаконченной главе «Прогулок одинокого мечтателя», Жан-Жак в полном противоречии со сказанным, вспоминая о госпоже де Варанс, о далекой счастливой поре своей юности, о женщине, которую он любил больше всех, писал: «Не проходит дня, чтоб я не вспоминал с восторгом и умилением это неповторимое и короткое время моей жизни, когда я во всем был самым собой, без примеси и без помех, и о котором действительно могу сказать, что тогда я жил...»²

Так что же важнее, весомее: короткое, неповторимое время счастья или долгие-долгие годы без солнца?

Он теперь все чаще оглядывался на пройденный путь. Он много ошибался. Много обманутых надежд. И он часто уходил в сторону, сбивался с верного пути. Но все-таки он не поддался законодателям света, они не принудили его идти их дорогой. Им очень этого хотелось, а он уходил. Всякий раз уходил от расставленных силков; вопреки всем их усилиям, всем уловкам он, Жан-Жак, все-таки шел своим путем. *Trotz alledem* — так, кажется, говорят немцы.

И несмотря на все старания заткнуть ему глотку или заставить его петь тенором сладкие арии, он все-таки сумел сказать то, что хотел. Не все, конечно, и даже, может быть, не самое главное. Но все-таки он успел сказать то, что людям надо было услышать.

Будь скромнее, Жан-Жак. Не надо ничего преувеличивать. Ты не пророк, не мессия, и не тебе оставлять скрижали. Ты успел написать несколько книг, которые охотно читали: «Новую Элоизу», «Общественный договор». — Значит, чем-то они были нужны. «Новую Элоизу» читали с жадностью, женщины даже плакали... А «Общественный договор», по правде говоря, прочли немногие. Эту вещь надо было писать иначе — не так сухо, свободнее, легче, так, чтобы женщины тоже могли ее прочесть.

Он хотел бы сейчас снова перечитать эти далекие, давние-давние книги. Они были написаны 15 — 16 лет тому назад. Как тогда писалось легко...

В памяти вспыхивали неожиданные воспоминания. В ранней юности, в годы скитаний, ему случилось как-то прожить несколько дней в доме одинокого старого художника. Это было в небольшом селении, наверху, на горе, возле Клермон-Феррана, кажется, Круайе, он уже точно не помнил. Там были ка-

¹ Руссо Ж.-Ж. Избр. соч. Т. III. С. 659.

² Там же. С. 662.

кие-то целебные ключи, и слепые, калеки, немощные старики, страшные, старые женщины, больные и убогие приходили по утрам пить эту чудодейственную воду; они надеялись, что она принесет им исцеление.

Художник не любил этих убогих и больных, наверно, потому, что страшился стать похожим на них; он никогда не ходил к целебным ключам. В большом и пустынном своем доме он жил замкнуто и уединенно. Целый день он стоял перед холстом и наносил кистью то, что ему потом самому не нравилось; вечером, возвращаясь в мастерскую, он долго вглядывался в сотворенное за день и затем решительными взмахами кисти все зачеркивал.

Жан-Жак работал у него по хозяйству. Он поднял и укрепил покосившийся забор, наколот дров, выкопал в огороде картофель, морковь; в хозяйстве даже бедного старого бобыля всегда найдется работа.

Но когда настало время расставаться, и Жан-Жак утром стал прощаться, старик попросил его остаться до вечера, до часа, когда начнет опускаться солнце.

Куда спешить пареньку, не имевшему ни кола ни двора, неторопливо бродящему по проселочным дорогам, заложив руки в карманы и насвистывая песенки? Днем раньше, днем позже прийти в соседнюю деревню, если нет ни цели, ни забот, — не все ли равно?

Жан-Жаку нравился этот худой бледный старик с редкими седыми волосами, тщательно расчесанными на пробор, с быстрым, пронзительным, можно даже сказать, каким-то ярким взглядом серых, еще совсем молодых глаз, в поношенном старом сюртуке с черным широким бантом, прикрывавшим изъязны одеяния. В этом молчаливом, не улыбающемся старом художнике было что-то важное, значительное. Жан-Жак без возражений согласился.

Вечером, когда солнце стало садиться, художник, еще более торжественный и важный, чем когда-либо, подал рукою знак следовать за ним.

Они поднялись по скрипучей, крутой лестнице на второй этаж, пустой, необжитый, со случайной, явно недостаточной мебелью, и оттуда по еще более крутой, узенькой лестнице на мансарду или чердак; с равным правом ее можно было называть и так и этак.

То было запущенное, нежилое помещение, загроможденное какой-то рухлядью — покрытыми облезлой позолотой огромными рамами, стеклами, кусками разбитого мрамора, старыми, пестрыми от засохших красок палитрами; под потолком, по углам, всюду тянулись нити паутины. Окно было узкое, но расположено оно было высоко, и в предвечерний тот час лучи заходящего солнца падали в самую глубь мансарды. Там, у крайней стены, на мольберте стояло что-то, прикрытое полотном.

Художник провел Жан-Жака к стене у окна, строго приказал: — Стойте. Не сходите с места — и бросил на него дол-

гий взгляд — внимательный, оценивающий (видимо, он проверял, не ошибся ли в прищельце), затем медленно, степенно прошел через всю мансарду к мольберту.

— Voilà! — сказал он резким голосом и сорвал покрывало с картины.

То был женский портрет, портрет совсем молодой женщины, лет 20 — 22, не больше. Вернее было бы даже сказать, то было изображение женского лица. На светлом серо-розовом фоне, крупным планом, как бы отделяясь от полотна, на вас смотрело молодое женское лицо, обрамленное синим платочком, завязанным узелком на подбородке. С первого взгляда могло даже показаться — то портрет монашенки. Лицо было полунаклонено; прелестная молодая женщина смотрела снизу вверх; она как бы обдавала вас, охватывала этим глубоким, затягивающим взглядом. Из-под туго затянутого строгого платка выбивались вьющиеся, непослушные темные волосы. Не было ни шеи, ни плеч, ничего; только склоненная вниз женская голова и глаза, как бы глядящие исподлобья.

Самым поразительным, сразу пронизывающим вас, почти невероятным было это найденное кистью гения сочетание монашески склоненной головы и как бы идущего из глубины взгляда чуть-чуть, еле заметно сощуренных серо-зеленых глаз. В этом смиренном наклоне головы, в этом глубоком, как бы затягивающем, обращенном прямо на вас взгляде было столько жизни, столько манящего, обещающего, притягивающего, столько внешней святости и лукавой, скрытой греховности, что от этого взгляда, от этого женского лица, освещенного лучами заходящего солнца, нельзя было оторваться.

Жан-Жак был потрясен; непостижимая, почти колдовская сила искусства не оставляла никого равнодушным; она приковывала к портрету. Жан-Жаку было трудно найти слова.

— Мой мэтр, — сказал он наконец (он называл до сих пор художника «месье»), — мой мэтр, вы создали самое великое произведение искусства, которое я когда-либо видел, вы — гений.

— Voilà, — снова сказал художник, и в голосе его, смягченном волнением, чувствовались слезы.

— Voilà, — повторил он в третий раз. — Вы видели? Это сделал я...

Ах, надо было слышать, как это было сказано. В этих трех словах было столько гордости, столько счастья. Вот смотрите, что может сотворить человек, когда он постигает тайны великого искусства. Таков был примерно смысл этих немногих слов.

Художник помолчал. Да, да, то были самые счастливые минуты его жизни, редкие счастливые минуты, и он с трудом преодолевал волнение.

— Раз в году, в эту пору, когда сюда проникают лучи солнца, я прихожу, чтобы взглянуть на этот портрет. Ведь получилось, не правда ли? Вот все, что от меня остается. — Он снова

помолчал. — И это сделала та же кисть, — добавил он горестно, — которая сегодня уже не может создать ничего сносного.

С тех пор прошло почти полвека. Боже, как это было давно! Как можно было это забыть! Все эти долгие годы Жан-Жак не вспоминал ни этот потрясший его в юности женский портрет, ни его гениального творца — старого художника, великого художника, умершего одиноким и безвестным.

Как могло случиться, что на протяжении долгих десятилетий он ни разу не вспомнил об этом гениальном творце, великом мастере, жившем в безвестности, не сохранил в памяти даже его имя (если только знал его), не рассказал о нем современникам.

Как это произошло?

А вот здесь, в Эрменонвиле, в весну 1778 года он постоянно вспоминает это поразительное женское лицо, запомнившееся ему на всю жизнь, чуть прищуренные глаза и этот взгляд снизу вверх, который нельзя забыть, — удивительное, неповторимое творение человеческого гения.

«Это сделал я», — сказал тогда старый художник, и он был счастлив. И правда, разве это не высшее счастье — создать на небольшом холсте кистью гения неумирающее творение искусства?

А ты, Жан-Жак, можешь ты так же сказать: «Это сделал я» — и испытать то же, подступающее комом к горлу, чувство гордости и счастья? Нет, будь правдивым перед собой: ты не создал такого же великого, прекрасного, непреходящего произведения искусства.

А этот старый, строгий художник с неулыбающимся лицом, создавший великое творение, не уступающее полотнам Рафаэля, Веласкеса, Ван-Дейка, умер в безвестности, и никто никогда не узнает его имени. А неповторимый женский портрет? Где он? Что с ним стало? Наверно, лежит запыленным на чьем-то чердаке, среди рухляди и хлама, и чьи-то безжалостные, жесткие руки будут швырять его из угла в угол, пока не выбросят на мусорную свалку.

А твои книги, Жан-Жак, издают во всем мире, переводят на все языки... А ты не возвысился ни в «Новой Элоизе», ни в «Деревенском колдуне», ни в чем до того недостижимого уровня мастерства, до тех вершин искусства, на которые поднялся никем не признанный, никому не известный великий художник без имени.

Так в чем же счастье творчества?

Тяжело опираясь на трость, он медленно шел по аллеям парка и все думал об этих так трудно разрешимых вопросах.

Да, да, все просто и не просто.

Вот он, Жан-Жак Руссо, писатель, чье имя известно во всем мире, к каждому слову которого прислушиваются со вниманием, ушел из города, от вчерашних друзей, преследующих его враждой, уединился в Эрменонвиле, среди птиц, трав и деревьев — истинных друзей... Казалось, чего же еще желать?

А он не может жить без людей; он бежал от них, бежал от растленного мира, сообщества негодяев, соперничающих котерий и клик, тайных комплотов, от лжи, ненависти, мелочной зависти, мстительного коварства, вероломства. И что же? Три недели он вдыхал упоительный запах распустившейся листвы и блаженствовал, а затем? Он все чаще теперь выходит за ограду парка и издали, с завистью смотрит, как маленькие девочки с возгласами, со спорами играют в классы, как женщины, засучив рукава, полощут в холодной воде пруда белье покрасневшими, грубыми руками, как медленно, неторопливо степенный кюре в черном важно следует к одному из своей паствы и уже что-то произносит вполголоса, видимо подготавливая надгробную речь... Жан-Жак не мог жить без людей; общественный человек, он скучал без них; мысленно он оставался всегда вместе с ними.

Так как же быть?

Да, Жан-Жак, ты не сумел запечатлеть жизнь, ее дыхание, ее краски, ее аромат, как это сумел сделать великий художник без имени в небольшом женском портрете. Ну что же, каждый делает то, что ему ближе. Вяз не похож на дуб. Ты сделал то, что отвечало твоей натуре, твоей природе. Ты шел своим путем — против течения, — и ты был верен правде. Ты показал людям, как несправедлив, как несовершенен этот мир; значит, надо стремиться сделать его лучшим.

Вот, собственно, и все. Не надо ничего добавлять. Жизнь идет к концу, и к пройденному уже ничего не прибавишь. Только разве что писать надо было иначе — писать надо было проще, яснее, строже.

Жан-Жак ценил точные формулы. Мысль должна быть всегда выражена ясно — словами, которые нельзя ни заменить, не переставить. Даже сейчас, когда пишется труднее, он все еще старается облечь мысль в точные, чеканные формулы. Вот недавно он написал: «Сила и свобода — вот что делает человека прекрасным». Мысль выражена ясно и точно, как математическая формула. Так надо писать. И все-таки «Общественный договор» перегружен формулами; литератор ведь должен знать не только законы математики, но и законы музыки. А в «Общественном договоре» музыки мало; этот трактат слишком рационалистичен.

Жаль, что он понял это так поздно; если бы остались время и силы, можно было бы те же мысли выразить иначе; может быть, он успеет написать давно задуманные, еще в Венеции, «Политические установления»? Нет, вряд ли. Уже опускается солнце.

И все-таки главное он успел сказать. Он сумел объяснить, доказать, он сумел сделать свое открытие всеобщим мнением — нет, надо сказать осторожнее: мнением многих, — что без свободы, без равенства жить нельзя.

Старый дядя Бернар этого никогда не понимал. И он, Жан-Жак, раньше этого не знал. А ведь все так просто. Надо жить

проще, лучше; надо жить естественными законами, быть ближе к природе. Почему малиновка поет? Да потому, что она свободна. Верните людям свободу, устройте мир так, чтобы не было ни богачей, ни этой спесивой знати — ни госпожи де ла Поплиньер, ни герцога Ришелье, чтобы все были равны и свободны, и мир станет прекрасен, как это высокое темно-синее небо.

Как все это в сущности просто. Жаль, конечно, что он, Жан-Жак, уже не увидит, как начнет перекашиваться, начнет рушиться, рассыпаться этот старый, злой, сумрачный мир.

Все-таки, Жан-Жак, ты прожил жизнь не слепым кротом, не глупой улиткой; ты понял, ты разгадал, куда течет горный поток.

Конечно, если бы все это увидеть еще своими глазами... Может быть...

Но нет, Жан-Жак знает — ему не пережить еще одной весны. Ну и что из того? Конец, всему приходит конец. Жан-Жака не будет. Ну и пусть; он сделал все, что мог. А жизнь будет продолжаться.

Задумывался ли он над будущим миром? Над новым, справедливым, основанным на естественном праве обществом, которое придет на смену ущербному миру злых, знатных и богатых?

Да, конечно, он об этом постоянно думал. И кто не чувствовал этих носящихся в воздухе ветров предгрозя, близости надвигавшихся перемен? И все-таки в эту последнюю весну в Эрменонвиле он уже чувствовал приближение конца, и его мысли были чаще обращены к прошлому, чем к будущему.

Да, так почему вчерашние друзья превратились во врагов? Да прежде всего просто потому, что он не пошел по их пути, что он не захотел за ними следовать.

Вот этот маленький, налитый спесью Мельхиор Гримм. Он весь лоснится от самодовольства, он ходит надутый и важный, как нахохлившийся индюк. Ему кажется самым важным, что он не просто Гримм, а *monsieur le baron de Grimm* — господин барон де Гримм.

Вот если бы Жан-Жак стал также околачиваться по приемным знатных господ, если бы он ухаживал за метрессами высокопоставленных лиц, если бы всеми путями — лестью, угождением, изворотливой будуарной дипломатией он стал бы добиваться для себя наград, званий, чинов, тогда, конечно, Мельхиор Гримм оставался бы закадычным другом Руссо.

И Вольтер не мог простить, что Жан-Жак знал, как он, старый, прославленный во всем мире писатель, выслуживался перед этой маленькой госпожой д'Этиоль, как он ей угождал, писал какие-то стихи, мадригалы. А зачем? Для чего это было нужно? Это холопство, это пресмыкательство перед сильными мира сего — оно было у всех у них в крови. Как уговаривал тогда, в 1752 году, Дидро — они были в ту пору друзьями, — чтобы Жан-Жак явился на аудиенцию, назначенную королем, воспользовался предоставляемыми ему благодеяниями.

И Вольтеру тоже очень хотелось бы этого. Вольтер был бы готов остаться его другом, если бы и он, Жан-Жак, так же прислуживал королевским любовницам, как это делал Вольтер, Гримм, все они.

Мысли перескакивали с предмета на предмет. Эта маленькая д'Этиоль, маркиза де Помпадур, она все-таки была лучше других; она хоть что-то понимала в искусстве.

*Gette petite bourgeoise
D'une manière grivoise...*

(Эта маленькая буржуазка
С своей манерой гривуазной...)

Бог знает, почему ему приходили на память эти строки старых иронических песенок.

Это все было давно-давно, тридцать с лишним лет тому назад. Тогда еще не верили, что этот мир пойдет под откос. А теперь, после волнений 75 года, после увольнения Тюрго, все это чувствуют, все понимают.

Уже подросла, уже вступает в жизнь новая поросль. Новое, иное поколение молодых людей; они не похожи на своих предшественников. Новые — они все знают, все понимают, они читали все произведения философской школы, все сочинения Руссо; они называют Жан-Жака учителем, но им мало идей, мыслей; они стремятся к действию. Это люди действия; они полны решимости все перевернуть в этом мире.

Жан-Жаку особенно запомнился один из этих молодых; кажется, он был студентом юридического факультета Сорбонны, а родом был он из Арраса. Он пришел из Парижа пешком в Эрменонвиль; не шутка — это ведь дальний путь, а в его обличье, в его костюме, манере себя держать не было видно никаких признаков усталости, словно он только что выпорхнул из кабриолета. То был тщательно, даже элегантно одетый молодой человек, в напудренном, завитом парике, почти щеголь. Он говорил негромким голосом, очень отчетливо выговаривая слова, спокойно и уверенно. Он знал сочинения Руссо, может быть, лучше, чем сам Жан-Жак; в той же неторопливой, уверенной манере он разъяснял ему, автору «Общественного договора», в чем он видит великое революционное значение этого сочинения.

У Жан-Жака осталось впечатление, что этого совсем еще юного, изящного, непоколебимо уверенного в правоте отстаиваемых взглядов студента Сорбонны невозможно сбить с позиций; он был непробиваем, непростреливаем; он был защищен броней уверенности; стрелы должны были от него отскакивать. В дни юности Жан-Жака таких молодых людей еще не было вовсе — то был посланец нового поколения, вступившего в жизнь.

Больше всего Жан-Жака поразили в пришедшем к нему молодом человеке глаза. Серые, небольшие, наверно, немного близорукие глаза. Но стальные глаза. Да, да, вот почему он так

запомнил этого юношу из Арраса. Стальной взгляд. Вернее, вежливый, учтивый, доброжелательный взгляд стальных, непреклонных глаз.

Становилось холодно. Жан-Жак слишком долго сидел на скамейке. И Тереза, вероятно, уже беспокоится...

Он поднимался, еще и еще раз медленно, с наслаждением втягивал неповторимый запах расцветающих трав, влажной листвы, волнующий, полный неизъяснимой свежести запах весны и, опираясь на трость, медленно, по-стариковски останавливаясь, шел к дому.

II

Лето было в разгаре. Начинался июль, и в его первые дни цветение природы достигло, казалось, зенита. Высокие, сочные, густые травы были наполнены таким глубоким зеленым цветом, таким пьянящим настоем зеленых соков земли, что чувствовалось — это предел. Время как бы остановилось. Стояла та недолгая пора конца июня — начала июля, когда день, достигнув полного торжества над ночью, как бы в изнеможении от одержанной победы останавливается; он уже не может дальше наступать на ночь, но еще удерживает завоеванное пространство; счет времени не меняется. Это полдень мира.

Жан-Жак, как всегда, в 10 часов утра вышел на прогулку. Он шел теперь медленно, опираясь на палку, и ему казалось, что в это лето, лето Эрменонвиля, он ходит медленнее, чем раньше, и ходить ему с каждым днем становится все труднее.

Еще несколько дней тому назад он ощутил щемящее, как бы подсасывающее, неясное ощущение какого-то сжатия, какого-то томления под ложечкой. Иногда это проходило, но затем, когда он думал, что полностью победил этот неясный, непонятный ему недуг, щемящее ощущение снова возобновлялось.

Последнюю ночь он спал хорошо, и, начиная утреннюю прогулку по парку, он уже забыл о вчерашнем щемящем ощущении сжатия; он хотел обдумать, чем же закончить «Прогулки одинокого мечтателя».

Стоял ясный погожий день, но было не жарко. Может быть, потому, что еще было утро, а может, просто выдался счастливый, нежаркий, ровный день; не было ветра, и все-таки чувствовалась какая-то освежающая прохлада; по всему парку, по всей земле было разлито мягкое, нежное, благодатное тепло.

Наверно, как это теперь с ним часто случалось, тяжело опираясь на палку и медленно передвигаясь вперед, он думал все о том же: так что же успел сделать, что было правильного и неправильного и что еще осталось сделать до конца. Он думал о конце спокойно, даже равнодушно, как если бы речь шла не о нем, а о ком-то другом. Но он сознавал, что времени осталось мало и что надо еще многое успеть. Когда это к нему пришло — это ясное и даже какое-то будничное понимание, что

времени-то осталось в обрез? Кажется, весной, вскоре после переезда в Эрменонвиль. Да, да, когда он впервые прошелся один по густому, заросшему тенистому парку, когда он услышал нестройное, многозвучное пение птиц, когда он полной грудью вдохнул эти нежные запахи молодой травы, недавно распустившихся листьев, запахи весны, тогда он как-то сразу понял, что это его последняя весна.

Жан-Жака это не огорчило и не обеспокоило. Ну что же. За свою долгую жизнь он привык к скитаниям, к переменам мест. Законы природы властны над всеми. Что же, Жан-Жак, будем собираться в последнее путешествие, в далекие края, откуда нет возврата.

Наверно, он вскоре даже забыл об этих мыслях и во время последнего лета, недолгого лета в Эрменонвиле, больше не вспоминал, не думал об этих сборах в дорогу, с которой не возвращаются.

Чаще всего он думал о том, что же в конце концов сохранится из написанного? Только «Общественный договор» и «Новая Элоиза», может быть, еще «Письма с горы»? Все остальное — музыкальные пьесы, трактаты, «Эмиль», в особенности «Эмиль», никуда не годятся. Да и «Новая Элоиза» многословна и кое-где вычурна. Да, если бы у него оставалось время, он переписал бы весь роман заново. Он написал бы его проще, строже, без восклицаний, без необязательных слов. Подлинное искусство невозможно без строгой простоты.

Неожиданно он почувствовал, как щемящее ощущение сжатия где-то под ложечкой, о котором он уже совсем забыл, вдруг сразу подступило, казалось, к горлу и заставило его торопливо пройти к скамейке и тяжело на нее опуститься.

Он закрыл глаза, и сразу же, как это всегда бывало в солнечный день, под опущенными веками поплыло волнистое, подвижное оранжевое море, оранжевый свет — свет мальчишеских забав, к которому он привык еще с далекого детства — ранних лет в доме тети Сюзон.

Он снова взглянул прямо перед собой, и яркий, торжествующий, зеленый цвет травы и листвы, зеленый цвет надежды хлынул на него со всех сторон.

Жан-Жак вздохнул с облегчением — слава богу! Это были его любимые цвета, цвета, с которыми он прошел весь свой долгий жизненный путь: зеленый цвет — цвет жизни и оранжевое море — при смеженных веках — цвет солнца, цвет его юношеских скитаний.

Он почувствовал себя лучше. Природа, как всегда, была его союзницей. Боль под ложечкой притупилась. Жан-Жак глубоко вздохнул. Он был чувствителен. Взмолванный, испытывавший глубочайшую благодарность и какое-то радостное удивление, он вглядывался в этот окружающий его благодатный, благоухающий зеленый мир, охраняющий его от злых сил. Он чувствовал себя частью этого зеленого светлого мира, и, навер-

но, — ему, как и всем людям, были свойственны иллюзии — он подумал, что и он, как все это зеленое царство, неодолим.

Он встал, чтобы пойти вперед, в эту манящую зелень аллей, чтобы завершить, как было задумано, прогулку по парку.

Но в то же мгновение, когда он поднялся, он ощутил, как чьи-то железные тиски или железная рука сжали ему сердце и заставили вновь опуститься на скамейку.

Он закрыл глаза, и снова под опущенными веками разлилось спасительное оранжевое море, но откуда-то неожиданно в этом разливе оранжевого света возникали черные островки, и эти черные пятна ширились и росли.

Он, наверно, понял тогда, что ему уже не дойти до манящей глубины зеленых аллей и не дойти уже и до дома и что это и есть конец. Он принял это равнодушно, безразлично — он видел себя как бы со стороны. Широко раскрытыми глазами он жадно впитывал, в последний раз, окружавшее его со всех сторон зеленое, живое, благоухающее, волнуемое море жизни. Лето достигло апогея, жизнь в цвету, и он был счастлив, что, уходя, он унесет с собою этот любимый зеленый цвет вечно расцветающей земли.

Унесет... Но куда? Его сознание как бы раздваивалось. Он видел себя вновь как бы со стороны: беспомощным, слабым, прижатым чьей-то железной, беспощадной рукою к скамейке; ему страшно пошевелиться; он знает: одно лишь движение, и этот зеленый свет погаснет. И он сидит — скованный, неподвижный, не отрываясь взором от этой шумящей листвы. Зеленые веточки, посеребренные утренней росой, — это тонкая последняя нить, соединяющая с этим уходящим миром.

Мысли смешивались. Нет, Жан-Жак, это не мир уходит, это ты уходишь из вечно обновляемого мира. Он ведь был литератором, и перед лицом смерти, наедине с самим собой, не пристало путаться в словах; надо выражать свои мысли ясно и точно.

Это усилие над собой принесло ему облегчение. Он оставался в той же неподвижной позе, прижатый железной рукою к спинке скамейки, с широко раскрытыми глазами, с прерывающимся дыханием, лоб в поту, — бедный, слабый человек, побеждаемый смертью.

Но он сумел выправить неверный ход мысли: держись, Жан-Жак, человек должен всегда оставаться человеком. Он осторожно перевел дыхание. Железная, сжимающая сердце рука медленно поднималась все выше и выше; она подбиралась к горлу. Но Жан-Жаку стало как-то спокойнее.

Он даже рискнул на мгновение смежить веки, и неожиданно откуда-то рядом с ним, так казалось, возникла музыка. Это была какая-то очень тихая, приглушенная, мягкая музыка. Откуда она шла? Нежная музыка, нежная, простенькая песенка далеких юношеских лет. Он подумал о том, что раньше всего, в самом начале, он ведь был музыкантом. Потом он подумал о Терезе, о том, как она будет плакать, когда он больше не при-

дет домой. Он думал о Терезе тоже как о ком-то очень далеко. Эта глупенькая Тереза не могла ничего понять. Но она смотрела ему прямо в глаза преданным, доверчивым и боязливым взглядом, так, как умеют смотреть в глаза только собаки — преданным, добрым взглядом лучистых, немигающих глаз.

Он прислушивался. Музыка играла где-то совсем близко, рядом, верно, позади его. Это была очень тихая, с трудом различимая, словно чем-то окутанная или кем-то приглушаемая нежная музыка. Он хотел даже обернуться, чтобы увидеть, откуда же идут звуки. Но он знал, что это нельзя, что одно лишь неверное движение, и железная рука мгновенно сразит его наповал.

В эти последние минуты (он уже знал, что счет идет на минуты) Жан-Жак вновь ощутил удивительную ясность мысли, внутреннюю собранность, бодрствование духа. Он был полумертв, он чувствовал, как все выше поднимается мертвящая хватка железной руки. Он не мог шевельнуться. Но он знал, что, пока он не отрывает взора от светло-зеленых листьев вяза с их тонкими прожилками, с серебристыми каплями росы, с их мерным, ровным шелестом, смерть бессильна перед ним.

Всю жизнь он плыл против течения, он шел наперекор, шел своим путем, и не смерти, да, не черной смерти заставить склонить перед нею голову.

Он оттягивал этот неотвратимо надвигавшийся на него конец, не потому, что он его боялся — ни на грош! — а потому, что ему хотелось, ему казалось очень важным что-то додумать и дописать.

Да, так вот! Он хотел еще подумать о простоте.

К концу своей жизни, долгого писательского пути, он понял: перед ним раскрылась во всем своем огромном значении важность простоты, умения просто и кратко выражать свои мысли. Вот чего он раньше не мог постичь, чего ему не хватало.

Как изменить этот мир к лучшему? Как поднять это испорченное, несправедливое общество до уровня нетленной природы? Разве те же мысли о равенстве, те же идеи свободы нельзя было выразить проще, короче, в словах ясных и неопровержимых, как вечный шелест листвы.

Он чувствовал, как железная рука подбирается все ближе к горлу. Нет, теперь уже поздно, Жан-Жак, и уже ничего нельзя ни изменить, ни даже сказать.

Ну что же! (Щемящая, давящая боль нарастала, но он все еще превозмогал ее. Он смотрел прямо перед собой, на светло-зеленые листья вяза, и, пока он их видел, не отрывал от них взгляда, смерть отступала.)

Да, но он литератор (он не любил слово «писатель» и говорил о себе: *je suis un littérateur* — литератор), и смерть обыденная, будничная, тривиальная смерть не может, не должна нарушить его мысли. Да, так о чем же он думал? О Терезе? О равенстве? О простоте?

Так вот — о простоте. В труде литератора искусство просто выражать свои мысли, может быть, самое главное.

Он чувствовал, как слабеет. Но он шел всегда, всю жизнь наперекор, против волны, и теперь, когда ощущал, как надвигается все затопляющая черная волна небытия, усилием воли он заставил себя подняться над нею, не видеть, не замечать ее, он хотел додумать что-то главное о великом искусстве простоты. Он так и не мог припомнить: так что же было главным.

Давящая, сжимающая и сердце, и горло боль усиливалась. Но он не сдавался. Да, да, надо выражать мысли совсем просто. Так, как поют птицы. Только в словах. В словах, в стихах...

Откуда-то из далекого-далекого прошлого всплыли (а может быть, это он сейчас сочинил?) строки:

Но где же мои свиристели?
Они уж давно улетели,
И мне не вернуть их назад...

Тихо, шепотом он повторил эти строчки, немного подождал и затем повторил снова последнюю строку. Да, теперь он был уверен, что этих строк он раньше не знал. Он сочинил их в последний миг, в последнее мгновение, эти три простенькие строчки. На большее его уже не хватало. Что ж, и в этих строчках есть безыскусственное. И он улыбнулся...

Вот и все.

За долгие годы одиночества Жан-Жак привык разговаривать с собой, и так же негромко он произнес слова, всплывшие из далекого детства: «Eh bien, mon petit...» («Так что же, мой маленький...»)

Страшным усилием он заставил себя выпрямиться на скамье. Он сидел теперь прямо, успокоенно, уверенно. Он поднял голову. Ему — человеку — перед лицом торжествующей, цветущей природы не подобало лежать поверженным, распластанным на скамье. Издали может даже показаться, что вот сильный, красивый, не очень старый еще путник опустился — небрежно и уверенно — на скамью и, гордо подняв седую голову, вглядывается в глубь тенистых аллей, чтобы через мгновение подняться и продолжить дальний путь.

Но в тот же миг, когда Жан-Жак выпрямился, он почувствовал, как стальные тиски, нет, железная рука стиснула горло, и он с трудом вытолкнул дыхание.

В последний раз он бросил взгляд на высокое синее небо и светло-зеленые нежные, шелестящие листья вяза.

И он закрыл глаза. И сразу под смеженными веками хлынули, все затопляя, черные волны; то был разлив черноты, и только где-то в уголках еще теплились светлые оранжевые пятна — последние отблески солнца, но они становились все меньше, блекли, гасли.

А музыка играла еле слышно.

Потом и она смолкла.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
От автора	17
Глава первая МОЛОДОЙ РУССО	21
Глава вторая МИРАБО	91
Глава третья МАКСИМИЛИАН РОБЕСПЬЕР	245
Примечания	406
Приложение ПОСЛЕДНИЙ ЧАС ЖАН-ЖАКА РУССО	417

Научная

АЛЬБЕРТ ЗАХАРОВИЧ МАНФРЕД

**ТРИ ПОРТРЕТА
ЭПОХИ ВЕЛИКОЙ
ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ**

Второе издание

Редактор Н. И. Калашникова
Младший редактор Т. М. Найденкова
Оформление художника Ю. П. Фролова
Художественный редактор Н. В. Илларионова
Технический редактор Н. Ф. Федорова
Корректор Л. С. Зубченко

ИБ № 3729

Сдано в набор 02.12.87. Подписано в печать 20.02.89.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2.
Гарнитура «Обыкновенная новая». Высокая печать.
Усл. печатных листов 22,68. Усл. кр.-отт. 22,68. Учетно-издат. листов 24,78.
Тираж 100 000 экз. Заказ 776. Цена 3 р. 50 к.

Издательство «Мысль». 117071. Москва, В-71,
Ленинский проспект, 15.

Набрано в издательстве «Юридическая литература»

Отпечатано с готовых диапозитивов в московской типографии № 11
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
113105, Москва, Нагатинская ул., 1.